

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

12

2003

2003

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ писателя и общественного деятеля СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА (1913 — 2000)

В 2004 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
МАРИЯ ВАТУТИНА. Осколок тьмы (стихи);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Мурзилка (повесть);
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Ва-
силлии и подвижнице Серафиме;
ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Фармацевт (повесть);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический
роман);
ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. Немыслимый свет (стихи);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Поминки по веку (стихи);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);

(См. на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное пове-
ствование);**
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
ВЛАДИМИР САЛИМОН. Краем глаза (стихи);
**РОМАН СЕНЧИН. Вперед и вверх на севших батарейках (по-
весть);**
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной кол-
лекции»;**
МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Искренне ваш Шурик (роман);
АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);
ОЛЕГ ЧИЛАП. Мой старший брат (рассказы);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Спальный район (рассказы);
ГУСТАВ ШПЕТ. «Я пишу как эхо Другого...» (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГО-
РИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ОЛЕСИ НИКОЛА-
ЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО,
ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ;** статьи, обзоры, эссе **КИ-
РИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИ-
КОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО,
НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРА-
МАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ,
АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ
РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА,
ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novu Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Юрьев день. Поминания	7
ОЛЬГА ИВАНОВА — По линии отрыва, стихи	23
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ — Книга о жизни. Публикация Андрея Василевского	26
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Негаданный привал, стихи	99
ЛЕВ СМИРНОВ — Глухотное время, стихи	103
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Пушкинский бульвар, сюжеты	106
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ — Военная тайна, стихи	110

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — «...Не надо бояться себя». О Сергее Залыгине	114
--	-----

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЛИНОР ГОРАЛИК — Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель массовой культуры в диалоге с медиа-контентом	131
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Андерсеновский мальчик — роль навсегда	147
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Василий Белов. Из «Литературной коллекции»	154
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Максим Кронгауз. Игра в роман и вопросы языкознания	170
Михаил Эдельштейн. Назову себя Клингенмайер	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Елена Невзглядова. Дизель для тонкого слуха	178
Владимир Губайловский. Глубина неподвижности	181
Ольга Дмитриева. Театр страстей в монархии ума	185

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БАКА	190
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	199
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	202
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	209

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2003 ГОД	233
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
**АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА
СОЛЖЕНИЦЫНА**
С 85-ЛЕТИЕМ!

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ

*

ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Поминания

Толку век, а толку — нет!

— **У**йду от вас. Меня тут одна портниха жить зазывает.
— Уйду! К профессору. У него дача, зимой топится и летом. Батареи не отключают.

— Уйду вот! За генеральшей ухаживать. А то внучка ваша старшая живет — не съезжает. Аппетит у ей!

— Гостей много. Прибавка нужна! Уйду! За такие деньги хоть куда устроишься. На первый случай уборщицей.

Это Евдокия. Дуся.

— Предательница, как мамочкина Васильевна! Пусть уходит, — решает бабушка.

Но Евдокия, широкая лицом, грубая в кости, уши крупные, взгляд волчий, рот длинный узкий, не ушла. Движущегося изображения на плоскости не воспринимала, такое было устройство глаза, поэтому в кино не бывала, телевизор не глядела и выходных не брала. Зато петь умела Евдокия — срединная в очереди. А первая — Маруся.

1. У Маруси вовсе глаза не было. Левого. Вернее, был — голубой, стеклянный, с синим ясным зрачком. На ночь вынимала, промывала, опускала в стакан с водой и спала без глаза. Безглазая, то есть кривая, Маруся в прислугах еще до переворота, девочкой поступила, а фамилией звалась хозяйской, нерусской — Рюднер. Чаше так говорили: Рюднерова Маруся. У Маруси — своя комната, кровать и подзоры, а наволочки на подушках с вышивкой ришелье — Маруся считала, что ре-ше-ле, — еще стульчик венский гнутый, тумбочка больничная, а на ней салфетка, опять Марусино решеле, и стакан для стеклянного глаза.

— А ты, как папка твой придет, уцепишься за его и не отпускай! И плачь-кричи: батюшка дорогой, пошто нас оставил? На кого променял! Это ж грех, батюшка, какой грех — бросать дитя малое и жену молодую!

Про грех забылось. Кричала, цеплялась за широкие полосатые брюки и обшлага карманов тоже широкого послевоенного модного шевиотового пиджака перед дверью в передней, до самоварного блеска натертой Марусиной белой ногой. Нога была белая и казалась слабой.

— Иди отсюда! — велит бабушка.

Все равно подглядывала: молодой смущенный мужчина поцеловал бабушке руку, и шляпу надел, так вероломно льнущую к его узкому лицу, и плащ в длинную сборку набросил на острые плечи астеника, подобрал портфель с пряжками, из него всякий раз во время визита извлекалась

конфетная коробка с оленем, и сразу стал посторонним; чужой, другим принадлежащий, да и жизни другой, где эти олени и портфели, прекрасный, как артист на экране кинотеатра «Смена», с которым целуется артистка, когда Маруся, шаря в темноте, уже застегивает *дитю* пуговицы на тугом воротничке — их всегда и тоже в темноте, но предфильменной, и расстегивает, чтоб шея не парилась, — артистка целуется с таким вот точно мужчиной; правда, сперва поет, открыв рот с ровными-ровными зубками, а потом бежит к нему, и они целуются в профиль, а бабушка в кухню — на табуретку и, голову опустив, лоб сжимает худыми пальцами. У бабушки два мужа, первый — это Рюднер, в квартире у него сейчас и сидит она, приезжая по обыкновению в день появления шоколадного набора и безусловного отсутствия мамы. Когда-то давно Рюднер бросил бабушку, а бабушка бросила кольцо в снег и вышла за другого. Теперь мама выйдет за своего Валериана, и у нее тоже будет два мужа.

— Твой поп звонил! — кривая шутит над мамой. — Да не поп он! — мама злится. — Дак расстрига! Еще хуже! — Он инженер! — Инженер! Он же Воскресенский! Валериан Воскресенский непременно поп должен быть!

...— Я как ты, Марусенька! Лучше как ты буду. Замуж не выйду. Зачем замуж?

— А чтоб — детки!

— Не хочу!

— А Михасика своего любишь? И Алика целлулоидного!

Привольно лежать на тканевом одеяле Марусиной девичьей постели, раскинуться да взирать с упоением, как Маруся моет и чистит глаз на ночь.

— И эту, с закрывающимися глазками, Леночку любишь, — рассуждает Маруся. — А говоришь, зачем.

— А ты?

— Я кривая. Кто кривую возьмет?

— Я тебя возьму. Пойдешь ко мне жить?

— Как можно? — Маруся строгая. — У тебя няня есть. Вера. Вера — она твоя, а я Рюднерова.

— Вера замуж за солдата идет.

— А и хорошо, что за солдата. Ей так хорошо, а мне так. А тебе другой так! — и смеется.

— Поцелуй меня!

Но она не целует. Шпилькой, обвязанной марлей, теперь чистит глаз с обратной, матовой стороны, чистит, напеваает, мерещится, снится. Маруся... А глаз глядит из ее ладони как живой синим стеклянным зрачком. И вот она ловко вставляет глаз туда, где только что были слипшиеся мокрые ресницы, а теперь уже и не скажешь, что кривая: сияет взор и лицо расправилось.

— Зачем ты? Ведь спать.

— Рюднеру кашу надо заварить. Это у них семейное — овсянку натошак. И прабабка твоя тоже овсянку. А красавица была. Рюднер в нее. И твоя мать — красавица.

— А я?

— В тебе кровей таких нету, окрас другой. Да ты не горюй, может, выровнишься. Вот и бабушка у тебя была хороша. А нынешняя, — и рукой машет, и тайно, в ухо — да он, дед твой, не женился бы, если бы не мамаша ее — Софья Зиновьевна. Это она его окрутила, мамаша, а он тогда чин был, так что не отвертеться...

— Почему? Почему?

— Что почему?

— Ну, не отвертеться...

— У своей Веры спроси, — и звонко прыскает, и наконец целует, как она одна умеет, чмокает жарко и сочно в обе щеки попеременно, а потом

опять в щеку, оставляя на коже и в памяти молочный ясный дух, когда прижимается горячим лицом, и смеется, головой качая, и саму тебя качая — ревнивая, — качает, — балованная. Что будет?

2. Няня Вера держит солдата за руку. Если сидеть на полу, укрывшись за скатертью с бахромой, хорошо видны ровные и плотные Верины ноги в золотом пушке и как розовая комбинация льнет к этим ногам, высовываясь из-под темной юбки узорчатыми уголками. Рядом с круглыми и розовыми, в цвет комбинации, девичьими пятками в босоножках тяжелые сапоги переминаются, а рука солдата мнет мягкую и теплую — до старости такую — Верину ладонку.

— Перестань егозить, — дед догадался о тайном укрытии и поднял край скатерти, — вылезай или уходи!

Дедушка! Не тот, который не отдает Марусю, Рюднер, а настоящий; его бабушка встретила, когда выбросила кольцо в снег. — Бог послал, — повторяет бабушка и всегда добавляет, непонятно печалась: — Но все равно перед Господом не с ним стоять...

А сейчас Вера и будущий ее муж стоят перед дедушкой, одетым в парадный по такому случаю полковничий китель, а перед кем же еще? — оба сироты: она с вымершего от голоду села на Полтавщине, он детдомовский.

— Как брат с сестричкой, — вздыхает бабушка, когда они уходят, оставляя после себя смешанное облако одеколона, гуталина и счастья, а дедушка снимает китель и влезает в полосатый халат, который они носят с бабушкой вперемешку; они почти одного роста, у дедушки широкие плечи, но и руки маленькие, и ноги стройные небольшие, и когда надо было разносить доставшиеся по ордеру лакированные лодочки из Чехии, с обувных заводов бывшего Бати, дедушка надевал эти туфли, морщась, но улыбаясь улыбкой в тридцать два прекрасных зуба, этим, может, единственным родовым наследством, оставшимся от провинциальной, служилой, военной косточки семьи, где все мальчишки, один за другим, все пятеро поступали в кадетские корпуса, и фотография до сих пор хранит выправку и участь, где они стоят, выстроившись по росту и возрасту, и каждый следующий выглядывает юным счастливым лицом из-за плеча младшего, возвышаясь ровно на голову в щегольской фуражке, а ноги и у самого первого уже привычно затянута в офицерские сапожки. Ох уж эти сапожки!

С естественными заминками по времени Вера приносит и кладет почему-то на дедушкин письменный стол одного за другим младенцев-погодков, сияющих розовостью и белизною, как сама няня Вера, своих мальчиков и, что-то нежно набормачивая по-хохлацки, разворачивает хрустящий конверт с пеленками, подгузниками — надо попробовать так же укутать и раскутать целлулоидного Алика — и вдруг показно смущается — это сто же мы делаем? Это сто же мы такие? — и — Да вы не беспокойтесь, у нас под попкой клееночка — и прозрачный пульсирующий фонтан из самой сути распахнутого на всеобщий огляд мужского существа, и Верино торжествующее — Наду-у-ул!

3. Кто назвал Пашу Пашеттой?

Вера вышла замуж, и теперь была Пашетта. Кажется, тот дед, чья Маруся, и назвал.

— Не входите в столовую. Пашетта убирает.

Это уже другой дед о несчастном свойстве Пашеттиногo существа, карлицы с рябым, не по росту лицом, с вечным белым ситцевым платком в мелкий горошек на темных густых волосах. Она всегда голову прикрывала, может, чтобы это единственно прекрасное в ее облике убогой уродины ничему не противоречило. А ходила споро. Кривые сильные ноги и в коротком шажке обгоняли прохожих, когда она летела в широком, перешитом из военной шинели пальто-размахайке на Разгуляй за сыром рокфор. И

потела. И какие бы хвойные ванны и присыпки ни придумывала для Пашетты бабушка, ничего не помогало: потела Пашетта, благоухала и сама кричала, убираясь — Подождите входить! Вот фортку открою.

Стало быть, недостаточно, что карлица. Еще и подойти нельзя...

Ей бы к Святым местам, от монастыря к монастырю, а она от дорожных работ к фабричным, подсобным, выросшая в предместье города и тоже сирота, полуграмотная неумеха.

— Сыр, что полковник просил, — тихо стыдится Пашетта, — воняет. Испорченный вроде.

— Это очень хороший сыр, — говорит бабушка громко и внятно.

Пашетта недоверчиво, почти лукаво глядит, как режут на голубой фарфоровой дощечке широким ножом — лопаточкой с узорною рукояткой — этот сгнивший, посиневший сердцевиною сыр. Сама Пашетта ценит «Сказку» из Филипповской булочной, бисквитное тающее полено с шоколадным кремом, украшенное солонюватыми розочками с зелеными, как всамделишными, листочками, с горькими цукатами. Сперва она ест горькое, потом соленое, а сладкое намазывает на батон, который хозяева едят с гнилым сыром.

Пашетту заберет дедушкина племянница Лерочка. Она уезжает в Среднюю Азию вместе с военным мужем, молодым, уже полковником, как дед, и двумя детьми — школьницей Ниной и крошечным Кириллом. Ему полтора года; он стоит как взрослый вместе со всеми перед мягким вагоном на платформе Казанского в валенках с галошами — на улице московский декабрь, и Пашетта тоже в зимнем пальто с каракулевым воротником, подарок новых хозяев: когда они еще, полковник и его семья, доберутся до теплых краев... Проводница в форменной тужурке уже проверила билеты и теперь следит за котенком. Но и на котенка есть билет. В эти последние мгновения прощания бабушка сует в Пашеттин карман какой-то сверток, шепча и крестя Пашетту, и все опять целуются под металлический голос, объявляющий пятиминутную готовность отбытия.

— А ты ездила когда-нибудь в поезде? — спрашиваю, гордясь, я-то ездила.

— Не-е, — качает головой Пашетта и говорит непонятно: — родителей вот увозили.

В известное землетрясение они останутся живы, погибнет только Пушок, выросший к тому времени из жалкого комочка в бравого кота. На фотографии, присланной из военного городка, роскошный сибиряк сидит на коленях молодого полковника и сыто глядит в объектив. Полковник получит генерала и покончит с собою на скамейке приморского парка в Одессе, куда его переведут в свой черед; таким образом, он, вероятно, избегнет худшего, квартиру у них не отберут, и уже в какие-то другие времена тетя Лера появится в Москве с детьми и Пашеттою.

...На нынешнем Введенском кладбище, бывшем Немецком, среди поржавелых изгородей, крестов, темных старинных памятников и современных асимметричных надгробий, глядя в тугой майский воздух мимо имен на мраморной доске, увижу летящую над землей фигуру с длинными руками. С замиранием, а вдруг ошибка, буду следить за этим как-то косо движущимся существом в балахоне, скрывающем несообразность нелепо пригнанных друг к другу членов, на самом деле работающих слаженно и сильно.

— Я смотрю, думаю, у наших кто-то стоит... а это ты! — обрадованно говорит Пашетта, а это она, конечно, — у Лерочки цветы высадила, а вот можжевелник не принялся. — Пашетта поправляет выбившиеся из-под неизменной косынки седые, но по-прежнему густые пряди. — У Кирюши детки, слыхала, тоже двое. Вынянчила, теперь под потолок, — и смеется большим несуразным ртом, шепчет доверительно:

— Не пахну больше. Как женское кончилось, так не пахну.

И внезапно плачет.

4. Алефтина в мелком барашковом перманенте после извода вшей и прожарки вьедливых гнид, распаренная и разбалованная уже ставшим привычным ванным мытьем, на диване, поджав под себя смуглые ноги в носочках, пишет письмо подруге в деревню Варушино, она же — деревня эта — колхоз имени какого-то партсъезда. Дядя Алефтины — сам председатель, потому и отпустил, но у Алефтины все равно нет паспорта, паспорт Алефтины, как и паспорта остальных варушинцев, спрятан в несгораемом шкафу дяди; о паспорте Алефтина тоскует с загадочной улыбкой и вздохами, повторяя — Мне бы паспорт!

Она вообще-то не с этих страниц и тут ненароком, сметливая грамотная девятиклассница, которую почему-то срочно отослали в город, а потом так же внезапно призовут до дома, до хаты. Мы славно гуляли на празднике вашем, напевает она, склонив над тетрадкой в линейку лисье личико с кирпатеньким носиком. Ее припухлая нижняя губка напряжена то ли мыслительными усилиями, то ли возможной лихорадкой, то ли, думаю так по отдаленности, следами весенних радостей Лефортовского парка. Выходных Алефтина не пропускает.

Дорогая подруга Надя! С приветом к тебе из столицы нашей Родины Алефтина, если ты меня помнишь, а я наше родное Варушино никогда не забываю!!!

Знаки Алефтина ставила от души.

Была на Красной площади и в мавзолее Ленина. Владимир Ильич лежит под стеклом, совсем как живой, но росту небольшого. А еще смотрела про Робинзона Крузо стереокино. Там обезьяна идет по ветке прямо на тебя. Потом тигр. С девчонкой хозяйской ходила на улицу Горького есть мороженое. Мороженое в Москве — лучшее в мире. Я ела и думала, как жаль, что его до Варушина нашего не довести. И дядю ругала, что паспорт не выдает. Если тетке Шуре не выдает, так она старая. Что ей Москва? А когда молодым — совсем не дело. Мы бы с тобой тут погуляли, дорогая Надя, и в парке, и вообще. И о человеке одном тоже вспоминаю. Поняла, о ком? Если бы мать письмо не нашла, я Москву бы и не повидала. Но жить без паспорта невозможно. С паспортом я бы на завод устроилась, а так я должна квартиру убирать и на рынок ездить. Никогда не встречала я таких людей, как мои хозяева. Совсем они прошлого веку. Он сам военный, но дома картины рисует, а она играет на пианино по нотам. Говорят по-русски, но на других непохоже. И еще вставляю слова непонятные. Я сперва считала, что хозяева представляются, но они такие и есть. Может, и хорошие, но я с ними не уживусь. А девчонка, внучка ихняя, мне совсем не нравится. По утрам ее тошнит, а в ужин не наестся. Петь совсем не умеет, а музыке учат. Учитель к ней ходит специальный и тоже как из кино про дореволюцию. И чего рединская баба Катя их нахваливала?..

Письмо Алефтины, неотправленный черновик, где еще до — жду ответа, как соловей лета! — было ползти и ползти по школьным листочкам с помарками и ошибками временной жилицы и помощницы, давно отъехавшей в милое ее сердцу Варушино; письмо было обнаружено вездесущей Евдокией, Дусей, которая предательница, заткнутым в самую толщу романа забытой ныне Коптяевой, в некотором смысле прародительницы отечественной женской прозы, которую, я имею в виду прародительницу, Алефтина и читала ежевечерне, да так и не дочитала. Рассеянность девушки, столь понятная в юном возрасте, когда чувства возбуждены, голова сердцу не подчиняется, были, верно, и причиной ее временной высылки в Москву, когда мать Алефтины, так же как и наша Дуся, нашла девческие заметки, обращенные к тому, о котором ведала лишь подруга Надежда. Бабушка с явным удовольствием — это по поводу заповеди о чужих письмах! читала знакомым откровения Алефтины. Но внучка была обижена. А дед, собственноручно заматывающий голову юной селянки каким-то колленкором поверх марли с керосином от варушинских вшей, тот негодовал.

5. Предательница и певунья Евдокия, не воспринимающая движущегося на плоскости изображения, недовольная и всякий раз требующая прибавки к жалованью, в крахмальном фартуке, выпятив низкий живот и высокомерно задрав подбородок, как генерал на параде, жарит котлеты, и эти продолговатые, шкворчащие от русского масла, которое с испугу обзовут топленным, уравнив переименование петифура в печенье сдобное, *коклеты* Дуся торжественно и подает к обеду, но сама с хозяевами не садится; ест потом быстро и жадно за тем же столом, в одиночестве. Чай — другое дело, вроде праздника или развлечения. Опять же вышепоименованная «Сказка». Когда жует, узкий рот, заполненный многочисленным металлом, работает как машина, а сама Евдокия похожа на лягушку, если бы не взгляд: Дусины глаза совершенно воловьи, но это уже вспоминается при встрече с замученным работой волком в киргизском аиле, большие влажные и будто бесстрастные, но копящие силы для внезапного взбрыка-вспышки:

— Ухожу!

Почти с ненавистью, но и странной привязанностью к двум стареющим и небогатым существам на пятом этаже без лифта, куда уже и отставленный полковник поднимается едва, а ведь взбегал без остановки, сызмальства ученый гимнастике и танцам, и сердце билось ровно и легко, ладони горячие и сухие, не холодеющие, как от приступа эмфиземы, заработанной в послевоенной страде голодной, когда пришлось ему с Пашеттой, а кому же еще? выкапывать, грузить, а затем уже по мешкам ссыпать выращенный на прокорм семьи картофель и тащить эти мешки, правда, здесь уже и солдатики-первогодки выручили, но все равно прямо в передней случился у него жестокий приступ, отчего, почерневший лицом, он упал на паркет рядом с этими холщовыми мешками с картошкой, и бывший боевой доктор, примчавшаяся из медсанчасти врач-красотка Анна Наумовна, сделала ему укол, кажется, теофедрина... Но вот уже и сама Анна Наумовна, задыхаясь от высоких пролетов и медля на каждой площадке, как на Эверест добирается к больному; уколы перестают действовать, дед задыхается хрипами, а в госпиталь — очередь на полгода. Тут Дуся и поступает уборщицей в военную Академию, работа через день, и покупает себе венгерскую шерстяную кофту.

— Теперь-то она уйдет, — бабушка деду и, нервничая, вытягивает цветные нитки по краю истертой домашней самовязки.

— Не уйдет.

— Уйдет, предательница. Похожа на мамочкину Васильевну. Даже голос похож!

— Правда, Дуся похожа на Васильевну? — Это бабушка, блестя глазами зрачками, пытается младшую сестру, приехавшую, пока дед в госпитале, из города Чкалова, который они обе упорно именуют Оренбургом, может, и предчувствуя обратные превращения, но скорее по привычке. Обычно говорливая сестра не отвечает, а, откинув на диванную подушку крупную голову с глянцево-черными косами, следит, как Евдокия — живот вперед — молча носит чашки.

— Когда мамочка умерла и появилась Галька, она так и ластилась к ней — Галина Ксаверьевна, Галина Ксаверьевна! Боялась, что возьмут другую экономку. Какая экономка? Галька не собиралась жить с папой. Хотела обобрат. Но Васильевна! Мамочка ее так любила, и нас она всех вырастила. А пела и плясала!.. Ты маленькая была, не помнишь, верно.

— Помню. И помню, как она к тебе, когда Галька бриллианты увозила: «Барышня, барышня, извольте родителю сказать! Галина Ксаверьевна барыни нашей шкатулку забирает и еще ту, котора девочек. Придано-о-о!..»

— А было в каком веке? — спрашивает любознательная внучка.

Сестры хохочут.

— В этом. В двадцатом. Будь он неладен! — Младшая мрачно и тщательно приглаживает без того аккуратно уложенные волосы. Учительница! И вдруг с улыбкою и приманчиво взглядом по безучастной вроде Евдокии, которая тоже теперь тут и дует на чай в блюдечке, растопыря губы. «Сказка» — на столе...

— Александровска бе-е-реза, бе-е-реза!

Тихо, но с переливом гортанным приехавшая гостья вдруг запекает-затевает, сощуря темные, какие-то черемуховые глаза:

— Посреди Кремля сто-о-яла! Сто-о-яла!

И платок сползет с плеч, когда она выпростит и вскинет полные руки, не вставая, впрочем, с дивана.

— Она листьями шу-у-мела.

И носком туфли узкой начнет постукивать, лукаво вызывая Дусю.

А Дуся нехотя, в чай глядя:

— Шу-у-мела.

И не удержится:

— Шу-у-мела!

Чашку отставит, вскочит, рот раззявит — голосище такой, что рюмки звонком отзвучат в буфете.

— Золотым венцом си-и-яла! Си-и-яла! Александровска бе-е-реза...

Правой рукой взмахнет, абажур качнется, левой — с нижнего этажа соседи, это уж от Дусиноного топотуна, звонят в дверь. Евдокия и бровью не ведет — играет песню: ноги дробят паркет, крепкий тяжелый таз, каменный будто, вниз тянет тело, но грудь, плечи, плоское лягушачье лицо на ставшей вдруг высокой, поднявшейся вместе с голосом шее — все вверх, к потолку, к небу. Сейчас улетит за кистями взлетевших рук или пополам она разорвется, Евдокия-предательница, царевна-лягушка! Вот и бабушка пальцами, привыкшими к роялю, выбивает песенный ритм, но и внучка, наученная артисткой кордебалета Аделаидой Христофоровной народным танцам вроде «Ой, лявониha, лявониha моя!», когда пружинят икры и бес-смысленно тянут носок, запрыгает, клоня голову попеременно к одному плечу, к другому, но властно будет оттянута из круга — Мешашь! и на диван усажена тою, чей надорванный контральтто чутко вторит Дусиным руладам:

— Александровска бе-е-реза...

— Чья береза, чья? — капризно недоумевая, внучка тянет к себе узорную пуховую шаль.

Этой или другой такой же, переданной по оказии, одарит внучатую племянницу после своей кончины двоюродная бабка, когда-то потерявшая придано-о, затем мужа, пароходчика, в самарском ужасе и панике при отступлении-бегстве белочехов или кого-то еще отступлении; спасаясь в мордовском селе от голода, двух дочек от сыпняка похоронит, похоронит в другие годы — другого мужа, не выдержавшего ни бедности, ни чаютки, скрипача из оркестра местного Драмтеатра. Буду прикрывать доставшимся родовым имуществом тогдашнюю неказистость одежды и беременностью вспухающую плоть: через первое обручальное-необручальное колечко легко пролезет оренбургский платок. В здании библиотеки, окнами на оживленную улицу, массивном особняке стиля русского модерна, привычно ругаемом за вычурность и безвкусию, отложив чтение и уже привычно кутая плечи, шагну к овальному окошку и, глядя на березовый узор слежавшихся сугробов, спрошу пожилую служительницу, чей дом был прежде, отчего-то заранее зная ответ и ощущая невнятную причастность, разумеется, не к анфиладе высоких залов и уж не к лестнице же с мраморными ступенями и вестибюлем в псевдодорических колоннах, а скорее к медленному, будто заимствованному движению, с которым гляну на сугробы, натягивая шаль. И крупные правильные черты женского лица предстанут вместе с ушедшим в небытие вечером и тем другим тесным домом с под-

чердачной столовой, а рваный пожелтевший плат доживет в шкафу и по сю пору, извлекаемый на случай простуды или для угрева вместо обычной грелки.

А Дуся? Что Дуся!

Она наконец-то свободна и уезжает сразу после вторых поминок, где привычно и молча подает на стол и молча же сидит за столом в крахмальном, по обыкновению, фартуке... На остановке трамвая, который по-прежнему ходит теми улицами, сквозь толстое стекло она через много лет окликнет маму голосом, сохранившим былую зычность, да еще рукой постучит, чтоб наверняка обернулась, и мама обернется.

— На мать стала похожа! — крикнет ей Евдокия в окошко, и больше ничего, и уедет теперь-то навсегда, сверкнув золотом вместо прежней стали.

6. — Насть, а Насть, это Лиз, Насть! — настырно пищат за дверью крохотной Настиной комнатенки.

— Не говори, что ты моя хозяйка! Не говори! — шепотом, это уж Настя велит.

— Какая ж хозяйка? — защищаясь.

— Молчи, а то не приду больше! Скажи, в доме отдыха познакомились — в Кратове, в страхкассе.

Настя сейчас глядится ошетилившейся кошкой, спрыгнет со стремянки, оцарапает приглашенную неумёху, когда та в растопыренных руках держит бумажное полотнище в клею.

— А зовут меня как?

— Как зовут, так зовут. Я тебя им по имени не зову! Артистка — так говорю! — и манерно, растягивая слова и голосом даже не своим:

— Не замкнуто. Входи, Лиза. Мы тут с подругой обои клеим.

Кулацкая дочка, штукатурша и малярша, с больными, как осевшими в щиколотках ногами и лицом расплывшимся, но глаза редкие: зеленые-зеленые, русалочьи и озорные — Анастасия, она же, естественно, Настя — достается через чужие руки: постирать что или пол помыть. Она, так кажется, появляется раз в неделю для интереса не столь денежного, Настя уже не один год в романе со своим начальником — холостым прорабом Марисом, сколь вообще для интереса, поскольку любопытна и востра посорочьи. Обманщица, когда скажется, вернее, когда крикнет из единственного в окрестности телефона-автомата — Приду завтра, белье замочи! — точно не приходит. Но чистюля и аккуратистка и каждую весну белит свою хатку, то есть новые обои клеит и красит потолок.

— Не помочь, девочки? — с подозрением вглядываясь в незнакомку, спрашивает рыжая тощая Лиза.

— Не-е, — качает головой Настя, — нам уж и дел не осталось, и ей, — кивает, — пора домой собираться, дочка и муж, а она у меня первый раз, сама к метро поведу.

— Это точно, — соглашается Лиза, — мой тесть тут плутал-плутал. Потом назад вернулся. Смехота!

— Она непьющая, — строго говорит Настя, — не собьется, но все равно отведу. А ты, Лиза, завтра заглядывай, я по бюллетню еще два дня гуляю.

— Настя, — прошу, когда Лиза скрывается за дверью, — может, в четверг постираешь?

— Свидание у меня, не могу. А ты ко мне такой больше не приходи! Я им всем карточку твою показывала. Вот, говорю! И всегда на каблуках, пальто до полу, а парики у ней — артистка!

— Не артистка!

— Все равно артистка. Тебя по той карточке узнать нельзя, какая ты ко мне пришла. Ты приходи такой, как в театр или еще куда, волосы уложи, а можешь в парике.

Опять стучат, но это теперь Настин жених Марис, не то немец, не то латыш, а говорит по-русски чисто.

— Ой, Марис! — кокетливо закидывая круглую головку, говорит Настя. — Проходи, Марис. Садись.

— Здравствуйте! Здравствуй, Настенька!

Настя пухленькая, а немец-латыш еще полней и круглее; он снимает шляпу — начальник — и садится на диван.

— А обои Настенька выбрала отличные, со складу обои.

Мы знакомы. Марис и Настя все собираются пожениться, но свадьба какой раз откладывается. В прошлом году тоже раздумали, но зато по «приглашению» купили Марису плащ, а Насте туфли. Сейчас новый срок — шестнадцатое июня, и опять два билета с голубками в магазин для новобрачных на видном месте перед зеркалом.

— Мы поспорили, — объясняет Настя, — если Марис в загс не придет...

— Приду, — клянется Марис.

— Не придешь, — кокетничает Настя.

— Приду! — утверждает Марис.

— Он меня моложе, вот его дружки и отговаривают.

— Это Настенька вам неправду говорит! Я тогда просто еще сомневался. Настенька все-таки русская, извините.

— Вот, — торжествует Настя, — опять не женится! Я так сказала: если я выиграю, покупаешь мне полкило самых лучших шоколадных конфет, хочешь — «Мишку косолапого». Или трюфель. А если ты выиграешь, я тебе «Аиста» ставлю!

Марис провожает меня до метро сквозь панельно-блочный лабиринт; поздно, и Настя остается дома. Грузный, лысый, в очках, он выглядит по крайней мере на десять лет старше Насти.

— Вы ее не слушайте. Мы вместе уже сколько! Конечно, сперва приглядывался. В анкете у меня все чисто, на руководящей работе, член партии. А родители русских не любят — у них хутор отобрали. Но Настенька тоже из раскулаченных, вы знаете, она доверилась вам. Я ведь Настеньку к себе возил, и она матушке моей так понравилась, особенно когда корову подоила! Они с матушкой и по грибы вместе, и пироги ставить, так что теперь женюсь.

Они регистрируются, но и замужняя, Настя иногда появляется; морочит, конечно, поэтому белье больше не замачиваю. После уборки всегда что-нибудь выпрашивает.

— Парик отдай! Себе другой купишь! Ты в нем уже на рождение ходила этого, как его, брюнет такой, он в кино рыбу играл, ты меня не путай, точно рыбу, вместе с тезкой моей — Анастасией. А если подарить не можешь, я тебе отработаю. Отстираю!

Однажды будит совсем-совсем ранним утром. Объясняет как обычно — гуляю по бюллетню. Стирает в ванной и даже напевает. У меня нет денег, и она уходит счастливая и в парике. Последнее время она часто так гуляет, а на вопросы: что с ней? объясняет: врачаха молоденькая, а понимающая, да и как ей, Лидии Георгиевне, не понимать, когда в роду у той одни профессора медицинские.

— Она, Лидочка, профессию себе не выбирала, сразу в медвуз, и мужа там нашла, он тоже у нас принимает, доктор по нервам. Лидочка ему меня вчера показала.

— Ну и что?

— Гуляю, — радуется Настя, — по Калининскому прошлась. Мороженое ела.

— Тебе, наверное, стирать нельзя.

Настя фыркает:

— У тебя разве стирка? Ты большое белье мне не доверяешь! В прачечную носишь. А твою ерунду и замачивать ни к чему, особенно когда поро-

шок голубой импортный. Ты всегда голубой покупай! От голубого руки не черствеют.

Два раза в году мы с Настей напиваемся, это когда морим тараканов нашего многоэтажного шалаша. Настя приносит не только особый яд в иноземной бутылке, но в похожей посудине и самогон с сильным прибалтийским акцентом, поскольку вроде ликеру лимонного. Сшибает сразу. Но Анастасия недовольна:

— Еще сахару надо, сиропу, — и что-то подмешивает, — вот теперь сладко. Колбаски порежь!

После третьей рюмки Настя идет в кухню посмотреть на корчи тараканов.

— Полный порядок! Фортку открыла. Можно четвертую наливать... Поехали: выпили-закусили, но ты мне дай обещание!

К юбке, что ли, подбирается вельветовой?

— Танцевать научишь?

— Да ты умеешь!

Однажды Настя в дым упрянула знаменитого еврейского правозащитника перед отчаливанием того на историческую родину; когда ее подрядили испечь рашен пироги с капустой на прощание с местной акваторией.

— По-современному хочу. Ну, вот как этот скачет, кудрявенький, ножки тонкие. И еще поет: лаванда! И потом, чтобы есть красиво — вилку в левой, ножик в правой.

Прощаясь, целуемся, и Анастасия, потягивая носом не выветрившийся дух тараканьей пагубы и зеленоглазо мерцающей:

— Весной опять морить будем, у вас народ такой, запасов много, ну, до весны как-нибудь без тараканов протянешь.

А весною ее уже нет на белом свете.

Где-то перед сороковинами нагринул Марис. Пьяный крепко, но в шляпе и пальто, хотя на улице стояла всегда тревожная в апреле жара, пыльная и безлиственная. Не раздеваясь, он роется в своем прорабском портфеле и подает наконец пакетик — о, тогда так редки были изысканные творения из плотного, как атласного, картона, что без труда отгадывается содержимое — парик. А Марис глядит взором латышского стрелка. Принимая деньги, еще суровее сдвигает брови. Спрашивает, прислушиваясь:

— А Настенька говорила, что супруг у вас был.

— Правильно говорила.

— А ко мне рыжая Лизка лезет. Своего мужа, говорит, брошу, с тобой, говорит, лучше. Но я с этим завязываю. Больше не женюсь. Ведь она, как сердце у ней схватило, позвала меня, я в кухне футбол смотрел, а Настенька нежно так — Марис! Марис! — я не сразу понял, а прибежал: на паласе лицом вверх лежит, улыбается... И все.

Вскоре я покинула то жилище. А тараканы опять двинули стадами, но нет на них зеленоглазой кошачьей с сорочьими повадками.

Куда заехала рассказчица? А всё бабушкины уроки, нехитрая забава: искать в человеческом существе облик птицы или зверя, хрупкого членистоногого, даже какого-нибудь допотопного перепончатокрылого. Но в этой саге последним нет места — оставим такие сравнения для посторонних; однако претензии принимаются: при отсутствии в данном сочинении авторской фантазии, хотя и не без детских воодушевлений, и оказывается одна царевной-лягушкой, у другой — лисье личико, а третья и вовсе кошачья сорока или сорочья кошка. Ну сама ты кто? вопрошаю в бесславной попытке самоидентификации, разглядывая в зеркале немилосердно меняющееся отражение, и отвечаю как на духу: ворона! Только имейте в виду, моя ворона — не пернатый хищник в бабьем полушалке, с бойцовским клювом, а мямля, разиня, соня, байбак и вообще мокрая курица.

После дедушкиных — который дедушка, а не Рюднер — похорон бабушка с саквяжем в руке и еще бодрым шагом — да она и за месяц до

смерти вскакивала на подоконник, чтобы захлопнуть форточку, — сопровождаемая вороной, идет вдоль паркового пруда. Дорожки пусты, предзимье, я и сейчас слышу ледяной шорох почерневшей листвы, по которой тащусь на всегдашних каблуках, правильно заметила Анастасия, и шпильки вязнут в песке и глине. Пруд не замерз; мы спускаемся к воде, и бабушка расстегивает саквояж. В нем дедово, не зарегистрированное властью, оружие: револьвер, почему-то без кобуры, и изящный маузер с перламутровой, может, черепаховой, но по крайней мере необычайно нарядной рукояткой: всему этому теперь предстоит упокоение на дне темного лефортовского пруда.

— Дамский, — задумчиво произносит бабушка. — А теперь кидай, детка!

С мерзким ознобом сжимаю ледяной ствол, но от утренней слабосильности да от недостатка снаровки после широкого размаха — револьвер падает плашмя, подняв приметливый столб брызг, совсем рядом с берегом.

— Корова! — припечатывает бабушка ворону и, дернув плечом, мальчишеским движением, ловко, так кидают камешки, чтобы они подольше попрыгали по воде, швыряет маузер, и тот летит к середине водоема, где тонет со звонким бульком.

Потом мы шагаем назад, к тому лазу в ограде, через который и попали в закрытый ранними часами парк. Наверное, чтобы оправдаться.

— Оставила хотя бы маузер, — запоздало сожалею, — на память. Я бы его хорошо спрятала.

Даже не отвечает, только дома, когда мы с Евдокией помогаем ей раздеться, она, стянув перчатки и сняв фетровый беретик, загадочно и слишком серьезно глядит на опростоволосившуюся внучку. И, облизав сухие губы:

— Ты вспылчивая, — уходит к себе.

Она ошибалась в своих заботах; вороньего пыла хватало лишь на шум и хлопанье — не крыльев, а речей, дверей. Итак, хлопали двери, билась посуда, впрочем, бедовый характер местного населения, о котором не в лучшие времена пыталась меня замечательная грузинка — где же он, где? и когда в конце концов? иссяк, улетучился, давно сгинул на просторах века. Панельно-барачная бытовуха — по другому реестру. Правда, в сизых с прозеленью глазах правнучки — не внучки, нет! — в ее чернеющих гневом зрачках, хотя разбавленная, кажется, безрассудно играет и та старинная кровь, ведь бабушкин отец все-таки стрелял в Гальку. Не тогда, когда увозила драгоценности, ему это было все равно, он так и сказал старшей дочери — Оставь, пусть Галина Ксаверьевна берет, что хочет! А вот увидел в ресторации с офицериком и пальнул: к счастью, не попал, хотя стрелок был отличный; потом вымаливал прощение у полных, так видится и так водилось, Галькиных ног, зятянутых в парижскую шелковую роскошь, и стал шафером на ее свадьбе... Не знаю, они все жили или были написаны перьями, эти люди, и не над их жизнями, над страницами утирали слезы розовые барышни и бедные телеграфисты. Ныне романсовые истории не ложатся в романские главы; забавы постмодернизма, как чужая охота, сметают цветущие поля, так, преодолевая тургеневскую стыдоду, хоть строчку здесь о буйствовавшем на волжских ли, камских берегах бастарде с деревенской родней, приученной приходить к заднему крыльцу... Он умирал зимой восемнадцатого в нервной клинике, хотите, в сумасшедшем доме, куда попал, не понимая, что творилось на улице, а понимая, еще больше вредился рассудком. Но, возможно, все не так, кроме того, что он был болен, один, и никто не знает, где его могила.

7. — Слушай, слушай! — Это, конечно, Зюка, по телефону; и не в первый раз пытается. — Ты скажи, почему деда твоего не посадили? Дедушку не посадили, понимаю. Фамилия обыкновенная, и тихий. А почему Рюднера не посадили? Я вот тут одну книгу... в библиотеке взяла. Его точно должны были... потому что если не из-за того, что до, — ты слушай-слушай, —

то из-за того... с кем он потом... Я завезу... ну, блузочку, которую ты просила. На три дня, и никому не давай.

— Зюка!

— Господи, кому мы нужны? И потом, они давно про всех всё знают.

— Они знают, но ты забыла — дедушка как раз сидел, кстати, в Лефортове, его должны были расстрелять.

— Забыла? — Зюка возмущена. — Но он в двадцатом сидел, а я тебе про тридцатые!

Давнишняя приятельница семьи, Зюка всегда достает такие книги и после ночного чтения звонит с неизменно восторженным — слушай-слушай, — незамысловато шифруя впечатления паузами и угадываемыми умолчаниями; именно под аккомпанемент этого: слушай-слушай! правда, тогда было соответственно: слушайте-слушайте! сквозь затворенную дверь — а взрослые не догадывались, что малолетка, спрятав лампу под одеяло и обжигая глаза и ресницы, впилась в любимого «Гулливера», — дошли громкие Зюкины откровения о вожде... Она точно сейчас сидит в своей немыслимой, буддийской почти, позе, так что крашенная челка как раз у пятки, а на коленях та самая книга рядом с остывающим кофе.

— Слушай-слушай, а Катерина у меня. В гости пришла. Тайно от мадам, ой, не могу! — Челка, конечно, трясется от безмятежного — колокольчиками — гимназического смеха, и как сохранился? от этого юного закисания, от всхлипа почти. — Представляешь, боится отпустить. И к кому? К нам. Ко мне и Воке. Его Катерина с пеленок растила. А это ведь я сама Катю отдала. Если человек сплнет, надо помогать. Но я на время отдала! Катерина, хочешь поговорить? Совершенно глухая стала. Надо ее Цукербергу показать. Рукой машет, спрашивает — как Маруся?

Маруся Рюднерова и Зюкина Катерина из одной деревни, обе смоленские, но если Маруся к Рюднерам в Москву еще по родительской воле отослана, с надеждами на лечение, на подходящую по изъяну работу, то Катерина много моложе, а по рассказам Маруси и женихалась уже, но вот и ей выпал удел вместо собственного выводака растить на асфальте чужое дитя — партийцев, лишенцев, кого еще... Таких, как она, пропасть, но хоть не пропасть под еще не написанную музыку Свиридова: босыми пятками по бетонной жиже, а потом беги рядом с тачкой, быстрее, быстрее, шибче беги, клади шпалы, подымай болванки, гни спину на общем плане подрисованных пышных нив.

А Зюка — свое:

— Слушай, можешь представить, просит, чтобы прописала. Почему я? Пусть мадам и прописывает. А вообще это племянник Катькин баламутит, в его Ленино-Жопине скоро Москва будет, вот он и забеспокоился.

— Зюка!

— Что Зюка? Я про племянника! Катя его из деревни вызволила, чтоб учился. Она в войну с дирижаблем ходила, и ей как раз комнатенку дали в этом, ну... а жила всегда у меня. Племянник потом квартиру получил, и на Катю, между прочим. И деньги еще клянчил на ремонт. Нет, в России случилась катастрофа. Я о мужчинах! Некого субъекта, и оставь манеру защищать, я бы вызвала на дуэль или, как было раньше, в клубе канделябром по голове. Мой Вока, можно, конечно, про Воку разное говорить, но от своих жен всегда уходил в тапочках, так воспитан, тоже идиот! Последней своей «жигуль» оставил, а его нынешняя скандал закатила, но не ему, а мне. Будешь у мадам, смотри, про Катерину ни гугу. Она здесь не была! Ой, Вока появился. Катька, не лезь к Воке! Воку обожает!

... — Проходи.

Сухая, длинная спина в пижаме с красочными разводами стремительно удаляется, а королевская пуделиха королевским жестом кладет вам лапы на плечи. Морда тронута сединой, но собачьи очи глядят с томностью какой-нибудь Кавальери. Теперь не сыщешь таких пуделей: вот

наконец и время для мимолетной ностальгии по пуделям королевским, когда-то царям дворов и гостиных, грозе псов, великодушным, как львы, и стриженным, разумеется, подо льва, с шаловливой кисточкой на кончике хвоста, огромным, сильным, гривастым, благородным, как испанцы, это по происхождению, легкомысленным и галантным, как французы, длинные уши в локонах а-ля Людовик XIV, но и серьезным, и служебным, задействованным в почтовом ведомстве Старой Англии, — это не дрожащие, заласканные до болонок, шустрые и прыгучие мелкие пуделята... А куда же девались королевские? эмигрировали? вымерли? не прижились в квартирах, где суют тапочки в нос? Теперь их не встретишь на улице, хотя вот седая Лукреция еще шествует впереди госты, покачивая боками, и с разлету прыгает на диван с деревянной спинкой, располагая по вылинявшему шелку четыре лапы и хвост с вышепоименованной кисточкой, поскольку любимое кресло занято: там сидит не вставшая на звонок, спала, видно, недовольная Катерина.

— Катерина, видишь, кто пришел? — окликают из глубины квартиры.

— Не слепая.

— Узнала?

— Прямо не узнала!

— Ужинать будем. Сырники сделай.

— Не помнит ничего. Сырники утром ели. — Катерина старая, но совсем не старуха, лицо гладенькое — яблочко наливное. С места не сходит: так и сидит в высоком павловском кресле со сломанным подлокотником, болтает ногами в шерстяных носках, как девочка, а носки домотканые, пестрые, в полоску.

— Опять не прописывает. — Катерина кивает в сторону кабинета, откуда и доносится поставленный актерский голос и спрашивает: Маруся-то как?

— Няня Вера говорила, здорова.

— А Рюднерша?

— Жива.

— Он, значит, преставился, а эта жива. А злющая! А страшная! А носатая! Вот Рюднеру не повезло. Это его Господь за твою бабушку наказал. Женился, женился, а тут влип — не разжениться... А моя совсем слепая стала. Ходили плащ покупать — на всех людей натыкался. Без меня не может, а прописать боится. Да она не меня боится, племянника моего. А не пропишет, к Зюке вернусь. Зюка меня на время прислала, а эта вцепилась: Катерина — мои глаза, а ты с сыном живешь, с невесткой, зачем тебе Катерина, но если забираешь, пропиши. А Зюка свое. Я смеюся. Всю жизнь — не разольешь, а тут сцепились. Дуры.

Хочет, болтая ногами, не желает печь сырники, но скатывается с кресла, коlobком в кухню, Лукреция за ней, когда входит мадам, уже не такой, как встретила, в пижаме, а в клетчатой мини и лилово-красной фуфайке, отчего вспененный ореол прически над высокой скулою и слепыми глазами в пол-лица еще краснее.

Шлеп! Шлеп! Шлеп!

Катерина лепит сырники.

— Глухая стала, — сожалеет слепая хозяйка, — я ей — чайник ставь, а она ни с места. Надо Катерину Цукербергу показать! — И по-деловому: — Ты развелась?

— Если не развелась — не разводисси! — Глухая Катя тут как тут. — Не давай разводу! Зачем разведенкой быть? Не подписывай! Апеллируй!

— Что?

— Апеллируй!

— Зачем?

— Зюка всю жизнь апеллировала! — И опять: шлеп! шлеп!

— Работы нет? — спрашивает хозяйка гостью.

— Нет.

— Но ты сама работаешь?

— Ну да...

— У него, — взгляд на знаменитый портрет, — тоже не было работы. Я объясняла твоей матери — плетью обуха не перешибешь. Спать с ними ты не будешь. Денег, чтобы сунуть кому надо, нет, да ты бы и не смогла. Имени у тебя тоже нет. У него было. Какое! Работы все равно не давали. Слава богу, дали жить. Талант — теперь это не сюжет.

Она умолкает, чему-то улыбаясь или усмехаясь над чем-то.

Острые скулы так непостижимо рифмуются с худыми коленками, когда она сидит, подперев рукою лицо, одно на тысячи, странное безумное гармоничное, оно и светится особым светом, душа светится в невидящих глазах. Боже мой, думаю, погружаясь в ее слепой взор, почему никто не снимает ее сейчас. Но и тогда... И вправду, что не сюжет!

— Слепну. — Она все улыбается. — А тут еще Катькин племянник, требует, чтобы Катерина из его квартиры выписалась. Завтра Вока к нам собрался. Понятно зачем. И Лукреция вот болеет. Столько лет, а снова ложная ценность.

... — Ты послушай, послушай, — Зюка со своей присказкой, — нет, послушай! Клянусь тебе, это Катерина решила. Конечно, ее Вока привез, но она сама попросилась. И между прочим, мадам не такая одинокая, у нее внуки бородатые. Просто она привыкла жить одна и ни от кого не зависеть. Но Катерина, это ведь анекдот, опять за свое — Зюка, пропиши. Я ей — зачем? Ты в деревне своей прописана. Там скоро Москва будет. А она — надо! Думает, мне ее так легко прописать. У нас дом ты знаешь какой. Я еще Вокину девушку прописала скрепя сердце, но иначе не могла. Из-за Воки.

Знаю дом. Судьба сведет их: уставшего, в залысинах, советского чиновника — ровно в половине девятого утра три шага к черной машине у подъезда, а затем через двадцать минут столько же шагов, но уже от машины к охраняемой двери Ведомства, потом через вестибюль в высотный лифт с мягким ходом, и еще несколько метров от лифта к кабинету с именной дощечкой, чтоб через восемь часов негнушимися ступнями опять к лифту, и в обратной последовательности вестибюль, машина, подъезд, а когда все отнимется, сказать, а надо отдать должное тому воспитанию, только и сказать выросшей в стороне дочери — тяжело ходить, и больше ничего; вот этого прежнего юного астеника с шоколадным набором, а сейчас грузного, постаревшего и взбалмошную наперсницу другой стороны Зюку сведет мало в одном доме, в одном подъезде, его — длительными шагами по служебной лестнице, ее — короткими, но затейливыми обменными перебежками. Он даже изменит профессиональной выдержке, когда спросит надменно: откуда эта у нас в доме? А эта всегда будет перегонять его на своих кривоватых к старости ногах, всегда из-под руки выскакивать и, тряхнув кокетливой челкой, мимо то к автобусной остановке, то к аптеке, то по сырому подземному переходу к магазину «Мясо». Всегда. Как нарочно. Или нарочно.

— Ты слушай, я тебе скажу, но между нами, это умора, Катерина до сих пор, ой, не могу, Воку на ночь целует. Он лежит со своей, а Катерина к ним в комнату, без стука. Я говорю — куда? А она мне — отстань, Зюка, сама знаю. Характер тот! Потом выходит, довольная, — Зюка передразнивает, — дак Вокиньку целовала на ночь.

А когда звонит, по Зюкиной терминологии, мадам, мы долго-долго говорим о наших дражайших сучках, как им, осужденным на бесплодие, не может быть, как они плачут, подвывая, лезут в шкафы, перетряхивая обувь, затаиваются под диваном, кроватью, чтобы выползти в замшелой пыли, чихая, дрожа от боли в набрякших сосках. Но однажды мадам, как бы невзначай — Тебя приглашают! — и голос, а как не узнать, и так похож на Марусин журчащей многоударностью, всеми этими натъкаться, за папку уцепиться...

— Дрожжи достала, настоящие, так куличи спеку, — завлекает Катин голос, значит, вернулась, и вдруг скорым шепотом: — Зюка-то не пропи-сывает. Обещала, да не исполнила. Это ей Вокина жена не велит. — И опять громко: — Так что приходи, куличи будут. Правда, у нас тут Лукреция плоха совсем, поддыхает, верно, Лукреция, но больше нам собаку брать нельзя. Кто гулять пойдет? Я гложу, болею, сама — слепая почти. Каку таку другую собаку терпеть нету сил. Ты Вере своей скажи, от Катерины Марусе привет. Боюсь, не встретимся.

Я вижу не видя, как она скатывается колобком, уступая место у теле-фона слепой хозяйке, и хозяйку вижу не видя, когда та угловатым жестом, да она вся будто и состоит из них, из этих жестов, движений, переменчи-вой мимики, — ни покоя, ни возраста, ни плоти — прикладывает трубку к лицу со светящимся ореолом волос.

— Знаешь, — говорит она, — Лукреция — это моя последняя собака.

Лукреция. Зюка. Вока. Пашетта. Евдокия. Маруся. Вера. Алефтина. Настя. Катерина... и прочие непрочие. Кому повем печаль мою?

По осени мы с мамой болеем: сначала гриппом, потом сердцем — боле-ем, стареем, отекаем. На то же отекающих ногах приходит Вера, приносит хлеб и яйца, маме цветы — в современной конторе, где она что-то разогревает съедобное, у молодого начальника день рождения, цветов так много, что секретарша вываливает Вере в сумку прежние гвоздики, их Вера и приносит маме, а мне яблоки, которые она покупает у белорусов рядом с метро. Яб-локи сморщенные, как печеные, но пахнут блаженной свежестью сада.

Осенью, все равно, выздоравливаешь или нет, но хочется плакать, а тут еще она с ликом малоросского ангелочка, с крутою бровкой над голу-быми — поволокою — глазами, с полуоткрытым, когда задумается, ртом, обведенным дешевой фиолетовой помадой. Она целует меня, и уже после ее ухода я с трудом и кремом стираю этот химический отечественный штамп. Но пока она еще здесь.

— Пол на кухне тебе помою, чай поьем, потом к Марусе поеду. У меня сегодня день свободный. Мои дураки, — это она о сыновьях-погод-ках, — товарища к себе пригласили. Тот квартиру за доллары продал и те-перь гуляет. А моим что надо? Выпить им надо! Они хотят, чтобы этот с долларами у них жил и водку носил. Он ведь пока в подвале ночует. Я вот вчера борщ варила, а сегодня его уже и не будет. Они мужики. А разве на ихнюю инвалидную пенсию проживешь? Они по пьянству инвалиды, им моя пенсия нужна, военная, мы ведь с Катей дирижабль водили. И зар-плата моя нужна. А еще ругаются, стыд какой, смеются: ты, мать, к себе в свое государство убиралась бы, на Украину.

— У тебя зато внуки хорошие.

— Внуки да! Ласковые. Любят меня. И правнучка холосенькая. Я при-ду — она ко мне: бабушка писсла. А эти мои как зверюги, когда напьются.

— Вера, а муж твой, — и вспоминаю уши, оттопыренные по-сиротски, и стриженный армейский затылок, а потом через годы Верины слезы, бу-синками — на белую кофточку, — он тоже пил?

— Пил, а злым не был. Один раз ударил. Потом прощения просил. Он ведь большой был, от детства. А уж как пить стал, так все. Если бы в ми-лицию не пошел, так, может, и жил. В милиции все пили. Кто здоровый, тому ничего, а мой рынок проверял, ну, ему и подносили. У тебя духи ка-кие-нибудь есть? Подуши, а то в гости иду.

— Вера, — спрашиваю, — а тетя моя что?

Это я про последнюю молодую дочку Рюднера.

— Красавица! — с охоткою объясняет Вера.

— Понятно. Марусю поцелуй. Сколько же ей лет?

— Марусе? А ста нету! — Вера смеется. — Шутит все: замужем, говорит, не была, девушка, вот и не старею!

...Я смотрю в окно, как няня Вера вразвалочку идет через двор, навстречу ей и наискосок, перебирая тоненькими прутиками ног, девочка-подросток, и, стараясь не впадать в привычный армейский шаг, охранники в сутулых куртках, а зоркий шофер застыл у джипа: кожаной глыбой, с радиотелефоном в поднятой руке — живым памятником времени свободной продажи бананов.

Охранники с девочкой и Вера, не останавливаясь, не замечая друг друга, проходят мимо друг друга и, кажется, сквозь... Вера наконец подымает голову и на прощание машет лапкой.

Двадцатый век в России закончился, а мы живы. Маруся Рюднерова еще жива.



ОЛЬГА ИВАНОВА

*

ПО ЛИНИИ ОТРЫВА

* *
*

Гляди, как нежится в недрах сот
иллюзий медок блажной!
Но где же, книжица, *адресат*,
достойный хотя б одной!

О ком не совестно, вопия
ко Господу, рук воздеть.
В сиротской люльке небытия
лежащего — углядеть.

Как перл из раковины изъять.
Водю живой облить.
Во тьме беспамятства — отстоять.
Именем наделить.

У здешней немочи, немоты
оспорив его курсив.
В созвездье Взгляда, в созвучье «Ты» —
свои же собственные черты,
как в зеркале, воскресив.

* *
*

...А я живу — ослепшею улиткой
судьбы, ее заблудшею подлодкой
(и там уже немерено — воды)...
А ты живешь — как редкостная рыба,
плывущая по линии отрыва
в глубины Леты, лексики во льды.

А я живу — *как реквием играю*.
Красноречиво шествую по краю.
Но все еще не падаю — стою, —
взята за горло собственной песней.
Она — сильней. Но я ее — телесней.
И ей меня — не сбить небытию.

Ольга Иванова (Яблонская Ольга Евгеньевна) родилась в Москве в 1965 году. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор пяти лирических сборников, один из которых, «Ода улице», вышел под литературным псевдонимом Полина Иванова. В настоящее время работает в столице риэлтором.

* *
*

Шутки — в сторону: время — не терпит.
Но — напротив — уходит.
И попутно — утопии топит.
Упования хитит.

Рвет, как ровницу, узы плотские.
Ниже талии грабит.
То есть, радость моя, — опуская
комментарии — гробит.

Чтобы в спальню ночного кошмара
из его коридора
доносились не шорохи мира,
а шаги Командора.

Чтобы тело ушло, как улика,
с головой — в одеяло.
И ничто — до последнего всхлипа —
ни на что не влияло.

* *
*

До ста считаешь, свечой чадишь.
С тоски словеса плодишь.
А то и радуешься — сидишь —
незнамо чему. Глядишь —

а поступь у жизни — уже строга.
А в склянице взгляда — лед.
А то — сшибавшее берега,
питавшее столько лет,

как прорву, стойкий ее порок
и крови сорочий крик
словесное млеко — уже творог.
А сверстник — уже старик.

И нароешь номер, и видишь: стерт.
И лопаешь люминал.
И шепчешь: это еще фальстарт.
А это — уже финал.

* *
*

Неуловимо.
Неощутимо.
Неизреченно.
Неотвратимо.
Непостижимо.
Неизмеримо.
Недостоверно.
Неоспоримо.

Несокрушимо.
 Неодолимо.
 Ненасытимо.
 Неутолимо.
 Неукротимо.
 Неугасимо.
 Немилосердно.
 Невыносимо.

Недолговечно.
 Неудержимо.
 Невозвратимо.
 Недостижимо.
 Неизгладимо.
 Невосполнимо.

И *что* это было —
 необъяснимо.

* *
 *

Е. Лапиной.

В челне печали, в миру которому имя — атоул,
 минув артериальный Стикс и венозный Коцит,
 живую плотью грели гранит, обнимали мрамор...
 А если жажда одолевала — вкушали оцет...

Целили раны, сгрызали узы, срывали цепи...
 Сводя просодию просто счастья до *просто текста*.
 Тремя перстами крестили спины, стелили степи
 наивных прописей, каждую буквою благословляя бегство.

А после, чопорно примеряя одёжу вдовью,
 дряхлея в омуте зазеркалья (а были — девы!),
 теряли годы и это звали земной любовью.
 (А были — *девы*. А *будто вдовы* — рыдали: где вы!)

И — Боже правый, какую дрожью, какую дрожью,
 какую болью неизреченной, какую болью
 платили смерти — ее безвременью, бездорожью,
 ее безлюбью, ее надгробью, ее подполью!..

Но — Боже правый, какую кровью, какую кровью
 все ж созерцали — какие крины, какие кроны,
 врата какие, какие стены, какую кровлю,
 в каком чертоге нерукотворном —
 за эти раны! —

в ладье победы, в легчайшей лодке очарованья
 уже без боли минув зримое и земное,
 минув мнимое, незабвенное, плотяное,
 имея явное и иное, чему названья...



АННА ВАСИЛЕВСКАЯ

*

КНИГА О ЖИЗНИ

Сегодня начала вспоминать (писать), вернее, раскрывать основные этапы жизни, записанные ранее на клочках бумаги. Сегодня 1986 год (март), мне 64-й год. Старость, болезни, утраты, беспомощность — впереди, вот-вот... Мои родные, любимые мальчишки Сережа и Андрюша!

Эту тетрадь я стала писать и для себя, и для вас. Вдруг когда-то вам захочется узнать жизнь мою подробнее, понять, где и как выработывался мой характер. С годами острее хочется постигнуть жизнь и характеры людей, давших вам жизнь. Да и самой мне захотелось пробежать босиком по своему детству; в спортивных тапочках и в футболке — по отрочеству; в шинели и кирзачах — по юности.

Но сначала о вашем папе, самом честном, порядочном, бескорыстном человеке из всех людей, кого я встречала в жизни. О себе он распространяться не любил, никогда не ныл, не скулил, умел ценить время, умел работать (до боли обидно, что всю жизнь приходилось ему думать о заработке, а на личное творчество времени не было). Имел хороших друзей. Были и недоброжелатели, но даже они, уверена, уважали его принципиальность, неподкупность, бескорыстие.

Расскажу о его родителях, а ваших дедушке и бабушке.

Василевский Сергей Иванович (X 1882 — 10/X 1955; умер за неделю до появления на свет Андрюши). Похоронен в Валдае на прицерковном кладбище (войти в ворота и повернуть налево — могила с мраморной доской): второй ряд от забора.

Сергей Иванович рано осиротел и воспитывался в семье крестного отца — протоиерея Котельникова, основавшего и построившего Уфимское училище глухонемых, директором которого стал сын протоиерея Миша Котельников. Папа ваш рассказывал, что это училище имело общежитие, мастерские; давало образование и специальность. Сергей Иванович Василевский окончил Уфимскую духовную семинарию, стал священником.

Я познакомилась с папиными родителями в мае 1948 года (тогда они жили в городе Дно). Сергей Иванович был человек умный, добрый, образованный. Улыбался не часто, но какая это была добрая, обаятельная улыбка! Был действующим священником почти до конца жизни. Папа ваш немало претерпел трудностей из-за этого, хотя в семье отца не жил с четырнадцати лет. Подробностей жизни Сергея Ивановича в трудное для церкви время не знаю, расспрашивать не решалась. Знаю только, что в 1939 — 1941 годах он работал сторожем, вахтером.

Первого внука, Сережу, старики очень любили. Андрюшу дед не дождался, но все время поговаривал: «Как-то там Анечка, кого нам скоро подарит... теперь дочку бы надо родить... а вообще не имеет значения, лишь бы голубушка благополучно разрешилась и был бы здоров ребеночек». После его смерти эти слова часто передавали Гавриловна (добрая старушка — их домашняя работница) и бабушка-попадья.

Завершение публикации мемуарной книги. Главы о Ленинградской блокаде и военных годах см.: «Новый мир», 2003, № 2 — 3.

Публикация *АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО*.

Василевская Мария Ивановна (в девичестве Индлер; VIII 1880 — 25/XI 1960). Похоронена в одной могиле с Сергеем Ивановичем. Очевидно, ее предки — обрусевшие шведы, вполне возможно — выходцы из пленных — петровского времени.

Мария Ивановна тоже сирота, воспитывалась у родственников — Одинцовых (торговцы, имели мельницу). Сергей Иванович как-то сказал, что Мария Ивановна, видевшая в этой семье скверное обращение с прислугой (туфлей по лицу били), скардничала, и это в какой-то мере отложилось на характере Манечки (характер был жестковатый).

Дочь одной из сестер Марии Ивановны — Монтякова Варвара Александровна — живет в Курске. Папа ваш с этой, единственной на сей день, родственницей почти не поддерживает отношения, не пишет ей писем. Мне это непонятно было и неприятно. Я знакома с Варей, она нашла папу в послевоенные годы, дважды приезжала к нам. Мне она очень понравилась: уютная, добрая, приветливая. Но дальше повелось так, что я в переписке с двоюродной папиной сестрой, а он ей не пишет. На мои укоры папа ответил так: «Когда Варя вышла замуж (за главного редактора курской газеты), то порвала связь с Василевскими, и со мной в том числе, по той причине, что Сергей Иванович — действующий священник, а „такое родство может повредить карьере мужа“... Так всем нам и написала. А теперь ищет родства... Потому что уже нет в живых ни ее мужа, ни моего отца? А я не могу вычеркнуть из памяти того ее письма...»

Виталий Сергеевич Василевский родился на Южном Урале — станция Медведёвка (около Златоуста) 4 мая 1908 года. Когда ему было восемь лет, родители переехали в Башкирию. Об этом переезде — в его рассказе «Степь». Там начал учиться.

Начальную школу окончил в 1918 году. Затем — реальное училище в городе Белебее, позже ставшее школой № 1 (после объединения училища с женской гимназией). Папа ездил в свою школу с Андрюшей-школьником, повстречался с местами, где рос, учился, был пионервожатым, где вступил в комсомол и уже тогда начал писать в газету.

В 1925 году он уехал в Уфу, работал в газете. В 1927 году уехал учиться в Ленинград. До 1931 года учился на Высших государственных курсах искусствоведения при Научно-исследовательском институте истории искусств. В 1930 — 1933 годах работал в многотиражной газете «Большевик» и одновременно писал диплом. В газете редактировал молодежную страницу (был литсотрудником). С 1932 года печатал свои очерки в журналах «Наши достижения» (редактором был А. М. Горький, заметивший папу), «С пером и автоматом», «За индустриализацию», «Звезда» и др. Ездил по Союзу в командировки.

Участвовал в войне с белофиннами (это была трудная война, а не кампания, как ее называют). На этой войне обморожены его ноги. После финской стал сотрудником газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины».

Во время Великой Отечественной войны — с июля 1941 года — сначала был в народном ополчении, а с декабря 1941-го — учился на трехмесячных курсах младших лейтенантов — в блокадном Ленинграде. В это же время писал для радио. После курсов — фронт (командир роты). В середине войны состоялось решение о переводе его в газету «Знамя Победы» 23-й армии Ленинградского фронта (главный редактор Лев Прусьян) военным журналистом. Позже — военный корреспондент газеты ЛВО «На страже Родины».

Социальное происхождение (отец — священник) в папиной жизни часто мешало. Глупо?

В сорокалетнем возрасте папа на одной из очередных «комиссий» так и сказал (это было в 1948 году): «Наверно, хватит об этом... Ясно же, что в сорок лет я — коммунист — не стану попом, а поп Василевский в семь-

десять лет не сможет стать членом партии... Если же партию смущает мое социальное происхождение и то, что я не отрекаюсь от отца (поймите — он ведь отец мой!), то не означает ли это, что я должен расстаться с партийным билетом?»

Оставили в покое. Правда, в дальнейшие годы дважды это играло роль: сначала предложение, а потом отказ в поездке за границу (отец еще был жив), второй раз (для поездки в Африку, уже документы были оформлены) — звонок по телефону: «Виталий Сергеевич, вот вы пишете, что ваш отец-священник... умер, а где похоронен — не указываете?» Папа раздраженно ответил: «Разве это имеет значение? Умерших незахороненными не оставляют... Справку о месте захоронения моего отца можете получить в городе Валдае...»

Предполагается дальнейшее родство с маршалом Василевским (по линии дедов, которые вроде двоюродными были). По отцу папин род — все священнослужители; папа первый нарушил эту традицию.

Папа закончил войну в Прибалтике (Тукумс) за Ригой, ближе к Литве. 23-я армия, газета «Знамя Победы». Курляндия, Ленинградский фронт. Последние на Ленинградском фронте операции по уничтожению «котла» Курляндской группировки.

Моя родословная ничем не примечательна, все родились в Тверском крае, в деревнях Удомельского района.

Отец, Орлов Василий Павлович (III 1898 — 7/VI 1922), — из крестьянской бедняцкой семьи.

На моей родине фамилия эта встречается. Откуда она? Возможно, был барин с такой фамилией, а людишки его, когда спрашивали: чьи вы? — отвечали: «Мы Орловы». А может, иное происхождение.

Кличка отца — Васька-Филашка. Почему — не знаю. В 1916 году призван на флот. В 1917-м — комиссован по болезни. На Гражданской войне не был. Умер в двадцатичетырехлетнем возрасте. Я родилась после его смерти. Похоронен отец мой на кладбище деревни Островно, Удомельского района, Калининской области. Не имела счастья видеть отца даже на фотографии.

Мать отца — Анна Степановна (в девичестве Сундукова) по прозвищу Куниха. Взята замуж в деревню Доронино из деревни Мишнево. Когда я родилась, она была жива. Не помню ее, хотя жила я в отцовском доме (с перерывами) лет до трех, и бабушка Анна жила там же.

Отец отца, Павел (отчество так и не сумела узнать), замерз, вытягивая из-под льда лошадь. Оставил вдову с тремя сыновьями: Василий — мой отец, Дмитрий — старший, Иван — младший. То ли у Дмитрия, то ли у Ивана жену звали Анной — вот ее чуть-чуть помню: тихая, жалостливая. Помню, как я взбираюсь на крыльцо их дома, она мне помогает, крыльцо высокое...

Моя мама — Орлова (в девичестве — Пожарская, во втором браке — Кудряшова) Елена Алексеевна (V 1897 — 28/II 1950). Похоронена на Охтинском кладбище в Ленинграде.

Мой дед, мамин отец, — Пожарский Алексей Альфимович (сведения о нем — от тетушки получила. И о других ниже перечисленных родичах — так же). Если он «умер на сорок первом году жизни — 30/IV 1903», то получается, год его рождения — 1862-й. Умел народить шестерых детей, двое из которых умерли рано, а вдове остались четверо: Анна Алексеевна (мать моей двоюродной сестры Евгении Семашко); Мария Алексеевна Пожарская (умерла 22/I 1985 в Валдае); Дмитрий Алексеевич Пожарский — погиб на Гражданской войне (глупо — на досуге тянули палку или веревку с товарищем: кто кого перетянет. Товарищ неожиданно отпустил свой конец, а дядя упал и стукнулся затылком).

Дед умер внезапно: вернулся с поля, почувствовав недомогание, лег, попросил пить и покурить, но ни того, ни другого не успел...

Моя бабушка (по матери) — Пожарская Ольга Трофимовна (в девичестве — Волкова; VII 1857 — I/II 1939). Старше мужа на пять лет.

Крестьянка-вдова, с четырьмя детьми, работала как лошадь, лиха всякого на ее долю выпало много. Родилась за четыре года до отмены крепостного права. Умерла на 83-м году жизни. Похоронена на кладбище у деревни Островно (где и дед мой, и отец).

Мои родные братья:

Орлов Василий Васильевич (1920 — 12/I 1994). Жил в Армении — город Лениканан. Разведенный. После армянского землетрясения 1988 года переехал в Краснодар;

Кудряшов Анатолий Сергеевич (1928; от второго маминого брака). Живет в Ленинграде. Жена: Зинаида Михайловна. Дети: Сергей, Ирина (у каждого по ребенку).

Моя родина — Калининская область (ранее — Московская, а еще раньше — Тверская губерния), Удомельский район, деревня Доронино.

Деревню Доронино, в которой я родилась 25 ноября 1922 года, мало знаю. И когда уже в сознательном возрасте приходилось мне в ней бывать (случайно) или проезжать мимо — душевного родства с нею не испытывала. Но с каким волнением всегда подходила я к деревне Мурово (в четырех километрах от Доронина), где воспитывалась у бабушки и тетушки. Мурово сейчас с одним жителем. Даже представить не могу, как в пустой деревне живет один старик (особенно зимой!) — Фукалов Степан Филиппович. И раньше-то он был вроде блаженного — «жил сам по себе», а теперь, наверно, совсем одичал.

Природа на моей родине скромная, тихая, но «проникающая в душу, словом, левитанистая» (прочитала в какой-то книге о моем крае). Левитан перенес на полотно многие уголки этих мест. Ему нравились эти лесные и озерные края. Карандашный набросок к будущей картине «Над вечным покоем» — озеро близ Удомли, остров Аржанин, но часовенка — плесовская. Деревни Островно и Горка в его картинах: «Старые сирени», «Островенский дом», «Островенская церковь», «Старая дорога», «С горы», «Март», «Осенний вечер». Все эти места мне очень знакомы, близки. Картина «Омут» — это места, где было когда-то имение Затишье. «Осень близ дремучего бора» — в этот бор я ходила по грибы. Моя родная речка Съежа, в которой я с братом ловила раков, куда пригоняла на водопой корову, — в картинах «Золотая осень» и «Весна. Большая вода». В «Последних днях осени» — деревенька Петрово (совсем рядом с деревней Мурово). Места, где была потом Гарусовская школа, — в картине «Вечер».

Еще задолго до того, как я обо всем этом прочитала в книгах, я узнавала свою родину в картинах Левитана в музее и по репродукциям.

4 мая 1895 года Левитан писал Чехову: «Мой адрес: по Рыбинско-Бологовской ж. д., станция Троица (позже — это Удомля. — А. В.), имение Горка...» 23 июня 1895 года Левитан зовет Чехова и уточняет: «Ехать надо с поездом по Николаевской ж. д., до станции Бологое, а там пересесть на Рыбинско-Бологовскую дорогу до Троицкой (то есть до Троицы-Удомли. — А. В.)». Писать это мне доставляет истинное удовольствие — будто я еду на свою родину. Именно так я и ездила (с пересадкой на станции Бологое).

Летом 1894 года Левитан был в деревне Островно, в имении Ушаковых, а в 1895-м — в Горке, имении Турчаниновых. Чтобы попасть из Мурова в Островно, нужно подняться в гору, спуститься к речке Съеже, перейти ее по лавам, далее вдоль берега — недалеко — будет Островенское озеро и само Островно, куда ходили односельчане в церковь, на кладбище, на почту и в лавку. Часто и я туда ходила.

Мне была мила родина в любую погоду: и когда назойливый дождь делал «дороги кислыми», и когда он пузырьками падал в дорожную пыль (до

сих пор помню запах летнего дождя, смешанного с пылью на дороге), и когда февраль наметал «кривые дороги», и когда лен цвел (нежно-голубенькие цветочки), и когда предгрозы: налетит сильный, но не холодный ветер, клонит ветки, резвится, потом потемнеет небо... и гром с молниями... ливень, а после недолгого дождя как хорошо бегать по лужам босиком...

А утонувшие в сугробах избушки; из окошек — теплый свет керосиновых ламп.

А когда на озерах журавли!

В конце 50-х годов мой Виталий отважился на поездку со мной в мой край. Наверно, из любви к Чехову: захотел посмотреть места, куда он приезжал, но и полюбопытствовать, что за край породил меня.

Были в бору, из которого выход к озеру, где когда-то была усадьба Турчаниновых, — жаль, что незадолго до нашего приезда умерла старушка, которая «носила господам в усадьбу ягоды», видала Левитана и барынь. Было ей тогда лет восемь.

Усадьбы, конечно, уже давно не существовало, но в зарослях у озера мы обнаружили след вросшего в землю фундамента. Так же угадывалась акациевая аллея, ведущая к озеру, где в то далекое время была сооружена купальня.

В XIX веке эти места были нетронутые: леса, озера, реки, болота, ручейки, боры, холмы. Сейчас в этих краях, где Удомельское озеро, построена атомная станция. Многих деревень уже не существует: природа изувечена, старики вымерли, молодые по городам разъехались.

И. Репин, приехав в эти места, воскликнул: «Это же для пейзажиста земля обетованная! Это же сама Россия — вся душа ее, вся прелесть... это как песня»...

Актер Николай Мордвинов в дневнике за 1956 год об Удомельском озере записал: «Люблю я это озеро. Какой-то удивительный покой входит в душу. Такое умиротворение!.. Эпическое, былинное озеро... вот-вот проснутся богатыри, покачают головой и скажут: до чего же вы суетные люди стали! На душе покой, величественно, и нервы скоро уложатся на место, и сердце перестанет скулить и ныть»...

Энциклопедия и другие книги сообщают о Калининской области: человек здесь обитает с первобытных времен (XII — VI тысячелетия до н. э.). Этот край беспокоили монголы, литовцы, шведы, поляки. Первое упоминание об Удомле относится к 1478 году, когда великий князь Иван III конфисковал земли новгородских феодалов, боровшихся против присоединения к Москве. К великому князю на Удомле переходило 50 сох, то есть 150 пахотных дворов («Соха — это три обжи, а обжа — один человек на одной лошади орет» — так новгородцы ответили Ивану III на вопрос, что такое «соха»).

«Захарка» А. Г. Венецианова — мой земляк (деревня Софонково). Близ Удомли жил изобретатель радио Александр Степанович Попов (деревня Лайково). Его жена была первым врачом удомельской больницы, а ее братья учительствовали в этих местах.

Люди, давшие мне жизнь.

В деревне Доронино (20 верст от станции Удомля) жил парень — мой будущий отец Орлов Василий Павлович. В деревне Мурово (в 4 — 5 км от Доронино) жила девушка Елена Алексеевна Пожарская.

Молодежь этих деревень на вечерки, гулянья, посиделки друг к другу не ходила (у каждой деревни для этого был свой «приход»). Когда и как встретились мои будущие родители, я в разные годы узнавала из рассказов бабушки, тетушки, от мамы.

Земляки, вспоминая мою маму, говорили: «Девка была видная — русоволосая, белозубая, зеленоглазая, статная, всегда аккуратно одетая, даже на полевых работах, работающая, ловкая в работе, смелая, на вечерках, гу-

ляньях была заметной, веселой». В праздники — нарядная: в кашемировых юбках, атласных кофтах, батистовых платьях — ее одевала крестная, служившая в горничных в Питере: привозила и присылала свои и барские обноски, а Лена умела «пригнать их по своему стану». Мать-вдова не могла бы так одевать трех дочерей. Работы во вдовьем крестьянском хозяйстве дочкам хватало (в доме, в поле, в огороде, в лесу). Образование могла дать детям только начальное. Мама моя ограничилась тремя классами.

— Не до учебы сиротам, — говаривала бабушка (мамина мама), — а к тому же твоей матери трудно давались задачки, хотя на стихи, песни, рассказы — одним словом, на всякие прибаски — память была хорошая.

Выросла Лена; стали к ней свататься — всем отказывала.

Анастасия Трофимовна, мамина крестная, перешла к действию — прислала из Питера жениха, солидного уже мужчину, служившего у господ вместе с нею в одном доме.

Об этом событии мама в 1945 году, а ранее бабушка рассказывали мне так (восстанавливаю бабушкин в основном рассказ):

— Все девку уговаривают, а ей будто шлея под хвост попала, и в оглобли не ввести. К приходу жениха невеста лицо сажей вымажет, юбку в навозе извозит — и сидит с ведьмовой улыбочкой. А когда жених в последний раз нацелился невесту уговорить, она уж такой срам учинила... Жених входит в сени, а Ленка шасть на печку... Лежит, свесивши зад с припечка. При его повлении не шелохнулась, не повернулась, так он и разговаривал с ее задницей: «Ах, Леночка, вы не заболели, случаем, пардон?! Пардон, Леночка, слазьте вниз для разговору... окончательного, пардон. Я очень вам симпатизирую, пардон!» Ленка раздраженно ответствовала, еще сильнее выпятив зад: «Ты сейчас от меня отвяжешься, вражья сила... У меня на твой „пардон“, сейчас начнется „пердун“», — и испустила (с хохотом) непристойные звуки... Жених удалился, бормоча свои «пардонь». Возвратившись в Питер, о невесте отозвался деликатно: «Очень уж неприветливая ваша крестница...»

В деревне жил парень — Василий Волков, степенный, неулыбчивый, молчун. Он любил Ленку (сам мне признавался после войны, будучи пожилым человеком). Они одногодки, вместе с голыми задами в детстве кувыркались в траве. Мама же его «держала за подружку». Когда Василий уходил в армию, то отозвал Ленку на задворки и признался в любви. Уговаривал ждать его.

Ленка отшучивалась: «Конечно, дождусь. Ведь кроме деревни ни тебе, ни мне ничего другого не предвидится, так что служи, возвращайся — встретимся в этом же огороде». Василий вынул из-за пазухи иконку и велел Ленке перед иконой повторить сказанное. Желая успокоить «подругу», не понимая серьезности момента для Василия, Лена повторила, что встреча состоится в этом же огороде. Хохотала при этом.

Когда он вернулся и посватался к ней — напрочь отказала. Он ей сказал: «Ты грех на душу берешь... Ты же перед иконой обещалась ждать». Лена простодушно ответила: «Что обещала — то и выполнила. Замуж не вышла и с тобой в огороде встретилась. И теперь замуж не собираюсь. Ты, Василий, хороший, но мне с тобой скучно — уж больно ты молчаливый».

Женился он после маминого замужества. И всю жизнь, когда маме бывало трудно, она вспоминала Василия Волкова: «Это Бог меня наказывает за Ваську... он любил меня... Вот как тихо живет со своей Прасковьей — не пьет, не курит, жену не бьет, трудолюбивый. Они с Прасковьей пара подходящая — оба молчаливые, неторопливые: загорись одежда на них, не поторопятся тушить, походку не изменят. Это не по мне».

Ольга Трофимовна не одобряла дочерние «капрызы» и разборчивость: «Какого тебе принца надо? Не подобает так бесприданной сироте заноситься».

И однажды явился Ленкин «принц» — в лаптях, в полосатых домотканых портах, тоже безотцовщина бедняцкая. Похоже, это произошло в 1917 — 1918 году. Ленкина младшая сестра Мария пасла корову у речки. Проходивший мимо парень спросил, как короче попасть в Мурово. Манька полюбопытствовала, к кому он идет.

— Иду невесту глядеть... Слышал, что дочка вдовы Ольги жениха по душе выбрать не может. Если мне понравится, с ходу и посватаюсь...

— Что же ты в таком затрапезном виде? Тут один из Питера приезжал свататься: пальто с бобровым воротником, а на каждом шагу городское слово твердил... наверно, из-за этого слова и отказала... А ты в лаптях!

— Пусть полюбит серенького, а беленьких-то сдуру любят, — самоуверенно ответил парень. — Главное в том, чтобы мне понравилась девка...

— А ты что же — войдешь в избу и прямо скажешь, что пришел девку смотреть?

— Нет, я исподовольки: сначала для прилику спрошу — нет ли в доме табачку... посижу, посмотрю невесту...

И пошел белобрый парень в Мурово. Действовал согласно своему плану. Невеста понравилась. Раньше молодые никогда нигде не видели друг друга. И вдруг парень сделал предложение. Бабушка насторожилась:

— Окстись, парень! Нешто так делается?! Не много ты гостил, да много увидел. Хватит лясы точить, иди своей дорогой!

Уходя, парень сказал, обращаясь к Лене:

— Жди на днях сватов...

Бабушке самоуверенный жених-самозванец чем-то не понравился. Ленка загадочно отмалчивалась на материнскую воркотню, подолгу шепталась с подругой Дунькой, недавно вышедшей замуж.

Вскоре нагрянули сваты по всем правилам. И притихшая Ленка сказала матери:

— А ведь я, мамка, пойду за него замуж. Он — моя судьба, так сердце мне подсказывает. Понравился он мне.

И никакие уговоры матери подождать да поглядеть, получше узнать жениха на Лену не действовали.

— Смотри не ходи потом к матери жаловаться! Не узнавши броду, кидаешься в воду! Вишь ты — судьба! Судьбу-то надо тоже обмозговывать...

Но Лена настояла на своем...

И после венца Лена Пожарская стала Еленой Орловой, в 1918 году переехала к мужу в деревню Доронино, где у нее не было ни знакомых, ни родных. А горевать и плакать ей суждено было с первых дней замужества. Ласковый и внимательный муж очень быстро переменялся, на глазах померчал, погрузнел. Самое странное было в том, что он внезапно исчезал, ничего не объясняя, а по возвращении долго спал. Однажды ночью молча ушел, накинув полушубок прямо на исподнее белье. Вернулся утром и лег спать... На Еленины вопросы отмалчивался. С кем посоветоваться? Может, у него давняя сударушка имелась и его к ней потянуло? Может, колдовство или порчу кто на мужика навел? А может, жена так быстро разочаровалась?

Решила никого ни о чем не расспрашивать, а выследить.

...Однажды ночью Василий резко отстранился от ласк жены, встал и ушел. Она тихонько за ним следом, притаилась — видит, пошел к сараю, где сено хранилось... Выждала и вошла в сарай — муж лежал навзничь на полу, и его выламывало, било. Сначала она пыталась растормошить его, сдержать судороги, понять, что это такое с ним. Поняла и ужаснулась — муж припадочный... Первая мысль — о будущем ребенке (она вчера ему сообщила, что забеременела). Сидела и плакала над успокоившимся и спавшим мужем — над своей судьбой.

На этот раз муж признался, что припадки (но легкие) были у него и раньше, но после лечения не повторялись уже очень давно. И Василий

рассказал жене о себе все, что должен был бы рассказать невесте: в подростковом возрасте он был зверски избит своим старшим братом (он же был его крестным). Мама тут же определила, что этот случай и мог вызвать болезнь. Но отец не согласился, сказав, что первый раз он ощутил в себе что-то неладное, будучи на службе в армии. Случай, которому отец придал роковое значение, произошел в первый год его службы на флоте (Балтийском). В одно из воскресений он и служивший вместе с ним двоюродный брат — Иван Сундуков — получили увольнительную и отправились в гости к знакомой девушке Ивана, которая пригласила и свою подругу, чтобы была пара Василию. Время было летнее. Моряки причепурились и весело шли по полю, потом лесом. Вася Орлов всегда носил с собой иконочку, которой мать благословила его в армию и с которой наказывала не расставаться ни при каких обстоятельствах. Иконочка — Николай Чудотворец. На этот раз она была в кармане брюк. Солнце пекло, иконочка раздражала — натирала бедро, оттопыривала карман. Некрасиво. А перед девицами хотелось предстать в лучшем виде. Пришла мысль избавиться от нее. Сделал он это при выходе из леса — забросил в кусты, замечая место, чтобы на обратном пути подобрать... А потом шел и все мучился: «Как скверно я поступил... бес попутал... накажет Бог». Попросил Ивана подождать под предлогом, что надо к лесу вернуться — живот, мол, разболелся (Иван не видел, как Василий избавлялся от иконки). Но не нашел Василий иконку...

...В гостях был мрачен из-за слабости и сильной головной боли. Сказавшись больным, ушел из гостей один. Искал иконку. Измучился, но не нашел. Состояние ухудшилось, началась рвота. На следующий день стало сводить ту руку, которой выбросил иконку.

Прихожу к выводу, что отец мой был с очень неустойчивой нервной системой, самовнушаемый, мнительный. Значит, мучился мыслью — не может не наказать Бог за расправу с материнским благословением. Василий считал, что грех великий сотворил уже тогда, когда только мысль в голову взбрела — выбросить... «Надо было сразу читать молитвы: „Не введи меня во искушение и избави меня от лукавого“, а я даже про это забыл».

Болезнь с тех пор стала развиваться, и он был комиссован из армии. Обращался к врачам, к знахаркам. Припадки прекратились. Врач (в Твери) предупредил: нужно беречься от травм, ушибов, переутомления, нервных потрясений, не выпивать. И еще добавил: «И лучше бы не жениться». Что вкладывал в последнюю фразу врач? Заботу о больном или о возможном его потомстве?

Избавившись от припадков, отец решил, что выздоровел, захотел иметь семью, «жить как все», хотя и помнил слова врача «и лучше не жениться».

Сватовство, свадьба, первые брачные ночи — это же волнения! Мысли о Божьем возмездии за иконку были живы. Постоянный страх — как бы не начались припадки. Все это могло вызвать «джинна из бутылки»?

Так вот и стала мама жить-поживать в замужестве, жалея и мужа, и себя. Менять жизнь не собиралась: «Крест свой взяла перед Богом, и нести его надо до конца».

В марте 1920 года родился у них сын — Вася. Детство ли тяжелое, война ли причиной, но Вася нервы имеет некрепкие, вспльщив очень.

В последние годы жизни моей тетушки я дотошно выспрашивала все об отце. Вот некоторые из ее рассказов.

Я раньше всех заметила в нем какую-то порчу (как сказала бы древняя деревенская бабка), но никому об этом не сказала потому, что не поняла, что с ним было в тот момент. Свадьба. Молодые прибыли из церкви. Перед тем как сесть за свадебный стол, помолились. Пока люди рассаживались, Василий отошел в сторонку, прислонился к стене очень побледневший. Я слезала с печки (что-то доставала) и увидела (другие в суете ниче-

го не заметили). Он как-то выгнул к стене голову, чуть набок (такое ощущение у меня было, что это против его воли произошло), и также повело его руку в сторону... Это было мгновение, потом он выпрямился и пошел к столу, сдвинув брови.

Отец твой был недурен лицом (ты в молодости очень на него была похожа, теперь же в тебе много материнских черт). Блондин. Чуть полноват был для молодого мужчины, некоторое высокомерие в нем чувствовалось, самоуверенность — особенно это было видно во время сватовства. Он как бы думал: «Вот всем отказывала, а мне не отказала», — и будто уверен был, что не откажет.

Характер не мягкий. Были случаи, что руку на жену поднимал (эта дикость в деревне считалась нормой: не бьет — значит, не любит), но в их семье это была редкость. Других женщин замечал, не прочь был на сторону посмотреть, при случае не отказывался выпить.

Ровным настроением не отличался: то хмур, то зол, то весел, то грустен. Это, наверно, от болезни. Часто бывал задумчив, молчалив. Славился как хороший плясун, но любил, чтобы его упрашивали долго.

В хозяйстве не практичный. Планов вынашивал много, к выполнению намеченного подбирался очень долго и далеко не все выполнял. Да и планы-то не конкретные: не задания себе, а мечты: «А вот если бы сделать...», «А что, если я сделал бы...». Дело мог бросить на полпути к завершению, и тогда лицо выражало радость избавления. Собранностью не отличался. Любил поесть и ел медленно.

При многих своих недостатках был требовательным к другим. Любил обратить внимание окружающих на себя.

В начальной школе учился очень успешно: за три года окончил четыре класса, с похвальным листом, а у взрослого память слабела, особенно в последний год жизни.

Приближение эпилептического припадка отец предчувствовал. Он сам объяснял это так: «Будто сигнал какой пробежит по руке, и я знаю, что надо уединиться, лечь навзничь на что-нибудь мягкое, чтобы синяков было меньше, так как что-то со мною будет происходить...»

Был май — июнь 1922 года. Отец и мать помогали справить полевые работы в бабушкином хозяйстве. Отец на сей раз очень торопился, мало спал, так как и свое поле в Доронине ждало его рук. Был отец очень задумчивый, часто маме говорил:

— Ленка, как ты одна без меня будешь успевать все делать, имея на руках ребенка, — (третий годок шел Васе), — да в положении... А я могу не успеть справиться с делами...

Мама бранилась, расстраивалась:

— Что ты заладил, как столетний старик. Переработался — так отдохни, успеем все сделать.

Именно в это лето он упорно стал говорить о смерти.

А когда в деревне умер кто-то и жгли стружки от изготовления гроба и наблюдали, на чью избу потянется дым (считалось, что в этом доме будет следующий покойник), отец стоял у калитки бабушкиной избы. И дым пошел на бабушкину избу, на отца. Он спокойно и грустно сказал:

— Я и без этой приметы знаю, что очередным покойником в Мурове буду я. Только вот как же сын-то мой, Васенька, без отца жить будет...

Мужики ему сказали, мол, а при чем тут ты, ты же доронинский, а не муровской — эта примета тебя не касается.

— Не стоит меня разуверять в том, в чем я уверен. Только я хотел бы дым от моих стружек направить не на чей-то дом, а в небо.

7 июня 1922 года (отцу 24 года) утром он был особенно грустен, часто ласкал сына. Отец и мать работали на лошадях в поле за деревней. Бабушка велела им ехать домой — завтракать. Отец поехал раньше мамы. С горы она видела, как он подъехал к дому, слез с телеги, облокотился на изго-

родь и смотрел, как мама едет к деревне. Когда мама подъехала к дому, отца у изгороди не было. «Значит, или спустился к ручью умыться, или уже за стол сел, материны блины ест — до чего же он любит блины!» — подумала мама. Но в доме хлопотали только бабушка и сестра Маня, собирали на стол.

Прошло порядочно времени, когда наконец надо всем садиться есть, а Васи нет. Вышли позвать его, но нигде не нашли. Мама затревожилась: «Ну где ему быть?! Уж не с припадком ли он спрятался!»

Нашла его мама. В хлеву. Лежал ничком, уткнувшись лицом в солому, без признаков жизни. Очевидно, внезапность припадка не оставила времени найти нужное положение тела. Задохнулся. Страдая от удушья, пальцами проборонил землю под соломой, а может, бессознательно хотел помочь себе поднять голову, но с судорогой не сладил.

Мама свалилась около него. Кровотечение. Она была беременна мною, я родилась через 5 месяцев и 18 дней. Нервное потрясение повлияло на плод.

Представляю эту картину: покойником ли заниматься, вдову ли с ребенком спасать. Ближайшая медицинская помощь — за семь верст. На подводе привезли фельдшера — он и смерть засвидетельствовал, и маме помог.

Беременность сохранилась. Но маму это-то как раз и тревожило: во-первых, нормальным ли родится ребенок. Да и с двумя детьми на руках как вести крестьянское хозяйство, хоть оно и бедное: корова, лошадь, четыре овцы, куры. Но все равно даже ее ловких, молодых, работающих рук не хватит — поле, огород, дети, дом, лес (заготовка дров на зиму)... Четыре года нелегкого замужества, двое детей... и в 25 лет вдова (муж был на год моложе).

Не хотела мама второго ребенка: тайком от матери и сестры прыгала с лестниц, таскала тяжелые мешки и корзины, несколько раз кряду приподнимала груженую телегу, но бабушка это заметила, пристыдила:

— Ангельскую душушку задумала погубить в утробе?! Грех-то какой на душу берешь! Богу было угодно, значит, мужа прибрать, а дитю жизнь дать... Какого ни родишь — помогу выхаживать.

И я родилась 25/XI 1922 года наперекор всем — неподходящим для матери и для меня — обстоятельствам.

На свет появилась я в деревне Доронино, в отцовском доме. Тетушка Маня (крестная моя) присутствовала при этом, помогала маме.

Бабушка Ольга Трофимовна при мне вслух размышляла о своих дочках. Я тогда училась в третьем классе.

— Дочка Анна на восемнадцатом году умчалась в Питер, курит. Как муж терпит? И чего в городе хорошего — одна суета. Елене досталась вдовья жизнь в двадцать пять лет, а что это такое — мне знакомо. Она убежала тоже в Питер — от трудностей. Манька в девках родила — тоже непросто позор было перенести. Так и не устроила свою личную жизнь. Но делом занята: учительствует — трудная эта работа. И эта курит. Анна хоть папиросочку в пальчиках держит, а Манька — самокрутку из махорки. Видно, крест на себе как на бабе поставила. Стрижется под мужика и пиджаки носит... Но хоть одна дочка возле меня осталась — Бог ее за это вознаградит. И на тебя она смотрит как на дочку, хоть и бывает строга. На строгость родных обижаться не надо — эта строгость от желания тебе добра.

Из раннего-раннего детства осталось несколько кадров. Наверно, я была еще очень мала, когда одна пустилась путешествовать по деревне — брат, похоже, отвлекся, не заметил. Пугающе огромной показалась мне деревня, но идти хочется только вперед, узнать, что там — за поворотом... Там очень интересно: пруд (то есть я не знала, что это такое, меня манила вода), но на пути к воде стоял гусь... Гусь шипел и, наклонив к земле голову, шел на меня. Это было страшно. Кто-то резко схватил меня, сделал ата-та по попке, и вот я — на своем крыльце...

Я постарше — снова запомнившееся: пришел к нам слепой сосед по прозвищу Коля-Кыса и кидает меня к потолку. Он жил долго. Я знала его стариком. После войны, будучи в отпуске в деревне, увидела его, подошла, напомнила — и он улыбался, моргая слепыми глазами. Тогда я уже знала от мамы, что этот Коля-Кыса жалел и любил мою маму, просился к ней в дом: «Буду тебе помощником, ребятишкам — нянькой», но мама-то понимала, что этих функций ему станет мало очень скоро, а потому ответила:

— Ты добрый сосед! Но пойми же, что ты не столько мне помощником в моем положении станешь, сколько дополнительной обузой. От двух несчастных счастья не будет — по судьбе нашей бороной прошли.

Жил Коля-Кыса в своей избенке один. Несмотря на слепоту, сам себя полностью обслуживал. Ходил с палочкой довольно быстро, ступая ногами мягко, тихо, точно кошка, идущая поверху неровного забора. Он приходил к нам, детям, в отсутствие мамы и пел песни, сказки рассказывал. Помню его большую кудряво-лохматую голову, пухлые розовые щечки, глаза-щелочки. Приходил всегда с гостинчиком: то морковинка, то конфетка, то пряник.

Совсем ли он был слепой? Ходил по деревням очень уверенно. В деревне над ним подтрунивали:

— Ты, Коля-Кыса, наполовину притворяешься слепым. Слепой, слепой, а какую симпатичную вдовушку рассмотрел!

А он, не обижаясь, с улыбкой объяснял, что его, одинокого и увечно-го, тянет к таким же одиноким и несчастным, особенно к детям.

Ленинградской блокадной зимой 1941 — 1942 года мама по ночам рассказывала о своих вдовьих мытарствах, читала наизусть «Мороз, Красный нос», чтобы отвлечься от мыслей о еде. Судьба ее была схожа с судьбой некрасовской крестьянки. Мама тоже ездила в зимний лес за дровами и от усталости прислонялась к стволу сосны, и ей также хотелось замерзнуть-уснуть. И только мысль о «детушках-сиротинушках» возвращала к жизни, давала силы сложить на дровни заготовленное топливо и плестись домой.

Время от времени меня и брата (чаще меня одну, так как Вася, хоть и мал, уже был помощником маме) брали бабушка с тетушкой в Мурово. Помню, что в Мурове мне нравилось, в Доронине — нет.

Более четкие воспоминания сохранились с пятилетнего возраста.

1927 год: Васе — восьмой год, мне — пять. Мы у бабушки в Мурове.

После пятилетнего вдовства мама снова вышла замуж.

То, что я помню, и бабушкин рассказ об этом — соединяю.

Была не зима, не лето, скорее — хороший осенний денек. Мы с братом были в огороде. Бабушка появилась перед нами чем-то встревоженная, быстро умыла нас у колодца и повела молча домой. За столом сидела наша мама, необычно улыбчивая; рядом с нею незнакомый кучерявый дядька. Мне показалось, что бабушка сердито ткнула нас на лавку рядом, а сама отошла к печке, облокотилась на нее, скрестив на груди руки. Тетушки почему-то не было. Все долго молчали. Мне было тревожно, скучно, любопытно и непонятно. Может, сейчас бабушка станет жаловаться на нас нашей маме? А при чем дядька?

Бабушка заговорила первой. Речь ее мне ничего не разъяснила, ибо смысл слов не был понятен (мне, уже семикласснице, бабушка в лицах вновь воспроизвела то, что говорилось тогда).

— Похоже, несерьезный ты парень, если идешь в дом к вдове, на двоих детей! Груз этот, — бабушка указала на нас, — тебе не будет нужен, и дети при непутевом отчине больше чем сироты. Видно, хорош гусь, коль девки замуж за тебя не идут.

— Разные бывают девушки и разные вдовушки. Такая вот вдовушка стоит ста девушек. Я люблю Елену, а значит, и груз, — кивок в нашу сторону, — мне тяжелым не будет, — ответил дядька как-то очень весело.

— Одумайся, Ленка, пока не поздно! Чтобы поднять детей, нужна опора — основательный, степенный мужчина, а этот — вертопрах какой-то: он мальчишкой выглядит, — волновалась бабушка.

Тридцатилетняя Елена весело ответила матери:

— Что ты, мама! Посмотри, какой он красивый — одни кудри чего стоят! Он любит меня — все будет хорошо! Чего мне без мужа-то бедствовать — устала я...

Бабушка и на этот раз повторила фразу:

— Что ж, жить-то тебе, но с жалобами потом не приходи.

Сергей Иванович Кудряшов (по-деревенски — Серега Кудряш), родом из деревни Шеберино (совсем в стороне от наших деревень), пришел жить к маме в Доронино — законным мужем. Человеком, мужем, отчимом он оказался, мягко говоря, очень беспокойным, жестоким, пил (скорее всего, был запойным), зверь в опьянении, хулиган и мазурик, как бабушка его определяла.

С отцовской избой он быстро расправился: уговорил маму построиться на хуторе — вдвали от деревни, а эту деревенскую избу продать. Построил на хуторе малюсенькую избушку и переселение к лесу называл «выездом Кудряшовых на хутор, к природе», а деньги от продажи отцовского дома пропил. Пока строились и переезжали, мы с братом жили у бабушки. На хуторе мы понадобились как няньки, так как от этого горького союза появились двойняшки — мальчик Толя и девочка Шура. Родились они 12 апреля 1928 года. Брату Васе шел девятый год, мне было шесть с половиной лет. Конечно, понять, как жила наша семья, я еще не умела, но ничего хорошего из того времени не запомнилось, его просто не было. Было трудное и страшное: отчим бьет маму, я хочу есть, спать, хочу покоя, хочу к бабушке. Ни смеха, ни сказок, ни игры, ни книжек; ребенок обязательно бы запомнил такую сцену: «семья дружно сидит за столом». Этого не было. Но было: мама тайком от Сереги сует нам хлебушка, торопливо, боязливо прижмет нас к своей груди... от этой ласки выступали слезы на глазах матери и детей.

Постоянное наше занятие — нянчить малышей; постоянные чувства — страх, усталость, желание ласки.

Если отчим не в запое, не в «бегах», то работал с мамой в поле (это летом). Зимой же он ездил торгашом по округе (что-то вроде коробейника) с мелким товаром.

Уходя в поле, отчим ставил на стол горшочек с манной кашей для малышей и наказывал нам:

— Это ребятишкам. Но если вы съедите хоть одну крупинку — я все равно узнаю и накажу... До нашего возвращения спать ребятишкам не давать! Пусть спят ночью, чтобы я мог выспаться.

Четверо детей — одни в поле у леса, в избушке с маленькими двумя окошками. Выход на улицу — прямо из дверного проема: крыльцо еще не сделано. День длится долго. Брат и я выполняем наказ отчима — изобретательно не даем детям спать. Измученные малыши и няньки — скулим в четыре голоса. А как вкусно пахнет ребячья каша.

Поздно вечером Серега поил детей чем-то ароматным (светло-коричневое молоко). Что это был за напиток, я узнала от мамы спустя много лет. Оказывается, это было «томленное в русской печке молоко с маком» — яд для малышей. Спали они всю ночь без просыпу, и утром их было не добудиться...

Отчим часто (пьяный) бил маму. Как бил!! Это самые страшные воспоминания. В трезвом состоянии он говорил маме: «Ленка, научись молчать, когда я пьяный, а то я за себя не ручаюсь — могу и убить. В меня, пьяного, сам черт вселяется». Но мама не умела молчать, высказывала, что о нем думает, и была бита, бита... Не зря всю жизнь потом мучилась головными болями и каждый раз говорила: «Как не болеть моей несчастной го-

ловушке, если паразит Серега только печкой по голове не бил, а уж о печку-то постоянно... Да! Пожито трудно и поработано через силушку — вот теперь и болят все мои косточки».

Мне даже сейчас страшно вспоминать. А какво было тогда! Сжимаясь от страха, от жалости к маме, от ненависти к отчиму, какие недетские планы отмщения вызревали в моей голове. Если бы Серега тогда мог угадать, представить, сколько раз и какими способами я мысленно его убивала: «вилами... топором... ножом...». Как мечтала скорее вырасти, чтобы иметь силы расправиться, рассчитаться с ним за мамины муки, за наше мрачное детство.

Сестричка Шурочка болела. Стонала, на свет божий глядеть не хотела: поднесу к окошку — она отворачивается. Кудряшов никогда не брал ее на руки, часто говорил: «Эта — не жилец... Скорее бы умерла». Сына любил.

Шурочка не дожидая до года. Хорошо помню утро: отчим проснулся, разбудил маму и стал рассказывать приснившийся ему сон: «Набрал полное лукошко яиц... К чему бы это?» Мама ответила: «Когда яйца во сне видишь — кто-то явится». Отчим сказал, что яйца видеть — к покойнику, и велел пойти посмотреть в зыбке ребятишек (детей укладывали спать в одной люльке). Мама, поднимаясь с кровати, заметила мужу, что Шура сегодня ночью не стонала — спала спокойно, может, пошла на поправку. Потом, уже наклонившись над люлькой, мама вскрикнула: «Ой! Шуринька-то мертвенькая» — и заголосила.

Днем отчим делал гробик, мама обрядила Шуру. В гробу лежала нарядная девочка, как кукла... Отчим заколотил гробик, взял под мышку и куда-то понес. Мама поплелась сзади, громко вопила, а Серега на нее шикал. Я не чувствовала жалости, потому что не знала, не понимала, что такое смерть. Был только страх от чего-то таинственного.

Куда же они понесли Шуру — мне было также неизвестно. Мрачному Васе я высказала возникшую в моей голове мысль: «Если Серега не принесет Шуриньку обратно, нам с тобой будет легче нянчить одного Толю».

Действительно, вдвоем нянчить одного ребенка нам казалось делом легким. Чаще выползали на улицу, подменяя друг друга. А когда наступило лето — совсем хорошо: поле, луг, лес. Людей поблизости не было — мы росли дикарями. Иногда приходил слепой Коля-Кыса, рассказывал нам сказки. Он жалел нас. Конечно, приходил не в избу, а когда мы были на улице и мама с отчимом — в поле.

С наступлением зимы эти маленькие радости кончались. Одежек для улицы у нас не было. Отчим пил все больше. Мама нервно огрызалась на него, он становился свирепым, бил часто маму.

Меня он почти не замечал. За что-то один раз наказал: взяв за ухо, раза три стукнул лбом о стол. Чувствовала не боль, а злобу и униженность. К Васе придирался, изгалялся над ним. Напьется к ночи (часто гнал свою самогонку) — обязательно погонит Васю в деревню за табаком. До деревни не близко, мороз. Мама протестует, заслоняя собой сына:

— Не пуцу мальчишку в темень на мороз! Ему обувь нечего!

Маме — затрещина, а Васю выталкивает на улицу:

— Ишь волчонок! За материну юбку спрятался? Я курить хочу. От мороза и от страху быстрее добежишь, ничего с тобой не случится!

Чаще, после шума и драки, пьяный Серега исчезал из дома надолго. Мама прибирала в доме. Серега был жесток не только с мамой, но и неодушевленные предметы страдали от его руки: все изломает, изрежет ножом, изрубит топором и исчезнет. Мама рассказывала, что Серега после буйства «ударялся в бега», что он сам себе был не рад. Возвращался «тверёзый» с тючками, молча извлекая из них хозяйственные вещи: тюль, крупу, ситец (маме на кофту), и начинал чинить искромсанные им столы, скамейки, сам менял занавески, которые в буйстве изодрал на клочки. К

маме не придирался. Мама оживала, хорошела, мурлыкала песни, весело хозайничала. Но через некоторое время в Серегу опять «вселялся дьявол».

Внешние Серегины черты: невысокий, худощавый, кучерявый, смуглолицый, узкоглазый. А ведь мама его любила, коль все терпела. Прожив жизнь, я так и не смогла понять, как можно любить мужика, поднимающего на тебя кулаки.

Мама скрывала от бабушки и от сестры свое «счастье», но до них доходили слухи. Всему бывает конец.

Страшный вечер накануне Рождества 1930 года. Мама убрала в избе к светлому празднику. Горит лампадка, на чистом полу полосатенькие половички, мы, дети, сидим на полу и смотрим на огонь... потрескивают поленья... хорошо, тихо, чисто. Но вот ввалился пьяный отчим, и все вмиг пошло прахом: он куражится, орет, придирается к маме, она его урезонивает... Ссора. Мы шарахнулись по углам.

...Отчим наотмашь бьет маму по лицу, у нее из носа кровь. Мама хватается нас и утаскивает в хлев, укрывает соломой от холода, всхлипывает, причитает:

— Все! Лопнуло мое терпение! Детушки мои, кровинушки, простите меня!

Рядом шумно вздыхает наша коровка. От холода и нервного напряжения мы все в трясучке, стучим зубами... Матерящийся отчим и сюда пришел:

— Ах, вам со мной тесно в избе! Казанских сироток из себя строите вместо того, чтобы ласково хозяина встретить... Я вам сейчас покажу!

Оторвал нас от мамы, приказал убираться в избу, на печку. Закрывл на засов хлев, проследил, как мы выполняем его приказ, уходим, а мама осталась в хлеву. Серега вышел из избы с ременными вожжами в руках. Вскоре из хлева донеслись крики, брань, мамины стоны, удары... Наконец мамин отчаянный крик: «Детушки мои, моя смертушка пришла!» Мы плачем. Я прошу Васю: «В сенях стоят вилы... выколи Сереге глаза, чтобы он не смог увидеть маму... Иди! Ты уже большой...» Вася сказал, что он побегит в деревню — кого-нибудь приведет, а мы чтобы с печки не слезали. Вася взял с собой валявшийся у печки косарь (чем лучину щиплют) и вышел... Наступила зловещая тишина. Стекла в морозных узорах. Я перетащила Толю с печки на кровать и пошла на улицу. Отчим пятился к саням (он так и не распряг лошадь, на которой приехал домой), а Вася шел на него с вилами... Я зажмурилась... Потом — скрип полозьев, и пьяный сатана исчез. Вася прогнал меня в избу. Потом — буквально вползла с помощью Васи мама.

Лицо сине-черное, кровь, прохрипела: «Сидите дома, я вернусь, не бойтесь — он уехал». Со стоном кое-как оделась и выползла за дверь... Мы втроем улеглись на кровать, как щенята, прижавшись друг к другу.

Ночью появился отчим. Хлопал дверь, то входил в избу, то выходил. Заглянул к нам на кровать, залез на печку, слез и спросил:

— Где матка ваша?

Мы молчали.

— А-а-а! Догадываюсь — она в Мурово поползла, бабке вашей жалиться на меня! Поеду и я в Мурово — с мировой.

Уехал, чего-то глотнув из чайника, стоявшего под кроватью.

Мне хочется очень пить. Я прошу Васю дать мне воды из этого чайника. Вася сердито мне сообщает, что в чайнике не живая, а мертвая вода — умрешь от нее. Ага, думаю я, значит, Серега подохнет, он пил из чайника! Свесившись с кровати, я увидела под нею много бутылей с водой. Прошу Васю дать попить из бутылки. И он с таинственной улыбкой разрешает сделать один глоток. Вася знал, что под кроватью самогонка (отчим к празднику гнал ее). Первым приложился к бутылке Вася, передал бутылку мне... Глоток — и я задохнулась. Потом опять: он — глоток, я — глоток. И стало нам тепло, и страх прошел.

— Больше нельзя, — сказал разумный брат, — а то в Серегу превратимся.

Я уснула.

Под утро появился отчим. Тихо, не рывком, открыл дверь и степенно вошел в избу, подошел к зеркальцу, висевшему у окна, и мы увидели на его скуле огромную сине-красную шишку и струйку запекшейся крови — от шишки до шеи.

— Васька, слей мне воды... Полюбуйся, как разукрасила меня твоя бабка! Ай да теща, ай да Ольга Трофимовна! Вот теща так теща! А ведь могла и убить! Ведро-то в ее руках было тяжелое, цельнолитое да к тому ж с мукой... Как звезданула — аж искры из глаз посыпались, даже зашатался я...

Вася не двинулся с места, а самогонка сделала его храбрым, он сказал:

— Сам умывайся! Так тебе и надо! Где мама? Ты убил ее, паразит? Я пойду в деревню, соберу народ, если ты не уйдешь от нас насовсем, сейчас же!

Серегу молча умылся, медленно и страшно подошел к кровати, взял спящего Толю, укутал в полушубок и одеяло, уходя, тихо сказал:

— Жива ваша матка — она в Мурове у бабки вашей... а уходить мне правда надо...

Днем (истинно — Рождество! Избавление от отчима!) к нам из Мурова пришла наша кока — мамина сестра. Успокоила: «Мама ваша жива, отлеживается на печке в Мурове», справилась с нехитрым хозяйством, расстроилась, что Серегу увез Толю куда-то...

Оставив Васю за хозяина до прихода мамы, меня к вечеру стала собирать в дорогу — решила взять пока к себе в Мурово. Сходила в деревню за Колей-Кысой, чтобы он побыл ночью с Васей.

...И вот я ухожу в другую жизнь. Сюда я никогда не вернусь, да и возвращаться будет не к чему — мама тоже переиначит свою жизнь, печальное это гнездо будет нарушено навсегда. И никогда больше не встречусь с ужасным отчимом.

Мне жаль брата — он сиротливо стоит рядом с Колей-Кысой... Маленький хозяин в избе. Он понимает, что так надо.

Плечусь, уцепившись за подол тетушкиного полушубка. Занесенная дорога, мороз затрудняют мои шаги. Иду почти вслепую — голова укутана так, что еле-еле оставлена щелочка для глаз. Тетушка все время обещает скорый конец, но путь от этого не становится короче. Я очень устала.

Наконец мы шагаем по протоптанным в сугробах тропочкам деревни Мурово. И вот я в тепле, чистоте, уюте бабушкиного дома. На столе медная керосиновая лампа, начищенная до блеска, с очень чистым пузатым стеклом.

Бабушка причитает, вытряхивая меня из армяка, платка:

— Ах ты моя бедная сиротка, как устали твои ножки! А как же там Васенька-то остался?

С печки слезает мама. Обняла меня, заплакала.

Когда мы были еще в дороге, тетушка не велела мне говорить маме, что Толю увез Серегу. Да я и не могла ничего рассказывать — какое-то оупение нашло: ни чувств, ни мыслей, а только бы спать...

Позже бабушка мне рассказывала о том предрождественском вечере, когда моя мама прибрела в Мурово и не имела сил влезть на печку.

Серегу в тот раз понял, что переборщил и что маминому терпению пришел конец, коль в таком ужасном виде отважилась показаться матери, а характер тещи он знал: она могла обратиться в суд — следов на теле мамы было достаточно, да и нас могли взять в свидетели. Вот он и поехал в Мурово улаживать отношения.

Когда он появился в сенях, бабушка шла из чулана с тяжелым ведром (кованое, дно с выступом), наполовину наполненным мукой. Серегу еще не протрезвевший был. Наигранно-весело спросил бабушку:

— Не здесь ли моя-то? Что-то фыркнула и бросила дом, детей, мужа на произвол судьбы перед светлым праздничком!

Бабушка ни при каких обстоятельствах не переходила на крик. Походка у нее была степенная, речь размеренная, четкая, слова весомые. На этот раз ее гнев был столь велик, что, задыхаясь, она ответила:

— Твоих здесь никого нету, а есть моя дочь, изувеченная тобой, и моя материнская боль. Думаю, меня Бог простит, если я тебя сейчас убью! — и ударила его ведром по лицу.

Он зашатался, шишка росла на глазах. Вытирая кровь, весело сказал:

— Молодец, тещенька! Спасибо! Если бы Ленка имела твой ндрав и отбивалась от меня не языком, а ведром, толку бы было больше. — Вылез на улицу и поехал на хутор.

На другой день мама слезла с печки и в сопровождении тетушки ушла домой. Тетушка вернулась через неделю, с Васей. Серега с маленьким Толей поселился у своей сестры в Шеберине. Мама подала на развод. Серега подал в суд заявление о том, чтобы Толю присудили ему. Суд удовлетворил его просьбу, несмотря на мамин протест (она очень любила мальчика). Судья сказала, что детей поделили справедливо и что вам, Елена Алексеевна, остается предостаточная нагрузка, а маленького Толю отец клянется растить ответственно... Он же не против ваших свиданий с сыном.

— Какой же из него отец, если он пьяница и зверь! Он загубит ребенка!

Вскоре Кудряшов тайком от мамы уехал с маленьким Толей и своей сестрой (она была незамужняя) в Ленинград. Мама очень тосковала о сыне, горевала о своей страшной судьбе, потеряла интерес к своему дому, хозяйству, к нам, детям... Тетушка часто ее навещала на хуторе, так бабушка велела:

— Иди, Маня, что-то сердце у меня за Ленку беспокойно... Как бы чего не надумала...

И однажды кокочка успела вынуть маму из петли (об этом она мне сказала уже взрослой). После этого страшного случая мама, исхудавшая, посеревшая, безразличная ко всему, сказала бабушке, что хочет тоже уехать в Ленинград:

— Здесь мне жизни не будет! Тошно мне! Хочу увидеть Толеньку, попробую отсудить его... И начну новую жизнь... попробую.

И вот мама прощается, уезжает. Бабушка крестит ее и спрашивает:

— Не за Серегой ли бандитом ты кидаешься вдогонку? Если такую мысль держишь, на мою и Манькину помощь больше не рассчитывай.

Мама, благодаря бабушку и тетушку, низко поклонилась:

— Серегу я теперь ненавижу. Устроюсь — постараюсь долго не обременять вас своими детьми. Чуть опереюсь — заберу к себе. Мне без них одной там тошно будет. Да и ты, Манюшка, не устраиваешь свою жизнь — все на тебя легло.

Кокочка повезла маму на станцию. Сани заскрипели, мама, уткнувшись лицом, лежала ничком, не оборачивалась.

Избенку и утварь кока продала в Мурово бобылке Фросе, а деньги от продажи «охоротьев» (бабушкино слово) послала маме. Первое время мама собиралась пожить у сестры Анны...

Мама уехала в феврале 1930 года.

После отъезда мамы тетушка упросила знакомую учительницу принять Васю в первый класс, а ведь это уже февраль. Вася — переросток. Ему одиннадцатый год. Читать, считать умел хорошо, писал хуже. Тетушка каждый день занималась с ним, и он успешно перешел во второй класс. Учительница хвалила его и жалела, что не приняла его сразу во второй класс.

Тетушка работала в совхозе, за 7 км от Мурова. Потом там же — в сыроварне. Каждый день своими маленькими ножками (33 — 34 размер) топала 14 км (туда и обратно по 7 км). Активистка. Работала по ликвидации неграмотности (вела ликбез со взрослыми).

Деревня Мурово — 17 изб, крытых дранкой, редко — соломой. Две прямые линии домов. Дома окнами смотрят друг на друга через улицу. За домами — огороды, бани, сараи. У каждой избы — палисадник, какие-нибудь деревца. Гумно было общее для всех. Огороды и палисадники обнесены тыном (изгородь из круглых палок). Один конец улицы — на горке. Бабушкина изба — в середине. За деревней озеро. Кругом поля, леса, перелески, болотца, речки, ручейки, деревеньки, а к ним тянутся дороги, дорожки, тропы и тропиночки. Каждому жителю было понятно, о каком месте идет речь. Если говорили: «На Никулихе» — это путь на котлован; «Березник» — место на пути в Островно; «Васина моложа», «Яшина моложа», «Дедкино болото» — это болото мой прадед, Альфим Филимонович Пожарский, получил от барыни в подарок. Очень был рад подарку, много сил употребил, чтобы его осушить, но отвоевал лишь клочок.

Наша изба в отличие от некоторых других изб, состоящих из «зимней» и «летней» половин, разделенных сенями, — это одна комната, разделенная шкафом и русской печкой надвое (часть за шкафом и печкой называлась кухней). Русская печка с лежанкой занимала большой угол, пожалуй, четвертую часть всего помещения; большая и добрая, дарившая тепло, приют, хлеб, вареву, изгонявшая из тела хвори. Зимой и даже летом старики грели на печке свои постанывающие кости, дети играли на ее обширной спине, а зимой оттаивали сосульки с обуви и одежды после гулянья. А я любила лизать печку: на печном плече была мною пролизана глубокая канавка — запах глины очень притягивал, особенно во время дождя, когда влагой пропитывалось плечо. Значит, чего-то в моем организме недоставало. Кальция? Калия? А может, многого другого, что содержалось в глине и в печной побелке (мел). Я и сейчас с наслаждением вдыхаю в метро запахи от протечек (пахнет глиной, известкой) — безошибочно мой нос улавливает этот запах, по запаху нахожу взглядом отсыревшие места.

Во времена моего детства деревенская мать не выносила на улицу маленьких детей, как это делают сейчас (гулять с ребенком) — ребенок жил в доме: в зыбке, на печке, на полу у печки. Грудничкам совали в рот соску — нажеванный черный хлеб в холщовой тряпочке.

Народившихся телят, ягнят приносили в избу и держали, пока не окрепнут их ножки. Так же делала и моя бабушка, и меня очень радовало общение с малышками-животинками.

В избе у бабушки и тетушки — идеальный порядок и чистота, четкий распорядок дня. На некрашеном полу цвета светлого желтка — выдержанные на морозе и прокаленные на солнце домотканые половики в полосочку или в клеточку. Кровать за кисейным пологом, такая же кисея висит складками между шкафом и печкой, то есть отделяет кухню от комнаты. Кисея — это вроде тюля сеточка (сами ткали — из отбеленных льняных ниток). Вдоль стен — лавки, тщательно отмытые щелоком, песком, голиком или лаптем. Матрацы набиты отборной золотистой соломой — длинные пучки соломы складывали пополам и ровно распределяли в домотканой наволочке.

Подушки перовые, на них наволочки с прошивками. (Сами вязали крючком.) Одеяла шили сами: ватные, летние дерюжки и одеяла из разноцветных лоскутков, эти особенно красивые — я любила разглядывать квадратики, ромбики, треугольнички с различными рисунками.

Много комнатных цветов, а летом — букеты полевых цветов. Начищенная медная лампа с пузатым прозрачным стеклом. В переднем углу — бабушкины иконы: Георгий Победоносец, Смоленская Божья Матерь, Николай Чудотворец и много других, но маленьких иконок, — все иконы обрамлены белоснежным длинным полотенцем с красивым шитьем на концах. Синенькая лампадка.

Стол в кухне, стол в комнате и еще стол в углу с тетушкиными книжками и разными вещицами: шкатулочка, безделушки. Каждой вещице раз

навсегда определено свое место. Стены не оклеенные, дерево гладкое, чистое — каждый год на Пасху потолок и стены моют, как пол. Причудливые рисунки дерева — сучки, расщелины, отшлифованные временем. Изба древняя, но пока крепкая.

Бабушка Ольга Трофимовна много потрудила за жизнь. Вдова, подняла на ноги четверых детей. Говаривала: «И нет во мне ни одной праздной косточки, не натрудившейся жилочки». Немногословная, несуетная, с виду суровая (вернее — серьезная), но отзывчивая, справедливая, не криводушная — с людьми не хитрила. Ее уважали в деревне. По «избам не ходила» попусту (местное выражение), у себя людей привечала. Не сплетничала, не судачила и в других этой черты не терпела. За советом и помощью в бабушкин дом приходили часто: как же, в доме грамотный человек — тетушка, о которой говорили: «Может и умеет похлопотать, любую гумагу выправить и составить...»

Брат и я в общем-то были детьми послушными, исполнительными, но дети есть дети — их надо «наставлять на путь истинный», и бабушка с большой ответственностью старалась «сделать из нас людей» — не оставляла без внимания ни одной малой провинности: куда девалось тогда ее немногословие! Усаживала на табуретку и, не прекращая работы по дому, читала нравоучения провинившемуся весомо, но без крика. Слова ее были настолько проникновенные, что хотелось попросить отстегать прутом вместо этих нравоучений, наставлений. Если бабушка наказывала с помощью прута, то делала это без слов. Правда, могла иногда для ясности при каждом ударе произносить слово, разъясняющее, за что стегает: «Не ври!» — или: «Не отлынивай от дела!» — или: «Не бери без спросу!» Но, как правило, предпочитала нотацию, а не прут. Тетушка могла дать хороший тычок и за ремень бралась и страшно гневалась, кричала (как приступ). Долгие бабушкины нотации изнуряли душу, а от гневливости тетушкиной тупел мозг. Считаю, что наши провинности не всегда требовали таких строгих мер. Правда, бабушкино-тетушкино воспитание сделало нас людьми скромными, трудолюбивыми, честными, терпеливыми, послушными исполнителями, но как дальнейшая жизнь показала — безынициативными, не верящими в свои способности и возможности, умаляющими свои достоинства. Из таких людей получаются только ведомые, а не ведущие экземпляры.

Из бабушкиных «наставлений на путь истинный»:

— Запомни, что ты — сирота! Что это означает? А то, что всегда ты должна знать свое место среди людей. Если ты этого сейчас не поймешь, то всегда люди будут тебе его указывать. Чтобы избежать этого в будущем, учись сейчас быть тише воды и ниже травы. Удел сиротства — всем уступать, угождать, смолчать, если даже незаслуженно обидели. Если к тебе не обращаются — не встречай в людские дела и разговоры. Сироту люди всегда считают как бы лишним на земле. Сироту только Бог жалеет, а он как учит: ударили тебя по одной щеке — не отворачивай другую щеку... По людским законам сиротство — как бы вина. Поэтому, если кто на тебя придет ко мне с жалобой, я не стану разбираться в твоей правоте или неправоте, а с ходу накажу за одно то, что пришли с жалобой на тебя... Учись терпеть и прощать... Защищать сироту трудно... Помолись в уединении — Бог утешит... Я по себе знаю, что такое сиротство. Когда я овдовела, так не знала, как потрафить людям... Ведь как было? Выйдешь печальная и заплаканная, люди осуждают: «Ишь разнюнилась, раскисла...»; улыбнешься на людях — опять не так: «С чего ей веселиться-то...»; оденешь почище — говорят: «Поскромнее бы вдове-то надо одеваться»;пустишь свой вид — опять неладно: «Молодая баба, а вид какой!»

Я молча слушала бабушку, всхлипывая, а все утро мое протестовало. Всхлипывала от обиды на уготованную мне в будущем жизнь. И чтобы спастись от напороченных бабушкой бед, я старалась как можно меньше

общаться с людьми. Не желая подставлять ни одной щеки, я со стороны наблюдала жизнь, любила уединяться, общаясь с природой, с животными.

Если проанализировать мою жизнь, то так и осталась во мне склонность к уединению, созерцанию, невмешательству, если не просят. Была выносливой и терпеливой, исполнительской, но нервничала, если вдруг меня куда-то выдвигали или хвалили, что-то ответственное поручали: одолевали сомнения — по заслугам ли, сумею ли, а не обидится ли тот-то и тот, кого не выбрали. Теперь понимаю, что такие люди в одно и то же время надежны, удобны (обязательно выполняют порученное), но и кажутся окружающим скучными примитивами, вызывают удивление, порой раздражают окружающих своей «правильностью», чрезмерной скромностью.

Позже, когда я оказалась в Ленинграде, мама сказала: «Ведь ты же белая ворона! Да разве может с таким характером выстоять человек среди людей?!»

Но бабушкин-тетушкин дом был в то время нашим домом, и мы его любили, так как чувствовали, что нас жалеют, любят, о нас заботятся, мы сыты, одеты, нас замечают... Строгость не отпугивает детей. Дети чувствуют, когда к ним безразличны близкие, и очень хорошо умеют извинять слабости этих близких людей, умеют каким-то чувством понять главное.

Тетушка получила образование малое (церковно-приходская школа), но была способная от природы, любознательная, любила читать. Любую работу тетя и бабушка делали основательно, доброту. Не терпели в деле «тяп-ляп». Поэтому дом, хозяйство (полоса в поле, огород, скотина) сохранились истово, хотя достаток был мал. Дом держался трудолюбием.

Тетушка также имела склонность к общественной работе. Росточку малюго, одевалась на мужской манер. В платье я ее никогда не видела. Пиджаки, куртки, юбки, блузки, даже галстук, когда в моде они были. Русские сапоги, валенки, полушубок, шапка-ушанка, а летом простоволосая, иногда белый ситцевый платок, повязанный «молодушкой». Стрижка под бокс.

Работала в совхозе (за 7 км от деревни): и трактористка, и на сыроварне, и в совхозной столовой бухгалтером, наверно, тогда называли — счетовод.

В 1932 году (ей было 30 лет) плохо было с учительскими кадрами, и ее выдвинули в учителя начальных классов в деревню Альфимово (в 2 км от Мурова) и одновременно послали заочницей в педагогическое училище. С ходу начала учить детей и сама училась, а когда кончался учебный год в школе, ехала сдавать сессию (Вышний Волочек, Бежецк). Одновременно — учительские конференции в Удомле. Годы несытые. На сессиях питалась в столовках — суп из воблы, сухомытка. Курила махорку, когда не было папирос. Рано испортила желудок. Личную жизнь не устроила. Когда-то предал любимый человек, от которого у нее появился ребенок (незадолго до моего появления на свет). «Родить в девках» в деревне считалось позором. Когда я родилась, ее Верочки уже не было в живых. Все это надо было пережить. Пережив, поставила крест на себе. С мужчинами дружила по-мужски. Да, после смерти дочери уехала на время в Питер к сестре Анне, чтобы очухаться от пережитого. Что еще о тетушке? Любила споры. В споре была азартная до затмения. Если была не права, какое-то время все равно не могла критически к себе отнестись, а потом «охолонет» и признает неправоту. Такой я ее запомнила с детства, какой описала сейчас. Человек она была добрый к людям и добра сделала в жизни много. Неровность характера, нервность — не вина ее, а беда, часто вредила ей самой. Но люди всегда к ней тянулись, и она не жила без людей, без товарищей и друзей. Были у нее и душевные подруги — Акулина, Ганя, Олимпиада Васильевна.

Бабушка была абсолютно неграмотная. В моем представлении она такой не казалась. Речь образная, желание знать больше. Тетя по вечерам устраивала громкие читки книг с последующим обменом мнениями. Бабушка в этих беседах была активна. Очень любила «Сорочинскую ярмарку», «Ночь перед Рождеством», «Кому на Руси жить хорошо», «Хаджи-Мурата».

Брат мой Вася тоже любил уединение. Обожал рыбу ловить — вот уж там он был сам с собой. Когда возвращался домой вечером с рыбой, говорил, что у него перед глазами и сейчас только вода, поплавок и рыба. Был очень неразговорчив. Сердился, когда я лезла в его дела. Умел сбить меня с толку, затевая игру в школу: он — обязательно учитель, я — нерадивая ученица. Покажет в книжке картинку, например, где изображена тарелка, и велит сказать, как называется этот предмет. Я уверенно отвечаю: тарелка. Он смеется, называет меня дурой и внушает:

— Ставлю тебе отметку «очень плохо».

— Почему?

— Потому что это называется «талерка», запомни: талерка, талерка, талерка! Повторяй за мной: талерка.

Я протестую, так как знаю, что это тарелка. «Урок» продолжается. То же происходит со словом медведь (ведмедь), кровать (корвать) и так далее. Окончательно запутывает меня и очень доволен.

— А теперь начинается экзамен: я буду показывать на картинки, а ты быстро, не раздумывая, отвечай, что там нарисовано.

И странное дело — я произношу: талерка, ведмедь, корвать, не веря своим ушам. Брат сокрушенно качает головой и говорит:

— Не так! Надо: тарелка, медведь, кровать. Экзамен ты не сдала.

Я реву, а он смеется.

— Хочешь, я тебя рассмешу? Сейчас тебе будет очень щекотно в коленке, хотя я совсем до тебя не дотронусь, — говорит брат и шевелит над моей коленкой пальцами, приговаривая: — Ой, как тебе щекотно, ой, как тебе смешно от щекотки...

И мне действительно щекотно, и я извиваюсь и смеюсь.

Мне неизвестно, болела ли я в младенческом возрасте. Наверно, болела. Не принято было у деревенских людей тех лет обращаться к медицине — больница далеко, уповали на Бога, на судьбу, на русскую печку (все хвори лечили на ней).

По рассказам бабушки и тети, был со мной «странный случай» в раннем детстве (когда мама еще вдовела). На какой-то престольный праздник мама со мной и Васей пришла в гости к бабушке. Дело было летом. Что-бы мы не мешали в доме, нас выпустили на улицу. Васе наказали не спускать с меня глаз. Он посадил меня на травку, а сам забегался с мальчишками. Исчез. Дальше я что-то запомнила: мне захотелось пить, жарко было очень. Домой идти боялась — по дороге бегала собака...

Помню, я карабкаюсь на какие-то ворота, чтобы увидеть и покричать брата Васку (так я его называла). Помню, как я падаю вместе с воротами... Больно... хочется пить... И еще помню — пью из какой-то лужи. Нашла меня хозяйка этой избы. Я спала недалеко от канавы. Это был сток из хлева — коричневая тухлая, вонючая жидкость, а по краю канавы сочная поросль — высокая (еще бы — такое удобрение ее питало!). Похоже, что напилась я из этой канавы (на задворках соседей, Волковых).

А искать меня стали потому, что Вася прибежал домой со слезами: «Я Нюньку потерял!» Искали меня долго. Васе очень попало. Бегали ко всем колодцам, по всем огородам и даже к озеру (оно сразу за деревней). Обнаружила меня Пелагея Волкова, пошедшая поливать в огороде: поправила упавшую калитку и увидела меня. Я спала мертвецким сном. Так бабушка принесла меня домой в переднике спящую. И спала я сутки. Бабушка рассказывала мне, когда я приехала из Ленинграда на каникулы, окончив пятый класс: «Ничем, никак мы не могли тебя разбудить: и по щекам шлепали, и нос зажимали, и щекотали (ты очень щекотки боялась), и манную кашу в рот совали (ты очень любила манную кашу!), и водой брызгали в лицо, и звали по имени, и плакали... Думали, что не проснешься...

Спала ты спокойно — ни разу не пошевелилась. Слава Богу, обошлось! На следующий день к вечеру ты проснулась сама и вела себя как прежде».

Что это был за сон? От падения? От солнца? От сточной из хлева канавы?

В дошкольном возрасте у меня было воспаление легких. Кашляю. Лежу в кровати, жду не дождусь, чтобы дали вкусные «капли датского короля». С завистью представляю этого короля — он-то, конечно, мог сколько захочет пить свои капли.

За год до поступления в школу что-то случилось с ногой. Сначала появилась потребность держать эту ногу согнутой в колене. Бабушка ворчала: «Сиди нормально!» В кровати лежа, тоже ногу сгибала. Бабушка опять ворчит: «Вытяни ноги, не ставь их скамеечкой! Когда ты отвыкнешь от этой привычки?!» Дело было не в привычке — нога сгибалась в колене против моей воли, я стала хромать...

Бабушка взяла у соседа подводу и повезла в Котлован — там больница. Котлован — солидное село (7 — 8 км от нашей деревни). Приехали мы туда во второй половине дня: врач уехал в район, фельдшер дома пьяный. Велели приезжать завтра... Бабушка заявила, что не сдвинется с места, «пока не приведут фелшара». Привели. Он не хочет принимать, куражится.

Бабушка ему:

— Ах ты, кол стоеросовый! Я вижу тебя наскрозь! Увидел, что на телеге у бабки нет для тебя жареного гуся или барана? Какой же ты фершал, если больному не хочешь помочь?! Принимай, лечи девчонку, не то я до району, а то и до Питера с жалобой на тебя дойду!

...В операционной икающий фельдшер стал распрямлять мою коленку. Мне больно — я заплакала.

— А ну, девчонка, выпрями сама ногу, а если не выпрямишь — я дерну ее и оторву!

Бабушка ринулась на фельдшера:

— Ах ты, коновал! Так-то и я умею лечить! Ты лечи как следует!

— Выйди, бабка, тебе здесь не полагается быть. А девчонку надо было привозить сразу же, когда нога стала сгибаться.

Бабушка не вышла. Утешала меня.

Потом мою ногу положили в гипс — от голеностопного сустава до середины бедра, велели держать меня в постели («покой ногу») и потом опять к ним приехать.

Внимание к моей ноге деревенской ребятни было огромным. Бежали за телегой, умоляли показать, и я показывала. Утром ребятня уже стояла у наших окон: «Нюрка, покажи ногу! Баба Яга костяная нога, покажи ногу!» Мое ложе было устроено на лавке у окна. Я вставала на подоконник и высовывала наружу ногу. Ребятишки долго и молча разглядывали ее. Кто постарше — вставал на завалинку и дотягивался рукой до гипса. Другие завидовали.

Это был, пожалуй, единственный в моей жизни период, когда я была в толпе главной, ведущей силой. Такой ноги ни у кого не имелось. Мне, обладательнице того, чего не было у других, дети приносили дары: интересные стекляшки, камушки, черепки, гроздь рябины, венки из полевых цветов. Вначале такое внимание меня смущало, потом я привыкла и ждала его. Наверно, то же происходит с человеком, волей случая поставленным руководить людьми. Ха-ха!

Снимал гипс и осматривал врач. Нога после гипса плохо подчинялась мне. Возвращение из больницы на этот раз не было триумфальным — дети очень быстро разбежались по своим делам — ничего интересного в моей ноге уже не было.

В доме обсуждался вопрос, почему так внимательны были в больнице к бабушке и ко мне. Оказывается, тетушка до нашего приезда говорила с

врачом и фельдшером обо мне. Тетю там хорошо знали и уважали — со-вхозная активистка, ударница. Фельдшер ее укорил:

— Что же ты, Пожарская, тогда не могла предупредить о приезде матери и племянницы?

Тетка ответила фельдшеру:

— Значит, бобыля, у которого нет в родственниках Пожарской, ты будешь принимать и лечить хуже?

Врач объяснил тете, что из моего коленного сустава исчезла та жидкость, которая смазывает сустав. Куда она девалась и откуда вновь появилась — было предметом моих размышлений и вопросов. Домашние мои тоже объяснить не умели. «Все в руках Божьих», — заключила бабушка.

1 сентября 1931 года я пошла в школу. Тогда в школу принимали восьмилеток. Меня, родившуюся в ноябре, в предыдущем году не приняли. Может, тетка и настояла бы, но была больная нога — в школу ходить надо было в соседнюю деревню Альфимово два километра; осенняя распутица.

К началу учебного года мама прислала посылку (мне и Васе — пальто и ботинки). Первую учительницу помню хорошо (с нею дружила тетушка): очень тихая, седенькая бабушка (мне она казалась старенькой) — Соколова Олимпиада Васильевна — ласково погладила меня по голове, когда тетушка привела меня «записывать в школу».

Странно, почему-то не запомнилось время учебы в первом классе, и сейчас не могу восстановить ни одной детали из того, как училась, как учили. Провал какой-то. Вспоминается только седая голова учительницы на фоне черной доски.

В конце учебного года Олимпиада Васильевна объявила о своем уходе из школы (как сейчас говорят — на заслуженный отдых). А замены не было. Вот тогда-то Олимпиада Васильевна и выдвинула кандидатуру моей тетушки и рекомендовала одновременно направить ее на заочную учебу в педагогическое училище.

Передавая школу тетушке, Олимпиада Васильевна опять погладила меня по голове и назвала хорошей ученицей. Потом пригласила нас к себе в гости. Жила она в деревне Островно (далековато ей было ходить ежедневно в школу и из школы домой). Островно — это вроде местного центра: там почта, лавка, церковь, кладбище и так называемая «местная интеллигенция» — учителя, работавшие в ближайших школах.

Домик Олимпиады Васильевны, очень маленький, стоял на тракте. Человек она была одинокий. Единственный родственник — племянница в Вышнем Волочке. Кстати, с дочкой ее племянницы я недавно виделась в Валдае на похоронах своей тетушки. Все в доме Олимпиады Васильевны было маленькое, опрятное, уютное, интересное — «на городской манер». Я сидела на ее маленьком диване и впервые в жизни рассматривала настоящий ковер и красивые книги с картинками (книги большого формата) — книги по искусству, как бы теперь я их определила.

Незадолго до смерти тетушка в разговоре со мной вспоминала своих друзей. Я попросила рассказать об Олимпиаде Васильевне.

Оказывается, О. В. когда-то (в молодости) жила в Персии, с братом, посланным строить там какую-то дамбу. Наверно, это было ближе к 1917 году, когда Англия и Россия оккупировали Иран, а хозяйство там было в упадке и ирригационная сеть была разрушена. Брат О. В. был специалистом в этом деле. Когда в 20-е — 30-е случилось «головокружение от успехов», ретивые местные самодуры вспомнили, что «учительница Соколова жила за границей», а это может значить, что «она элемент опасный». И из школы она, оказывается, ушла не по доброй воле. В 1931 году ей было 49 лет. Она родилась в 1882 году, а умерла 30/VI 1967 года в восьмидесятипятилетнем возрасте в Удомельском доме для престарелых. Моя тетушка ее там навещала и ездила хоронить своего чудесного друга.

А тогда, в конце 20-х — начале 30-х годов, О. В. претерпела от насков ретивых, от перекосов и загибов в нашей жизни. И еще деталь: ретивым преследователем образованной учительницы, оказывается, был Федька Орлов, сын Григория Ивановича Орлова — двоюродного брата моего отца. Выдвинулся этот Федька Орлов на гребне 20-х годов и много попортил людям крови.

Из этого же разговора с тетушкой я в 1989 году узнала, что где-то на моей родине есть отпрыски Федьки Орлова, а значит, и мои родственники по отцу, в третьем-четвертом колене (Федькина дочь — Елена Орлова, в замужестве Токмакова, со своей дочерью).

Навещая родину, я непременно навещала О. В. В 1943 году, когда моя дивизия стояла на переформировании недалеко от станции Бологое, меня отпустили на денек к тетушке (каких-то 60 км пути). О. В. показалась мне почти не изменившейся внешне.

Последний раз виделась с нею в 1956 году. Мне всегда у нее было уютно, я чувствовала себя равной и забывала начисто бабушкину рабскую «философию». Всегда пили чай с медом, малиновым вареньем, с домашним печеньем. Славно было!

В августе 1932 года приехала мама (первый и последний раз после переезда в Ленинград). Приехала не для того, чтобы подышать воздухом родины своей (далее бабушкиного огорода вообще нигде не побывала), а для того, чтобы забрать меня и Васю в Ленинград.

Я как бы заново осваиваю маму — «очень уж она не деревенская», но горжусь и хочу, чтобы все люди узнали, что я не сирота, что за мной приехала мама и повезет в «свой город».

Опять особый интерес ко мне проявили деревенские ребятишки. На этот раз я угощала их конфетами, городской булкой и давала поиграть настоящим, резиновым, мячиком в лапту (это, брат, не то что самодельный мячик из тряпок!).

Маму я не видела три с половиной года. Скучала ли о ней эти годы? Наверно, скучала, думала, но умела смиряться, принимать жизнь, какова она есть. О маме вспоминала тогда, когда было обидно из-за чего-нибудь. Вспоминалась мама в летние вечера, когда бабушка освобождала от всевозможных детских обязанностей и позволяла залезть на ветвистое черемуховое дерево, стоящее в нашем огороде. Устроившись на удобных сучьях, ждала, когда «почудится» слабый паровозный гудок с той стороны, где должна находиться станция Удомля. Паровоза никогда не видала, гудка не слышала. Представляла то и другое по рассказам тетушкиным.

О маме думалось еще тогда, когда надо было избавиться от бабушкиных нотаций, как бы не слышать их. А однажды я вслух сказала бабушке (искренне, непосредственно):

— Вот уеду в Ленинград, к маме, и некого тебе будет ругать и наказывать...

Реакция бабушкина на эти мои слова была поразительная. Потом я стала говорить эти слова уже умышленно. Бабушка, всегда такая уверенная, непреклонная, сразу притихала и, уткнувшись в устье печки, будто надо угли поворошить, сморкалась, бормоча:

— Неужели тебе у нас плохо, что уехать хочешь? А что же я без тебя — моей правой руки — делать буду? Ты об этом подумала? — и вытирала фартуком глаза, обвиняя дым и жар в своей слезливости.

И вдруг разрешала то, о чем раньше я не могла долго допроситься: например, искупаться в озере, покататься на «гигантских шагах» — стоял столб на горушке, наверху столба — крючки могучие. От крючков спускались канаты-веревки, на конце — узел. Сядешь на канат, зажав между ног узел, разбежишься, оттолкнешься — и взлетишь...

Мама стала собирать нас в путь. Скоро начнется учебный год. Бабушка готовила деревенские дары: рулон холста для полотенец и скатертей,

сливочное масло, грибки, творог, сметану. Тетушка заполняла наши школьные ведомости, писала справки (она уже вошла в должность учительницы). Отдельное место — новые половики.

И вот день отъезда... Город манил своей неизвестностью, но и с деревней, с бабушкой, кокой не хотелось расставаться. Вася в этот день с утра ушел на речку удить рыбу — напоследок насладиться... И вот я бегу за ним, пора обедать и в путь-дорогу дальнюю, непонятную отправляться скоро... Васька сидит у речки с удочкой, как кочка, не шелохнется, хотя слышит мой зов. Потом молча машет кулаком, это означает: «Молчи! Всю рыбу распугаешь! Подходи тихонько!»

Идем к дому. Он несет кулан с рыбой.

— Васька, тебе хочется ехать в Ленинград?

— А мне все равно... Город посмотреть хочется, а с речкой и удочками расставаться не хочется.

...Когда стали класть вещи на подводу, прощаться, я так затосковала, что случилась истерика: рыдая, я умоляла маму оставить меня в деревне, а бабушке клялась, что всегда буду «тише воды и ниже травы». Бабушка и тетя плакали. Соседи сморкались, глядя на нас.

Не плакали мама и Вася. Мама успокаивала (в голосе некоторое раздражение):

— Дурочка, чего здесь хорошего! Деревня и есть деревня! Кончишь начальную школу, и на этом конец — потом всю жизнь в навозе ковыряться... А в Ленинграде знаешь какие школы! С портфелем будешь в школу ходить, а не с дерюжной сумкой, как здесь ходила. Вот приедем в Ленинград — арбуза отведаешь, ты здесь его никогда не увидишь даже...

Я стояла в палисаднике, уцепившись за рябинку, рыдала:

— А кто же завтра погонит в поле нашу Цыганку (корова) и Беньку (теленки)? Не надо мне портфеля и арбуза!..

Тетя едет нас провожать до Удомли. Выехали за деревню, вот спуск под горку... и исчезла из виду деревенька Мурово и махавшая платком бабушка... Как грустно... Какая нежность в груди к бабушке!

Первое путешествие. Отвлеклась. Перелески, деревеньки, люди смотрят из окошек: мол, кто, откуда и куда, зачем едут (это всегда занимает деревенского жителя).

Кокочка держит вожжи, не слишком понукает лошадку. Время от времени разрешает мне слезть с телеги — размяться, пробежаться...

...Станция Удомля. Остановка у переезда — идет товарный поезд! Так вот какой он, живой паровоз и его голос! На станции шум и суета. На вокзале — толчея: сидят, стоят и даже лежат. Мама и тетя протискиваются к окошечку кассы, стоящие там люди говорят, что «второй день стоим — нет билетов». Поезд проходной, люди едут из отпусков, школьников везут к началу учебного года.

Поезд Горький — Ленинград прибывает... Давка у кассы. Наконец появляются мама с тетей (взмокшие) с билетами. Весь народ побежал на улицу. И мы побежали. Подходит поезд, мне страшно: длинная, высокая железная махина. Наш вагон — общий. К входу в вагон протиснуться невозможно — сплошная шевелящаяся толпа. Крик, визг, мат. Тут уж не до впечатлений и ощущений. Мама просит какого-то дядьку впихнуть меня в окно вагона, говорит мне: «Занимай нам место!» — а я даже не понимаю, что это означает. Меня впихнули в окно. В вагоне толкотня, меня толкают во все стороны. Очень боюсь, как бы поезд не ушел без мамы и Васи... Но вот мы все вместе, и поезд пошел... Я спала на багажной полке под толчком, мама с Васей сидели внизу. Больше я ничего не видела и не слышала до утра.

Утром — Ленинград. Опять суета, людской водоворот, теснота. Потом садились в другой, громяющий, поезд — оказывается, это трамвай. Тес-

нее, чем в поезде: не только сесть, но и стоять негде. Затертая в ногах, города не увидела.

Долго лязгало, звенело, качало. Наконец вылезли. Объявляющая остановки тетя сказала: «Первый Муринский переулочек» (меня обрадовало звучие в названиях переулочка и бабушкиной деревни). Мама усадила меня на сундучке тут же, на остановке, не велела сходить с места и с остальными вещами пошла с Васей куда-то, нырнули в проем железнодорожной насыпи и скрылись в «лесу»... Этот район назывался Выборгской стороной. Лес — это парк Лесотехнической академии им. С. М. Кирова.

Оставшись на остановке, рассматриваю людей, трамваи, дома. Дома кажутся мне накренившимися, люди странными — снуют туда-сюда и не здороваются друг с другом, как это принято в деревне. И почему они все торопятся?.. Прихожу к выводу, что «Питер мне не нравится»... Хочется заплакать.

Но вот и мама пришла. Идем к маминому дому. Думаю-гадаю — какой дом у мамы? Красивые аллеи парка. А вот дом...

— Мама, это твой дом?

— Нет, это Лесотехническая академия, я тут работаю...

— А какую ты делаешь работу?

— Я работаю курьером.

Я подумала: если так красиво называется работа, она должна быть интересной и очень важной...

Мама подвела меня к длинному деревянному барачку, спрятавшемуся в зелени на окраине парка. У входа не было крыльца, коридор, куда мы вошли, был вровень с землей. По длинному коридору бегали женщины с кастрюлями, тазами, мельтешили ребятки. По обеим сторонам коридора — много дверей, за которыми громко разговаривали, пели, ругались, плакали. День воскресный.

Это было рабочее общежитие. Что означает слово «общежитие» — я пойму скоро, равно как что такое примус, хлебные карточки...

Мама жила в маленькой комнатке, отделенной от соседней фанерной перегородкой не до самого потолка. Одно окно, круглая железная печурка, стол, две табуретки, скамейка, кровать. На табуретку поставлена плетеная корзина (вроде чемодана), покрытая скатертью, — это мама назвала туалетным столиком. Шкафа нет.

Бедно, но чисто, уютно: оконное стекло протерто до блеска, некрашенный пол стерильной чистоты, у кровати — деревенский половичок, аккуратно и красиво заправлена койка.

За обедом мама определила наши обязанности, кто где будет спать. Света на кухню, научила разжигать примус. На кухне, как на вокзале, полно народу, чад, пар, запахи общего жития. Одна из женщин сказала:

— Ох и трудно тебе будет, Елена, на свой заработок кормить, учить двоих-то... Ты бы хоть одного привезла.

А мне почему-то все время хотелось плакать и очень хотелось оказаться в избе у бабушки и коки. Здесь ничего не грело душу, все казалось враждебным, опасным, непонятным.

На сон грядущий мама сказала мне:

— Нечего киснуть, привыкнешь! Но характер меняй, иначе заклюют тебя и в школе, и во дворе ребятки.

Утром мама, уходя на работу, объяснила, где находится школа, и велела нам самим идти оформляться.

Почему-то школу все называли политехнической. Наверно, потому, что на уроках труда постигальное столярное и слесарное дело. За учебный год каждый должен был сделать табуретку и пару дверных крючков и петель для них. Имелись в мастерской столярный станок и слесарные станочки-тиски и разные инструменты. Что все делалось «взаправду» — очень интересно. Крючок мой похвалили, а табуретка получилась неустойчивая.

Меня и брата в школе прозвали Орлом и Орленком. Вася зажил своей мальчишеской жизнью, сразу привык и освоился, нашел приятелей, а мне не велел липнуть к нему на переменах. И бродила я сама по себе, тосковала по деревне. Даже не помню, как успевала в учебе, не помнятся учителя, кроме «трудовика». Жила механически, будто во сне. Не прилепилась душой ни к маме, ни к кому ни в школе, ни в общежитии.

Ребятче население в общежитии было сплошь мальчишеским, а девочек или старше меня, или малышки.

О бедности и сиротстве напомнила школа — в начале учебного года я и Вася оказались в списке «нуждающихся детей», так как на уроки труда мы являлись без положенных рабочих халатов, а мама сказала, что из своей зарплаты «не может выкраивать на все причуды школы». К маме пришли какие-то тети из школьного совета обследовать. Вскоре нас с Васей вызвали и вручили халаты и ботинки. Я думала, что все ученики в классе получили, но староста мне объяснила, что выдали «только очень нуждающимся», и растолковала, почему я нуждающаяся: отца нет, мать — курьер и живу в бараке-общежитии.

Наконец наступили каникулы — закончен второй класс. Мечтаю поехать в деревню, а мама отрезала:

— Отвыкай от деревни! Поедете в пионерский лагерь — дают две бесплатные путевки.

На другой день мама получила денежную помощь от коки и положила под салфетку — я видела. И я решила сбежать в деревню. Эта мысль так меня захватила, что я потеряла контроль над собой, не рассуждала о том, что поступаю гадко. Откуда что взялось — я, мокрая курица, сделала все, чтобы уехать.

Как только мама ушла на работу (это было самое начало июня 1933 года), я извлекла из-под салфетки деньги, по моим представлениям достаточные для приобретения билета, и впервые за девятимесячное проживание в Ленинграде отправилась в «город»: по парку Лесотехнической академии к остановке трамвая, на которую мама привезла нас тогда с вокзала. Трамвай довез до Невского проспекта, вокзал нашла легко, но там сказали, что железнодорожные билеты продают в доме на Невском, где пожарная каланча... Выстояла большую очередь. Попросила впереди стоявшего кассиршу купить мне билет до Удомли (проявила осторожность, чтобы кассирша не заподозрила девчонку, хотя девчонке уже десять с половиной лет). «Багаж» мой состоял из потерятого портфеля с дерматиновой ручкой; в портфеле — журнал «Крокодил», спичечные головломки, мячик, хала (булка).

Поезд уходил до маминого возвращения с работы... Посадка в общий вагон в немыслимой давке... Еду... Пассажиры разместили себя и багаж поудобнее, успокоились и стали проявлять интерес друг к другу. Скоро выяснили, что белобрысая девочка путешествует без взрослых. Куда, зачем?

— К бабушке в деревню на каникулы, до станции Удомля, — отвечала я спокойно, раскладывая на коленях спичечные головломки.

— А кто тебя провожал, кто помогал при посадке в вагон?

— Сама себя провожала... Мама на работе...

— Удивительно спокойный человек твоя мама, — осуждающе изрекла очень беспокойная женщина, — мне бы никакая работа на ум не шла.

Только тут я начала понимать, что сотворила. Я еду к людям, не терпящим ослушания, лжи, а тем более — кражи. Ведь я обязана буду рассказать им правду. А мама? Я никакой записочки ей не оставила. Вернувшись с работы, она волноваться обо мне не будет — значит, в парке бегают девчонка. А когда станет темно на улице и все ребятки вернутся в барак, где она будет искать меня? Мне стало жутко. Я не могла поверить, что именно я так скверно и жестоко поступила.

— А в Удомле-то тебя будут встречать? Близко от вокзала бабушка живет? Поезд на Удомлю прибывает около одиннадцати часов (вечера), — любопытствовала та же соседка.

— До бабушкиного дома около тридцати верст. Бабушка не знает, что я еду... Доберусь сама. Пойду по столбам...

— Как это — по столбам?

— А я слышала, как бабушка кому-то говорила, что, если идти от нашей деревни все время по столбам, придешь к Удомле... никогда не заблудишься, если по столбам... по телеграфным... Так и пойду от столба к столбу...

И вот Удомля. Поезд стоит три минуты. Попутчики мои высунулись в окно, дают совет: «До утра сиди на вокзале, утром „пойдешь по столбам“, а может, попутная подвода будет...»

Поезд помчался дальше... Людей на перроне нет. Вокзал плохо освещен. А запахи родные — сеном, навозом, паровозным дымом пахнет. Вокзальное помещение маленькое. На лавке сидят цыган с цыганкой. Я не хочу на вокзале ночевать, но и «по столбам» не решаюсь идти. Хочется плакать, как только представлю маму, — она же меня ищет!..

Решила провести ночь на улице — на перроне. Какой это перрон? — без платформы. Проаживаюсь вдоль рельсов. Вдалеке, навстречу мне, движутся две женские фигуры, разговаривают. Послышался знакомый голос — голос моей тетушки. Но такого быть не может! Как могла она здесь очутиться?! Стою. Но вот подходят они ближе... и в фигуре одной из них я окончательно узнаю свою коку... Она смотрит на меня как на чудо, говорит своей спутнице:

— Антонина Дмитриевна, может, мне мерещится, но эта девчонка моя Нюнька. А если здраво рассудить, то как она могла здесь оказаться?!

Я разревелась и бросилась в ее объятия... Какое совпадение — тетушка в этот день была на учительской конференции в Удомле. А эта прогулка к вокзалу была ее традицией, именно к приходу поезда из Ленинграда.

— Когда твоя мама послала телеграмму о твоём приезде? Наверно, телеграмма пришла, когда я ушла на конференцию?

И я, как в омут головой, призналась во всем.

— Что же это ты сотворила, мерзавка! Ведь там мать с ума сходит, ищет тебя!

И поволокла меня, бегом, на дом к телеграфисту, упросила его сейчас же послать срочную-пресрочную телеграмму маме.

Ночевали мы у тетушкиных друзей, там тоже все ахали и охали, но вывод их был такой, что половина моей вины снимается тем, что я очень сильно хотела быть в деревне.

Пили чай с «текучим», пахучим медом. Утром с почтовой телегой уехали в Мурово. Бабушка всплеснула руками, перекрестилась, потом протерла глаза, спросила:

— Маня, где ты ее взяла — ведь не могла же ты в Ленинград съездить, у тебя на это не хватило бы времени?

Когда узнала о поступке «арестантки», сказала:

— Надо бы сейчас тебя отстегать хорошенько прутом, да рука не поднимается — больно уж я рада, что ты приехала. Но при первой же твоей провинности выпорю за все сразу.

Я была согласна на все, лишь бы они меня оставили в деревне навсегда. Странно устроен человек: вольная жизнь у мамы (бегай на улице хоть дотемна) не понравилась. Здесь же строгий порядок, никакой праздности не допускали — мне хочется быть здесь...

Лето пролетело. Между тетушкой и мамой шла бурная переписка, закончившаяся тем, что меня оставили в деревне кончать начальную школу (третий и четвертый классы).

Тетушка второй год учительствовала, сменив Олимпиаду Васильевну. Начальная школа — в соседней деревне, в двух избах, в одной — второй и четвертый классы, в одном помещении; в другой избе — первый и третий классы. Во второй половине каждой избы жили хозяйские семьи. Хозяйева «моей» школы — муж, жена — были «шкрабы» — школьные работники: жена — техничка в школе, муж, чахоточный мужик (плевал кровью), — вроде сторожа, возвещал начало и конец уроков валдайским колокольцем с надписью «Кого люблю — того дарю».

Во время перемен тетушка уходила на хозяйскую половину дымить махоркой с чахоточным Селезневым, а когда «болел живот» (много позже выяснилось, что она язвенница) — отлеживалась на горячей печке.

Деревенская моя школа... Я и сейчас очень ясно ее помню: половина деревенского дома в лохматой небольшой деревеньке Альфимово. Из сеней налево — дверь к хозяину дома, направо — в школьное помещение. У порога — вешалка для ребячьих пальтушек, армяков. Рядом — бачок с водой, кружка на цепочке. В этом помещении вместе два класса, без перегородок. Справа — учительский стол, доска, шкаф. Одна учительница по всем предметам, она же и «физо», и «изо», и «музо». Она же и директор, и завуч, и военрук, и политрук, и нянька, и классный руководитель, и воспитатель, и член правления колхоза, и член сельского совета и прочее, и прочее.

Адова жизнь сельской учительницы. Подвиг.

Тетушка похожа на парня, голос прокуренный. Идет урок «музо» (совмещенный для обоих классов). Как мы пели! «Дубинушку», «Интернационал». Других песен не знали ни учительница, ни ученики. Ребятишки знали частушки — их пели парни и девки на гулянках, вроде таких:

Эх, Семеновна в пруду купалася,
А кирпичина ей в штаны забралася... —

или:

А ты зачем растешь, да василек во ржи?
А ты зачем завлек, да дорогой, скажи!
А я затем расту, да чтобы рожь сгубить,
А я затем завлек, да чтоб тебя любить (или сгубить)...

Урок «физо». Зима, а по программе — упражнение «ласточка». Урок идет на улице. Одежда не по росту. На протоптанной в снегу дорожке хриплым голосом тетушка выстроит нас, покажет «ласточку», мы старательно ее изображаем. А потом просто кувыркаемся в снегу.

Чахоточный Селезнев с крыльца сипит:

— А скажи, Пожарская, пригодится им эта «ласточка», когда они вырастут и навоз станут возить, ядрена вошь?

Но чаще всего зимой уроки «физо» — это катанье с горки на санках, рывданах, расчистка дороги. Конечно, это было «нарушением программ», которые сочинялись в городских академиях. А если случалось забрести инспектору из района (наверно, его в такую глушь откомандировывали за провинность или никчемность), мы старательно изображали «ласточек», и инспектор хвалил и ставил «птичку» в акте.

Любили уроки «изо». Давались чаще свободные темы. Все очень прилично, старательно изображали свой мир: дом, огород, лес, речку, солнце в разные времена года. А вот как было сложно учительнице проводить уроки «изо», если по программе дети должны уметь нарисовать, скажем, лимон или «лампочку Ильича». В глаза не видели дети этих чудес. Тогда я бралась объяснить и нарисовать на доске. То и другое я видела в Ленинграде, хотя попробовать лимон на вкус не успела. Позже мама прислала для школы один лимон, он «жил» в шкафу много лет и усох настолько, что не угадывался как лимон.

Как же соседствовали два класса, скажем второй и четвертый, в одной комнате? Второй класс, к примеру, пишет упражнение по русскому языку, а в четвертом — стихотворение наизусть рассказывают. За время опроса второклассники уже выучили стихотворение и часто подсказывают нерадивому четверокласснику.

Все наглядные пособия сделаны руками учеников под руководством учительницы. Клеили игрушки на елку, плели венки из мха — украшали портреты, сами писали плакаты и лозунги. И очень берегли дело рук своих.

Книги — дефицит. С конференций учительницы приезжали огорченные, так как дали одну новую книжку и опять несколько экземпляров «Козы-дерезы», надоевшей нам до оскомины. С нетерпением ждали прихода «Пионерской правды», читали вслух от первой до последней страницы, добровольно оставаясь после уроков. Зимой быстро темнело, а бежать — кому полтора, а кому 3 — 4 км до дома.

Очень экономили тетрадки, карандаши. Не густо с этим было. Карандаш исписывали до крошечного огрызка, пока можно было удерживать в пальцах. Чернила носили в своих сумках (холстинный мешочек с лямкой через плечо) — чернила в чернильницах-невыливайках. Ручку называли «вставочкой».

С тех пор я благоговее перед всем, на чем можно писать и чем писать. Обожаю покупать канцелярские принадлежности, тетради, любую бумагу.

Нелегко быть родственницей учительницы, учиться у нее. Учиться средне нельзя, шалить нельзя, иначе скажут: «Ей можно, а нам нельзя!» И тетюшка меня вызывала чаще к доске и спрашивала придирчиво. Я была трудолюбива, хорошо читала, пересказывала, рисовала. Арифметика требовала много усилий и времени. С примерами справлялась легко, с задачками нередко маялась.

Одевали меня так, чтобы не выделялась. Были у меня и портфель, и валенки, но, как все, учебные принадлежности я носила в торбе, на лямке через плечо, а зимой на ногах — чуни. Это что-то вроде лаптей, но сплетенные из веревок. На чулки наматывались белоснежные портянки (из холста) и надевались чуни. От пяточной части чуней тянулись веревки — оборы, которыми крест-накрест заматывались (крепились) портянки. Обуться в чуни, чтобы было красиво и гладко, — искусство. Умение правильно, ловко наматывать портянки очень пригодилось мне на фронте. Чуни — удивительно удобная, теплая, легкая обувь. Никакие снежные заносы не страшны. А полушубочки-дубленочки! Сейчас бы! А тогда — «деревенщина, в шубах!».

Я очень любила февральские метели. Этот месяц называли «февраль — кривые дороги». Бабушка «упаковывала» меня, как капустный кочан: на голове снизу — тонкий платок, затем — кашемировая катетка, поверх ее — суконный башлык, а поверх всего — теплая клетчатая шаль, концами через грудь повязанная узлом на спине. Я и тетя первыми выходили на улицу, а по дороге к школе присоединялись ребяташки нашей деревни и соседних. Жившие на хуторах шли поодиночке. Один мальчишка-хуторянин (осталось в памяти только имя — Петя), изо дня в день опаздывая, всю дорогу бежал. Вбегал в класс, снимал шапку — от головы шел пар! Ребята смеялись: «Каспийское *могэ* (его прозвище) скоро совсем испарится!» Он вместо «р» произносил то ли «г», то ли «х» и, отвечая на вопрос, куда впадает Волга, уверенно говорил: «В Каспийское *могэ*». Сейчас он — инженер в Ярославле. Способный был ученик.

Толя Козлов (прозвище Сюмка), объясняя причину невыученного урока, говорил: «Тяжка утащир из моей сюмки книжку и изорвар на курево — потому Торя Козров поручит из-за него „неуд“».

На уроке чтения с ним такой конфуз случился: когда дошла до него очередь («Толя, читай дальше»), он, коверкая слова, читал, читал и вдруг умолк, покраснел. Держит палец на строчке и молчит. Учительнице бы

заглянуть в книжку, на чем споткнулся картавый малец, но она пригрозила «неудом», и он выпалил: «Заводы нам высрари машины...» Учительница поставила ему «оч. хор.» (по-теперешнему — 5), а класс шумел, гудел, многие лезли под парты от хохота...

Имелись второгодники, третьегодники. Им было скучно в школе. Они посещали уже деревенские вечерки, посиделки. Но исключать нельзя, изволь дать им обязательное начальное образование.

Нередко приходилось мне с тетей бывать в семьях одноклассников, неуспевающих или озорников. Тетушка просит помочь, взывает к родителям... Реакция всякая. Чаще так: «Я помогу ему (или ей) ремнем по ж...». Иногда так: «Э нет, учителька! Ко мне с этим не ходи... Моего Митьку ты вытребовала в школу?! Сама и справляйся с ним. Мне не было резону отпущать его в школу шлындать: во-первых, он дома нужен — няньки нет, а во-вторых, одежи-обужи меньше изорвал бы, сидючи на печке...» А ученик сидит тут же, слушает «мудрую» речь бати.

Но основная масса родителей понимала правильно: тянули четыре класса, а некоторые учили и дальше: в школе-семилетке, в школе-девятилетке (в 7 км от дома).

Весной разливались ручейки, речки — путь до школы становился труднее: в топких местах прыгали с кочки на кочку, с доски на бревнышко.

Можно было ходить через деревню Сорокино: путь удлинялся и через речку переходить надо было, а с берега на берег было перекинута одно бревно, основательное, но совершенно без коры — круглое. Заманчиво продемонстрировать свою ловкость. Многие ребята ходили этим путем. Мне было запрещено категорически... Если нарушу запрет — обещали великую порку.

Однажды все же соблазнили меня ребята, пошла (не хотелось одной плестись до дома); попросила не выдавать меня... Как сладок запретный плод: ловко и быстро пробежала по бревну до середины, постояла на одной ноге, помахала в воздухе другой ногой... и — о, ужас! — с ботинка слетела галоша, булькнула в воде и ушла на дно речки...

Я онемела и убедилась в верности бабушкиной проповеди «о Божьем наказании» за непослушание, ложь, воровство, передразнивание и т. д. Я позволила непослушание — и вот наказание за это. Достать галошу невозможно: в воду лезть нельзя — недавно лед сошел...

Приплелась домой унылая, с головной болью, есть не стала, рано нырнула в постель. Что делает с человеком страх: обувку свою спрятала под кровать, поглубже вместо того, чтобы сразу признаться в случившемся, отбыть наказание и пилежку и продолжать жить!.. И всего-то наказали бы за послушание и потерю галоши... Утром проснулась от бабушкиного громкого бормотанья:

— Никак не найду Нюнькину обувку... наверно, мокрые ботинки... забыла вчера поглядеть и к печке прислонить. Нашла! Конечно, мокрые... И засунула куда! Будто не узнаю... А что это одна галоша... Нюнька, где же вторая галоша???

И я от страха допускаю самый предосудительный поступок — вру, будто галоша осталась в том ручье, который на пути из школы (которым я обязана была ходить). Хотя ручей чуть в стороне от тропки...

— А зачем тебя понесло к ручью?

— С галош грязь отмыть...

— Ну и вымыла бы в любой луже, их тьма на пути твоём было, так нет — понесло лесовичку к глыбокому ручью...

Отделалась тычком в спину и краткой нотацией на тему о сиротстве, о неумении беречь вещи, которые для меня люди горбом добывают (это бабушкин укор), а тетя что-то обдумывала...

Отправились в школу. По деревне уже стекалась стайка ребятешек. Тетя (учительша!) обратилась к Шурке Волкову (мерзопакостный мальчишка со свинячьими ушами, глазами, ресницами):

— Захвати с собой багор, сачок и шест...

Ребята гадают: зачем понадобился этот инвентарь? А меня словно в ледяную воду опустили... поняла — тетушка будет вместе с ребятами вылавливать мою галошу там, где ее нет... И как же я буду товарищам в глаза глядеть — они-то знают, где моя галоша...

Так и есть. Остановилась тетушка у ручья и объяснила, что «будем вылавливать галошу, которую Нюнька-растяпа вчера угробила в этом ручье».

— Показывай, в каком месте свалилась с ноги галоша.

Вот тут мне надо было сказать правду... но опять страх... Стыд перед ребятами был побежден страхом перед тетушкой...

Мне показалось, что уже сто лет все по очереди запускают на дно ручья сачок, шуруют багром и шестом...

Вдруг подошел ко мне Шурка Волков с садистской ухмылочкой, прошептал мне на ухо:

— А я вот возьму и скажу, где девочка утопила галошечку!

— Тебе что, корова на двор придет даровая? Или другое что прибудет? — униженным шепотом, глотая слезы, спросила я его.

— Может, и прибудет! Не скажу Марии Алексеевне, если ты сегодня вечером вынесешь мне двадцать копеек... А не сделаешь так — скажу: ох и порка тебе будет, ох и повизжишь на всю деревню, — шипел шантажист-провокактор.

Этот Шурка отличался жестокостью, был лгун, вымогатель, и я слышала от ребят, что он от своего плана не отступится.

— Откуда же я возьму двадцать копеек?

— Найдешь, коль дорога собственная жопа... Могу помочь: помнишь, недавно я с тяткой был у вас дома — тятка долг отдавал твоей бабке... Куда она бумажки положила — не знаю, а серебро положила в коробку, которая на шкафу, и в этой коробке много мелочи накоплено...

...Вечером Шурка опять напомнил о двадцати копейках и опять грозил, что расскажет правду.

Так один мой несправедный поступок повлек следующие.

Да, я знала о коробке на шкафу, но деньги меня никогда не интересовали. Зачем они деревенскому ребенку? Но чтобы заткнуть пасть Шурке, я украла двадцать копеек...

А через дня два Шурка вновь прошипел:

— Мне еще нужно двадцать копеек... Если не вынесешь, скажу и про галошу, и про то, что украла у бабки двадцать копеек...

— А я скажу, что ты научил, где взять для тебя же!

— А я скажу, что знать не знаю — не брал я монету, но видел ее у тебя и слышал, как ты говорила ребятам, что украла...

...И я опять украла двадцать копеек, вручила Шурке. О! как я его ненавидела! И как сама себе была ненавистна! Опутала себя страхом и ложью, из-за этого попала в зависимость этой поросычьей морде... Я уже поняла, что он не угомонится, изведет и все равно в конце концов наядничает на меня. Другие ребята уже забыли про мою галошу, а этот будет помнить и мучить меня.

С кем посоветоваться? С бабушкой и тетей не могла: слишком затянулось вранье, надо было раньше, сразу...

Очень хотелось заболеть, чтобы тетя и бабушка боялись за мою жизнь, плакали бы, ухаживали бы... вот тут я и призналась бы им во всем (исповедь перед смертью!). Простили бы?! Но телесно я была здоровехонька... Дух угнетен — жить не хотелось...

Решила посоветоваться с Долгой бабой Ириньей.

Когда я училась во втором классе в Ленинграде, в доме у бабушки и тети появилась эта бабка. Откуда она появилась? Бродячая. Дошла в своих странствиях до нашего медвежьего угла; жила подаяннем, гаданьем. О себе

мало рассказывала. Будто родилась в Смоленской губернии, покинула родину в юности.

Придя в нашу деревню, обошла все избы, набрала подаяний, погадала тем, у кого душевная боль была, утешила обещанием «счастливого завершения волнений ваших». Вечером появилась в нашем доме. Бабушка хорошо ее накормила и предоставила ночлег. За это бабка Иринья погадала «на всех сродников»; о себе сказала, что трудно стало бродить по свету: ноги «гудут», плечи мозжит, будто мясо от костей собаки отгрызают; да и мозули (мозоли) мешают...

И сделала бабка Иринья тете и бабушке предложение: оставьте меня у себя — даром хлеб есть не буду: ты, Ольга Трофимовна, старенькая, а Мария Алексеевна в школе много занята, помощник вам не помешает. Спать буду на печке или за печкой, сигарки курить буду в сенях, в еде неприхотлива. Одежку какую с себя мне дадите и по большим праздникам будете меня отпускать в бродяжничество — от этого сразу не отвыкнешь, если смолоду заражен...

Так и осталась Долгая Иринья в нашем доме. В деревне к ней привыкли. Но если эту бабку увидить впервые, да еще где-нибудь на болоте — можно испугаться: очень высокая, тощая, во рту всего два клыка, лицо серое, длинное, обрамлено грязно-серо-седыми прямыми патлами, свисающими до плеч и по щекам, нос крупный, длинный, горбом торчит. Во рту длиннющая махорочная самокрутка. Классическая Баба Яга или разбойница — по виду. Но у этой Бабы Яги были очень красивые руки — кисти, пальцы, ногти. Неизработавшиеся руки.

В деревне ее звали не по имени, а просто бабка Долгая. Добрее, душевнее редко встретишь человека.

Когда я сбежала из Ленинграда в деревню, то сразу же с ней подружилась. Она рассказывала сказки, байки, «раскидывала на меня карты» (между прочим, предсказала в моей жизни «одну нелегкую путь-дорогу, через огонь и воду...»); рассказывала про домовых и леших, обрисовывая их внешность, давая советы, как себя вести с ними, особенно важно знать молитву, если леший тебя в лесу «водит». После таких разговоров я боялась в сени выйти.

Вот этой бабе Иринье я и доверила свое горе, страх и стыд. Выслушала со вниманием, сочувствием, пониманием:

— За вранье тебя корить сейчас бесполезно — только соль на рану сыпать. В таких случаях надо сначала помочь, а потом ругать. Любая неправда только запутывает. Но теперь уж ты не открывайся своим, потому что накажут за все сразу. Галошу выловим из речки, а скажем, что из ручья. А за вранье Бог простит твою детскую душеньку... Но остается еще мерзавец Шурка. Если он не перестанет требовать денег и дальше за свое молчание, тебе все же придется, друг мой, рассказать своим обо всем, обо всем. Конечно, наказание придется претерпеть, но ведь это за один раз и ради очищения: вытерпишь — и как заново родишься... Зато и Шурку на чистую воду выведешь... Попробую-ка я сама с ним поговорить: я знаю, как с такими надо... их же манерой... Меня судьба сводила с подобными...

Рано утром баба Иринья толкнула меня острым локтем (по разрешению моих я спала в эту ночь с нею на печке). Вышли в огород. Хозяйки еще печки не растопили. Воскресный день. Бабка Иринья, с длинным шестом, — впереди, я, трясущаяся (опять от страха), — сзади; вдоль огородов — за деревню, в поле, к сорокинской речке. Иринья попросила точно указать место падения галоши. Вслух предположила, на какое расстояние она была отнесена течением и... Тут бабка стала раздеваться: армяк из саржи, юбку длинную, на сборках, кофтенку ситцевую — долой, сапоги — в сторону. Штанов она не носила, головных платков — не признавала. Постояла в исподней холщовой станине, но и ее решила сбросить. Зачем? Как она поступит дальше — я не могла угадать. А она... полезла в речку...

Я бегаю по берегу, причитаю:

— Бабочка Иринушка! Не надо! Что ты делаешь?! Вода холодная, простудишься, умрешь, и это будет мой незамолимый грех! Вылезь, милая! Смотри — ты вся в пупырышках и посинела... Не надо мне галоши, пойдем домой, я все расскажу как есть, а если наказание мне будет жестокое — я вытерплю, но потом мы с тобой в лес убежим и будем там скрываться, пока мне не простят все мои проступки...

Но бабка, погруженная до подбородка, лязгающая зубами, медленно шла, ощупывая ногами илистое дно. Иногда выныривала, цеплялась за бревно, отдыхала (плоскогрудая, узкобедрая, жилистая — как мужик), приговаривала:

— Сейчас найдем... ничего со мной не случится... мне не такое пришлось... вот плохо — дно вязкое, галошину могло засосать... Ага! Вот она! Сейчас изловчусь, зацеплю...

И вылезла на берег с галошей в руке!..

Но к речке шло возмездие. Бежала тетя моя, и я видела — она поняла, что здесь происходит и почему именно здесь.

Оказывается, тетя тоже встала и наблюдала наш уход за огородами, но подумала, что мы пошли ловить галошу в альфимовском ручье. Соседка, вышедшая на крыльцо, спросила тетку: «Зачем Долгая бабка и ваша Нюнька так рано, с шестом ушли в сторону Сорокина?»

Наказание я приняла тут же, на берегу речки. За все оптом и по отдельности (про деньги тетя не знала). Бабушке Ирине тоже перепало, когда она металась в своей холстинной рубашке, пытаясь прикрыть меня собой, урезонивая справедливо разгневанную тетушку (в ярость ее больше всего привело то, что лгунья и мерзавка подвергла такому риску старуху; тетка очень боялась за последствия купания в речке, недавно очистившейся ото льда).

Наконец я вырвалась из крепких теткиных рук и побежала по полю к лесу, прокричав на ходу:

— А я еще мелкие деньги воровала из бабушкиной коробки для Шурки Волкова, чтобы он молчал!!!

Тетя бежала за мной и тоже кричала:

— Остановись, мерзавка! Убью-у-у! Остановись, арестантка! Убью-у-у...

Она была невменяема, это было очень страшно, и я бежала что есть силы, чтобы оказаться на краю света и не слышать слова «убью-у-у!».

Вечером меня нашла баба Ирinya в ужоге (лес, где всегда паслась деревенская скотина). Она знала мои заветные уголки и про дерево знала, на котором я устроилась, собираясь переночевать, а потом... утро вечера мудренее...

Вид мой был жалок, если бабка, сняв меня с дерева, всю дорогу до деревни несла на закорках, а внесши в избу, твердо изрекла:

— Если тронете девчонку пальцем, я на вас порчу напущу! Разве можно так наказывать человека; она сама себя, может, больше исказнила с того дня, как галошу потеряла, запуталась, нежели ваше битье. Понять надо человека и простить...

А я на тетю не обижалась. Ее гнев был справедливый. Все плакали. Лечили мои синяки и ссадины, отпаивали парным молоком.

Баба Ирinya, к удивлению всех, не заболела, даже не чихнула ни разу. Ее сразу же по возвращении с речки натерли водкой и прожарили на горячей лежанке.

Когда тетя рассказала Шуркиному отцу о гнусном вымогательстве и шантаже, в ответ учителька получила следующее:

— Ай да Шурка! Ай да смекалистый парень! Молодец! Такой не пропадет! А насчет денег... не он же крал, не он же врал, где галоша утоплена... никого не ударил, не обругал, значит, плохому он не научен нами. А уж тебе, Пожарская, виднее, как племянницу учить...

Всю эту горестную и поучительную историю я запомнила на всю жизнь: важно, чтобы провинившийся ребенок мог без страха рассказать своему воспитателю все, что с ним приключилось, тогда не случится цепной реакции в поступках. Но для этого воспитатель должен не страх внушать, а доверие, должен быть психологом, должен помнить свое детство, свои собственные поступки...

Летом легче уединиться, помечтать (я жила всегда двумя жизнями: реальной и в мечтах — выдуманной).

Бабушка вставала с петухами. Меня тоже будила рано, но корова была уже подоена и напоена. Моя обязанность — прогнать корову и теленка в ухажу на дневной выпас — холмистая, лесистая местность вдоль берега реки Съежа. Сколько прелести в этом пути. Босые ноги купаются в росе... над крышами стелются дымки — хозяйки затопили печки, отправив скотинку в поле.

Нашу корову зовут Цыганка, она черной масти, с умным лицом, ухоженная, лоснится. Ее сынок — Бенька. Цыганка из года в год приносила бычков, и называли их неизменно Беньками. Казалось, это все один и тот же. Это хорошо. К теленку привяжешься, и мысль, что его «в зиму зарежут на мясо», была невыносимой. Когда наступало время совершить это убийство, мы все уходили из дому, чтобы не видеть, как мужики-соседи готовятся это делать так просто, будто дрова рубить.

И с каким нетерпением я ждала нового Беньку. Наверно, у всех Бенек был один отец. Все Беньки были похожими: черненькие, с белой звездочкой на лбу.

Почему-то Беньки появлялись ночью. Бабушка и тетя не ложились спать, прислушивались, часто выходили с фонарем в хлев, где вздыхала, приглушенно помыкивала Цыганка.

На несколько дней нового Беньку приносили в избу (рождались они в холодное время). Я усаживалась на полу около него, давала пососать палец, потом учила пить молоко (молозиво), а когда он учился вставать на непослушные раскоряченные ножки, поддерживала. Как только окрепнет — уносили к матери в хлев. Летом Бенька — шустрый, плотный телок. И вот я каждый день провожаю коров в поле. Они сами прекрасно знают, куда идти.

Из бабушкиных наставлений: «Если тебя послали по какому-либо делу, обдумай, что еще ты можешь сделать по пути. Каждую минуту используй с толком». С этим я соглашалась, это мне нравилось — смысл дела, пользу.

В деревню я возвращалась с вязанкой сзади, охапкой спереди, на руке лукошко (с ягодами или грибами), в другой руке — букет полевых цветов (это приятно тете).

У бабушки уже готов завтрак. Решето картошки в мундирах. А какая картошка! Ароматная рассыпушка, серебрится на изломе. Не встречала я больше нигде такого сорта. К картошке подаются шкварки, сметана, грибы. На второе — бабахи (оладьи из хлебного теста). Свернешь бабаху совочком, подцепишь из миски надавленных со сливками и сахаром ягод — и в рот! Еще делала на завтрак бабушка сочни. Выпечет на сковородке тонкие пресные коржи; на корж-блин положит сдобно приготовленный творог, перегнет блин пополам и обжарит. Откусишь кончик горячего сочня — из него течет ароматный творожный сок.

За едой надо сидеть чинно, смиренно, прямо. Нельзя под столом сучить ногами — грех!

Прежде чем сесть за стол — «лоб-то хоть перекрести перед трапезой», поел — благодари Бога, что пищу на сей день дал.

И опять выполняю всякие поручения: то в подполье за помелом (веник из сосновых лап на длинной палке — заметать угли в печке, «угли в

загнеток»), то в чулан (отнести, принести), то на чердак — трубу закрыть, то в огород, то во дворе кур, цыплят кормить...

Удивительная скамеечка: она сделана, нет, не сделана, а природой дана. Человек только лишь подобрал такую часть ствола елки, где отходящие от него ветки расположены так, что могут стать ножками скамейки, то есть скамейка цельная, естественная.

Сколько лет этой скамеечке? Даже бабушка не помнит, от кого по наследству она досталась ей. От длительного пользования сиденье отполировалось настолько, что я превосходно спускаюсь на ней с горы. Для этого надо скамеечку опрокинуть на спинку, к передним ножкам привязать веревку и сесть на скамейкино брюшко, уперев спину к задним ножкам, держась или за веревку, или за передние ножки.

Бабушка улыбается, бурчит добродушно:

— Лень ногами бежать, вот и придумала, кудесница, драндулет...

В полдень сопровождаю бабушку в поле на дойку коровы. Идем иным путем, нежели скотина. Перелезаем через изгородь и перпендикулярно прогону — в гору, на березник, ибо коровы за полдня ушли сюда, к речке.

Какой вид впереди. Поля, вода, холмы, церковь в Островне, деревеньки... Бабы на озере полоскают белье, вода отражает их голоса. На несколько минут бабушка останавливается на взгорке и, крестясь, говорит восторженно: «Благодать-то Божья! И умирать не хочется!»

Скотина — у речки. Цыганка мыкнула, увидев нас, идет нам навстречу. Бенька скачет козлом. Угощаем их хлебушком с солью, бабушка принимается за дойку. Я же обязана ольховой веткой, как опахалом, сгонять с Цыганки мух, оводов, слепней, иначе она не даст доиться. Если даже нет насекомых, все равно я должна обмахивать ее. Произвожу опыт: перестаю махать. Цыганка настораживается, немного ждет, потом поворачивает ко мне морду, и я вижу ее маслянистый глаз и немой вопрос: почему?

Я продолжаю стоять с опущенной вниз веткой, а она нервно, капризно переступает с места на место, и бабушка тоже передвигается вместе со скамеечкой. Я знаю, если опыт продолжить, Цыганка поддаст ногой подошник... Бабушка ругается: «Это что же ты вытворяешь, мазурка! — это к корове, потом засекает, что дело во мне, ворчит: — Заснула, что ли? Махай! Ужо я тебе!»

Дойка кончается. Если в начале ее молочко льется в подошник длинными струйками — з-з-з-з-у-у! — теперь короткие — чик! чик! чик! Держась за поясицу, бабушка с крехом выпрямляется, накрывает подошник белоснежной холстиной, благословляет скотинку крестным знамением; милостиво разрешает мне искупаться в речке на неглубоком месте, а сама вздремнет в тенечке — такая вся умиротворенная, благодатная.

По пути домой набираем ягод, сухих палок, веток. Обедаем втроем: тетя к этому времени оставляет все свои труды. Она в доме за мужчину: копает, косит, рубит, режет, изгородь поправляет, хлев чистит и так далее.

Бабушка очень вкусно готовит. Ботвинья (свекольник), яичница в латке, картошка, тушенная в латке, со сметаной, опять ягоды.

В лавочку тетя ходила сама (в Островно или Котлован): за конфетами, пряниками, солью, сахаром. Белье стирала тоже она, а полоскать ходили вместе. Стирала в щелоке (в бочке зола и вода — туда бросали раскаленные докрасна камни). Потом отстиранное белье закладывали в «опрокидку» (чугуны без дна) и ставили в печку парить, днищем вверх. Белье после просушки на ветру и под солнцем радовало взор и, принесенное с улицы, наполняло избу свежестью.

После обеда бабушка забирается на печь (отлежаться!), а чтобы я не бездельничала, велит мне гонять в огороде бабочек-капустниц хворостинной еловой: «Не давай им садиться на капусту! Гоняй без усталости».

Деревенские ребята играют в лапту, договариваются сбегать искупаться, зовут меня... Бабушка отдыхает, а без разрешения я не имею права входить.

Вечером втроем копошимся в огороде. Огород всегда на диво пышный. Вообще все, что сработано тетей и бабушкой, — добротное, основательное.

Тетя таскает из колодца воду, бабушка держит над грядкой веник, я лью на веник воду, а бабушка разбрызгивает ее, как из лейки. Рыхлим землю, собираем улиток. Мне в подол платья кладут поспевшие огурцы, горох, морковь, брюкву... Мычат коровы. Пастух гонит стадо в деревню. Оживление: бабы и ребятишки встречаются, загоняют свою скотинку...

Тетя закладывает в хлеву корм Цыганке и Беньке, а в это время бабушка занята дойкой, я же опять «отгоняю мух» ольховой веткой...

Между вечерней дойкой и приготовлением ужина бабушка милостиво разрешает мне побегать с ребятами, «но через час ты должна быть, как из пушки, дома».

— А как я узнаю, что такое час?

— Почаще на дом свой посматривай: если я вышла на крыльцо — тебе домой пора. Стремглав беги!

Что такое час для девчонки, вырвавшейся поиграть со сверстниками? Лапта, догонялки, «гигантские шаги»! И какая же это игра, если все время поминуть, что надо смотреть на свое крыльцо?

Но если бабушка вышла на крыльцо, я уйду домой, нередко разрушая партию в игре, так как не хочется получить на сон грядущий тычок в загривок или нотацию, а иногда она раза два стеганет прутом, хоть и не сильно, не больно, но обидно...

Дальнейший ритуал давно известен, и исполняю его автоматически: отмываю ноги в уже поставленном в сенях тазу с теплой водой и мылом. После мытья ноги смазываю сметаной (чтобы цыпки вылечить).

Вечерний чай. Медный самовар всегда сверкает, — люблю посмотреть на себя как в зеркало в самоварной выпуклости — смешная вытянутая рожа. За чаем я должна выпить кружку парного молока (не могла терпеть парного, но пила терпеливо).

Бабушка вяжет мне носки, тетя читает нам вслух. Вскоре все задремывают (устали от дневных забот, работы на воздухе).

Перед сном бабушка молится шепотом. Мы уже в постелях. Шепот бабушкин становится громче — значит, проникновенно читает молитву. Она просит у Бога для всех ей близких людей, для себя помощи «во всех делах и помыслах», спасения «от всех бед человеческих и напастей», прощения «за грехи вольные и невольные»... Потом переберет всех умерших — помолится «о упокоении их душ» — рабы Анастасии (ее сестра), раба Алексея (ее муж), раба Василия (мой отец), воина Димитрия (ее сын), младенца Веры...

Бабушка молилась Богу, верила в него, но не «на публику», а интимно. В церковь ходить не очень любила и ходила редко: «Разве туда молиться ходят? Сплетни собирают, наряды разглядывают, а поклоны бьют, чтобы посмотрели люди, как, мол, я набожна! С Богом разговаривать надо наедине».

На Рождество и на Пасху ходила в церковь, исповедовалась, причащалась, навещала родные могилы.

Меня бабушка свела в церковь только один раз («выпросила у Маньки; надо же девчонку крещеную причастить»). Тетушка все-таки сопротивлялась:

— Ну как ты, мама, не понимаешь, что ставишь меня в ложное положение: вчера, накануне Пасхи, я провожу антирелигиозные беседы с родителями, учениками, а сегодня ты мою племянницу тащишь в церковь...

— Но ведь ты сама, Маня, загодя готовилась к этому празднику! Значит, в душе-то что-то есть. Вишь ты: и избу намыла, еды наготовила, все чисто и благостно... А людям ты можешь сказать, что тайком от тебя я Нюньку в церковь увела.

— Мама, мы не в Питере, где можно не видеть, не знать, куда ушел человек... А насчет наведения порядка в доме — так весной всегда чистят

в доме. Я больше для тебя, твоего праздника, делала это... Но Нюньку сегодня с тобой отпускаю первый и последний раз. И только ради тебя...

После церкви шли на кладбище, сидели у «своих могил», ели вареные яйца и ватрушку, крошили птичкам на могилы... поминали.

— Вот здесь покоится твой отец, а вот в этой могиле — мои отец, и мать, и муж.

Я смотрю на отцовскую могилу и силюсь нарисовать его лицо. Ничего не выходит — я не знала его, даже фотографии ни у кого нет.

Ближе к выходу с кладбища бабушка останавливается у маленькой могилки за голубой решеточкой и плачет...

— А здесь кто?

— Здесь покоится младенец Вера, твоя двоюродная сестра, ровесница твоя...

В деревне уже гуляли, пили, ели. В избах чисто, запашисто. Ведь к празднику бабы драили стены, потолки, полы лаптем, песком, смывали щелоком, а напоследок чистой водой. Мыть избы помогали друг другу: сегодня всем скопом у Пелагеи, завтра — у Марфы и т. д. Начищалась вся утварь: чугуны, самовары, ухваты, кадушки. Самовары чистили кирпичной пылью, перемешанной с давленной клюквой.

Мужики варили пиво на берегу озера. Первая жидкость при варке пива называется суло. Бархатистая, коричневая, густая, сладкая жидкость. Там же, у озера, детям разрешалось ее пить. Мы черпали ковшиками из корыт и пили. В этой жидкости будто не было еще пивных данных.

Ах эти предпраздничные звуки и запахи! Половики, белье — с улицы, из-под солнца; дымки, вымытые полы, отбеленные холсты... девки рассказывают, какое платье наденут... В какой деревне «гуляют» очередной праздник — известно исстари. В Мурове были гулянья в Пасху и в Смоленскую (10 августа), а Петров день — в Петровой Горе, а еще какой-нибудь праздник — в деревне Кузьминское...

Когда заканчивалась церковная служба, начинают ждать гостей. Обед во всех домах — обильный. Пьют самогонку, пиво помногу — стаканами, кружками, а то и из ковша... Почему-то несколько первых блюд: мясные щи, картофельная мясная разварка, молочный суп... На второе — студень, тушеное мясо с картошкой, ячница, макароны, если родичи из города прислали. На третье — «сладкий суп», пареная калина, брусника...

Хозяйки соревнуются, у кого на столе будет больше перемен. Молодежь ходит по улице с песнями, с приплясом; впереди — гармонист. Гармонисту — почет и уважение. Почти у каждого крыльца песни (частушки), пляски. Мужики и бабы выходят на крылечки поглядеть на гулянку молодых. Старики на завалинках.

Все больше и больше качающихся мужиков и парней. В сумерках молодежь образует парочки, ходят в обнимку. Парни — в сапогах гармошкой; фуражка или кепка набекрень (лихо!), пиджаки внакидку, в кармашках пиджаков — по цветку.

В нашем доме праздник чинный, тихий, без водки, без мужиков — учительницын дом. Бабушка, тетя, я, баба Долгая и кто-нибудь зайдет из бобылок-старушек или одиночек-женщин.

Меня с улицы в праздник забирают рано: нечего толкаться среди взрослых, пьяных и слушать матерщину. Но окно распахнуто — можно издали наблюдать.

Ни одно гулянье без драк не обходилось. Считали, что это не гулянье, если обсудить нечего. После праздников обсуждали драки и конфликты, как сейчас болельщики обсуждают футбол, хоккей. Со вкусом мужики спорили, кто кому ухо прокусил, кто кого колом по голове жажнул, кто с кровавым носом в огороде валялся...

Преддверие драки — как предгрозы: волнение среди гуляющих, парни шепчутся, вытаскивают колья из изгородей, девки виснут на парнях — ус-

покоить пытаются... но где-то бегут, топот, брань, всхлипы, удары, визги девок и баб...

На второй день праздника бабка Иринья уходила «странствовать» по деревням: «Пойду по миру!» Эта потребность была в ней неискоренима. Тете не нравились эти ее выходы по той причине, что, когда она странствовала по деревням района, ей подавали, как «помирушке» (так назывались бродячие нищие, бездомные). В ближайших деревнях знали, что эта «приблудная» бабка живет у учительницы Пожарской, но могли подумать, что бродит не от хорошей жизни. На самом деле бабка была сыта, одета, обута.

Бабушка и тетя понимали ее страсть к бродяжничеству, но только уговаривали взять в путь все необходимое, чтобы не есть чужой хлеб. Но вся соль-то для Ириньи была в том, чтобы вылететь из дома подобно «птичке Божьей»...

— Не понимаешь ты меня, Алексеевна! Дело не в ватрушках и яйцах, которыми меня будут угощать люди добрые... а в общении с людьми. На праздниках люди не спешат, разговорчивы, откровенны. Недужным совет дам, травками полечу; несчастным карты раскину — брехней своей успокою, обнадежу. И моей душе — простор и радость!

...Дней через десять Иринья возвращалась просветленная, освеженная впечатлениями, пересказывала виденное, слышанное. Дары (ватрушки, пироги, яйца) скармливала курам и теленку.

Бабка Иринья умела поставить свою подпись (коряво), хотя букв и не знала. На клочке бумаги кем-то была написана ее фамилия, и когда нужно было учинить свою подпись, она очень здорово копировала.

А моя бабушка вместо подписи ставила крест. Всегда завидовала грамотным. Однажды, держа в руках газету (вверх ногами), попросила: «Нюнька, учи меня грамоте».

Стала учить: «Вот эта буква, как баранка, — „о“, а если от баранки справа выломан кусочек, то „с“; молоточек — „т“, воротики — „п“».

На второй день застаю бабушку с газетой, в очках. Сокрушается, не может «прочитать» ни одной буквы, кроме баранки, — «о». А вот у буквы «с» отломанный кусочек от баранки не справа, а слева, а молоточка совсем нет... воротики кто-то, видно неграмотный, поставил наоборот... Газету-то она держала вверх ногами...

Обучение на этом закончилось. Но каждый день бабушка «читала» газету. Как бы она ее ни держала в руках, с гордостью говорила: «Ведь вот как хорошо грамотным быть: вот „о“, вот опять „о“ и вот еще и еще. Отчего же так много этой буквы?»

Любила бабушка, когда читали ей вслух. Как жаль, что тогда не было радио! Сколько бы интересного узнала эта любознательная старушка, взясь у печки. И мне меньше бы читала нотаций...

Забираясь на печку, велит читать ей «громко и внятно» «Хаджи-Мурата» или «Сорочинскую ярмарку», хотя читаны они ей многожды и мне надоели.

Читаю внятно, пока бабушка не засопит, не засвистит носом (заснула!). Тут я начинаю бормотать, пропуская абзацы, страницы, а потом и замолчу совсем. Через минуту-две прекращается сопенье, и бодрый голос бабушкин:

— Это что же ты мазурничаешь?! Почему пропустила, почему замолчала? Я ведь о Хаджи-Мурате все дословно помню... ну-ка листай назад и читай, как «солдат Пётра от раны помирает»...

Смерть Хаджи-Мурата волновала ее тоже; просила перечитывать. Жалея этого сильного человека. Рассуждала: «Если бы он не молчком от русских поехал вызволять свою семью, то, может, все по-другому бы обернулось...» Немного подумав, продолжала: «А все же: как волка ни корми, он в лес норовит... Но если бы он вернулся к Шмелю (Шамилю. — А. В.) — не было бы меж ими ладу».

А из «Сорочинской ярмарки» велела в первую очередь читать ей «нерусские места» (эпиграфы к главам), хотя не каждое слово она и я понимали, но смысл ясен был, и бабушку одолевала по этому поводу гордость: «Вишь ты, слова не русские, а понятно».

Осенью ходили за грибами, за клюквой. Бабушка была мастак искать грибы. Однажды забрели в болото, оно усеяно высокими кочками, а на кочках тонкие болотные березки, а под березками тьма подберезовиков — все кочки ими утыканы. На ногах лапти: удобная обувь — ногу не напорешь, и вода как втечет в лапоть, так и вытечет...

Чему меня обучили? Взбивать мутовкой масло сливочное. Мутовка — такая взбивалка-рогулька, сделана по принципу той скамеечки, из целого елового сучка.

Умела вязать кружева (прошвы для наволочек и кружево для отделки низа полотенец из холста). Раза два сажали зимой за ткацкий станок, но плохо получалось: рвались нитки, путался рисунок. Бабушка ткала тончайший холст с рисунком, разноцветные половики, сеточку вроде тюля.

Умела я «толочь гущу» в ступе пестом, чесать куделю, пряхть пряжу. Суровые нитки получались ровные, а пряхть нитки из овечьей шерсти было для меня мученьем. Подойдет бабушка ко мне, сидящей за прялкой, чтобы проверить качество ниток, и сокрушается (иногда хлопнет по моим рукам):

— И что же ты такой нерадивой уродилась! Что за нитки у тебя получаются: где жгуль, где переслежина!

Ей хотелось сказать, что нитки неровные, где толсто, а где вот-вот перервется...

Любила предвечерние часы. На чисто вымытый пол косо ложатся лучи-стрелы от готовящегося уйти спать солнца. Тишина и тихая грусть. Любила лежать на полу, на полосатеньких половичках. Полумрак. Не шевельюсь, смотрю на потолок, пока не начнут превращаться сучки, извилинки, трещинки на матице в зверюшек, в рожицы домовых и леших... или в другие образы и рисунки...

Также подолгу смотрела на фотографии, висевшие на стене под зеркалом. Однажды «ожила» тетя Настя (давно умершая бабушкина сестра, мамина крестная), вдруг повернула голову в мою сторону и пристально поглядела мне в глаза...

Боялась ходить в темноте в сени, на чердак, в хлев... Любили деревенские бабы рассказывать страшные сказки, истории с домовыми, о леших, водивших того-то и того-то по лесу. А в хлеву умер мой отец — рассказ я этот слышала от многих... Как же не бояться ребенку?!

Так подробно рассказываю о деревенском детстве потому, что я ведь вся оттуда... Хотя было постоянное тогда ощущение временности, недолговечности моего там пребывания...

Деревня, какой я ее понимала тогда, — ласковая природа и труд людей. Люди, естественно, были разные по характерам, достатку. Богатеев не было. До колхозов каждый обрабатывал свой клин — надел. Чтобы справиться с полевыми, домашними, огородными делами, люди трудились от зари до зари летом, зимой — поменьше. Знали работу, знали и праздники... Встречались и ленивые, нерадивые люди, как в любом сообществе людском.

Коллективизация проходила более-менее спокойно, но каждому хотелось поглубже понять, что это такое. Не быстро перестраивалось сознание от «моя корова» на «наша корова». Собрания созывали часто: «Григорий, Лукерья... на сходку!», «Приехал уполномоченный!».

Тетушка на сходках не только слушатель, а активный агитатор. От нее мы с бабушкой узнавали, кто еще записался в колхоз, кого критиковали,

какого нрава приезжал представитель из района: горластый или тихий, убеждающий или приказывающий. Мужики подолгу сиживали на завалинках, прикидывая, что в этом новом хорошо, что плохо; гадали, почему здоровый мужик Андрей Волков, голь перекатная, не записался в колхоз, а женку записал.

Стайка колхозников собралась идти в поле работать. Андрей Иванович Волков — чубатый красивый мужик — выходит на крыльцо и «держит перед ними речь»:

— Кол-хоз-нички, привет! Подтяните потуже ремешки, ведь не емши на работу побежали! Чегой-то вас долго собирали... скоро обед... Ох и буду же я осенью смеяться от вашего урожая! Ха-ха-ха! Ой, смотрите, и мой-то мешок с овсом, моя квашня — Польша — туда же! Смотри не прогадай: наработаешь ли ребятишкам хлеба! Я-то огородом прокормлюсь.

Андрей Волков любит покуражиться. Пьяница, ругатель, по натуре бродяга и смертным боем свою Польшу бил. Похож всем этим на моего отчима. Его дом напротив нашего — окна его и наши смотрят друг на друга.

Колхозники ушли в поле. В деревне тихо, безлюдно. Ребятишки убежали на озеро. Полдневная жара. Не над кем Волкову поизгаляться. Сидит на своем крыльце с ружьем. Вдруг встрепенулся. По улице идет бабка Лукерья медвежьей походкой. От такой походки длинный хвост юбки метет дорожную пыль из стороны в сторону. Она всегда жует жвачку (табак), и коричневая слюна подтекает по углам рта. Жует точно так — как корова жвачку. Лицо не выражает никакой мысли. Вот Лукерья приблизилась к нашим домам. Андрей Волков нацеливает на нее ружье, кричит:

— Лукерья! Беги! Сейчас стрелять в тебя буду!

И стреляет... в воздух. От неожиданности бабка побежала, тут же споткнулась, упала... вскочила, закрыла руками голову, причитает, кувыркаясь в дорожной пыли:

— Ой, матушка! Ох, батюшка! Ведь и взаправду убил меня мерзавец Андрюха! Помогите-е-е!

Андрей Волков хохочет, рожа довольная:

— Ох, Лукерья! Как же это я промазал? Ну, не сердись, пошутил я. Скучно мне...

Истосковавшийся за день от безделья, вечером Волков встречает изработавшуюся жену:

— Ну что, Польша, заработала ли семье на прокорм? Устала?

— Конечно, устала. А еще сколько в доме дела. Это ты, паразит, баклуши бьешь...

— Ничего, Польша! Я сегодня придумал одно занятие для себя. Куплю-ка я скрипку! Ты придешь домой усталая и злая, а я тебя и зачну веселить: эдак подойду к тебе со скрипкой и «пили-пили-ли-ли», — изгаляется Андрей, подступает к Польшке вплотную, изображая игру на скрипке. До того момента подступает, пока она, не выдержав, толкнет его:

— Отстань! Дай мне дела делать, проститут поганый!

Вот этого он и ждал, чтобы начать чесать об нее кулаки. А утром Пелагея вновь шла на колхозную работу. Губы запеклись белыми струпьями, пятки растрескавшиеся, синяки на лице.

Бил он ее всю жизнь. Как-то, после войны, Волков удивленно сказал:

— Ну и живучая ты, Польша! Бью-бью, а ты жива.

Никто ему не указ. Однажды сосед проколол ему вилами бедро, чтобы Андрей «охолонул» и выпустил Польшку из медвежьих лап. Одной бабе Волков размозжил палец — «не вступайся, когда муж и жена разбираются».

Шмот (Иван Петрович Фукалов) — сосед, с нами на одной линии, огороды смежные. В колхоз не вступал упорно. Налоги, как единоличник, не платил. Его постоянно прорабатывали на сходках, а он отвечал: «По-

дожду, понаблюдаю, как у вас получится с колхозом-то. Если хорошо — включусь и я, а сейчас не вижу ничего в нем хорошего».

С утра до вечера он трудился в своем хозяйстве, оберегая дочку-лентяйку (он был вдовый; сыновья давно устроились в Питере). Дочка его — пухлая, сдобная курносая бабаха — просыпалась к обеду, выходила на крылечко, сонно смотря на мир. Шмот и в огороде, и в поле, и дома все делал один; Таньку свою берег — свет в окошке. Он и полы мыл, и ткал, и капусту рубил, и вязал носки, чулки Таньке. Она была уже девка в силе, ходила на вечерушки, гулянки.

Хозяйство у Шмота — ничего лишнего: старая избенка, корова, телка, пять-шесть овец, лошадь. И сам он — в лапоточках, кругленький, низкорослый мужичонка с бабьими ухватками, лицом и голосом. Его записали кулаком. Сначала описали телку, потом — за неуплату налогов — лошадь. Постепенно извели его немудрое хозяйство. Последнее, что описали, — семенное зерно. Почему он не платил единовременные налоги? Не с чего? Ну продал бы овец, телку или отдал бы их в колхоз...

Когда его полностью «раскулачили» (ну какой же он кулак? Скорее глупо сопротивляющийся человек), он озлился и заявил: «Таперя я понял, что никогда в колхоз не запишусь!»

Не знаю, как было дальше, но только исчез куда-то Шмот. Народ говорил, что его «заарестовали и отправили на Соловки». Народ также не считал его зажиточным мужиком, тем более кулаком. Конечно, надо было бы его воспитывать, разъяснять. Он был «супротивный, не опчественный» мужичонка, и его обозлили окончательно.

И спустя несколько лет, приехав на каникулы к бабушке, я видела возвращение Шмота «с Соловков»: сидела я в своем огороде и увидела странного человека, спускающегося с горы тропочкой от березняка. Человек дошел до огорода Шмота, присел у тына и заплакал... Седой как лунь, с длиннющей гривой, с бородой. На плече нес палку, на конце ее — холстинная котомка. Через огород вышел к избе, оторвал доски с окошек (дом был несколько лет необитаем, когда Шмот исчез, дочку его Таньку взяли братья в Питер).

Человек, за которым я наблюдала в этот день, был Шмот. Зажил он бобылем, скрытно, с обидой на всех, на все... Кончил он свою жизнь в войну — плохо кончил: укрывал дезертиров, помогал им два года. Укрыл их в пустыющей заколоченной избушке, доставшейся ему после смерти сестры (в этой же деревне).

Так что же, это была суть Шмота? Или обида привела к этому неправому делу? Получается, что дезертиры знали, к кому обращаться? Дезертиры местные, из нашего района — они сбежали в Удомле, когда шла погрузка в эшелоны (первые дни войны).

Обнаружил жизнь в необитаемой избушке хозяин соседней избы: зимним морозным вечером колот дрова, отлетела от топора щепка и угодила в окно избушки; между двумя досками, которыми было заколочено окно, имелось расстояние — будто для этой щепки... Звон стекла... Шевеление в доме и вроде разговор шепотком...

Мужик онемел... Нечистая сила!..

Да! А эту «нечистую силу» искали два года спецорганы.

Я закончила начальную школу. И опять в доме заговорили о моем переезде в Ленинград, так как школа-семилетка — в Котловане (от Мурова в 7 верстах). Или ежедневно в любую погоду шагать 14 верст, или жить у кого-то на квартире в Котловане... Я понимала, что придется ехать в Питер; я оттягивала сборы, как могла. И все же 2 сентября 1935 года меня отправили...

Брат Вася жил с мамой в том же рабочем бараке, в лесотехническом парке, учился в школе. Мама работала курьером в Лесотехнической академии, Выборгский район.

5 сентября с опозданием приступила и я к занятиям. 24-я неполная средняя школа (угол 2-го Муринского проезда и Болотной улицы). Эту школу я сама выбрала — она ближе к дому.

Первый урок — литература. Учительница (она же классная руководительница) Александра Михайловна Смирнова — пухленькая, вежливая, добрая немолодая женщина с густым пушком над верхней губой. Очень запомнился мне этот день, и себя вижу отчетливо. Вошла в класс со звонком крепкая деревенская девчонка, чувствующая себя здесь чужаком. Стриженная «под горшок», неулыбчивая (волосы цвета спелой соломы), в цветном сарафане, в белой кофточке — рукавок-фонарик. Осмотрелась, поискала глазами свободное место... Помогла девочка, сидевшая за партой одна: очень приветливо улыбнулась и пригласила сесть с нею. Тоже бело-брысая. Городская девочка, толстогубенькая, с добрыми глазами Бемби. Она станет моим другом.

Урок начался переключкой учеников по классному журналу. Меня не выкликнули. Александра Михайловна обратилась ко мне, одарив теплой улыбкой:

— Новая девочка, скажи свои фамилию, имя...

— Меня зовут Нюнькой. — Ученики зашшукались, захихикали... — Ну, можно еще и Нюрой, Нюшей называть...

Ребята еще пуше зашумели, повторяя: «Нюнька... Ха-ха! Ню-ша! Ха-ха! Ню-ра! Ха-ха!»

Я молча стояла столбом и думала, что народец этот глуповат...

Александра Михайловна почему-то покраснела, спрятала улыбку и мечтательно, как бы самой себе, сказала:

— Нюнька, Нюра... Нюша, а это еще и Анна, Анюта, Аннушка... — очень красивое имя! Ребята, помогите мне — как еще это имя варьируется?

Моя соседка-Бемби предложила окрестить меня Аней.

— А ты не против быть Аней?

— Мне все равно! Хоть горшком называйте, только в печку не ставьте! — басовито отрезала я.

Опять шум и гогот...

Учительница:

— Ну вот и хорошо! К тебе очень идет это имя. Начнем урок.

Мою соседку по парте звали Таней Адрианниковой. После уроков она действительно позвала меня к себе в гости. Ее семья — мама и бабушка. Жили они в отдельной квартире, в кирпичном доме, рядом с главным зданием Лесотехнической академии. Я впервые переступила порог городской квартиры и сразу поняла разницу между деревянным рабочим баракком и «настоящей квартирой», хотя была она темновато-мрачноватой. Первый этаж двухэтажного здания. Кухня с одним окном, и в комнате одно окно, оба глядят на стенку соседнего дома, рядом расположенного. Комната небольшая, разделена шкафами надвое: вроде спальня и кабинет. «Спальня» — без дневного света, но и в «кабинете» не светлее — оконные стекла затянуты пылью, как паутиной. Это меня поразило. Единственное окно нашей барачной комнаты сияло чистотой настолько, что можно разглядеть сквозь стекло все жилочки у листочков на парковых кустах и деревьях. И тут же вспомнились горящие чистотой оконные стекла в бабушкиной избе.

В первый же день Таня сообщила мне, что отец с ними не живет — у него другая семья. Мама, Римма Васильевна, худенькая, интеллигентная, тихая до робости женщина. Бухгалтер в Лесотехнической академии. Бабушка — маленького роста, согнувшаяся, усатая, горбоносая, без талии, тоже тихая, робкая — занималась хозяйством.

Таня — я поняла сразу — главное существо в семье. И как же робели обе женщины перед нею! Это тоже меня поразило, даже обозлило. Слова и поступки Танины, какими бы нелепыми и вздорными они ни были, принимались ими как закон.

Женщины встретили меня очень приветливо, а мне хотелось уйти. Как же так можно? На каждом шагу Таня тиранила их своими капризами...

Римма Васильевна и бабушка не спросили, кто я, откуда. Для них достаточно было уже того, что девочку привела их Таточка!

За обедом Таня все время перебивала взрослых, поучала:

— Ты совсем, значит, глупенькая, ма, если так говоришь...

Римма Васильевна вобрала голову в покатые плечики, угодливо улыбнулась и замолчала. Бабушкина робкая попытка устыдить Таню натолкнулась на окрик:

— Как ты мне надоела, бабка!

Когда мы вышли погулять, я не хотела с Таней разговаривать.

— Тебе у меня не понравилось? Почему ты мрачная? Конечно, мои ма и ба вполне могут нагнать на человека тоску!.. Давай дружить, а на них не обращай внимания!

Тут меня прорвало. Начала я с того, что дружить с нею не буду, если она не поймет, чего из себя представляет на сегодняшний день, если она не изменит отношения к родным женщинам, которым так трудно живется; на бабушке латаная-перелатаная юбка, рваные шлепанцы, и она в них по улице ходит. Какой усталый вид у мамы, вынужденной прирабатывать, чтобы содержать двоих. (У нее лицо больной курицы, голова клонится на грудь, веки красные, опускаются бессильно на глаза. Сходство с курицей придают длинный, тонкий, с горбинкой нос, скошенный подбородок.)

Я распалась, долго читала ей нотацию и даже ввернула бабушкину философию — «быть тише воды и ниже травы». Сказала, что она должна помогать во всем своим близким.

Таня явно не хотела меня терять. Она призналась, что у нее нет друзей, и спросила, как она должна себя вести и чем помогать маме и бабушке:

— Они не заставляют меня чего-нибудь делать и сами не умеют ничего, а меня называют «наша звездочка»... А что значит помогать им? Папа, наверное, и ушел от нас потому, что они скучные...

— А ты скучнее их. Они дело делают: тебя кормят, одевают, учат...

— Они это обязаны делать, пока я не выросла. А что я в своем возрасте могу?

— Завтра я тебе покажу, чего ты можешь!

На другой день мы опять после уроков пошли к Тане. По моей подсказке она спросила бабушку, надо ли сходить за хлебом или еще за чем. Бабушка онемела, но вынула деньги из видавшего виды ридикюля и тихо прошептала: «Да, за хлебом я не успела сходить...»

Потом я учила Таню наводить в квартире чистоту. С нее катился пот, она похорошела, оживилась. Сокрушалась, что не умеет так ловко выжать тряпку,образить, что надо делать раньше, что потом. К приходу Риммы Васильевны окно сияло, диваны, кровати застелены, стол накрыт. Обедали дружно, весело.

Через неделю Таня умела без подсказок ходить в лавочку, выносить мусор, застилать свою постель. Она была способная ученица, но несобранная. Уроки я делала вместе с нею. Мне тоже надо было многое постичь, прочитать много книг. У Тани книги были, читала она много.

Мама и бабушка знали по три языка. С ними было интересно, а Таня их просто не знала. Они с первого дня поняли, что я действую на Таню хорошо. Поняли также, что меня надо «развить», помочь освоиться с городом. Узнав, что я живу в бараке-общежитии, попросили не водить туда Таточку: «Там барачные дети и грубые пьяные мужики, неприличные выражения».

Со своей мамой я Таню познакомила на улице. Вечером мама изрекла: «Таня похожа на девушку-дурочку, а ты человек вполне взрослый, чего ты в ней нашла?» А я относилась к ней как к беспомощному ребенку.

И потекла моя новая жизнь: школа, Танин дом, свой дом. Барачная ребятня не сразу приняла меня в свое общество.

— Сама деревенская, а водится с гогочкой, — так называли они Таню-интеллигентку.

Позже мальчишки оценили мою ловкость в играх и простых забавах. Внешне я напоминала мальчишку. Научилась классно ходить на ходулях, с упоением играла в казаки-разбойники, легко забиралась на деревья. Никто не регламентировал мое время. Одно условие: я должна была объявиться дома к возвращению мамы с работы. Брат Вася в свою жизнь не очень допускал, рано повзрослев. Учился в школе (другой), вечерами ходил на заработки (маминой зарплаты не хватало). Был замкнут, мрачен.

Маме было невыносимо трудно. Одеты мы были бедно, хотя чисто и не в рваном. Как она жила здесь раньше? Я не знала. Теперь-то я понимаю, что она была еще молодая (38 лет). Недурна собой: статная, аккуратная, белозубая, белолицая.

Учась в пятом классе, попривыкнув к ней, я спросила об этом. Она охотно рассказала, что был у нее друг — Петр Струков. «Любил меня. И вам бы, моим детушкам, был бы не отчимом, а отцом. Теперь-то я в людях умею разбираться... Но его в Ленинграде не прописывали (вообще в центральных городах ему не разрешено было жить). Он упорно хлопотал, но так и не разрешили. Однажды я ушла на работу, а он принял яд... я застала его еще живым (за мной прибежали в академию). Пока везла в больницу, он страшно мучился, корчился, кричал. Рвота, попадавшая мне на платье, прожигала материю насквозь... Умер... А мог бы жить, иметь семью, работать. Я оплакала его и прокляла наши порядки...»

А почему не разрешено было ему жить в центральных городах? Я не решилась спросить у мамы. Плоды воспитания: «Человек не говорит — не суйся с вопросами». Очевидно, после отбытия наказания? За что? Политический? Уголовный?

С этого вечера отношения с мамой стали открытее. Комнатенка наша, уборка, топка печки, покупка немудрящей еды были на мне. Так легко было справиться с этим маленьким хозяйством.

Нередко мама горевала о Толе — сыне от отчима. Оказывается, он жил со своим отцом тоже в Ленинграде. Серега был женат. Значит, у Толи — мачеха... Серега пьет, бьет свою жену. Каково-то живет мальчишке?

Окончив пятый класс, я отпросилась в деревню — на лето. Бабушка старела, но хлопотала и в огороде, и у печки. Опять я ей читала «Хаджи-Мурата», гоняла в огороде бабочек, ходила с нею доить корову.

А потом опять барачная жизнь. Школа, драмкружок, Таня. Она стала совсем другая, повзрослела.

1936 — 1937 учебный год — шестой класс. И Таня и я любим литературу, немецкий язык, географию, русский язык. Я не терплю алгебру, не очень ладится с задачками по физике, нелады с химией. Хотя имею четверки, трешки. И все же считаю себя способной девочкой.

Декабрь 1936 года. Семейное событие. Воскресное морозное утро. Мама сидела у печки, глядела на огонь и размышляла вслух, где занять денег (в этот день у нас даже на хлеб не было). Я учила уроки и время от времени ловила клопов, ползущих от соседей, — перегородка, отделяющая нашу клетушку от соседской, не подходила к потолку вплотную. Мороз разрисовал оконное стекло шикарными пальмами.

Стук в дверь... Вошли милиционер с мальчишкой под мышкой и женщина. Мальчишка извивался, вырывался, вопил: «Не хочу-у-у! Не пойду-у-у... Все равно убегу-у-у!»

Милиционер поставил мальчика на пол. Он в легкой курточке, невымытой шапчонке, в рваных коротких валенках, в коротких штанишках и грязных чулках. Вокруг рта простудные болячки. Очень милое личико, розовые щеки (от мороза).

Это был мой брат Толя. Я узнала его по родинкам на лице, симметрично расположенным на щеках, по краям щечек над верхней губой. Узнала потому, что мама, вспоминая Толю, говорила об этих родинках. А я его нянчила в 1928 — 1929 годах и с тех пор ни разу не видела. Но мама, оказывается, видала его. Не раз встречала с Серегой, просила отдать ей Толю, так как видала, что ни отец, ни мачеха им не занимаются. Серега отказал в этой материнской просьбе.

И вот — немая сцена... Мама с побелевшим лицом. Первой заговорила женщина — работник детской комнаты милиции — из того района, где жил Толя с отцом и мачехой Зинкой.

Оказывается, Серега совсем спился. Зинка устала терпеть и после очередных побоев обследовалась и подала в суд. Серегу посадили. Зинка, которой пасынок не был нужен при Сереге, сейчас подала заявление в милицию, чтобы Толю отдали родной матери...

Возраст 7 лет 8 месяцев. Уличный мальчишка.

Мама заплакала, прижала мальчика к груди, запричитала:

— Когда просила отдать мне ребенка, гнали прочь, теперь изувеченного выправлять... Чем же я его сейчас накормлю? Вот сын ушел дрова профессору колоть, может, хлеба принесет... О боже! Как он одет! А я на что куплю ему одежды! Спасибо, школа дает сыну и дочери на учебный год бесплатно ботинки и халаты, — (форма у девочек — темно-синий халат с белым воротничком).

Толя сказал:

— А мне не нравится у тебя!

Милиционер:

— Незачем тебе куда-то идти! Это твоя мама. Мы ей будем помогать тебя растить... деньгами... посылками. Здесь у тебя и брат, и сестра. В школу пойдешь. Человеком станешь...

Толя:

— Я на улице люблю жить, ночевать на чердаке... а читать я и без школы научился... — Подошел ко мне и прочитал в учебнике зоологии «га-дю-ка», потом продолжил: — Какая мама? У меня есть только мамка Зинка и папка, который в тюрьме. А сейчас к Зинке ходит ухажер. Я им за хлебом и керосином бегаю, а потом они велют мне уходить гулять... Когда был папка, он тоже прогонял меня гулять, но давал денег...

Официальные лица ушли, пожелав нам счастливой жизни. Вернулся Вася, молча выслушал рассказ о прибавлении семейства, молча разделил хлеб и сахар между нами (заработал у профессора).

Вечером мне сказал:

— Вот закончу шестой класс нынче и пойду в ФЗУ. Чего это я такой переросток учусь в средней школе... Работать надо — матери нас не выдержат всех-то.

Утром мы все ушли по своим делам, закрыли спящего Толю на замок, оставив ему записку: «Закрыли, чтобы тебя воры не украли. Жди нас. Ешь хлеб».

Я отпросилась из школы пораньше (Александра Михайловна мне верила, встревожилась нашим событием). Когда я вошла в барачный коридор, услышала Толино буйство, грохот в комнате, вопли. Когда открыла дверь, зареванный братик стал швыряться в дверь чем попало:

— Зачем меня закрыли! Сейчас же выпусти! Я должен уйти! У меня есть свои дела!..

Я не стала его удерживать:

— Что ж, иди! А я думала, что мы с тобой сегодня маме поможем. Денег нет, получка у нее через два дня. Если бы мы сложили профессору дрова в поленницу — были бы деньги на хлеб... Еще я думала, что потом мы бы пошли гулять: у нас есть лыжи и один деревянный конек с металлическим полозом... но вот как потеплее тебя одеть?..

Он ушел, отрезав: «Ничего мне от вас не надо!» Мудрый Вася вечером сказал, что Толя вернется более покладистым. Так и было. Замерзший, жалкий, но независимый, он вернулся к ночи. Прожил у нас до весны. Весной неожиданно появилась Толина тетка (Серегина сестра родная), Елена Ивановна. Узнав об обстоятельствах Серегинной жизни, разыскала нас и предложила свою помощь. Она была одинокая, незамужняя, бездетная.

— Он же мне родной племянник! Ты, Лена, будешь к нам приезжать, а мы к тебе. А ты получаешь на него пособие какое-нибудь?

Нет, мама ничего не получала, ни о чем не хлопотала... Елена Ивановна сказала, что будет хлопотать как опекунша Толина. Все мы рассудили, что ему там будет лучше, сытнее, а маме нашей полегче. Толя был знаком и раньше со своей теткой. Поехал он к ней без особых эмоций, равнодушно. Мама часто ездила его навещать, стирала на него, чинила одежды, приучала его к себе. Удручала ее Толина снисходительность, свободолюбие.

Закончив шестой класс, я собралась впервые в пионерский лагерь (по настоянию мамы — путевка бесплатная на все лето).

Вася тоже с шестью классами; объявил, что уходит в ФЗУ (он в школу ведь пошел переростком большим, чем я).

— Для школы я старый, а в семье — старший, должен помогать семье. Пусть мелкота учится. Толю все равно надо брать в семью. Он пойдет в школу осенью, малограмотная, слабая характером тетка не справится с ним... А я выучусь на штукатура и маляра.

Мама всплакнула:

— Ох, Васенька, сколько же трудностей в твоей жизни. Жаль мне тебя — ведь ты очень способный к ученью, но мне действительно трудно! Бывали минуты — хоть руки на себя накладывай, но мысли о детушках всегда меня спасали... Спасибо тебе за помощь и прости мать...

А Васе было трудно. Ездил в ФЗУ далеко (за город). Обувка, одежда хилая, денег нет, часто пешком шагал с работы. В лучшем случае — на трамвайной «колбасе». Руки, потрескавшиеся от извести, голодный. И чтобы «мать не объедал», тайком ходил вечером в рабочую столовку, собирал хлебные остатки на столах. А однажды я застала маму в истерике от горя: ей кто-то сказал, что видели Васю на помойке — в пищевых отбросах копался...

Толю согласилась тетка еще поддержать и отдать в школу. Выхода не было. Но, видно, мама искала путей как-то изменить жизнь, накормить нас досыта. Как-то во время дружной уборки в комнатухе мама завела разговор о бухгалтере из Госбанка. Познакомилась с ним, получая ежемесячную для рабочих академии зарплату.

— Так вот, доченька, он мне делает предложение. Он вдовец, и я ему нравлюсь. Мне-то он не сказать чтобы шибко понравился. Да и староват он. Хоть сегодня можно переехать к нему и стать хозяйкой, — (женой, значит).

— А мы как же? Ты сказала, что нас трое у тебя?

— О двоих знает. О Толе я ему не говорила. Вот я с тобой и советуюсь. Стоит ли вообще с ним переговоры вести? Если стоит, то и о Толе скажу... А тебя он хочет выучить на портниху, сразу же подарит швейную машину — от жены осталась. Ты ведь любишь перешивать: вон свою пальтушку фланелевую три раза переделала. А у него даже две шубы есть (женины), платьев много. Это он мне все перечислял, и зовет приехать посмотреть, как живет. Может, поехать?

К этому времени мы с Таней уже читали книжки «о любви», «об этом». И мне казалось, что я все знаю.

— Мама, ведь тебе он не нравится! Как же без любви-то женой становиться?

— Ох, доченька! О чем ты говоришь?! Какая уж теперь любовь! Лишь бы человеком был хорошим, добрым и вас не обижал...

— Мама, ты ведь из-за нас, детей, обдумываешь это предложение?

— Анечка! Пойми меня: я устала! От нужды, от тяжелой жизни... Устала одна везти тяжелый воз... Но ты не волнуйся. Завтра я ему скажу о Толе... Уж наверняка испугается троих-то детей и отстанет... А все же, дочка, соблазнительно хоть немного пожить в отдельной двухкомнатной квартире...

— Мама, а ты поживи у него одна, все и увидишь, и поймешь. Недельку поживи, мы с Васей уже большие!

Не предупредив вдовца, что нагрянет к нему в гости, мама причепурилась и поехала в один из воскресных дней. Вернулась вечером неразговорчивая. Я ее растормошила, и она рассказала:

— Открыл... растерялся и обрадовался. Укорил, что без договоренности нагрянула, что вот он... А он в бабьей кофте, в чудаковатом чепчике, в стоптанных шлепанцах, в мокром фартуке. Говорит, что стирает.

«Вы, Леночка, пока осмотрите квартиру, загляните в посудные и платяные шкафы, а я сейчас закруглю стирку, и мы побеседуем отлично»...

Ну что ж, квартира, обстановка хорошие: на мой взгляд, больше, чем надо одному... А в открытую дверь виден он — склонился над корытом: мокрая лысина, мокрый фартук на пузе... С носа капелька пота свисает... И так скучно мне стало! И мысль: «Неужели нанять женщину не может? Ведь есть на что!»

Не люблю, противны мужики, делающие бабью работу! Исчезает мужская солидность, самостоятельность при этом. Значит, *жадный и занудливый*. Приди я к такому со своей ватагой, и нахлебаемся слез. Дожидаться конца стирки не стала. Прощаясь, сказала, что «не стоит огород городить — и вам, и мне с детьми будет трудно»...

Проведенное лето в пионерском лагере мне понравилось. Подчиняться дисциплине я умела без натуги: надо так надо. Девчонка я была спортивная, вроде крепкая. Питание в лагере хорошее. Привыкшая к недоеданию, я не съедала всего, что давали.

В лагере у меня случились носовые кровотечения. Запретили походы и солнце, так как кровотечения случались во время походов и именно тогда, когда шли долго под солнцем по пыльной дороге...

Мама никогда не ходила в школу узнавать о моих успехах, неудачах. Не посещала и родительских собраний: «У меня других забот хватает».

Жила, училась, бродила сама по себе.

1937 — 1938 учебный год. 7 класс. Мама стала работать официанткой в столовой в той же Лесотехнической академии. Стало легче — мама таскала еду домой, и я ходила после школы к ней обедать, нередко с Таней.

К началу учебного года к нам вернулся Толя, так как его тетка собралась замуж и Толя оказывался лишним. Да и мама решила твердо, что жить надо всем вместе: «Теперь прокормлю — хлеба и гарниров мне дают сколько угодно».

Вася еще был учеником в ФЗУ, но и какие-то деньги все же зарабатывал. Мы его очень мало видели, редко приезжал — далеко... Ночевал в общежитии ФЗУ у товарища. Толю в школу определяла я, на родительские собрания ходила я, ко мне он стал тянуться.

Мы с Таней часто ходили в кино, в Лесотехническую академию, — нас проводила мама как дочек. Нередко мы были и одеты одинаково, так как если мама моя покупала мне ситчику на платье, то такого же и Тане, а Танина тетя шила два одинаковых платья. Эта тетя ее работала бухгалтером в гостинице, тоже знала три языка, рядилась «под актрису» и постоянно хваталась большим числом поклонников. Незамужняя, очень живая в отличие от Риммы Васильевны, смущавшейся от вольных сестриных разговорок.

Мама моя подкармливала Таню — мы обедали у нее в столовой после школы: хлеб с горчицей, суп гороховый, котлета с макаронами, кисель из концентрата. В этой столовой питались студенты академии (в этом отделении столовой), а преподаватели, профессура — в другом помещении. Рабфаковцы — солидные молодые дяди — в «простой» столовой, где паслись и мы. Нередко я замечала, что «не просто так» смотрит на маму какой-нибудь солидный рабфаковец. Мама молодо выглядела. Мама «оборонялась» нами: «Вот мои дочки! А дома еще и два сына!»

Смотреть кинофильмы для меня было наслаждением. Казалось, сутки бы просидела в кинозале. Это чудо было недоступно мне до 1935 года. В деревню один раз привозили «вертушку» с *немым* фильмом: бабка и дедка ловят залетевшего в избенку петуха. Старик со старухой суетятся, бегают, падают, а петух порхает по избе, бьет горшки. Зрители восседали прямо на полу: кто по-турецки, кто вытянув вперед ноги, кто под себя поджав. Хотели до икоты, комментировали — нередко с матерком. Киноустановка стрекотала, как косилка в поле, а я оборачивалась, смотрела на нее, пытаюсь сообразить, как этот стрекот связан с изображением на простыне.

А теперь кино в большом зале, с настоящим экраном, звуковое. Сколько провела ночей без сна, переваривая увиденные фильмы: «Броненосец „Потемкин“», «Чапаев», «Петр Первый», «Мы из Кронштадта»... И до самой войны не пропускала новые картины и не виденные ранее. Если мама не могла провести в академию (не ее смена), мы с Таней пристраивались к какому-нибудь рабфаковцу, и он проводил нас за дочек или племянниц.

А ленинградское мороженое! Целую неделю мы с Танюшей откладывали копейки, которые давали нам на школьный винегрет, а в выходной день лакомились мороженым. Металлические цилиндры на тележке, в каждом цилиндре круглая ложечка на длинной ручке. Рядом стопка кругленьких вафель, на каждой выдвлено имя. Мороженщица снимает крышку с цилиндра, подцепляет ложечкой мороженое, намазывает его на одну вафельку и прикрывает другой. Берешь это колесико двумя пальцами и крутишь по языку! Блаженство! Но сначала изучим имена на вафельках: Таня, Коля, Маня и так далее. Самое интересное, когда имя совпадет с твоим или подружкиным...

Дивный огромный парк Лесотехнической академии (ЛТА им. Кирова). Наш парк. Фактически мы в нем живем: Танин дом около входа в него, мой барак — в самом парке.

Весна 1938 года (к концу шел учебный год). Седьмой класс. Предстояли выпускные экзамены, хотя экзамены тогда сдавались в каждом классе, начиная с четвертого. Я стала поговаривать о каникулах в деревне. Мама твердо сказала: «Никакой деревни! Нечего там делать, а здесь — дела скоро предстоят... Кроме того, закончишь семилетку — устраивайся куда-нибудь ученицей, освоишь дело — начинай работать».

С семью классами тогда можно было поступать в техникум, и брат Василий настоятельно советовал, а мама спорила — нужна специальность, пусть идет в ученицы: на повариху, на портниху, а то на фабрику...

И вот экзамены. Все шло успешно. Последний экзамен — химия: я ее почти не знала, не любила, формулы и задачи не давались. Запущен был материал. Когда запустил, то и не любишь. У Тани такая же история с этим предметом. И вообще она сдавала экзамены нынче очень средне, чуть не срезалась на физике. У обеих у нас мозги были не годны для точных наук. И все же за три дня можно было что-то усвоить из химии. Но мы эти три дня провели как в лихорадке, днем отлеживались и обсуждали случившееся с нами. Нас избил местная шпана. Таня-то из-за меня попала в беду, ибо Колька Свист — гроза района — мстил мне. За что? За то, что я отказалась месяц назад пойти с ним в кино. Все его боялись, а я отрезала при всем честном народе и при Тане:

— Сначала срежь свой хулиганский чубчик и перестань ругаться, а если не хочешь исправить себя, приглашай Майку — она тебе под стать.

Майка — это местная шпана-девчонка.

Колька Свист посоветовал нам запомнить «сей день», сплюнул, показав фикса — зуб, обернутый серебряной бумагой от конфетки. А рядом с ним стояла всякая мелкота, с любовью смотря на своего бога.

Я не придавала тогда значения всему этому и думать забыла... Но Колька помнил, и однажды...

...Мы с Таней пришли в парк в первый день подготовки к экзамену по химии с самыми благими намерениями — освоить треть учебника. Вдруг из-за кустов выскакивают мальчишки, в общем-то мелкота, но много, под предводительством Кольки Свиста, скомандовавшего: «Прошу проучить гогочек, не умеющих уважать Свиста!»

И нас били... Как могли, мы отбивались. Убежать было нельзя — мы были окружены. Людей нет, место глухое. Когда наши носы и губы были разбиты до крови, чубатый Колька, сам не бывший нас, скомандовал:

— Хватит! Вы хорошо справились с заданием! А вы, красотки, запомните: если Колька оказывает вам честь — не стоит кривляться!

И исчезли все, как их и не было.

Нас с Таней трясло от злости, обиды, боли, унижения. Из носов текла кровь, губы распухли, кофточки в крови. Приплелись к Тане домой.

Забыла сказать, что зимой умерла Танина бабушка. В день похорон Таня вела себя странно: не хотела находиться в квартире, целый день ходила по улице и с улыбкой сообщала каждому прохожему: «А у меня бабушка умерла!»

На похороны бабушки приезжал Танин отец — очень важный господин. Он приезжал и раньше, на Танин день рождения, но я не была в эти дни у Тани, она не приглашала, и день рождения отмечали семейно. Он привозил ей хорошие подарки. Будучи на похоронах бабушки, он подарил Тане вишневого цвета зимнее пальто с красивым пушистым мехом. Покрой пальто очень взрослый и элегантный, Таня в нем выглядела взрослой, красивой. И я рядом с нею в своем чуть ли не фланелевом пальто с искусственным воротником чувствовала себя неважно.

Итак, подготовка к экзамену по химии...

Застирали мы свои кофточки и легли. Тело болело, состояние нервное: и плакали, и смеялись. Уснули. Римме Васильевне мы сказали, что с крыльца упали. Римма Васильевна сходила к моей маме, договорилась, что я два дня буду у них готовиться к экзамену и что она полечит наши синяки, шишки и ссадины. Мы были в таком раздрызге оставшиеся два дня до экзамена, и хотя перелистали учебник до конца, химия осталась для нас темным лесом.

Экзамены провалили обе; получили переэкзаменовку на осень. Римма Васильевна пожалела и успокоила Таню. А я не сказала своей маме ничего. Не могла сказать — наверно, потому, что она никогда не задавала вопроса, как экзамен. Значит, была уверена, что у меня *должен* быть всегда в этом плане порядок...

В этот вечер, гуляя с Таней, я была мрачнее тучи и злилась на нее, что ей все трын-трава. Больше того, она не собиралась «портить химией лето — лучше остаться на второй год». Она и ее мама в этом были едины: «Ничего страшного. Таточка будет все равно кончать среднюю школу, так какая разница — еще лишний год... Отдохнет за лето, а повторяя седьмой класс, ей легче будет; выкроит время на углубленное изучение немецкого языка».

Я же себе сказала: обязана сдать переэкзаменовку, должна перейти в восьмой класс!

Вскоре мама объявила, что мы «переедем в город». Почему? Куда? Тут она не советовалась со мной, а преподносила как уже решенное, обдуманное ею:

— Надо же как-то выбираться из этого клоповника, барака-кабака: бабы перегрызлись, мужики передрались, матерщина, грязь... Не могу больше так! Один мой знакомый, старик дворник, живет в центре. Одинокий. Большая квартира — дворничья. Он предлагает нам поселиться у него, пропишет. Рассуждает он здраво: «Старею, семьи нет, пора бы и оставить работу. Когда уйду на отдых, ты станешь дворничихой. И жильё, значит, и приработок (чаевые дают жильцы). И я вроде не одинок буду».

План у мамы такой: переедем, месяц отдохнешь, а к осени будешь тоже как-то определяться.

Толю отправили в лагерь. Вася взял отпуск на переезд. А чего перевозить-то? Скарб весь ручной, кроме железной кровати. Стол был самодельный — только и годен, что выбросить. Две табуретки, скамейка. Вместо туалетного столика — ящик, а на нем чемодан, покрытый простыней. Но в нашей клетушке (в ней всего метров 8 — 9) всегда было очень чисто, опрятно. Мама умела и нас приучила.

Поехали все трое с первой порцией вещей. На трамвае. Сосало у меня под ложечкой: ладно ли мама надумала? К тому же я из Лесного никогда не ездила в город.

Приехали. Входишь — сразу кухня. Большая. Одно окно — во двор, вернее, в арку. Темно и мрачно. Тусклая лампочка без абажура. Большая плита. Из кухни — две ступенечки вниз. Направо на возвышении (некотором) — туалет, налево — узкая кишка-коридорчик. Отсюда дверь ведет в комнату (метров 20), которая после нашей клетушки показалась огромной. В комнате — круглая печка, обитая железом, выкрашенная в черный цвет. Два окна (вроде бельэтажа, может, чуть пониже) — на улицу. Кровать хозяина. Комод между окон. Маленький столик в углу. В левом углу висит икона — какая-то нерусская Богоматерь.

Хозяин дворничьей — лысый: только ободок волос от ушей по затылку; под закрученными усами — тонкогубый рот. Худощавый, невысокий, неторопливый. Познакомился со мной и с Васей, назвал себя Степан Иванович (фамилию забыла, кончается на «ич» — белорусская). С улыбкой пригласил чайку с дороги попить:

— Елена (вроде Хелена), Анюта, Василий! Прощу! Для такого случая я кавбаски покупыв.

Поставили мы свою кровать на указанное Степаном Ивановичем место — у свободной стены, ногами к печке, — и поехали за остатками вещей. По дороге Вася изрек:

— Я, пожалуй, перееду в общежитие, а к вам буду навещать по выходным. Там и пропишусь. Не стоит стеснять старика столькими жильцами.

За неделю я и мама навели в квартире чистоту. И здесь окна засияли. Лампочку на шнуре украсили дешевым абажуром, на окна повесили тюль.

Дворник вставал рано, надевал белый фартук, тщательно убирал свой участок улицы, поливал и асфальт, и газон, наводил порядок во дворе, вел разговоры с жильцами, пилил и колол кому-то дрова (для себя у него был большой запас дров). Вечером дежурил у подъезда.

Домовая парадная дверь закрывалась на ночь с 23 часов. Припозднившиеся жильцы стучали дворнику в окно, он слышал, но не торопился вставать, как позже он мне объяснил — цену набиваю. Вот, мол, какое беспокойство! Чаевые погуще отвалят.

Непривычно на новом месте, что-то тревожит. Не чувствуешь себя дома.

Спустя некоторое время (неделю-две), вернувшись домой, я задержалась в кухне. Мой приход не был замечен мамой и Степаном Ивановичем — они о чем-то бурно спорили. Прислушалась: он укорял маму, почему она уже два дня где-то задерживается.

— К сестре в гости ходила (она живет в Лесном, на Старопарголовском).

— А третьего дни где шаталась до десяти вечера?

— Сверхурочная работа... ребятишкам деньги на сапожонки зарабатывала...

— Что-то часто ты сверхурочно работаешь! Может, поэтому и отказываешься со мной спать?!

— А между прочим, у нас с тобой и уговору не было, чтобы спать. Я думала, что ты старичок степенный, набожный и действительно хочешь сиротам и вдове помочь. Ведь красиво говорил: «И я вроде в семье, и тебе жилье с детками, а потом вместо меня и дворничихой станешь...» А ты, видать, старичок еще не изношенный и шустрый — мне уже успели доложить, что ты ходишь к этой чернявой из десятой квартиры.

— Надоела она мне — костлявая больно. Ха-ха! А ты вон какая гладкая и белая, как булка, ха-ха!

Какая-то возня в комнате и мамин возмущенный голос:

— Отстань, старый дурень! Давай сразу договоримся, Степан Иванович: спать я с тобой не собиралась и не буду. Для постели я могла бы найти помоложе и на стороне. У меня здесь дети, и веди себя пристойно, если хочешь хорошего к себе отношения и благодарности, а за доброе дело ты будешь обихожен, как отец родной: и постираю, и обед сварю, и в работе твоей мы будем помогать. Я твой хлеб не собираюсь есть; хлеб-соль будет у нас отдельно. И отчитываться, где я задержалась, не стану.

— Я подожду. Если не станешь покладистой — выпишу, и иди обратно в свой клоповник!

— Выписывай! Государство детей на улице не оставит! Лучше на улице оказаться, чем с тобой в постели!

Заплакавшая мама выбежала в кухню и по выражению моего лица поняла, что я все слышала:

— Не волнуйся, не пугайся, доченька. Сойдет дурь со старика, поймет, что ему лучше с нами, чем одному. Он ведь, когда звал нас к себе, и убедил-то меня именно своим страхом одиночества и старости.

Как было жаль бедолагу мать! Но я ничем не могла помочь...

С тех пор мама чувствовала себя свободной от него, хотя домашнюю работу для него делала исправно и честно. К нам, детям, он относился неплохо.

Вернулся из лагеря Толя: тоже бедный мальчик — опять к новому жилью привыкать. Но ему понравилось здесь. Расположился он в аппендиксе-коридорчике: там спал, держал ужей и ворону и весь свой мальчишеский скарб.

Уроки делал в кухне. Да и вообще мы с ним любили пребывать в кухне, сидеть на остывающей плите, болтать.

Но в Лесной нас тянуло. Когда я ездила к Тане, брала его с собой. Таня химией не занималась, была влюблена в какого-то Гришу.

В конце августа я сдала химию, перешла в восьмой класс. Сказала Александре Михайловне, что буду уходить из школы, что надо работать, вот получу паспорт и буду думать...

Она почему-то расстроилась, стала уговаривать продолжать учиться в школе, что три года пробегут быстро, а все же будет среднее образование.

— С лентяйкой и тупицей, самодовольной и благополучной девчонкой я не стала бы так говорить, но ты способная, терпеливая, упорная, общественница.

— Но как же мама?

— Я поговорю с мамой. Я ей напишу.

И я осталась в школе еще на год. Именно в этой. Не перевелась в город, хотя ездить далеко.

Таня осталась в седьмом классе, не сокрушаясь. Она радовалась, что я не ушла из школы, что мы будем видеться, дружить. Она как-то быстро превращалась в барышню; я не умела понять ее влюбленности в Гришу, чувствовала только, что он встал между нами: «Нет, я сегодня не могу — Гриша обещал вечером выйти погулять; а завтра мы, возможно, пойдем в кино...»

Показала она мне Гришу, познакомила с ним. Высокий, с красивой волнистой шевелюрой, с хитрецей в глазах — с завлекательной хитрецей. Таня млела, а он был величественно снисходителен. Он работал на заводе.

Да и у меня теперь мало было времени для прежней дружбы. Дорога, уроки, забота о Толе, домашние дела, зимой увлеклась лыжами, ходила с мамой подрабатывать: у кого уберемся, кому постираем...

Толя учился во втором классе, в школе на нашей улице. Учительница хвалила его — способный, но шалит, правда, шалости его не вредные, детские, смешные. Милый стал мальчишка, ласковый.

Вася на первую свою настоящую рабочую получку купил Толе ботинки, маме ткани на юбку, Степану Ивановичу вина, мне конфет. На окончание ФЗУ ему там подарили собрание сочинений Ленина в шести томах. Тома толстые, в красном переплете и с дарственной надписью: «За отличное окончание и...» Мама всплакнула.

Я осталась в своей школе, ездила десять трамвайных остановок.

Зима. Мой путь до школы — труден: трамваи переполнены, приходится или висеть на подножке, или быть сдавленной на площадке. Ноги мои — в парусиновых туфлишках, носки не спасают. Страдание: держись за металлический поручень, дрожишь, глаза от ветра слезятся. Шапчонка-берет, легкая курточка, изготовленная мною же из старого пальтишка...

Во дворе была домовая прачечная. Когда я затевала семейную стирку, профессор Шаргородский, живший в одиночестве, приносил свое белье и, смущаясь, просил:

— Милая деточка! Помоги одинокому старцу — простирни бельишко, что-то не нашел на этот раз никого...

Но это не так. Сколько угодно в доме женщин, прирабатывающих стиркой, но профессор хочет помочь не столько себе, сколько моей маме, мне. Ему нравилась моя мама и мы, ее дети. По-человечески, за нашу жизнестойкость. Он знал, что мы с мамой не стыдимся никакой работы.

Толе профессор приносил флаконы из-под одеколona «Эллада». Мы пытались разгадать, на что и каким образом он расходует его в таком количестве. Флаконы Толя сдавал — копейки складывал. Был еще у него заработок: ловил лягушек и головастика для какого-то института. Очень любил животных, мечтал о кошке и собаке; Степан Иванович и слышать не хотел. Поэтому Толя много времени проводил в зоопарке.

Привыкнуть к звонкам, стуку в окно поздних гуляк-жильцов невозможно.

В дни получек мама приходила домой с хорошими продуктами (колбаса, сыр, сосиски, ватрушки, масло, сахар, молоко, чай). Мама приглашала «попировать».

Степан Иванович ругал маму за бесхозяйственность (ему жаль было ее денег, а свои он почти не тратил), но и у меня сердце ныло: на деньги, потраченные мамой сегодня на необязательную вкусноту, можно бы жить неделю-полторы на супах, картошке.

У мамы был свой резон:

— Какая у меня зарплата?! Вот я и рассуждаю: отдала долги, отложила чуть-чуть на «шило-мыло-керосин» — и осталось на жизнь столько, что концы с концами не свести. Я ведь не профессор Шаргородский, который может за один раз купить одеколona «Эллада» на такую сумму, которая составляет мой месячный заработок... Так вот мне кажется, что лучше поесть

вкусно, от пуза один раз в полмесяца (в день получки), чем есть каждый день картошку с хлебом. Вот я сегодня и шикую, и вас радую. А дальше? Будет день — найдется и пища. А если и нечего будет есть, вы будете вспоминать сегодняшний пир. Ведь от него у вас сегодня жиринка в теле все же останется и вкус продуктов запомнится.

И сама с аппетитом ест: кусок ватрушки, ложку песка, ложку сливочного масла в один заход в рот отправляет.

Дальше живем две недели на гроши, на долги и на приработки. В следующую получку все повторяется.

Степан Иванович называл это распутством. Не любил тратить деньги. Мама подсмеивалась над ним:

— Неужели, Степка, жить как ты: «Покупив пятьдесят граммов кавбаски, Шавгородского угостив, Анюте, Анатоле дал и сам наелся!»

Фруктов, ягод, арбузов мы не ели в начале их сезонов. Когда арбузы, сливы дешевели до предела, покупали — несортные, подешевле. Многого недополучали наши организмы. Помидоры могла есть часто, но не любила, и было великим наказанием сидеть за столом у Семашек — семья другой моей тетушки (по матери), живших в Ленинграде тоже, в Лесном. В сезон помидоров они объедались ими, а я разок откусила и не знала, как заглушить тошноту. В деревне помидоры не разводили (не знали их). Первый раз увидев помидоры, я удивилась: до чего же поспели яблоки, что даже даже размягчились.

Учусь в восьмом классе. Успешнее, чем прошлые годы в Ленинграде. Нелегкая жизнь и нехватка времени заставляли быть собраннее.

1938 — 1939 учебный год.

Теперь, живя в центре, я имела возможность знакомиться с городом. (Лесной район — это все же пригород.) А здесь так много дивного, незнакомого. Ничегошеньки я не знала — ни истории его, ни архитектуры. И вот открыла для себя Летний сад, набережные, мосты, Невский проспект. Брожу одна, да и не с кем. Таню в город не отпускали, других подруг не было. Страдала из-за отсутствия книг — ими в дворницкой и не пахло. Выручала Тanya. В этот год она зачитывалась Чарской, бредила Байроном, а я наугад взяла в руки Достоевского, полистала и выпросила томик с собой...

И с тех пор я заболела им. Не отпускает он меня и нынче. А тогда, прочитав «Бедных людей», «Белые ночи», «Неточку Незванову», сказала себе: этот писатель знает меня, мою жизнь лучше, чем я себя.

В феврале 1939 года умерла моя бабушка — Ольга Трофимовна Пожарская. Тетуска не писала нам ни о ее болезни, ни о смерти. Сообщила о случившемся уже после похорон, объясняя свой поступок тем, что «помочь вы все равно не могли бы: мать работает, ты учишься, денег на поездку у вас нет, я вас оберегала». Прожила бабушка 83 года. Ее разбил паралич. Тетуске трудно было: уходила в школу, оставляя бабушку на Долгую бабку Иринью. У бабушки была нарушена речь и парализована одна сторона тела. Мама все же обиделась на коку («Как же не позвать хоронить мать!»), а я в душе обижалась на маму, что из-за нее я не повидалась летом с бабушкой. Поплакали мы обе, а потом мама философски сказала: «Все там будем... Утешает, что мама не была одна в старости. Спасибо сестрице Мане».

Иногда я оставалась у Тани допоздна. Один раз пустилась в путь в первом часу ночи. Телефона ни у нее, ни в дворницкой не имелось. Не вернуться домой — взволновать маму.

К трамвайной остановке надо идти через парк — фактически через лес. Почему не боялась? Ведь и тогда всякая шпана водилась. Значит, не задумывалась над тем, какие случаи бывают ночью в большом городе.

На трамвайной остановке долго топталась в одиночестве, пока не стало ясно, что трамвайное движение уже закончилось. Потопала пешком «царица ночи». Люди в домах спят, дворники у подъездов спят. Мои шаги их будили. Один из них ворчал: «Девчонка по ночам шлендрает — дело ли? Ремня бы тебе по заднице... Может, шпана?! Вишь — с челочкой, и шапочка на одном ухе висит».

А я как зачарованная смотрела, как разводят мосты.

Пришлось и мне ждать у подъезда, когда выйдет на мой стук Степан Иванович... Ворчал изрядно.

Мама, когда я забралась к ней под бочок (мы спали на одной кровати), сонно пробормотала: «Макарены на плите, поешь и ложись. Наверно, замерзла — напейся горячего чаю». То ли спросонку не поняла, что ночь, то ли поняла, что, кроме Тани, мне негде было задержаться, — не спрашивала ни о чем.

Классная руководительница хвалила мои сочинения. Я удивлялась этому. Книг дома не было. Учебник и разборы в классе.

Когда мама заставляла меня за книгой, неизменно говорила: «Зрение портить и электричество изводишь. Барское занятие — книжечки почитывать».

Она знала много стихов, песен, но ничего об их авторах. Любила петь и декламировать (с чувством!) о вдовьей доле. Не зная, кто такой Некрасов, знала много его стихов...

К концу учебного 1939 года, весной, ко мне вдруг пришвартовалась одноклассница Шурка Васильева.

Тут надо сказать, что в классе у меня со всеми были ровные товарищеские отношения, но не было подруг. Наверно, потому, что я не навязывала себя никому, помня бабушкины изречения: «Не лезь, если не зовут; не будь белой вороной, не льни к тем, кто лучше тебя одет и умнее тебя». Одеты лучше меня были почти все, и мне казалось, что они и умнее. Вот я и бродила сама по себе. А Шурка сказала, что меня считают гордой, независимой.

Шурка мне нравилась — сильная личность: такая не станет увлекаться Чарской, ей подавай героическое. Энергичная, очень способная (особенно в математике, физике, химии); тощая, длинная, остроносая, бедно одетая, недоедавшая (большая семья, без отца); стриженная «под мальчишку», с энергичной мальчишеской походкой; тонкие ножки в стоптанных башмаках бегали уверенно. Чихать она хотела на бабьи бантики и оборочки... на всякую сентиментальщину. Точные науки предпочитала гуманитарным, хотя и в них успевала. Я изумлялась, как эта девчоночья голова может петрить в математике. Как семечки, щелкала любые задачи. Мне Шурка очень нравилась, но подружиться с нею я не смела, ненавидя свои нематематические мозги и, в отличие от Шурки, не зная, кем могу стать и стану. Твердо знала только одно: что не выполню требование мамы — не стану ни поварихой, ни портнихой.

Шурка пригласила меня к себе домой. Невооруженным глазом можно было увидеть, как трудно живется этой семье. Безотцовщина; две маленькие сестренки, уставшая нервная малограмотная мать. Отец утонул четыре года назад.

Провожая меня, Шурка говорила (резко, отрывистыми фразами):

— Почему я тебя позвала? Почему не Лилку и не Таньку — профессорских кисейных барышень? Потому что им маменьки пихают в рот шоколадные конфетки, а они плюются — сыты. Потому что ни тебе, ни мне не хватает смелости попросить у матерей наших денежку на театр. Я же заметила, что и ты никогда не ходишь в культпоходы. Надо деньги вносить. Ты была хоть раз в театре? А хотела бы?

— Нет, не была. Конечно, хотела бы. Я все годы в школьном драмкружке, а как играют артисты, видела только в кино.

В кино хожу очень часто — мама бесплатно проводит в Лесотехническую академию... В третьем классе, когда учительница опрашивала, кто кем хочет быть, я ответила: «Артисткой с портфелем...» Почему? Я умела копировать походки, голоса, манеру поведения знакомых людей... Однажды увидела мое «искусство» городская дачница и назвала меня артисткой. Ну а портфель я присобачила, наверно, потому, что мечтала о портфеле...

Шурка:

— К черту «артисток с портфелями!» Кому это надо? Бездельникам! Надо быть полезной, сильной. Ты думала о том, что война может быть?

И тут Шурка оседлала своего конька — про моря и океаны. Она не просто мечтала стать капитаном дальнего плавания, а собралась начать осуществлять свою мечту и меня звала в напарницы.

По героическому, патристическому душевному складу я тоже хотела бы быть капитаном, летчицей, разведчицей, но нелады с точными науками охлаждали мой пыл. Шурка стала совращать меня, уговаривая поступать вместе с нею в морской техникум!!!

— Готовиться к вступительным экзаменам будем вместе. Я тебя так подготовлю за лето по математике, что не хуже меня будешь с нею справляться. Это чепуха как легко! Представляешь — мы с тобой в море!..

И Шурка заморочила мне голову.

Закончили учебный год. Очарованная Шуркой, я, как слепец, пришла с нею в учебную часть, и мы взяли справки об окончании восьми классов: «Дана для поступления в техникум...»

Дома я ничего не рассказывала. Мне 16,5 лет. Пора деньги зарабатывать, а я... Я, как кутенок, потащила за Шуркой в техникум подавать заявление.

В объявлении (при входе) черным по белому написано: «Принимаются лица обоего пола на все отделения».

Подали — на судоводительское отделение. К вступительным экзаменам допускались прошедшие очень серьезную медицинскую комиссию при техникуме. Целый день толкались в техникуме, ходя из кабинета в кабинет.

— Шурка! Ты заметила, что девчонок только две: ты да я? Ты замечаешь, с каким уважением смотрят на нас парни?

— Если ты действительно собралась стать капитаном — парней для тебя не должно существовать!

В этот день мне довелось наблюдать ребят, забракованных по медицинским показаниям. Узнала, что есть люди, страдающие дальтонизмом — путают цвета. В морском деле такие не нужны. Удивительно, как можно не отличить красный от зеленого цвета? А вот бывает! По всем статьям — здоров, а вот изъян... Трагедия для парня одержимого!

А мы с Шуркой медкомиссию прошли, но были приглашены на собеседование. Только нас с Шуркой вызвали. Терпеливый дядя начал с того, что предложил нам переписать заявления на любое другое отделение. Что угодно, только не судоводительское.

— Почему? — встала в воинственную позу Шурка-Гаврош.

— Видите ли, не нужны девочки на судоводительском...

— Но в объявлении написано...

— Написано, да! Но стараются не пропустить... загляните в будущее... Какие капитаны женского пола вам известны? Редчайшие случаи! Уникальные женщины! Женщина должна работать на суше, быть матерью.

Шурка взвилась:

— А может, мы и есть те редчайшие случаи! Откуда вам известно, что из нас не выйдет капитанов?

— В Советском Союзе имеется только одна женщина — капитан дальнего плавания. Она — особь статья: какая воля, какой характер, ум, — (назвал фамилию). — Матросы замирают при ее появлении — так велик ее авторитет... Я обязан был вас предупредить, чтобы вы зря время не тратили.

Я была согласна с дядечкой, но Шурка отказалась и мне не разрешила переписывать заявление:

— Мне не нужна специальность для работы в порту!

Дядя устало сказал:

— Хотя и нравится мне ваше упорство, Александра Васильева, но вы убедитесь в моей правоте на экзаменах...

Конечно же, я срезалась на устной математике. В школе за мой ответ, возможно, поставили бы удовлетворительно с плюсом, а здесь мои знания выглядели кошмарно.

Шурку мытарили долго: запутывали, сбивали, явно стараясь засыпать, замучили дополнительными вопросами, но ничто не испугало ее, она уверенно доказывала правильность своих ответов, рассуждений и сверхотличные знания.

По всем предметам она получила «отлично», и все же не раз еще ее уговаривали идти на другое отделение, но и тут она выстояла:

— Не имеете права! Вы вынуждаете меня жаловаться!

Отступились, зачислили ее на судоводительское.

Я забрала документы; в школу не вернулась, стала думать, что делать дальше.

Шурка от счастья ходила гордая, мне советовала вернуться в школу или идти на завод, но я видела, что я ее мало занимаю. Она даже призналась мне:

— Занимаясь с тобой летом, видела, что для этого техникума ты не годишься, но не сказала, чтобы не огорчать, а к тому же не хотела лишаться твоего внимания, преклонения. Мне было увереннее с тобой.

А я и не огорчалась, ибо тоже знала, что не поступлю.

Договор о ненападении (с Германией) 23/VIII 1939 года. Международные события тревожные. Профессор Шаргородский в разговоре со Степаном Ивановичем: «Ничего не значит договор о ненападении. Оттяжка событий...»

1 сентября 1939 года я начала заниматься в двухгодичной школе (№ 2) медицинских сестер. С восемью классами приняли без вступительных экзаменов. Стипендия — 200 рублей.

Почему я поступила в эту школу? Два года — и специальность, нужная всегда и везде: и в мирное, и в военное время. И все же себе на хлеб будет стипендия — маме чуть полегче. Да и в воздухе носились слова «если завтра война...». Мама одобрила выбор.

Первая стипендия. Целое богатство! Мама всплакнула. Часть денег дала мне на покупку обуви. Несмотря на нужду, мы были одеты аккуратно, чисто. Юбки из «чертовой кожи», трикотажные х/б кофточки (они стоили дешево).

Одевать Толю теперь помогал Вася.

Однажды профессор Шаргородский спросил маму, как она на свою зарплату умудряется обувать детей в кожаную обувь.

Мама открыла ему секрет:

— Покупаю парусиновые туфлишки на резиновой подметке. Скажем, туфли серого цвета. Мысочки и заднички из искусственной кожи. Сначала туфли красим тушью, потом гуталином. Если мысочки и заднички черного цвета — красим черными тушью и гуталином, если коричневые — коричневым. Постепенно гуталин, щетка, суконочка превращают туфли в «кожаные».

С первой стипендии я купила шелковые чулки и босоножки клеенчатые на резине, но на каблучке. Блестели, как лаковые... Пошла в кинотеатр «Спартак», и — о, чудо! — иду уверенно, смотрю по сторонам, а не на асфальт. Неужели клеенчатые босоножки и шелковые чулки придали эту уверенность и раскованность?

После фильма съездила к тетушке Анне Алексеевне Семашко. Совсем недавно она сказала, что мой вид вызывает жалость: не улыбочивая, мрачная, сжатые губы, продольная складка меж бровей...

А сегодня внимательно оглядела и вдруг подошла и носовым платком протерла по моим губам и, разглядывая платок, с удивлением сказала:

— Я ведь хотела тебя отчитать за покрашенные губы... А они естественные!.. Ты становишься хорошенькой, мерзавочка! Какая неожиданная перемена!

Я призналась тетушке, что час назад в фойе кинотеатра ко мне подсел молодой мужчина и тоже сказал, что мне надо сбросить трагическую печать с лица, улыбаться, и я буду очаровательной девушкой... и еще спросил, не прибалтка ли я, а может, финка или немка?

Училась в медшколе успешно, легко. Теория шла отлично. Водили нас в больницу, но в основном смотреть и слушать — ведь мы были еще несмышлениши в медицине. Но важно было на месте обучить, скажем, мыть руки разными способами.

Показали «живых» сифилитиков и прочих венериков с приобретенными и врожденными заболеваниями этого типа. Кожные заболевания видели. На мелких операциях присутствовали (за перегородкой) — надо было увидеть работу сестры на операциях. Ловила себя на том, что с удовольствием оказывалась за стенами больницы, на улице — молодой, здоровый организм уставал от людских страданий. Но слово «надо» делало меня исполнительной, выносливой.

Международная напряженность. Тревожные отношения с Финляндией, отклонившей все наши предложения, не желавшей заключить договор о взаимопомощи. В условиях начавшейся Второй мировой войны Финляндия — угроза на северо-западе. США, Англия, Франция, Германия делали все возможное, чтобы Финляндия стала плацдармом для нападения на нашу страну... Что тут надо было делать? Выжидать? Но у финнов войска в боевой готовности, граница в 32-х км. Отводить войска финское правительство отказалось... И 30 ноября началась так называемая «финская кампания» — наши войска пошли в наступление...

Три месяца военного положения Ленинград жил вроде обычной жизнью. Город затемнен. С наступлением темноты носили на груди фосфорные жетоны, чтобы не сталкиваться лбами на улице. Кажется, был комендантский час. Доходили слухи, как трудно приходится нашим воинам: очень морозная, снежная зима, двигаться можно только по дорогам. Похоронки, раненые, обмороженные...

Теперь-то знаем, что недешево обошлась эта «кампания». А тогда, воспитанные на «нам не страшн никакой враг», обыватели довольно легко рассуждали о необходимости «проучить финнов», забывая, что за Финляндией стоят будущие агрессоры против СССР.

Упорные разговоры о возможной войне все мы вели с 1938 года, но поверхностно. Говорили, но не очень верили, что скоро; верили в разум.

Недалеко от Таврического сада — казармы. Утром и вечером солдат ведут строем... С 11 по 13 марта — штурм Выборга. 13 или 16 марта — военные действия закончились. Граница была отодвинута на 150 км от Ленинграда. СССР получил в аренду полуостров Ханко.

Угроза большой войны не отпадала — об этом говорили агрессивные планы и действия фашистской Германии, поддерживаемой США, Англией, Францией, направливавших ее на СССР. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, и Польша была повержена. Во многих точках Европы — очаги, тревожные хитросплетения...

А жизнь продолжалась. Я учусь. Сдаем нормы БГТО, стреляем в тире, участвуем в военизированных играх — мы, незрелые медички, в проти-

вогазах, с сумками первой помощи, с носилками изображаем работу «в очаге поражения» (сами и «спасатели», и «спасенные»), учимся накладывать шины, повязки, жгуты, изучаем химические отравляющие вещества (иприт, люизит, хлорпикрин); отстаиваем честь школы в спортивных соревнованиях. Я неплохо стреляла, хорошо справлялась с лыжами; хвалили за удачное наложение повязок за короткое время — в этом тоже соревновались.

Я любила анатомию, и мне нравился преподаватель, но не только как преподаватель. Это была моя тайна — девчоночья влюбленность в солидного мужчину. Я неизменно получала пятерки по его предмету и никогда не позволяла прийти с невыученным заданием. Он часто вызывал меня, хвалил, говорил, что я в группе из 28 человек (был у нас и один хилый парнишка — «братец милосердия») — лучший «анатом».

И вдруг — стоп! Главы учебника привели нас к изучению половых органов. Я брезгливо, стыдливо читала этот материал, ворчала про себя: «Человек вполне мог бы обойтись без этих органов, если бы творец придумал человека иначе».

Если наедине с собой мне было стыдно изучать «это», то как же я выйду к доске и стану отвечать, водя указкой по планшету, где нарисованы эти стыдные органы, обладателями каких являемся я и анатом? А надо рассказывать, для чего они существуют, как устроены и что для чего!

Нет уж! Не смогу, хотя материал выучила. Избежать вызова к доске не удастся — анатом вызывал каждого по изучаемым разделам, и если студентка плохо отвечала, в следующий раз вызывал повторно по этой же теме.

..Я стояла у развешанных на доске планшетов, перебирала в руках указку, глядя в пол...

Огорчился анатом, спросил, не случилось ли чего дома и здорова ли я; предупредил, что в следующий раз вызовет.

Через два дня все повторилось. И повторялось, пока не закончили тему. Но в журнале уже стояли три двойки. Дальше опять пошли пятерки (другой раздел учебника), но как только преподаватель пытался исправить мои двойки, задав вопрос по коварной теме, я стояла столбом и молчала... Похоже, до него дошло значение этого молчания. После урока он вызвал меня в свой кабинет и спросил, в чем дело.

— Мне эта тема неприятна... Но поверьте — я материал знаю.

Он покраснел, подумал и сказал:

— Я поставлю вам «отлично» за год... Верю, что материал знаете. Но запомните: для будущего медика не должно быть неприятных тем и дел. Если не преодолеете стыдливость, брезгливость, подумайте серьезно, стоит ли кончать школу, ибо я первый напишу вам в характеристике о качествах, мешающих медику.

Весной 1940 года Васю призвали на действительную службу в армию. Ему 20 лет. Не понимаю, почему так поздно его взяли. Или тогда брали служить с 20 лет? Сейчас с 18-ти.

Накануне он приехал к нам с гитарой, с бутылкой вина, гостинцами. Мама плакала, а Вася ее утешал:

— Мне легко будет в армии — там не тяжелее, чем была моя двадцатилетняя жизнь. Одевают, кормят, обучают — знай исполняй приказ, а это я умею. — И пел под гитару все одну и ту же песню: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море...»

Он был призван на флот.

Утром поехали втроем: он, мама, я. Долго ехали на трамвае... Вася и я мучились от маминых громких причитаний и слез. Время от времени Вася просил:

— Мама, перестань! Неприлично! Будто на войну провожаешь!

Мама еще пуще заплакала и выкрикнула:

— Вполне возможно, что и на войну! Поэтому не гони мать и дай поплакать!

Собираются на улице у высоких ворот, ведущих в огромный двор. Все подошли организованно, к назначенному времени. Команда: «Родные и близкие! Пожелайте новобранцам успешной службы, расцелуйтесь — и будем расставаться!»

Ворота, впустив новобранцев, медленно закрывались. Мама подвывала, Вася поминутно оборачивался со страдальческой гримасой на лице, энергичными жестами приказывая мне увести маму.

И с этого дня мама каждый вечер ходила к Таврическому саду, прислонялась к решетке забора и со слезами смотрела на чеканящих шаг солдат — они шли в казармы, пели: «Если завтра война, если завтра в поход, если грозная сила нагрянет...» Мама возвращалась и каждый раз говорила: «Будто на Васеньку поглядела. Вот и он где-то так же шагает и поет...»

Летняя практика в больнице должна завершить 1-й курс медшколы. В группе я со всеми девчонками в товарищеских отношениях, но подруги нет. У Тани бываю очень редко. У нее есть Гриша. Ко мне она не ездит. Читает романы, ходит вечером с Гришей в кино, а потом слоняются по улицам. В свободное от школы и от Гриши время, по словам Риммы Васильевны, валяется на диване. Окно опять заросло пленкой, в комнате хаос и затхлый дух.

Группа наша поработала уже во всех отделениях понемногу. Осталось хирургическое отделение. В день окончания практики мы должны были присутствовать и помогать на операциях. Мне хирург велел готовить руки, чтобы ассистировать ему (так и сказал!). Волнение и гордость: ведь это надо же — выбрал в ассистентки меня!

Хирург расспросил, каким способом я буду «мытья». Я предпочла способ Спасокукоцкого (сначала в растворе нашатырного спирта с последующей обработкой рук винным спиртом).

Началась операция по поводу грыжи. Разрез... Моя задача заключалась в том, чтобы крючками-расширителями держать края раны... На настоящей операции, участвуя в ней, я впервые.

Держу крючки. Хирург оперирует молча. Тихо, только инструменты позвякивают... Ловлю себя на том, что вид крови, раны мне не страшен. Вспомнила анатома, мысленно показала ему язык: «А вот и нет у меня безразличия! И буду я хирургической сестрой!» И чтобы проверить себя на брезгливость, я заставила вообразить, как извлекаю из раны крючками-расширителями и слизываю с них кровь... Весьма явственно это представила — «вошла в образ»... и вдруг — тошнота, туман в глазах...

Позже девчонки рассказывали мне: «Когда ты прошептала: „мне плохо“, имела лицо трупа». Меня сволокли во врачебный кабинет, где меня вывернуло наизнанку, так как не отступало видение, как я облизываю крючки... Идиотка!!!

После операции хирург нашел меня в приличном состоянии, с почти нормальным цветом лица и здоровым пульсом.

— С вами такое часто бывает? — участливо спросил он.

— Никогда.

— Как началось сегодня? Что же случилось?

— Не знаю, — соврала я.

— А я знаю! Если от вида раны, крови медсестре делается дурно, надо серьезно подумать, быть ли ей медсестрой. Каково будет больному, если вас затоснит от его недуга? Таким, как вы, надо идти в секретари-машинистки!

А надо было бы признаться хирургу в своей нелепой «проверке на брезгливость». И все же: значит, не могла я без дурноты пройти проверку! И два «ученых мужа» сказали одно и то же. Значит?..

Я была одинока, как никогда. Чувствовала ущербность, непригодность ни к чему, кроме простого физического труда.

Приехала из деревни тетушка. Я обрадовалась — два года не видела ее. Она приехала нас повидать и кое-чего купить (в деревне бедствовали без ситца). В Ленинграде тоже были умопомрачительные очереди — становились с ночи. Мы ездили в универмаг к Финляндскому вокзалу, тоже с вечера занимали очередь, куковали ноченьку, а с открытием магазина огромную змею-очередь (каждый держался за впереди стоящего) милиционер вводил в магазин. На руки давали норму метров, а коке надо было и на блузки, и на юбки, и соседям. Утомительное было дело.

И мне тетушка купила костюм («английского покроя»), а к нему белую ситцевую блузку и галстук (почему галстук? наверно, она помнила моду 20 — 30-х годов).

Рассказала я тетушке о своих делах. Она задумалась о предупреждениях анатома и хирурга.

— А тебе-то чем хотелось бы заниматься?

— Не знаю. Хотелось бы работать там, где есть книжки, много прочитывать. В библиотеке, наверно. Но кто меня возьмет без специального образования?!

Дело было в конце августа 1940 года. Мы бродили с тетушкой по городу: Инженерный замок, Марсово поле, Летний сад. Вышли на Фонтанку. Тетушка заинтересовалась объявлением на доме с вывеской «Ленинградская областная школа по подготовке культпросветработников».

— Смотри! Вот тебе подойдет! Приглашают! Они готовят и библиотекарей, и избачей, и затейников, и работников домов культуры...

Зашли в учебную часть. Нам все объяснили. Школа трехгодичная, принимают с семьей и больше классами, дают и среднее, и специальное образование. Сказали, что недобрали нынче и примут меня без экзаменов, на второй курс, так как у меня восемь классов и курс медшколы, но в течение полугода я должна сдать два спецпредмета за первый курс (политпросветработу и библиотечное дело), дали программы за первый курс, где значились работы Ленина, Крупской и других, чего я никогда в жизни не нюхала. Васиных шесть томов Ленина я даже не листала, а только прочитала на авантитуле дарственную надпись: «За отличное окончание ФЗУ...» Я удивлялась, что один человек написал шесть толстенных книжек... Дали мне и учебник по библиотечному делу, велели познакомиться с их библиотекаршей...

Тетю я просила маме пока ничего не говорить: расстроится, что еще два года учиться дочке. Стипендия такая же — 200 рублей.

Горевала я об одном — о потере времени. Могла бы после седьмого класса поступить сюда, и оставался бы только год учиться...

В это лето у меня завелась подружка — соседка по лестничной площадке (ее квартира — напротив дворницкой). Жили там Петровы — большая семья. Мать, отец, сыновья, дочери, невестки. Только одна дочь с мужем жили в другом месте. Младшая дочка — Оля (помладше меня на несколько месяцев). Она училась в средней школе. Я и раньше ее встречала на лестнице, на улице, знала, в какой квартире она живет. Мы равнодушно здоровались.

Однажды она зашла к нам с чайником — водички набрать (у них кран сорвало) — и засиделась. Оля была полной противоположностью мне и Тане. В облаках не витала, по-житейски цепкая, уверенная в том, что все в этом мире создано для нее. Такими же были и все члены ее семьи. Отец — рабочий (на заводе, у станка), мать — домашняя хозяйка. Остальные домочадцы работали в разных местах. Все гордились зятем — секретарем райкома партии, но в семейном кругу незло пошучивали: «Разве это работа — языком болтать!», а за поддержкой лезли к нему. Оля рассказала, что они с Псковщины, раскулаченные. «Какие мы кулаки — просто умели

работать и жили получше других. В колхоз не записывались, вот и попали в кулаки. Бросили все и подались в город».

Олю, младшенькую в семье, баловали, одевали красиво (крепдешин, креп-жоржет, маркизет, габардин, лаковые туфли), работой не затрудняли.

Олина мама, Марья Явановна (так она себя называла), учила дочь «поменьше отдавать, побольше себе урывать». Побывала я у них раза два (они часто семейно «гуляли») и перестала заходить: они всех осуждали, сплетничали, рассуждали о разных выгодах... А младший сын Иван, надравшись, обозлился, что я не пошла с ним танцевать. Впечатление было такое, будто никто, кроме отца, не работал. Шныряли днем по всяким делишкам, чего-то добывали, приносили, уносили, шушукались.

Стоя у окна, я услышала мнение Марии Ивановны обо мне — она кому-то изливалась в подъезде:

— И чегой-то моя Ольга привязалась к этой девке из дворницкой? Чегой-то она в ней, голи перекатной, нашла? А ведь тоже гордость выказывает; ой, лихонько мне, ой, тошненько мне, прости господи! И матка ейная гордячка: наверно, змея подколодная, никогда не заговорит по-бабски, кивнет головешкой — и пошла дальше, а и гордиться-то нечем — с хлеба на квас перебиваются. Ой, тошненько мне!

Я училась с 1 сентября 1940 года в политпросветшколе. Народ разнокалиберный — и недавние школьники (мало), и библиотекари-практики, не имеющие специального образования, люди разных возрастов с опытом другой работы, и два парня, которым финская война спутала карты — они были на фронте. Кстати, они не кричали об этом. Они только что поступили, и, как я, сразу на второй курс. Что они были на фронте, мы узнали не сразу, да и поступили они в школу, вернее, появились в нашей группе спустя месяц после начала учебного года — очень серьезные парни: Саша Смирнов (жил в школьном общежитии) и Сережа Богданов — рослый, мужественный, красивый, с русыми волнистыми волосами, грустными глазами. Очень хорошо одет: серый костюм как влитой на нем.

Между собой девчонки называли его «смерть бабам».

Все в нем было красиво, только зачем правая рука всегда засунута в карман брюк...

Преподавали нам 16 дисциплин: русский язык, алгебра, геометрия, география, *политпросветработа*, *литература*, история СССР, военное дело, физика, немецкий язык, новая история, *библиотечное дело*, естествознание, *пенне*, *рисование*, *физкультура*. Курсивом — специальные дисциплины, остальное — «галопом по Европам», в объеме средней школы.

На другой день, как появился в классе студент Сергей Богданов, алгебраичка вызвала его к доске. Сережа вышел, помедлил, взял мел и стал очень коряво писать, с большим трудом.

Учительница повернулась к доске и раздраженно:

— Богданов, вы можете писать ровнее и понятнее? Что это за каракули? И выньте руку из кармана... Да, а почему вы пишете левой рукой? Левша? Но если вы левша от природы, пора бы научиться приличнее писать. Кстати, вы вон ту двойку написали как первоклассник — у нее голова и хвост не в ту сторону... Перестаньте оригинальничать...

Сергей замер, стоя лицом к доске, перестал писать... повернулся к учительнице, бледный невероятно, хотел что-то сказать, но передумал. Бросил мел и быстро вышел из класса. Тут же поднялся из-за стола Саша Смирнов и вышел вслед за ним.

Учительница разволновалась: «Студенты, а ведут себя хуже школьников...» Зазвенел звонок, все вышли в коридор. Сережа Богданов сидел на подоконнике, правая рука на колене, кисть в черной перчатке. Саша стоял рядом, и они спокойно разговаривали.

Неподвижная Сережина рука, одно плечо выше другого... перчатка... — всем стало понятно: руки нет, протез. Сережа очень просто подошел к учительнице, извинился за самовольный выход из класса и так же просто сказал, что он левша не от природы — руку оставил на финской, и добавил, грустно улыбнувшись: «Слава богу, голова цела, значит, порядок!»

Преподавательница была в смятении, то краснела, то бледнела, как Сергей у доски.

Сережа дружил с Сашей Смирновым, тоже вернувшимся с финской. И хоть руки, ноги целы — душа опаленная. Оба говорили о нелегкой финской, следующую войну «обещали» еще труднее. Мы, ничего не испытывавшие в жизни, смотрели на них как на святых, претерпевших, увидевших...

«Если завтра война...» Мы верили, что «врага будем бить на его территории»... «Мы им покажем! Пусть только попробуют сунуть свое свиное рыло в наш советский огород...» «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход...» И это успокаивало!

Судьба Саши Смирнова. Жил в общежитии школы. Основное его занятие — книги. Учился легко. Казалось, все знает, понимает, на земле стоит твердо. Сирота. Рос в детдоме. О родителях никогда ничего не рассказывал, говорил только, что не помнит их, а что где-то на Белом море проживает двоюродная сестра. Всегда серьезный, молчаливый.

Умное, с тонкими чертами нервное лицо. Вспоминаю его сейчас, поймала сходство с моим сыном Андреем и молодым Виталием. После занятий Саша уходил в библиотеку. Однажды, застав его там, поинтересовалась, что взял читать. Одновременно читал Уэллса, Есенина, Надсона, Чехова. Этого в школах не изучали. Я призналась, что знаю только «Каштанку» Чехова и «Ты жива еще, моя старушка» Есенина. Саша смотрел с жалостью, как на уродца, и взял у библиотекарки для меня «Машину времени» Уэллса и томик Есенина, позвал на прогулку в Летний сад (он напротив наших школьных окон, через Фонтанку виден). Как экскурсовод, провел меня по саду, назвал всех творцов, создававших это чудо, всех богов и богинь (мраморные скульптуры) и опять глядел на меня и с жалостью, и с нежностью, как на убогую. Открыл Есенина и прочитал мне «Анну Снегину»...

С тех пор Саша неназойливо, не унижительно для меня стал руководить моим чтением. Давал книгу, велел читать внимательно, вдумчиво, а потом выяснял в беседе, как я восприняла прочитанное.

В этом мне повезло. Впервые у меня был умный друг.

Читала я ночью, в кухне. Мама говорила, что «сидеть с книжечкой — занятие барское, к тому же и глаза портишь, и электричество тратишь».

Ольге про Сашу я не сказала. Пробовала пересказывать ей книжки, вижу — скучает, прерывает: «Ты не представляешь, какой красоты платье купила моя сестра Валя!», «А брат Вася подружился с очень полезным человеком...», «Ой, смехота! Вчера была гулянка дома... Валькин райкомовец (муж) приревновал ее к Васиному „полезному человеку“».

Побывала в Лесном, у Тани моей. Редко удастся к ней вырваться. Все-таки какая она не приспособленная к жизни! У меня постоянное желание прикрывать ее своей грудью. Застала в слезах: «Конечно, Гришка такой красивый и уже почти взрослый! Зачем ему в подружки губастенькая Таня-дурочка из переулочка!»

Я поделилась с нею новостями из своей жизни, учебы. Рассказала о Саше и Сереже.

— Танечка, а если будет война? Как ты, как мы все?!

— Я ничего не умею: неспортивная, никому не буду нужна. Наверно, как мама моя, просижу всю жизнь в какой-нибудь конторе бухгалтером.

Опять с последним трамваем вернулась домой, опять стучу в окно, Степан Иванович ворчит (он и с меня берет мелочь «за беспокойство»).

— Анюта! Не дело ты делаешь — бродишь по ночам... Когда-нибудь съедят тебя волки, которые на двух ногах... А мать твою куда глядит — спит себе...

А Ольга бежит на танцы, какие-то вечерушки, делает горячую укладку волос в парикмахерской.

Однажды и меня пригласила на танцы. Получив мое согласие, сбегала к себе домой и тут же вернулась с креп-жоржетовым платьем:

— Надень вот это.

— Зачем?

— Твой спортивный наряд не для танцев...

Вырядила меня, смотрю в зеркало — не я, неловко.

Тут как раз появилась моя мама:

— Чего это вы? В чем это ты? Для чего вырядилась в чужое платье?

— Мы погулять собрались.

Мама решительно потребовала снять платье:

— Будь сама собой; в своих одежках ты милее. А если твоей подружке неприятно с тобой идти — это не подружка. Никогда ничего не надевай чужого!

Я с мамой была согласна... Мне почудилось, что мой поступок «укори» маму, причинил боль, что она не в состоянии одеть меня получше...

И мы с Олей отправились под ручку. Она — в красивом крепдешинном платье (вся юбка в складочку), в лаковых туфельках на среднем каблучке, платинового цвета волосы красиво напложены щипцами. Я — в сатиновой юбочке (тоже в складочку), трикотажной кофточке, в парусиновых туфлишках на низком каблучке, прямые волосы с веселой челочкой.

Красивый осенний день. Оля в хорошем летнем пальто, я в спортивной курточке. Вчера был дождь. Лужицы. Вышли из парадного. Мама моя глядела вслед из открытого окошка... Мне думалось, что мама захотела поглядеть, как отправляется гулять выросшая дочка, и радовалась этому.

Нет! Не об этом она размышляла.

Когда улеглись спать, она нервно выговаривала мне:

— Ты, дочка, слишком дешево себя ценишь, когда рядом с тобой эта дохлая Ляга, — (она так ее называла за глаза). — Ты лучше, красивее, статней ее, а как ведешь себя?

— В чем дело, мама?

— А в том дело, доченька, я наблюдала из окна, пока вы с Петра Лаврова не повернули на Литейный... Ты вела свою Олечку под локоток так, чтобы, упаси бог, не наступила она лакировочками в лужу, сама же шлепала как попало... Да я бы эту Олечку специально толкала бы в лужи! Дура ты и гнида! Почему ты это делала? Ведь только потому, что она в крепдешине, лаковых туфлях?.. Если бы с Олечки снять эти тряпки, надеть на нее твои — это была бы уродина, селедка, страхолудка! А ты и в своем наряде хорошенькая. Пойми это, не унижайся, ходи с гордо поднятой головой. Если не будешь сама себя уважать — не будут и другие. Ведь у меня душа кровью обливалась, когда я смотрела вам вслед... А все это от бабушкиного и кокиного воспитания в тебе!

Мама была права и не права. Оберегала я Олю от луж и колдобин не из-за ее лакировок и крепдешина. Не было во мне ни зависти, ни униженности... и все же почему я вела так Олю? Может, потому, что Оля позвала меня на танцы «за парня» («если вдруг ни один парень не пригласит на танец»). Нет, наверно, потому, что по-другому не представляла, независимо оттого, кого я вела бы под ручку по улице, где лужи.

Оля пыталась разобраться во мне по-своему:

— Брось ты свои книжки! Читаешь, читаешь, а какая от этого польза?

Можно и без книжек интересно в жизни устроиться. Вот моя сестра — с семилеткой, а вышла замуж за секретаря райкома... Знаешь, как она хоро-

шо живет! Чего только у нее нет! Живет весело, всем нравится. У нас в семье нет шибко образованных: мать еле-еле может расписаться, отец по-грамотнее чуть; брат без образования — снабженец. Вот только брат Иван собирается на летчика учиться. А у нас все есть! А ты блаженненькая какая-то. Живете с матерью, как птички божьи, — ни кола ни двора, ни в животе, ни на теле... Все по правилам да по закону... так в стороночке и проживете, никому не полезные и не интересные...

— Оля, зачем же ты ходишь ко мне, к такой блаженненькой? Ведь это не дружба. Ты меня жалеешь? Но я тебя ведь тоже жалею... Оля, а если война начнется, ты тоже будешь стараться «получше» устроиться?

— Ну, во-первых, как начнется, так и кончится, как финская. — И пропела: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...» — А во-вторых, особенно в войну-то и надо уметь прожить...

— Оля, а вот в Политпросвете я много чего узнала о финской от Саши Смирнова и Сережи Богданова... Эти мальчики смерть видели, а мы с тобой бегали по Ленинграду с жетончиками на груди... Саша говорит, что будет новая война — страшная и длинная... Так как же?

— А так же! По твоим рассказам о Саше выходит, что он тоже блаженненький — кроме книжек, ничего и нет у него? Ну и дружи с ним!

Разошлись недовольные друг другом. И больше я не вела с нею задушевных разговоров до того страшного новогоднего дня, когда Саша Смирнов пытался покончить жизнь самоубийством.

Саша был пессимист. Таковую же и литературу предпочитал. Варился в своем соку, друзей и родных не было. Не отошел еще от увиденного, познанного на фронте. Общежитие, люди кругом, а он сам с собой, со своими мрачными мыслями. И не к кому пойти... Жил на стипендию, скудно. Но все это я поняла позже, когда навещала Сашу в больнице, а в школьном коридоре студенты шептались, завидев меня: «Вот из-за этой девчонки Сашка сиганул с пятого этажа!»

Мне исполнилось в ноябре 1940 года 18 лет. Дни рождения мои никогда в жизни никем не отмечались, никаких знаков внимания ни от кого я не получала в дни рождения и, конечно, сама не держала в голове свою дату — 25 ноября: день, как все дни. Не было так, чтобы я вдруг себе сказала: «А завтра мой день рождения» — или: «Ах, а ведь неделю назад был мой день рождения!» Что у каждого человека раз в году праздник — день рождения, — узнала от Саши. 25 ноября 1940 года я получила первое в жизни поздравление с днем рождения — от него.

Моя реакция его рассмешила.

— Каждый когда-то родился; подумаешь, важность какая... Нашел, с чем поздравлять. А ты как узнал, что я родилась сегодня?

— Еще в октябре в школьной канцелярии помогал разбирать документы и взял на заметку.

В этот день Саша был оживлен. Дал очередную книжку, которую надлежало прочитать «не спеша и внимательно». Дома я обнаружила в книге конверт, адресованный мне. Письмо от Саши. Оказывается, Саша «не живет, если не видит меня... По утрам сидит у окна и ждет, когда я буду входить в школу; вечером, тоже из окна, провожает меня взглядом, пока я не сверну за угол, уходя домой или еще куда-то». И стихи. Чьи? Его?

«Первый» день рождения, первое письмо... первое признание. До сих пор мне в голову не приходило, что я могу кого-то заинтересовать в этом плане.

Нравился ли мне кто-нибудь? В четвертом классе, в деревне, нравился одну зиму Гошка Морозов. За мальчишескую отчаянность, независимость. Когда катались с горки на рыдванах (такая обледенелая скамейка), я старалась обязательно подсесть. Нравился преподаватель анатомии в медшколе. Девчоночья влюбленность. Вот и все!

Значит, я Саше нравлюсь? Как товарищ? Или как?

На другой день Саша смотрел на меня изучающе, выжидательно, вопросительно. Я же вела себя так, будто не было письма, и это не был наигрыш.

Но что-то стало мешать прежней дружбе, исчезала у обоих товарищеская непосредственность, простота при встречах в классе, в библиотеке, на наших практикантских школьных вечерах, на собраниях. Нередко во время урока он оборачивался и задумчиво, грустно смотрел на меня, прижав подбородок к плечу. Мне неловко было от этого взгляда, и я делала вид усердной ученицы, занятой делом.

Однажды в актовом зале девчонки затеяли игру в «цветочный флирт» (кто-то принес бабушкины картоночки и другие атрибуты этой игры). Один другому передает картонку, называет цветок, и надо прочитать текст, отнесенный к названию этого цветка. Саша завел со мной цветочный диалог: все названные им цветы означали его неравнодушие ко мне. Я отвечала цветками, которые уводили от этой темы.

Но ни разу Саша не предпринял попытки проводить меня или куда-то пригласить. Если на переменке я вместе с ребятами и девчонками выходила на улицу, Саша неизменно усаживался в коридоре на подоконник и смотрел на нас из окна. Потом говорил, что внушал мне из окна: «Подними взор на окно, посмотри на меня», — и я якобы смотрела, вернее, взглядывала. А на его лице блуждала «улыбка Моны Лизы».

В школе — частые комсомольские собрания, тематические диспуты, вечера, выставки. Практические работы наши, студенческие. Скажем, Иванов, Петров, Сидоров должны организовать вечер: лекция, концерт, танцы, игры, — или творческую конференцию, то есть читательскую конференцию, и другие культпросветмероприятия. Будущие избачи изошрялись в придумках. Многие вечера заняты. Все студенты всех курсов должны присутствовать, а потом оценивать организацию мероприятия. Готовили для области культпросветработников. Распределяли в зависимости от успеваемости, склонностей.

Я не умела выступать с речами со сцены и поражалась этой способности в других. Вернее, я не пробовала выступать из-за своей скованности, неуверенности. Были у нас великие говоруны. Комсорг школы казалась мне чудом с ее раскованностью, красноречием. Точно так же, как Шурка с ее математической головой. А Саша усмехался: «Неужели ты не понимаешь, что комсорг наша просто краснойбайка: много, долго, пышно, со страстью говорит, но ни о чем».

Ни Саша, ни Сергей Богданов не любили ораторствовать, а потому мы втроем занимались организацией тематических книжных выставок, наглядной агитацией, стенгазетой. Мне нравилось библиотечное дело. Саша пророчествовал: «Работать тебе книгоношей в совхозе...»

А Саша опять испугал меня письмом (он объяснялся только письменно): ему мало дружбы, он любит.

Я не отвечала ему ни устно, ни письменно. Меня все это огорчало. Мне достаточно было дружбы, и мне жаль было ее потерять. Не зная, как себя с ним вести, стала избегать встреч. Пыталась понять, что это такое, когда «весь свет сошелся клином на тебе...». И не понимала, так как не ведала тогда, что именно так и бывает, когда полюбишь.

Старалась угадать, чего же нашел во мне Саша. Глядела на себя в зеркало... Крупные оттопыренные уши, неровные зубы, мальчишеская фигура (широкие развернутые плечи, широкий шаг), краснеющие и распухающие на холоде руки, льняные прямые волосы, а я хотела бы быть кучерявой брюнеткой; очень развиты икроножные мышцы — то, чего я стеснялась. Тихоня мрачноватая, любившая бродить сама по себе.

Почему меня выбирают? Не я Таню, и Шурку, и Олю, и Сашу выбирала, а они меня. Ольга — полная мне противоположность, изображает дружеское ко мне расположение, «учит, как жить». Она не друг, а соседка-приятельница.

Шурка, умная девчонка, должна была бы понять, что смею подобна моя проба поступать в морской техникум. А может, я ей нужна была тогда как болевщик, «фон», на котором она бы выигрывала на экзаменах? А может, меня все держат за дурочку, смеются? Нет! Таня искренне ко мне относится и нуждается в моей дружбе. И мне с нею легко.

А что такое Сашина любовь? Что такое вообще ЛЮБОВЬ? В деревне говорили: «Ой! Манька с Ванькой гуляют, любят, значит, скоро на свадьбе будем гулять!» Но чтобы жениться, оба должны хотеть этого... И значит, любовь должна скрепиться замужеством, женитьбой? А если любит один — может ли продолжаться дружба? Но Саше одной дружбы недостаточно...

Парень и девушка. Мужчина и женщина.

На всю мою жизнь я запомнила два случая.

Первый. Жили мы тогда в бараке-общежитии. Толя еще у нас не появился, Вася ночевал у тети (у Семашек). В комнатке была одна кровать — мы с мамой спали. На этот раз улеглись рано, чтобы «меньше хлеба съесть», как говаривала мама. Среди ночи я резко отчего-то проснулась... стонала мама... но на кровати ее не было. Стон внизу, на полу... Стон и шепот... Дальний садовый фонарь чуть освещал комнатку... я онемела: какой-то мужчина душил маму, а она стонала... Я закричала... Стало тихо, а потом мужик тихонько выскользнул в дверь... Мама поднялась с полу живая и, успокаивая меня, сказала: «Спи, доченька! Ты уж прости меня... Ты поймешь, когда вырастешь... Я ведь еще молодая, а это татарин — Давлетка, он добрый, я ему нравлюсь, он меня жалеет...» Я не шевелилась, притворилась уснувшей, думала, думала, и меня озарило: «Так это любовь так ужасно выглядит! Так унижительно для женщины!»

Второй. Я в деревне. Каникулы. Лето. Август. Праздник Смоленской Божьей Матери. Во всех избах пьют, гуляют. Бабушка послала меня зачем-то на чердак. Я подошла к чердачному окошечку, открыла, чтобы полюбоваться сумерками, но стала свидетельницей гадкой сцены. В Шмотовом закоулке пьяный Андрей Волков толковал с пьяным же мужиком на тему, что такое есть жена: «Моя жена Польша — это моя вещь, что хочу, то с нею и сделаю, что прикажу, то и выполнит, а заартачится — избью! Вот хочешь, сейчас докажу: позову и заставлю сделать самое стыдное для бабы... при тебе, на улице».

Позвал. Пришла. Он что-то ей втолковывает. Она стыдит его, велит домой идти. Он чего-то от нее требует, она заплакала тихонечко. Чего-то она не хочет выполнить... Он ее толкнул головой вниз, она оказалась на четвереньках. Андрей Волков закинул ей юбку на голову — оголился тети Полин зад (бабы летом штанов не носили). Что дальше делал Волков — мне непонятно было: он стоял спиной к нашему дому и снимал штаны... Мужик сплюнул, чертыхнулся и ушел; а тетя Поля плакала и не встала, пока ее муженек не отпустил. А делал он с нею что-то отвратительное...

Я кубарем скатилась с чердака, произнесла клятву «никогда не быть женой, избежать унижения!».

О взаимоотношениях женщины и мужчины, о любви со мной никогда никто из взрослых не говорил, а я не заводила этого разговора, по моим понятиям, очень стыдного...

Мне скоро 18 лет, я на тех же позициях: надо отойти от Саши, а то, не ровен час, скажет, что хочет меня поцеловать... Нет уж, увольте, зачем мне нужны подобные тревоги!

И все же рассказала Ольге о Саше. Она хмыкнула:

— Надо же — у нашей Анюты кавалер! Интересно, если бы такой парочке пожениться, где бы они жили и чего бы ели? Ха-ха!

Я обозвала ее дурой и поехала в Лесной к своей Таточке. Она выслушала внимательно и заплакала:

— Какая ты счастливая! Тебя Саша любит! А мой Гришенька при встрече сузит глазки и с усмешечкой спросит: «Ах, это вы, Таточка?! Как поживаете? Извините, я спешу, договорился с Майкой в кино пойти»... (Он с нею теперь дружит.) А я хожу-брожу по улицам, чтобы хоть издали на него посмотреть... Я несчастна!!

И ее я назвала дурой, выругала, наобещала ей много Гришек в жизни. Сказала: «Ты будешь влюбляться в каждого, кто хоть раз тебе улыбнется».

С мамой посоветоваться не умею. Ее принцип — постигай все сама, ты умная и должна знать, что хорошо, что плохо. Хорошо, что Таня посвятила меня в свою тайну о появлении у нее лунного женского цикла, наступившего на четырнадцатом году жизни. Появись это у меня в четырнадцать лет — я бы ломала голову. Но я припозднилась — на шестнадцатом году это началось. Я уже и в учебниках в медшколе прочитала. А нормально ли так поздно? Мама не спрашивала, когда и как произошло...

Мое физическое и духовное развитие шло с запозданием.

В очередном письме тетушке я мимоходом задала вопрос: что такое любовь? Что ответит любившая и обманутая? Я уже знала от бабушки, что «Маня полюбила приехавшего откуда-то лекаря по фамилии Ребуде (так бабушка выговаривала фамилию лекаря), который улепил девку городскими ласковыми речами, а как узнал, что ребеночком пахнет, и скрылся в одночасье...».

Любившая когда-то, «пригулявшая в девках ребеночка» тетушка ответила: «Любовь — обман, блажь и дурь. Никому не верь».

Книги в библиотеке я теперь подбирала себе сама. Увлелась лыжами: тренировки, соревнования, походы. И брат Толя на моем попечении. Привязан ко мне. Похож на девочку. Однажды Оля нарядила его девочкой и послала к себе домой с чайником, будто водички попросить. Олина родня не узнала, что это Толя, и расспрашивала, «в какой квартире ты, девочка, живешь?».

Приближался Новый (1941-й) год. За два дня до Нового года Саша подошел ко мне в школьном коридоре, спросил, как я буду встречать праздник.

Я не знала в своей жизни встреч Нового года — ни семейных, ни общественных. В деревне праздновали Рождество. А вот так, чтобы в доме с 31-го на 1-е сидеть за новогодним столом, чтобы наряженная елка, поздравления, — не было этого. Я задумалась...

Саша сказал:

— Можно, я к тебе приду встречать Новый год? Я адрес твой знаю — взял в канцелярии. Даже побывал на твоей улице...

А может, он побывал и на лестнице нашей и уже знает, что квартира № 1 — с надписью «Дворницкая»?

И я представила картиночку: придет Саша к 12 часам ночи, все спят, никакого торжества, каждый сам по себе: мама праздники не любила; Степан Иванович будет спать в валенках и в полушубке, готовый в любую минуту встать и идти открывать парадную дверь и получать новогодние чаевые. Значит, Сашу я должна буду развлекать в кухне... Нет, нельзя. Он ведь представляет, наверно, иначе. Семейный дом ему был нужен, а я его сама не имела.

— Я приглашена моими двоюродными сестрами, они живут в Лесном. Тетка просила приехать пораньше, помочь ей елку наряжать и стол накрывать. Я впервые в жизни буду сидеть за новогодним столом... А где ты будешь под Новый год?

— Где же, кроме общежития? Наверно, все разбредутся. Буду читать... А может быть, можно мне быть с тобой у твоей тетки?

— Нет, Саша. Надо знать своеобразие и самодурство моей тетки. Ее дети ходят при ней на цыпочках. А к тому ж там устраиваются смотрины жениха моей старшей двоюродной сестры, ее дочери, которая ждет не дождется сбежать из дома маменькиного — в замужество, в любое замужество, чтобы избавиться от материнской тирании.

— Ну, тогда разреши прийти к тебе первого? Сходим в кино, погуляем по городу...

— Видишь ли, опять тетка помеха: она уже абонировала меня на первые два дня моих каникул, чтобы я «читалкой» при ней была. Читать надо какие-то истерзанные книжки-романы, без начала и конца... Она будет лежать на своей пышной кровати под атласным пуховым одеялом, раскладывать карты и гадать на круге царя Соломона, а я, сидя на низенькой скамеечке у ее кровати, читать ей. Знаешь, каникулы только начинаются, с третьего января я буду свободна и зайду к тебе в общежитие — тогда и составим программу «культурных мероприятий» на каникулы.

Ах, если бы знать, как плохо и тоскливо будет Саше под Новый год! Если бы я могла представить, как душило его одиночество! Какой мрак был в его душе!

3 января я вынула из почтового ящика письмо от Саши: «...Новогодняя ночь. Пишу это письмо на одной из загородных станций... Поздравляю тебя и желаю огромного счастья... Я очень устал и ничего не хочу от жизни... Если я останусь жить в эту страшную новогоднюю ночь, в школу не вернусь... Саша».

Заканчивалось письмо есенинским стихотворением «Не ходить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда...».

Письмо плясало в моих руках, сердце колотилось. Побежала к Ольге. Она несколько раз пробежала глазами Сашины строчки, тряхнула головой:

— Чепуха! Играет в разочарованного... Играет на своих и чужих нервах!

— Нет, Оля, не играет! Я только сейчас поняла, как он страшился новогодья... Каникулы. Студенты из общежития разъезжаются. А ему некуда ехать, не к кому пойти, а одному сидеть под Новый год — это страх божий...

— Ну знаешь ли, я не понимаю, как это — один? Молодой человек — и сидит сиднем, без друзей, без компании? Сам виноват в своем одиночестве...

Куда бежать, что предпринять? Не знаю адресов студентов. Где живет Сергей Богданов? Или кто-то другой? Удивительное сделала открытие: в школе мы все в кучке, но общения друг с другом вне школы — не было. Во всяком случае, мне не приходилось у кого-нибудь дома бывать. Опять это результат воспитания: «Не спрашивают — не лезь, не зовут — не набивайся, не будь белой вороной...»

Бегу в школу, тревога нарастает... *«если останусь жить... я очень устал»*. Где он? Что с ним?

Зашла в общежитие — там спит третьекурсник, не в Сашиной комнате. Про Сашу сказал так: «Тридцать первого вроде поговаривал, что уедет куда-то на все каникулы...»

В канцелярии секретарша дала адрес Богданова, не спрашивая, зачем он мне нужен. Сережа удивился моему появлению, встревожился моей тревогой, а когда прочитал Сашино письмо, позвонил домой директору школы, дал мне трубку (кстати, я вообще впервые в жизни разговаривала по телефону). Я не зачитала ему всего письма, а только строчку «если останусь жить...». Директор обещал навести справки, что-то предпринять.

Провожая меня по лестнице, Сережа мрачно обронил: «Ко всему прочему, что есть в нем тревожного, по-моему, примешалась любовь к тебе...»

4 января директор прислал ко мне курьершу, велел прийти к нему, в школу. С момента прочтения Сашиного письма у меня не прекращалась внутренняя трясучка, напряженность всех мышц.

Директор Крылов предложил сесть, изучающе оглядел меня и сказал:

— Смирнов нашелся... Смирнов жив, но... переломан... голова цела... Жить не хочет и в больнице ищет случая уйти из жизни... В кармане у него найдено вот это.

Дал мне посмотреть: моя маленькая — для пропуска — фотография и записка: «В моей смерти прошу никого не винить. Виновница одна — жизнь!»

Я ничего понять не умела — что-то нереальное.

— А что с ним случилось? — спросила я.

— Бросился в пролет лестницы, с пятого этажа... Такое решение — удел слабых натур... — Тут директор задумался. — Кто знает, может, как раз — сильных. Как бы то ни было, сейчас только ты можешь вернуть ему желание жить. Пойдешь в больницу к нему и скажешь, что ты его любишь, что он тебе нужен... Ты можешь это сказать?

— ?

— Как ты относилась к нему раньше? Как сейчас? Ты знаешь, что такое любить? Нет, вижу, что еще не знаешь! Но ведь жалеешь его сейчас? Возьми за основу это чувство и соври, назови любовью. Это нужно *сейчас*. А потом, когда он выкарабкается с этой помощью, будет хвататься за любую соломинку, чтобы выжить, жить несмотря ни на что... будет стыдиться своего поступка. Иди к нему, соври во спасение его. Не спрашивай, как это с ним случилось, — отвлекай другими темами...

— Я не смогу соврать! И чем утешить — не знаю. И жалость свою открою — он всегда презирал чувство жалости к себе.

Больница... Путь по коридору до палаты — и длинный и короткий одновременно. Тишина. Что увижу, о чем будем говорить?

Большая палата. Он лежал на правой стороне, до подбородка укрыт простыней. Я подошла, он повернул ко мне лицо, бледное, спокойное — ни единой царапинки на нем. Голова действительно цела абсолютно.

— Я ждал тебя... Садись с левой стороны — левая рука не повреждена. Я должен, мне необходимо подробно рассказать, как это было. Глупо! Видишь провал под простыней — правой-то ноги у меня нет... но я ее чувствую: болят пальцы, пятка, а ноги нет. Правая рука сломана, ребра, ключица... а голова цела, только пятнышко крови изо рта...

— Саша, не надо! Лежи спокойно! Все будет хорошо!

— Хорошо уже никогда не будет!.. За час до наступления Нового года я находился за городом, долго бродил по железнодорожному полотну... твердо решил, что, если в двенадцать часов ночи будет проходить поезд, лягу на рельсы...

— Саша, тебе привет от ребят, от директора. Все хотят навесить — устанешь от посетителей. Я выговорила право первой тебя увидеть...

— ...когда поезд показался, меня вдруг пронзила страшная мысль — ведь может только изуродовать, не убить... И я пошел по шпалам в город... Под утро — на Октябрьском вокзале — написал тебе письмо, бросил его в ящик и долго бродил по улицам. В пять часов утра вошел в какой-то подъезд, поднялся на последний этаж...

— Саша, через полтора года мы закончим свой Политпросвет, попросим направление в один из районных домов культуры: ты будешь директором, я библиотекарем... Будем помогать друг другу... как брат и сестра...

— Спасибо, что не способна на большую ложь, а эту ты сама придумала? Не надо меня жалеть, спасать... Сегодня ночью я без чьей-либо помощи понял, что хочу жить... и буду я сторожем у гастронома, и буду доволен жизнью... Слушай дальше, как было в Новый год: значит, пятый этаж, итальянское окошечко, выкурил папиросочку — окурочек надо куда-то бросить... Подошел к перилам лестницы, приставил его к краю, бросил окурочек и проследил за его падением... И тут мысль: пролет широкий... вот бы и мне вслед за окурочком... Нигде не зацепишься... внизу каменный пол... обязательно разобьешься насмерть...

Я пыталась прервать его.

— Не мешай! Мне необходимо это рассказать... Тебе это не понять! Почему убийцу влечет на место своего преступления?.. Я перегнулся и полетел вниз... Вот и все! Очнулся в больнице... Голова соображает... хотел встать... гипс мешает... нога болит... а мне сказали, что ноги-то у меня и нет... Сначала не поверил... Говорят, я бредил, в бреду звал тебя, то есть Аню, как мне медсестра сказала. И спросила еще: «Это родственница?» Да. Прогадал я, что не лег под поезд...

Остановить его невозможно было. Выговорился, устал. Спросил, как собираются обсуждать его поступок в школе — без него или подождут выздоровления преступника, комсомольца со слабой волей. Сказал, что в школу из больницы не вернется... Но вернулся.

«Обсуждали» — до его возвращения. Комсомольский актив осудил (так им было велено). Речь вели о поступке, не вникая в жизнь человека. Общие фразы, патетика. Из зала выступили двое — Сережа Богданов и еще умненькая девочка. Ранее молчавший зал аплодировал. Вынесли решение: осудить поступок комсомольца-фронтовика, но собрать деньги на протез...

Саша вернулся в общежитие. Понять, что чувствовал, о чем думал, — невозможно. Протез еще не был готов, ходил на костылях, с загадочной улыбкой Моны Лизы. Писем мне не писал, обращался ровно, как со всеми, но, когда я после занятий выходила из школы, он неизменно сидел на подоконнике второго этажа и провожал взглядом, пока я не скроюсь за первым углом. Один раз был у меня дома, представился маме и Толе инвалидом войны с финнами. Толя расспрашивал о войне, мама всплакнула — сын на действительной службе, а в мире тревожно...

Весна 1941-го. Лежала с воспалением легких. Вернувшись в школу, не увидела Сашу. Сергей Богданов сказал, что он получил протез... и вдруг перевелся в Историко-архивный техникум, просил пока не навещать его — должен сам освоиться с новой жизнью... Я жалела Сашу, скучала. Так и остался он в моей памяти занозой, каким-то укором. Я чувствовала себя виноватой без вины. Сережа Богданов сказал мне: «Оставь это чувство. Ты ничего не сможешь изменить. Дружбы и жалости твоей ему мало, а большего ты дать не можешь. Если бы даже ты сумела притвориться — он понял бы ложную игру в чувство, так как он-то знает, что такое любовь. Ты не виновата...» Сережа часто ездил к Саше в общежитие Историко-архивного техникума.

А время летело, жизнь продолжалась.

Брат Толя заканчивал четвертый класс, брат Василий уже отслужил первый год на флоте. Пишет бодрые письма, не жалуется. Суровее жизни, чем у него была до армии, быть не может. Труда тоже не боится. В письмах наставляет меня и Толю хорошо учиться, жалеть мать.

Одомашненный и прирученный мною Толя вдруг стал таинственно-непонятным. Часто исчезает, взволнован. На мои домогательства твердит:

— Не волнуйся! Со мной — порядок, а где я бываю — потом скажу, честное пионерское! А сейчас не могу.

Почему-то я верила, что не надо за него бояться, и маме ничего не сказала, а сама она, затурканная, поздно возвращающаяся с работы, ничего необычного не замечала, да и вообще она давно положила на меня в отношении Толи.

Однажды вечером в выходной день Толя был особенно непоседлив и взволнован: прибежал, убежал, отдергивал край занавески, смотрел на улицу. Мама гладила белье, я читала ей вслух «Маскарад» Лермонтова. Толя убежал и вернулся поздно, задумчивый. Я подседа к нему в кухне и спросила, не нужна ли ему моя помощь в чем-либо. Я видела, что ему сегодня хочется выговориться.

— Я целую неделю встречался со своим отцом — Кудряшовым Сергеем Ивановичем. Ты его знала? Помнишь?

— Откуда он появился, где живет? — спросила я с дрожью в голосе, и пальцы мои дрожали.

— Он вышел из тюрьмы, а его жена Зинка — замужем за другим. Он живет пока у своей сестры — у тети Лены, а вот сегодня уехал куда-то лечиться. Он сказал, что очень болен, что умрет, наверно, скоро и нашел меня, чтобы попрощаться...

— Что-то долго он в тюрьме пробыл. Ему было дано два года за домашние художества, за избиение Зинки. Где же он был до сего времени?

— В тюрьме он получил второй срок. Совсем незадолго до освобождения, работая в лесу на лошади, он так избил лошадь, что из нее «выпал» жеребенок, а лошадь умерла. Он не хотел убивать лошадь, он сначала понукал ее кнутовищем, а она не хотела воз везти... Отец сказал, что в тот момент был как психованный. Взял жердину и бил лошадь, не помня даже того, что у нее в животе был лошадеенок, и даже не понял сразу-то, что убил и лошадь, и лошаденка... И ему дали еще срок.

— Я понимаю, братик, твою печаль и растерянность. Тебе его, наверно, жаль — он твой отец. Я родилась после смерти своего отца и, может быть, просто не знаю чувства к отцу, поэтому извини, что я сейчас скажу: «Пошел кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить». Моя бабушка предрекала, что этому страшному, жестокому человеку предстоит гнить по тюрьмам... Может, он психически больной? Но ведь в тюрьме должны были его проверить... В свое время он маму бил так же, как эту несчастную лошадь. И вот теперь он наказан болезнью.

— Он велел мне передать маме, тебе и Васе приветы и просит у вас прощения — жить ему недолго, так и сказал. Он очень хотел повидать маму.

— Зря ты таился. Может, мама и захотела бы его видеть... Не знаю. Но мне бы дорого стоила эта встреча. Я не могу простить ему издевательства над мамой.

— Сегодня я проводил его на вокзал, а до этого он долго стоял у нашего окна и смотрел на нас. Я и забегал, чтобы сделать щелочку в занавеске. Я звал его зайти к нам, но он не решился, боялся, что мама испугается и выгонит.

Спустя несколько дней я рассказала маме о Кудряшове.

— Чего уж теперь... Зашел бы — ведь батька он Толе. А я насколько любила его, выходя замуж, настолько потом возненавидела... Грешница, когда гляжу на голые Толины ноги — на отцовские длинные пальцы, и к Толе-то чувствую неприязнь, но быстро опомнюсь — чем ребенок-то виноват. Я перед ребенком этим и перед тобой и Васей виновата, что такую «радость» в дом привела.

Жизнь пошла опять своим чередом. Весна в разгаре! Степан Иванович ворчит, молится Матке Боске, Толя возится в кухне с ужами и калеккой вороной, мама не очень любит приходить домой пораньше, только в тех случаях, когда у жильцов есть подработка для нас: пилить, колоть дрова, стирать и прочее. У меня через месяц экзамены — будет окончен 2-й курс и останется один год учебы, а там посмотрим, кем я стану — избачом или директором Дома культуры. Ха-ха! Ни то, ни другое — только библиотекарем. А пока моя стипендия — 200 рублей — большое подспорье для семьи.

По улице, вдоль Таврического сада, чеканят шаг красноармейцы под песню «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет...».

С одной стороны, страшно и тревожно, с другой — гордость, что «мы сильные», «пусть только сунут свое свиное рыло в наш советский огород», «врага будем бить на его территории», «броня крепка, и танки наши быстры...». Ведь мы всегда побеждали врагов. Халхин-Гол, финская. Не получалось представить новую войну. Если верить Саше Смирнову — это

очень страшно. И тут же отгонишь страшное и быстро переключишься на мирный солнечный текущий день. Нет, не посмеют посягнуть, побоятся... Жизнь хороша! Впереди у меня целая вечность, много будет интересного, я буду работать — мама вздохнет, и все будет хорошо!..

МОЛОДОСТЬ

Каждое утро под нашим окном на скамеечке сидел чахоточный парень с нашего двора. Жил он с матерью и сестрой в полуподвале, окно во двор-колодец. Мать его была не краше: мумия — тощая и обугленная. А парень — красивый, несмотря на невероятную худобу. Бледный, дышал прерывисто, губы запекшиеся, кашлял. 19 лет ему. Особенно плох он был этой весной. Огромные черные глаза с лихорадочным блеском, и смертельная печаль в них. Он знал, как зовут меня, я знала, что его зовут Сашей. Больше ничего друг о друге не знали. Но когда я открывала свое окно и здоровалась с ним, он был рад; когда проходила мимо, он задерживал меня каким-нибудь вопросом, рассматривал внимательно и кашлял в платок. Мне было жаль его, я была с ним вежлива и приветлива. Я чувствовала неловкость, стыд за свое здоровье и силу. Понимала, что ему скучно (мать и сестра на работе).

Однажды попросил посидеть рядом с ним. Откашлявшись, сказал: «Я ведь сегодня последний раз вижу небо и вас... Какая тоска... Не удивляйтесь, не бойтесь умирающего... Я должен признаться — вы мне давно очень нравитесь... Если бы не вы, я давно не смог бы добраться до этой скамеечки... Но похоже, что завтра я не смогу... и больше всего печалюсь, что вас не увижу...»

Это было неожиданно и страшно. В этом году я запоем читала Достоевского... Невооруженным глазом была видна обреченность этого человека. Он умрет. Так и жильцы говорили еще прошлой весной, и мать его как-то плакалась Степану Ивановичу о близкой смерти сына.

Как все во мне воспротивилось этой несправедливости! А я ведь буду жить, каждое утро проходить мимо скамеечки, где он уже сидеть не будет. Я поверила, он убедил меня, что днями умрет, но лепетала о лете, о выздоровлении, обещала прогулки с ним в Таврическом саду. Он взял мою руку, благодарил за доброту, а рука у него исхудавшая, сухая и горячая ладонь — он желал мне счастливой жизни.

Я лихорадочно думала, что бы такое приятное сделать для него. И вдруг подумалось: если я, здоровая и сильная, поцелую его, чахоточного, в запекшиеся губы, он воспрянет и начнет поправляться... И поцеловала! Он с ужасом отпрянул:

— Что вы делаете! Я заразный... последняя стадия чахотки! А вы такая молодая и красивая! Меня не спасти!

В его глазах печаль и радость, смятение — глядеть в эти глаза невозможно. Как он мой поступок расценил — не знаю...

— До свидания, Саша! Завтра в это же время на этом месте! А сейчас я бегу на занятия.

— Спасибо! Прощайте! Чудес не бывает! Говорят, что чахоточные влюбчивы... Завидую тому здоровому, которого вы будете любить...

На следующее утро скамеечка пустовала. Через два дня его не стало. Я участвовала в похоронах... Тоска, печаль, будто опять я чего-то не сделала, чтобы спасти и этого Сашу от смерти, и Сашу Смирнова от попытки самоубийства...

На следующий день выпросила у Сережи Богданова разрешение идти с ним к Саше Смирнову.

Он опять на костылях — протез переделывают (какое-то неудобство в нем). Слегка ироничная улыбка, но вскоре лицо прояснилось. Пророчески вещал, что будет война, и добавил: «Жалею, что смалодушничал под Но-

вый год... представилась бы возможность умереть на войне, на фронте... Но война будет такая, что и в тылу трудно будет уцелеть... А может быть, еще успею побыть архивариусом?..»

Когда я оказалась на фронте с дистрофией и экссудативным плевритом на грани tbc, меня два врача спрашивали, не была ли в контакте с туберкулезным больным. Я вспомнила Сашу из нашего дома, но ответила отрицательно. В то красивое утро порадовала я умирающего или сделала его уход еще более мучительным? Но была уверена: не мог он передать через мой возвышенный, христианский поцелуй такие прозаические штуки, как палочка Коха.

Мои легкие заболели от голода и холода в блокадном Ленинграде. Даже если это был не экссудативный плеврит, а туберкулез — это не от поцелуя!

1941 год. Июнь. Экзамены. Поездка за город. Белые ночи! Мечтали о будущем, шутили, кого пошлют библиотекарем в совхоз «Гигант», играли в волейбол; кто-то затеял игру в «цветочный флирт», а мальчиков-то кот наплакал — неинтересно девочкам «флиртовать» друг с другом. Природа кипела, гудела. Лес в молодой зелени.

Уставшие, с коротенькими мыслями возвращались в Ленинград полями, перелесками, тропочками, не торопились: успеем выспаться — выходной день!



На реке

Я опять на реке
у неспешной воды.
И ищу на песке
лет мальчишских следы.
На песке, на песке
затерялись следы.
Лишь дрожит на реке
свет позвавшей звезды.
Чу! — в ночном далеке
ворохнулось весло.
Или это в реке
мать полощет белье...
Я кричу, как в беде,
только эхо в ответ.
Да течет по воде
звездный свет,
звездный свет.

Пенаты

Я вырвался ненадолго подышать родиной —
уголком ее крошечным.
Услышал рык пьяный:
— Убью, уродина! —
И сразу вернулся в прошлое.
Общага. Комнатушек клетки.
В дым нажравшись, буянит
разгулявшийся дебошир.
Будто между временем тем и этим
не лежит целая жизнь.
...Я хватаю за грудки бузилу,
гоняющего по коридору свою кралю.
Хочу врезать ухарю за бедную женщину,
кричащую выпью.
Но у меня нет другой страны, другого края.
И говорю архаровцу:
— Давай выпьем!

Падевый мед

В жару на деревьях сок,
будто листья
после грибного дождя.
Кажется: тучка выстрелила
из беззвучного ружья.
Пчелы жужжат. А в памяти —
мед тягучий течет.
Старик пасечник падевым
называл этот мед.
Им лечили меня от хвори.
Я спрашивал, морщась:
— А правда, что он от тли? —
Дед поправлял с укором:
— Все от солнышка. И земли.

В парке

В старом парке пруды
затянул листопад.
Словно нету воды —
только листья лежат.
Но осенняя медь
прячет гиблое дно.
Наступил — и чернеть
будет долго окно.
Жажду спирта гольем,
когда вижу в пруду
знобкий свежий проем.
И в нем чью-то звезду.

Старый сюжет

Синью осенней лес словно придонен.
Журавли в вышине курлыкают.
Щурюсь из-под ладони.
Картина извечная. Но трудно привыкнуть.
Гнезда, родные могилы
бросить, пустить на распыл.
И даже будь крылья и силы,
таких не нашел бы я сил...
...Стая теряется, тает. Мелькнула
в солнечных спицах.
И вот она — грустная строчка на светлой
за лесом кайме.
А я не журавль — синица.
Готовлюсь к нелегкой зиме.

На крыльце

Ночь. Луна. В избе пахнет молоком кислым.
Разбуженный неизжитыми лагерными снами,
выхожу подышать на гуляющие доски крыльца.
Между высокой луной и пугливо трепещущими
глянцевыми листьями
серебристая толчется пыльца,
будто мошка в луче прожектора.
Глаз высматривает косу, грабли.
В глубине сада в белом женщина —
яблоня.
В этом доме я всего лишь постоялец,
приютившийся на недельку за недорого.
Но испытываю странное состояние —
зарождающегося восторга.
Я могу запросто выйти за ворота.
И, не чувствуя за спиной собак, конвоя,
свободно топтать до самого города,
вдыхая аромат остывающей хвои.
Могу... Только зачем?.. Опускаюсь
на прохладные ступени.
Колготившаяся под луной пыльца,
как дыхание, тает.
Проявляются цвета кустов, растений —
светает.

Негаданный привал

Ручей. Мостки. Черная смородина,
спустившаяся к воде со своею даровой ягодой.
Я лежу на прогретых солнцем досках.

Все уродливое

кажется далекой дикой неправдой.

Изредка гладь ручья морщит шаловливый ветер,
палым поигрывая листом.

На взгорке домишко — прилепившееся к планете
ласточкино гнездо.

Хорошо здесь!

В уютном уголке даже хочется

быть похороненным.

И не надо тропы ничьей.

Были бы только эта смородина,
эти мостки, ручей.



ЛЕВ СМИРНОВ

*

ГЛУХОМАННОЕ ВРЕМЯ

Стрела над древней землей

Что там шумит, что там звенит в поле багряном,
Медлит, молчит, стонет, кричит, снявшись с гнезда?
Не улететь, не убежать к древним древянам, —
Та же вражда, та же беда, та же звезда!

Что за пострел, с дюжиной стрел, наглый и дикий,
Не побывав в дальнем краю, в смертном бою,
Целит в орла, в зубра, в одра, в череп на пике,
В выпь на суку, в лань на скаку, в мать свою?

Что же вы, что ж, камни веков, свитки и стелы,
Рвы и кресты — в зареве дней, в споре идей, —
Вечно играть в дым и огонь, в пули и стрелы
Так разучить и не смогли глупых детей?

Это — клеймо! Это — во лбу! Это — навеки!
Правда иль ложь, прошлое сплошь — Тмутаракань.
Не убежать нам за леса, горы и реки,
В древнюю Жмудь — там та же жуть, распря и брань.

Камни вокруг, в памяти нет страха к былому,
Сколько б судьба ни принесла горя и зла —
Снова в ночи стонет и рвет с крыши солому,
Снова летит в тот же зенит та же стрела!

Арбуз

Так звалась с легким верхом коляска
На веселой колесной оси, —
И катилось скрипуче и тряско
Это чудо по нашей Руси.

Так играл, презирая привычку,
Человек со своим языком, —
Ведь и впрямь величать свою бричку
Не капустой же иль чесноком.

Божья тварь, в глухоманное время,
Ухватившись за вожжи едва,

Средь колдобин и ям на творенье
Он качал чуть не Божьи права.

По бокам только черное с белым
Продолжало скакать и летать...
Но в арбузе, как семечкам спелым,
Было думам его — благодать!

Полетал он в просторах чудесно,
Покружился и сгинул во мгле,
Потому что метафорам тесно
Оказалось на этой земле.

И к начальным вернулось истокам
Бесконечное слово Руси,
И кто вспомнит теперь ненароком
Тот арбуз на колесной оси?

Русская сказка

Над землей моей колоколен звень,
А в руках — бутыль, а в ногах — река.
Посмотрел бы вверх, да мешает лень,
Посмотрел бы вниз, да гнетет тоска.

На дороге черт понатыкал вех,
Ядовитый дым — от живой росы.
На дворе уже двадцать первый век,
Все идут, идут на Руси часы.

Скомороший смех среди кровавых плах, —
А еще душе разгуляться где ж?
А в одном глазу у нас Божий страх,
А в другом глазу — грозовой мятеж.

Византийский лик, дославянский мрак.
Можно все решить, только впрямь решишь!
Я дурак с пелен, но и ты дурак,
А сложить нас всех, и выходит — жизнь.

От земной красы можно в немочь впасть,
Сколько рощ, и рек, и золотых камней...
А посмей украсть — будешь волчью пасть
Вместо рта носить до скончанья дней.

Террорист двадцать первого века

Террорист двадцать первого века
Измельчал, охамел, одурел.
Он любого убьет человека
Ради мелких коммерческих дел.

Он любого задушит ребенка
Из-за доллара или рубля.
Знать не знала такого подонка
Разнесчастная наша земля.

Террорист позапрошлого века
 Был идейнее, строже, скромней.
 Убивал одного человека
 Ради счастья многих людей.

Правда, разница видится слабо,
 Но зато ему наверняка
 Выпадала посмертная слава,
 Хоть и спорная, но на века.

А убийцам, косящим упрямо
 Всех подряд и в жару и в мороз,
 Уготована общая яма,
 Гниль смердящая, тлен и навоз.

Святыни

Ты ходил с римским Цезарем в скорбный Синай,
 Воевал мировые задворки...
 А во сне с губ срывался родной Разгуляй
 И какие-то Вшивые Горки.

На галере, прикованный цепью к скамье,
 Греб устало сквозь шторма угрозы, —
 Но к тебе прикасалась в египетской тьме
 Золотистая ветка березы.

Погибал, как разбойник, в каком-то порту,
 Не рядился ни в тогу, ни в рясу.
 Перед Стиксом обол свой катая во рту,
 Ты молился российскому Спасу.

Дом казенный забыл, и свой меч, и латынь,
 И рабынь после шумной попойки.
 Вспомнил лишь из погубленных в жизни святынь
 Колокольчик владимирской тройки!

Избегайте данайцев

Избегайте данайцев, курляндцев, голштинцев,
 Киммерийцев, туранцев, хазарцев, ордынцев,
 Никогда не выдавших коней кабардинцев,
 Проклинающих нас, москалей, украинцев,
 Русопятов, спесивцев, подельцев, злочинцев,
 Иностранцев, мелькающих возле эсминцев,
 Безрассудных израильцев и палестинцев,
 Упрекающих нас за измену кубинцев,
 В поездах и трамваях забытых гостинцев,
 Недозрелых премьеров, румяных от блицев,
 Избирателей, верящих лишь в проходимцев,
 Олигархов, лоббистов, «народных любимцев»,
 Указующих пальцев, бесценных мизинцев,
 Гуманистов из моргов, витий из зверинцев...

Обожайте, любите лишь маленьких принцев!



ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

*

ПУШКИНСКИЙ БУЛЬВАР

Сюжеты

СТИХИ И СУШКИ

Между книжным шкафом и зеркалом когда-то дедушка повесил портрет Пушкина. Не знаю, когда было это *когда-то*. Мне кажется, что в моей комнате всегда был портрет Пушкина. И Пушкин всегда смотрел на каждого входящего в комнату своими спокойными глазами.

Откуда и как я понял, что на портрете изображен Пушкин? Мне этого не вспомнить. Знаю только, что имя Пушкина всегда звучало в доме как имя близкого человека. Указывая дедушке на какой-нибудь непорядок в доме, бабушка иногда сокрушенно говорила: «А это кто сделает — Пушкин?»

— Пушкин! — весело отзывался дедушка. А потом, взявшись за работу, читал мне свое любимое — про крестьянина на дровнях и лошадку, которая чует снег, но снег ее не радует, и она плетется рысью.

Постепенно разрозненные сведения о добром помощнике нашей семьи стали собираться в моей голове. Я знал, что у Пушкина есть няня, но нет родителей. Было понятно, почему он воспитывался в Лицее, — сирота.

Царь командует Пушкиным. Он его, как Суворова, посылает то на южный фронт, то на западный. Поэтому и называется — «ссылка».

Пушкин, конечно же, возвращается с победой. Однажды Пушкин задержался. Декабристы решили не ждать Пушкина и без него справиться с царем. Без Пушкина у них ничего не получается. Они рубят одну царскую голову, вместо нее вырастает вторая. И уже эта, новая, голова одних казнит, других милует, то есть отправляет пожить в Сибирь.

Пушкин возвращается слишком поздно, он жалеет декабристов и пишет им в Сибирь: мол, держитесь, оковы тяжкие падут, я тут чего-нибудь придумаю.

Жизнь у Пушкина интересная, но грустная. Он любил свободу, а царь ему свободы не давал и все следил за ним. Царь только и думал о том, как погубить Пушкина, он подослал к нему Дантеса...

Пушкин мне часто снился и всегда маленьким — моим ровесником. Как-то он принял образ моего соседа Мишки. Симпатичный черноглазый Мишка играл на скрипке, и мне снилось, что в футляре он носит стихи. А стихи были не рукописями, не бумажками, а ванильными сушками. И будто бы зимой мы сидим в кочегарке против открытой печи и грызем сушки. Вдруг за нашими спинами возникает кочегар Варлаам, нависает над нами медведем: «Ишь сушки кочегарят...» — «Не-е, мы не сушки... — лепечет Мишка, — мы стихи читаем. Хотите попробовать...»

Варлаам оглушительно хрумкает сушками. Тени от огня пляшут по стенам. «Ничего стишки...» — хохочет Варлаам. У нас лица горят, будто

нам стыдно, что мы чужие, ворованные сушки-стихи едим. Так горячо щекам. Вдруг кто-то трогает мой лоб прохладной рукой, потом губами:

— Да ты заболел, дружок... Где вас носило?

Сквозь тяжелые веки узнаю бабушку.

— Да по Пушкинскому на санках я его катал, — слышу виноватый голос деда.

— Ну вот и приморозил мальчонку. Погляди, какой горячий...

Я лежал на дедушкиной кровати. Мне виделось, как дедушка везет меня сквозь снег и я низко опускаю голову, чтобы острая снежура не колола глаза. По бульвару, по бульвару... Снег валит, и дедушкина спина тережится в снегу.

ПОЧТОВОЕ ТЕПЛО

Пушкинский бульвар — в двух кварталах от нас, и, куда бы мы с дедушкой ни шли — на реку, на почту, на выставку, в кукольный театр, в детский парк или к городской елке на площадь, — бульвар нельзя обойти стороной. На Пушкинском бульваре я учился ходить, считать до десяти и даже кататься на коньках. К слову сказать, других бульваров в нашем городе не было и, кажется, нет до сих пор.

Когда я стал ходить в школу, — по улочке, в которую утыкался Пушкинский бульвар, — выяснилось, что Пушкин никогда не был в нашем городе. И даже никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах о нем не упоминал. Возможно, что это умолчание о таком важном географическом пункте не было для Пушкина случайным. В нашем городе доживал свой век несчастный Батюшков, судьбы которого Пушкин страшился более, чем тюрьмы, ссылки и нищеты, вместе взятых.

Не дай мне Бог сойти с ума,
Уж лучше посох и сума...

Но памятник Пушкину в нашем городе все-таки поставили. В конце XIX века, к столетию поэта, его открыли у Народного дома. В 1905 году этот дом разгромили и подожгли, и Пушкин вынужден был скрываться на архиерейском дворе, а после семнадцатого года — в глухих запасниках местного музея, откуда он тоже внезапно исчез. Бронзовый бюст долго считался утраченным, пока в конце восьмидесятых годов он не объявился чудесным образом в целостности и сохранности.

Теперь бюст венчает собой Пушкинский бульвар и благосклонно встречает всех, кто идет на наш вологодский почтамт. Есть тайная справедливость в соседстве памятника Пушкину и почты. Александр Сергеевич не изобретал ни радио, ни рецепта сургуча, не выпускал почтовых марок, но он написал: «Для барышни почтовый колокольчик есть уже приключение...» А еще он воевал с московским почт-директором А. Я. Булгаковым, который не брезговал читать чужие письма. Письма, конечно, продолжали распечатывать, но на этом занятии уже стояло клеймо греха, бесстыдства, преступления.

С детства во мне живет какая-то неодолимая тяга к почтовым отделениям. Когда я в командировке, а на дворе зима, я знаю, где можно согреться, прийти в себя, порадоваться яркому свету и, забравшись в тесную деревянную кабину, услышать из трубки родной голос...

На станциях я провожаю взглядом почтовые вагоны — как они хороши в синих зимних сумерках: раздернуты маленькие окошки и при слабом желтом свете видны какие-то деревянные полочки, коробки, ящики, холщовые мешки... Мне кажется, что в таких вагонах живут почтовые человечки, добрые хранители наших запечатанных тайн.

На вологодской почте всегда очень тепло. Когда меня маленького приводил сюда дедушка, я вскоре начинал клевать носом. Пока дедушка отправлял письмо, посылку или покупал карточку «Спортлото», я в полудреме сидел на скамейке и читал по слогам строгое объявление: «...за-пре-щает-ся пе-ре-сы-лать по-рох, пат-ро-ны и би-тую пти-цу...»

Почему-то мне очень нравились эти слова; не сам запрет, а как это звучит — ...порох... патроны... битая птица...

Иногда я видел на почте настоящих охотников — небритых обветренных людей в каких-то невероятных штормовках и куртках с множеством карманов. Увешанные рюкзаками, они поднимались по ступенькам в зал переговоров, грохоча высокими черными сапогами и то отдуваясь, то хохоча в усы и бороды. Так, наверное, моржи выбираются на берег. От них будто бы шел дым, такие они были разгоряченные, большие, шумные. Ружья в брезентовых чехлах они бережно ставили в угол и рассаживались тут же, а кому не хватало места на стульях, те валились на пол и сидели, раскинув ноги в сапожищах, отваясь разморенно к стене, ожидая, когда телефонистка позовет их в кабину.

Мне было лет шестнадцать, когда я сам носил сюда письма — именно сюда, на центральную почту, чтобы их скорее, немедленно отправили к моей любимой... Как я мчался сюда на велосипеде «Спутник», взятом напрокат у соседа Шурика! Конверт трепыхался под рубашкой, как голубь, а улицы летели мне навстречу, и небо, чистое, печальное от заката, струилось надо мной. Ветер свистел в ушах, мелькали желтые внимательные светофоры, а вот и бульвар, а вот и Пушкин.

...Года четыре назад я приехал в Вологду, и ноги меня сами привели на почту. Там все так же, только исчез бюст Ленина. В зале отправлений, как всегда, тихо, зато в зале переговоров — дым коромыслом, перекличка и вопли, как при эвакуации.

— Актюбинск, вторая кабина!

— Она меня слышит, а я — нет!

— Ты валенки получила?

— Девушка! Она меня не слышит!..

— Нерехта! Никто не отвечает, снимаю заказ!

Нашел я и старую табличку про порох, патроны и битую птицу. Их по-прежнему запрещается пересылать.

ПО НЕТРОНУТОМУ СНЕГУ

Помню, как на стареньком «Москвиче» приехали к ночи в Пушкинские Горы. Свет горел только в гостинице, и то лишь на столе у администратора. Мне дали номер на третьем этаже. Я бросил вещи и подошел к окну. Думал, что увижу из окна Михайловское. Но за окном была площадь, какие я тысячу раз видел в райцентрах. Сугробы, памятник Ленину, райком, фонарь.

Неужели я завтра увижу Михайловское? Что-то не похоже. Я решил попросить внизу кипятка. Администратор выдала мне чайник, на нем масляной краской было написано «к/х». Возможно, это означало кипятик хозяйственный или колхоз.

В ожидании кипятка я сидел на подоконнике, слушал последние известия и резал на газете псковский хлеб. Вдруг что-то стало густо роиться за окном, будто с пышной кроны разом сорвало все листья.

Я выключил свет и увидел, что пошел снег. Крупный, быстрый, какой бывает в начале зимы. Но был последний день февраля.

Мне стало весело, я сразу почувствовал, что Михайловское рядом и утром я его обязательно увижу. Я пил чай и удивлялся снегу.

Рано утром я проснулся от еле уловимого шороха. Снег шел всю ночь и не таял.

Февраль и март для музея — санитарное время. Посетителей нет. Но как странно было пробираться к дому Пушкина по глубокому и нетронутому снегу. Если бы не директор заповедника, который шел рядом, я бы, наверное, искал тропинку. Было что-то неловкое в том, что мы нарушали снег.

Когда проходили по мостику, директор сказал: «Вообще-то я не директор, я только исполняю обязанности. А директор — здесь...» Он кивнул на домик справа. Сквозь неплотно задернутые занавески блеснул самоварный бок. Я вспомнил, что видел и веранду, и дом по телевизору. Это был дом Семена Степановича Гейченко.

«Он очень болен, — печально сказал мой спутник, — совсем болен...»

У дверей висел колокольчик. Наверное, в иное время он часто звонил, но сейчас и на него налип снег.

— У Семена Степановича солдат по ночам дежурит.

— Какой солдат? — не понял я.

— Фельдшер. У нас тут воинская часть рядом.

Мы пошли дальше по чистому снегу.

Прощаясь с Михайловским, я постоял на горке. Кричали весенние птицы. От дома Гейченко шел солдат в расстегнутой шинели.



ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ

*

ВОЕННАЯ ТАЙНА

Старый Новый год

Их тоже кто-то любит — жестколищих,
С широкой костью и коротким взглядом.
Их пепельные ночи долго длятся.
Густы сады их, и жирна земля там.
Тепло и сыро в их секретных лазах.
Они дают крови пошевелиться.

Январь приходит в лягушачьей шкурке,
Чтоб стечь слезой по лошадиной морде
И ковырнуть скребком по каждой дверке.
Потом застынет, но оттает в марте
И смерит нас по той же мокрой мерке.
И хмыкнет в луже червь седой и юркий.

И этих любят — хитрых, редкоколых,
С натянутыми синими устами.
Они билеты покупают в кассах,
Садятся в поезда из гнутой стали
И остаются в чьих-нибудь рассказах.
Их узнают над омутом — в стрекозах.

Начнется год из черного сатина
И водкою тропической сначала
Омоет всех — от маковки до стана,
Чтоб каждая, как реченька, журчала,
Стекая в смерть по лепестку тюльпана,
Пока ей путь не преградит плотина.

2002.

Золотой век

Не летают кораблики белые
За камнями не нашей земли.
Небеса нынче гладкие, целые —
Свежей твердью они заросли.

Только прошлого потная кожа,
изнутри набухая, трещит,
А грядущее что-то кукожится:
Там все меньше младенцев пищит.

Сушь утробного слуха мешается
С мокрым зреньем под кожей травы.
Наверху ничего не решается,
И остыли подземные рвы.

Жизнь становится ласковым выдохом,
Не мутящим поверхности вод,
Утешением, найденным выходом.
Тихо в жизни — прохладно и тихо там,
И неведомо, кто там живет.

Только медленно стучают столики,
И в ответ им бормочут с земли
Полых лон черно-красные нолики
И морей голубые нули.

2000.

Сортировочная

Кто в рубленом чёрве — московском после
Приехал в слезящийся город
Проверить, скрежещет ли соль по земле,
Взлетают ли рыбы за ворот?

Сковали для гостя коня и мундир,
Старались, не ждали позора:
Ищи хоть всю ночь, но средь дышащих дыр
Никак не сыскать ревизора.

...Их заперли там, где ветвилось внизу
Двойное чугунное древо.
Таблицы огней, выжигая грозу,
Писались то вправо, то влево.

*(Раздастся свисток — и болгарским дымком
Запахнет и охтинской дымкой,
И карлица в рыжем с метровым крючком
Шагнет в нее, став невидимкой.*

*И звякнет в тумане — и вдаль от узла
Червяк поползет)*

— Гюрза поползла.

Дрожала гюрза, выжимая грозу,
Ржавела на коже черника.
Нас отперли так, что читалась внизу
Двойная косматая книга.

То влево, то вправо читались огни
Усталой казенной дороги.
Белковый сюртук ревизору они
Кроили, немного широкий.

И столько прошло электрических швей
Иголками печень и кожу,
Что рад бы узнать, что до смерти своей
Я шрамы от них уничтожу.

2002.

Военная тайна

Военную тайну не разгласят:
Священную тайну не знает никто.
Ее, говорят, Неизвестный Солдат
За штатское отдал пальто.

Лишь Алька, прозрачный румынский жидок,
Ту тайну купил за пятак,
За это в костях у него холодок,
А в горле — щербатый пустяк.

Когда он приходит к нам, сгорблен и юн,
Неважный стрелок и отменный певун,
Под лавку шипеть уползает баюн
И шелкает крохотный гром.
Его мы небожно убьем.

Разваленный город, забитые рвы
И все растворяющий юг.
Разрушенный голос сгоревшей листвы.
Ветвей ненарушенный слух.

Есть точка, где страшным становится страх,
А боль превращается в сон,
И за полночь в глиняных белых дворах
Однажды сбывается он.

Иркутск и Варшава, Мадрид и Герат
Последнюю тайну хранят.

2000.

25 августа

Когда отгремел под колесами мост,
Железо железу отпело,
Раздулся от жгучего воздуха мозг
И запах утратило тело.

Когда завернулся штандарт на плацу
От музыки пышной и мерзкой,
Вприпрыжку пошел по Мильонной к дворцу
Дракон в чешуе офицерской.

Когда разморозило тучи грозой,
Которую видит не всякий,
Разлился на площади бурой слезой
Бокастый и хладный Исакий.

Когда от Гутуева сиг золотой
Подземным пошел глиноземом,
И знать он не ведал про крюк завитой,
Что скован путиловским гномом.

Когда за Кронштадтом Голландец, живуч,
Мелькнул и поплыл на свободу,
Со шпиля упавший рассерженный луч
Поджег за ним пеструю воду.

Когда он расшибся о воздух ночной,
Но так ни во что и не канул,
Не выбрав — пролиться слюной ледяной
Иль градом из бронзовых гранул,

Его — чтобы вовсе с натуги не сгнил,
Застенчиво в тучах сверкая, —
Кольцом запечатали Сена, и Нил,
И третья речонка лихая.

2001.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО



«...НЕ НАДО БОЯТЬСЯ СЕБЯ»

О Сергее Залыгине

После того, как весной 1986 года главного редактора «Нового мира», импозантного мужчину и писателя-орденоносца В. Карпова, назначили первым секретарем правления Союза писателей СССР, грядущее обновление журнала стало близкой реальностью. Редакторы ожидали его с надеждами на то, что обновление будет радикальным; руководство же, замы главного и завыв отделов, никогда не забывающие поговорку про «новую метлу», — с тревожными предчувствиями. Однако состоявшееся в конце лета назначение не то чтобы разочаровывало, но особо и не вдохновляло. Ощущение «дежа вю» вызывала уже сама церемония введения в должность: вечный в этой роли секретарь правления СП СССР Юрий Верченко торжественно представляет коллективу журнала их нового главного редактора — «маститого советского писателя», «прогрессивного публициста-эколога» и «видного общественного деятеля» С. П. Залыгина. Большинство из нас Залыгин воспринимался героем времен уходящих, у которого все позади. Ему было уже за семьдесят, и назначение его походило на вручение очередной награды за выслугу лет. Да и самому правлению СП СССР, наверно, так казалось спокойнее: и требование момента — перестраиваться, обновляться — выполнено, и, с другой стороны, — «старый конь борозды не испортит».

Вот этот образ свой Залыгин сумел разбить за несколько недель. На дебютном для него редакционном собрании, услышав предложение одного из сотрудников сделать экологическую тематику приоритетной для журнала, Залыгин вдруг заявил: «Я против. Зачем так раздувать значение экологии? Экология — это частность, это следствие. В условиях нормальной, здоровой экономики экологические проблемы решаемы в принципе. Вот о чем нужно думать в первую очередь. Мы должны сосредоточиться на основном, на причинах, а не следствиях».

Ну а в том, как начал он формирование уже своей команды, и следа не было стариковской оглядчивости и неторопливости. Очень быстро в качестве ключевых фигур появились в редакции И. Виноградов, О. Чухонцев, А. Стреляный, чуть позже — И. Роднянская, за ней — В. Борисов, М. Тимофеева¹.

Костырко Сергей Павлович — критик, прозаик, эссеист. Родился в 1949 году. Окончил филологический факультет МГПИ. Автор книги прозы «Шлягеры прошлого лета» (1996) и многочисленных публикаций в «бумажной» и сетевой периодике. В «Новом мире» работает с 1986 года: в качестве сотрудника отдела критики, а в настоящее время — в качестве ответственного редактора сетевого журнала «Новый мир».

¹ Заместителями главного редактора до Залыгина были Ф. К. Видрашку и М. Д. Львов, заведующими отделами: прозы — А. Н. Жуков, поэзии — А. И. Коваль-Волков, публицистики — В. Г. Казаков, критики — В. М. Литвинов. Ответственный секретарь — Г. И. Резниченко. Неработающими членами редколлегии числились Ч. Айтматов, Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. Н. Крупин, Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин.

Имя С. П. Залыгина как главного редактора появилось в № 11 за 1986 год.

В № 1 за 1987 год в этом списке имя Коваль-Волкова сменилось именем О. Г. Чухонцева как заведующего отделом поэзии.

В № 2 здесь появились имена И. И. Виноградова (сменившего на посту заведующего отделом прозы А. Н. Жукова), Д. А. Гранина, И. А. Дедкова, И. Я. Зиедониса, В. А. Кост-

Залыгин действовал решительно — было видно, что он пришел в редакцию с собственной программой и что в реализации ее он будет тверд. Один из прежних заведующих отделом сделал, как, возможно, казалось ему, хитрую попытку обезоружить нового начальника прямокой и искренностью — он пришел в кабинет к Залыгину со словами: «Я хотел бы извинить вас от неприятной и психологически тяжелой необходимости объявить об увольнении человеку, не один год проработавшему на любимой работе. Готов сейчас же, при вас написать заявление об уходе, если, разумеется, я не нужен вам в прежней роли». На что Залыгин ответил: «Вы напрасно беспокоились. Мне это не трудно. С вами мы действительно дальше работать не будем — у меня уже есть кандидатура на ваше место».

При новом редакторе «Новый мир» начал определять свое общественное лицо со статей Анатолия Стреляного, Сергея Залыгина, Василия Селюнина, Григория Ханина, Николая Шмелева, Игоря Клямкина, документально-биографической повести Даниила Гранина «Зубр»². «Новый мир» возвращал себе полузабытую со времен Твардовского роль в формировании общественного мнения — литераторы и публицисты, известные ранее в сравнительно узких кругах, после публикации в «Новом мире» становились тогда фигурами общесоюзного значения: Н. Шмелев, А. Нуйкин, Л. Пияшева, В. Селюнин и другие. (Из моего дневника: «24.06.87. Ехал в малоярославецкой электричке, ходил курить, сначала в один тамбур, потом — в другой. Высматривал читающих, шесть человек в вагоне читают „Новый мир“, у двоих открыто на Шмелеве. С теми тремя, что видел в метро, за день — девять человек».)

Уровень художественной прозы, на который ориентировался Залыгин, был достигнут журналом постепенно, по мере републикаций («Котлован» Андрея Платонова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского, «Пушкинский дом» Андрея Битова и т. д.) и уже свежих публикаций («Капитан Дикштейн» Михаила Кураева, «Смирненное кладбище» Сергея Каледина, «Свой круг» и «Новые Робинзоны» Людмилы Петрушевской, «Новая московская философия» Вячеслава Пьецуха и др.).

рова (сменившего заместителя главного редактора М. Д. Львова), Д. С. Лихачева, П. А. Николаева, А. И. Стреляного (сменившего заведующего отделом публицистики Казакова).

В таком составе редколлегия проработала около года. В № 1 за 1988 год появилось имя М. В. Тимофеевой, сменившей И. И. Виноградова на посту заведующего отделом прозы, вышел из состава редколлегии Анатолий Стреляный. (Осенью 1987 года на заседании редколлегии Виноградов и Стреляный предложили сделать руководящим органом журнала редколлекцию в целом, наделив в ней главного редактора двумя, по сравнению с прочими, голосами при принятии решений. Залыгин категорически отказался: «Неся персональную ответственность за журнал, я должен осуществлять и полноту власти». Получив этот отказ, Стреляный и Виноградов написали заявления об уходе, которые Залыгин подписал.)

В 1988 году, в № 6, появилось имя И. Б. Роднянской, возглавившей отдел критики (после ухода из редакции В. М. Литвинова исполняющей обязанности заведующего была Г. В. Нуйкина).

И наконец, в 1989 году, в № 1 в составе редколлегии появилось имя В. А. Ярошенко, заведующего отделом публицистики.

Так примерно складывалась первая команда Залыгина. В этом составе редакция проработала несколько лет. (Учитывая редакционный цикл «Нового мира» — три-четыре месяца, назначения и перемещения производились за два-три месяца до выхода фиксирующего их номера журнала.)

Намерение Залыгина пригласить в редакцию Игоря Дедкова в качестве своего первого заместителя не осуществилось. В личном разговоре в 1989 году Залыгин объяснял это противодействием наших кураторов в ЦК: «Я тогда очень просил Игоря Александровича чуть повременить с публикацией его статьи о Бондареве („Перед зеркалом, или Страдания немолодого героя“ — „Вопросы литературы“, 1987, № 7). Он не послушал, а после скандала вокруг этой статьи Бондарев и секретари Союза писателей обратились в ЦК, и на меня надавили оттуда». Уже сорвавшийся из Костромы Дедков, несколько месяцев прожив в неопределенности, пошел работать в обновлявшийся тогда журнал «Коммунист».

² Стреляный Анатолий. Районные будни. К тридцатилетию выхода в свет. — 1986, № 12; Залыгин Сергей. Поворот. Уроки одной дискуссии. — 1987, № 1; Селюнин Василий, Ханин Григорий. Лукавая цифра. — 1987, № 2; Шмелев Николай. Авансы и долги. — 1987, № 6; Клямкин Игорь. Какая улица ведет к храму? — 1987, № 11; Гранин Даниил. Зубр. — 1987, № 1, 2.

Границы свободы раздвинулись тогда широко, очень широко. Но — не исчезли. «Новый мир» почувствовал это быстро. Сочинения необыкновенно популярных в перестроечные годы Дудинцева и Рыбакова или романы Бека и Домбровского еще как-то можно было соотносить с поощряемой тогда антисталинской риторикой. Однако фундаментальные положения коммунистического учения, советский исторический миф и реальная государственная и партийная практика оставались под охраной. И «Новый мир» оказался одним из тех изданий, которые начали раздвигать эти границы — «Чернобыльской тетрадь» Г. Медведева³, «Стройбатом» С. Каледина⁴, ну а в первую очередь — «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына.

Своего пика противостояние между журналом и властями достигло весной 1989 года.

Вот несколько выписок из моего уже цитированного выше дневника, в которых есть упоминания о главном для журнала сюжете того года (кавычки и тире, которыми выделяется ниже прямая речь, отнюдь не свидетельствуют о дословном воспроизведении высказываний — записи я делал вечерами по памяти, с помощью торопливых конспектиков, составленных в редакции):

«7.03.1989.

<...> Уходил из редакции поздно. Думал, что последним, но внизу на лестнице увидел Залыгина с портфельчиком. Тот ждал шофера. Вид угрюмый. Я чуть притормозил, чтобы попрощаться, Залыгин, не расслышав того, что я говорю, — немного глуховат, — вдруг взял меня за локоть. „Да-да, — заговорил он жалующимся тоном, — плохо. Очень трудно идут номера. Ну каждый номер. У других такого нет. Как будто нас специально сторожат. Вцепились, не пошевелиться”.

Не осталось и следа от праздничного оживления, с которым он днем поздравлял женщин в буфете с 8 Марта.

9.03.

После работы в комнате Тимофеевой праздновали день рождения Чухонцева. Где-то около семи заглянула Мила⁵: „Быстро все наверх. На редколлегия. Гриша⁶ приехал из цензуры — номер не подписали”.

Мы пошли наверх к Резниченко. Расселись за столом.

Резниченко: Не подписывают из-за Каледина и из-за Якобсона⁷. У Якобсона в конце статьи «апологетика Солженицына». Что будем делать?

Мила: Останавливаем номер. Бастуем.

Резниченко: Я тоже к этому склоняюсь. <...>

Возникла идея опубликовать в номере на том месте, где должна была быть повесть Каледина, внутреннюю рецензию некоего Фенько, рецензию ничтожную и унижительную для журнала, но которую как таран использовало военное ведомство для запрета публикации. Резниченко сказал, что он запускает завтра типографию, пусть печатают вторую половину журнала. А если придется останавливать машину, пусть останавливают, но это сделаем уже не мы. Окончательно вопрос решим на редколлегии.

13.03.

Утром звонил Роднянской. Она сказала, что ее срочно вызывают в редакцию, в час — редколлегия. Позвонили из ЦК, сказали, что согласны с цензурой: нельзя печатать Каледина и конец статьи Якобсона. Будем решать вопрос, подавать Залыгину в отставку или нет. То есть сейчас подавать в отставку ему нельзя, но он хочет поставить вопрос перед нами.

³ Медведев Григорий. Чернобыльская тетрадь. Вступительное слово С. Залыгина, А. Сахарова. — 1989, № 6.

⁴ Каледин Сергей. Стройбат. Повесть. — 1989, № 4.

⁵ Л. В. Вяйт, заместитель ответственного секретаря редакции.

⁶ Г. И. Резниченко, ответственный секретарь редакции.

⁷ Якобсон Анатолий. О романтической идеологии. Предисловие Анатолия Гелескула; Роднянская И. Вместо послесловия. — 1989, № 4.

20.03.

Заседание расширенной редколлегии. Кроме редакционных присутствовали Д. Гранин, В. Крупин и П. Николаев.

Залыгин: Не хотел я ввязываться в конкретные проблемы (атомные дела, армейские и т. д.), но — пришлось. Нам нельзя сейчас идти вширь. Положение у нас очень трудное. Только сегодня, час назад, наметился успех: Каледина печатать будем. Мы придумали хороший ход: пригрозили публикацией писем и документов, показывающих подноготную и армейских дел, и истории с повестью Каледина. Они испугались и сказали: „Пусть уж лучше Каледин”. Я не помню случая, чтобы у Твардовского было снято одновременно четыре вещи. Для меня самая важная сегодня публикация — это „Чернобыль” Медведева. За этой трагедией тысячи жизней. О ситуации с Солженицыным: в пятницу мы решили ставить в номер, а в воскресенье уже были звонки с сомнением, правильно ли это. Нам нужно на всякий случай готовить замену в шестой номер. Мы на пороге крутых мер, вплоть до остановки журнала. От этого могут пострадать низкооплачиваемые люди. Мы не вправе ставить над ними эксперимент. Очевидно, мне придется поднимать вопрос о доверии руководства ко мне как главному редактору. Или вы разрешаете печатать, или я уйду.

Гранин: В связи с чем?

Залыгин: В связи с Солженицыным. Мы завалены письмами. Да мы и сами знаем, что нужно печатать. Мы все — за. Как же можно так дальше работать. Или так, или так.

Поэтому мы так вас ждали. Вмешивайтесь теперь и вы».

Окончательно эта ситуация разрешалась в конце июня.

Из дневника:

«30.06.1989.

Сегодня решается вопрос с Солженицыным.

Медведев⁸ сказал, что „Архипелаг” в СССР не будет напечатан никогда.

Слух: секретари Союза писателей, между собой посоветовавшись — а может, при некотором нажиме Залыгина, — решили взять ответственность на себя. И, видимо, были какие-то переговоры с Горбачевым. И какое-то предварительное решение уже принято⁹. Но — не объявлено. Несколько месяцев назад Залыгин поставил Горбачева в известность, что у редакции есть намерение опубликовать „Архипелаг”. „Не смей, — сказал ему Горбачев. — А то пришлем тебе политическое дело”. После этого были еще какие-то разговоры. В результате вопрос решается сегодня. Будет заседание секретариата СП как органа, которому поручено решить это дело окончательно. (Кем? Когда?)¹⁰

При том, что решение, похоже, уже принято, позавчера Медведев вызвал к себе Залыгина и час уламывал старика, чтобы тот отказался от публикации „Архипелага”. Залыгин упирался: „Вы же сами говорили, что у нас нет цензуры, что вопросы публикации решает и несет за это ответственность главный редактор”. Медведев: „Но там речь шла о литературе, а здесь вопрос политический”.

<...> Около двух в редакцию вернулись те, кто ездил на секретариат. Первым я увидел Залыгина.

⁸ В. А. Медведев, секретарь ЦК КПСС.

⁹ Из статьи бывшего помощника секретаря ЦК КПСС Валентина Александрова «Группу нанимает директор» («Независимая газета», 1999, 11 декабря): «Журнал „Новый мир” <...> активно добивался согласия советских властей на опубликование романов Александра Солженицына <...> В результате многоходовых операций при поддержке обновленческих сил в руководстве КПСС такое право журнал получил осенью 1988 года с условием публикации в следующем году».

¹⁰ «29 июня на заседании Политбюро я кратко изложил суть дела, рассказал о своих дискуссиях с Залыгиным и другими деятелями культуры, о практически единодушных настроениях в писательской среде, которая в этом вопросе забыла даже о своих групповых распрях. <...> Никакого постановления не принималось, просто устная информация была принята к сведению. Имелось в виду, что писатели сами примут соответствующее решение», — вспоминал впоследствии Вадим Медведев.

— Ну что?

— На пять с плюсом! Все проголосовали. Единогласно.

Я спустился на первый этаж. У Тимофеевой в комнате Борисов и Ярошенко. Оказывается, пускали всех, кто хотел. Голосовали единогласно. Ни одного голоса против, никто не воздержался.

Борисов: Я смотрел и не понимал. Где ж мы раньше были? Вот рать могучая! Бойцы. Борцы. Все — за. Полное ликование. Это просто палата сумасшедших!

— Ну хоть какие-то нотки сомнения у Карпова или, скажем, у Верченко были?

— Да что ты! Карпов с того и начал: мы собрались для того, чтобы наконец легализовать Солженицына. Про „Архипелаг” даже разговора не было. Это как само собой разумеющееся. Вопрос стоял об отмене решения правления СП, исключавшего Солженицына из СП, и о том, чтобы депутаты от Союза писателей поставили вопрос о возвращении Солженицыну гражданства.

<...> Сбежали в Елисейский за коньяком. Все собрались в комнате у Резниченко. Попросили Залыгина поднять тост.

— Я хочу сказать, что в «Новом мире» работать можно.

— И нужно, Сергей Павлович! И нужно!

— Это само собой. Но важно, что — можно. Мы здесь спорим и ругаемся друг с другом по мелочам, но в главном все едины. И вот, можно сказать, добились своего. Не буду хвастать, но это наша заслуга. Это два года напряженной работы. А точнее сказать, борьбы. И тяжелой борьбы. В сущности, секретариат прошел сегодня по нашим следам. <...> Я об этом никогда не говорил, но сейчас можно: ведь мы не от Главлита страдаем. Нам все время ведомственная цензура режет. Сначала военная — Каледина, атомная — Медведева. Ну а Солженицына... — (сделал многозначительную паузу). — А главным нашим помощником была как раз цензура. И я считаю своей заслугой, что поверил в их добрые намерения. Они говорили: подождите с этим месяц — сейчас рано, а через месяц можно будет. И когда меня вызвал к себе Медведев и сказал: мы не позволим, — я спросил: а кто это не позволит? У вас есть специальный надзиратель за нами — цензура. Она не протестует. Кто тогда против будет.

— Ну так что, пьем за цензуру? За Солодина?

— Нет. За них рано пить. Подождем за них пить.

<...> Перед тем как зашли в комнату Резниченко, разговор в коридоре.

Залыгин: Меня поразило единодушие. Я говорю, какое единодушие! А секретарша, которая все записывала, говорит мне: „Да какое там единодушие. Вы посмотрите, Сергей Павлович, кого пригласили и кто из приглашенных пришел”. И действительно, не пришли многие».

Возможно, то был самый счастливый день для Залыгина-редактора. Он мог чувствовать себя победителем. Борьба журнала с цензурой была, разумеется, трудной и возможность его отставки, то есть поражения, — абсолютно реальной. Но здесь Залыгин отвечал на очевидный для всех вызов времени и потому чувствовал моральную поддержку и сотрудииков, и авторов, и читателей.

Сложнее оказалась ситуация с его собственной программой журнала. Заявленный Залыгиным на первой же его летучке тезис: «Мы не занимаемся частностями, мы обязаны сосредоточиваться на основном», как и другая его установка: «Мы должны ориентироваться на материалы, которые будут интересны и через десять, и через двадцать лет», — особых возражений в редакции не вызывали. Но в обществе и литературе шла азартная работа по демонтажу советской идеологии. И от «Нового мира» ждали как раз этого — самой последней, самой острой, самой, как сказали бы сегодня, «крутой» правды о прошедшем и нынешнем. Новомирская публицистика конца восьмидесятых, публикации Платонова, Оруэлла, Шаламова и других как будто отвечали этим ожиданиям. Однако в публикациях «Нового мира» очень быстро появилось нечто, смущавшее перестроечного читателя. А иногда и вызывавшее внутриредакционные дискуссии.

К разоблачительному пафосу как фирменному знаку перестроечной прессы Залыгин относился с настороженностью. Он относил его к проявлениям новейшей конъюнктуры. Опубликовав главы из «Архипелага», «Чернобыльские тетради», «Стройбат» Сергея Каледина и «Одлян» Леонида Габышева, он считал, что значимость этих публикаций несоизмерима с газетно-журнальным клоткотанием. И когда его редакторы предлагали очередную разоблачительную статью, в качестве главного аргумента за публикацию которой звучало что-нибудь вроде: «Наш журнал обязан быть первым и здесь. Мы первыми открываем все темы. Это наша задача», — то в ответ обычно слышали: «Мы здесь не стометровку бегаем. Мы журнал консервативный в том смысле, что отстаиваем прежде всего культуру». Или: «Этим занимается „Огонек“. Зачем нам повторять их, у нас свои задачи».

«Мне уже надоело читать про то, что там неправильно сделали Молотов со Сталиным. Там неправильно и там неправильно, — говорил, например, он по поводу одной из отклоненных статей. — Ведь абсолютные, вредные глупости делали. Что же они, совсем дураками были? Да нет, наверно. Не в них дело. Они проводили преступную концепцию. Преступность их действий была преступностью самой концепции. Вот если бы автор говорил здесь о концепции, а не о личностях. Так ведь нет здесь этого...»

С одинаковым раздражением Залыгин отзывался и о новейшей генерации «патриотов», и о деятельности общественного объединения писателей «Апрель», считая, что в их дискуссиях профанируются сами понятия демократии и патриотизма. Себя он считал (и был) демократом, и для него понятия демократизма и патриотизма не были взаимоисключающими¹¹. Линия, выбранная Залыгиным, определяла положение «Нового мира» как журнала внепартийного. «Если выбирать партию, к которой мы принадлежим, то ее, видимо, нужно назвать партией культуры?» — спросил я однажды Залыгина и получил жесткий ответ: «Нет, Сергей Павлович, культура и партийность сочетаются очень плохо».

Позиция эта была трудной. Атакуемой с обеих сторон. Ту степень полноты современной общественной мысли, к отражению которой стремился Залыгин, можно было достичь, сотрудничая с литераторами разных направлений. И потому на страницах журнала соседствовали тогда Шмелев и Шафаревич, Померанц и Белов, Солженицын и Бродский... И вот эта широта, воспринимаемая многими (в том числе и некоторыми из нас, редакторов) как невнятность, размытость журнальной позиции, была для Залыгина отнюдь не формой идеологического лавирования, а попыткой выработать собственную линию.

(Из дневника: «20.09.1988. Залыгин на летучке: „Я получаю огромное количество писем по этому поводу, много ругательных. Пишут: как вы посмели напечатать такого-то, таких нельзя печатать вообще! Знаете, что я им отвечаю? Я им пишу: а вы составьте списочек тех авторов, которым, на ваш взгляд, нельзя появляться на страницах 'Нового мира'. И представляете себе, присылают такие списки. Доктора наук присылают! Да что это такое?! Я помню, как три года был в таком вот списке, меня запрещалось упоминать вплоть до районной газеты. Что же это за демократия?“»)

К самому понятию «линия журнала» Залыгин относился настороженно. «Мы должны брать острые темы и в каждой — идти вглубь. А уж сами материалы потом пусть выстраивают линию журнала. Определять заранее, какая она, жизнь, бессмысленно. Ее изучать надо, а не подгонять под заготовленную концепцию».

Сердцевинным для Залыгина проектом в те годы стала рубрика «Из истории русской общественной мысли». Идея рубрики принадлежала Залыгину. Саму же работу с ней в течение трех лет (1989 — 1991) вела Ирина Роднянская, по мере необходимости привлекая других редакторов (Александра Носо-

¹¹ См.: Залыгин Сергей. Моя демократия. Заметки по ходу жизни. — 1996, № 12.

ва и Вадима Борисова). Широкому читателю были представлены Владимир Соловьев, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, Г. П. Федотов, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Ф. А. Степун, П. Б. Струве и другие. Вот здесь — не столько в конкретных суждениях русских философов, сколько в самом строе их мышления — видел Залыгин некую опорную для журнала точку. Совмещение уровня этой мысли с мыслью современных писателей и публицистов и должно было, по его замыслу, определить «планку» журнала. Для Залыгина, считавшего себя выучеником не только русской литературы, но и русской философии в ее «естествоиспытательском изводе» (П. Л. Драверт, А. И. Воейков, В. И. Вернадский), это был естественный ход. Судьба русской философии была для него большой темой. (Из дневника: «10.05.1989. <...> У нас была замечательная философия, своя. И у меня злость на русскую классику, они — Толстые и Достоевские — узурпировали философию. Забрали ее. Может, поэтому так получилось: философии нашей не осталось, а осталась литература. А литература легко управляется. Философами так не поуправляешь. Сталин знал это и потому разрешил литературу и пытался управлять ею, а философов уничтожал».)

Эстетический и интеллектуальный уровень журнала, на который ориентировался Залыгин, неизбежно становился проблемой во взаимоотношениях журнала с определенной частью его читателей. На ура прошли «Смирненное кладбище» и «Стройбат» Каледина, «Одлян» Габышева. Не говоря уж о публикациях Солженицына, Домбровского. Но уже произведения, подобные «Пушкинскому дому» Битова или рассказам Петрушевской, вызывали — сужу по почте тех лет — у слишком многих раздражение.

Из дневника:

«10.05.1989. <...> *Залыгин на летучке*: За последний месяц мы увеличились на 60 тысяч. Такое прибавление подписки. Меня это пугает. У нас много не наших читателей. Читателей неквалифицированных. <...> Горько будет потом, когда будем терять подписчиков сотнями тысяч. А терять будем».

Перебирая сегодня подборку журналов рубежа восьмидесятых — девяностых годов, можно сказать, что свою программу — не быть только отражением времени, но выполнять и культурную работу впрок — Залыгин смог реализовать.

И оказалось, что почти все, воспринимавшееся по приходе Залыгина в редакцию как минусы нового главного, оказалось тогда для журнала плюсами.

Возраст, который грозил старческой неторопливостью, болезненной осторожностью, нерешительностью, соглашательством, обернулся трезвостью и умудренностью, опытом противостояния и уровнем накопленной культуры.

Отсутствие громко заявленной позиции в тогдашних межлитературных идеологических «разборках» — эстетической и творческой свободой, внепартийностью журнала.

И наконец — именитость, вызывавшая, может быть, наибольшие опасения.

Каждый, кто сталкивался с комплексом «прижизненного классика», хорошо знает болезненную ревность маститых писателей к славе новых, обыкновенные мерить все новое в литературе критериями собственного творческого опыта (срабатывает естественная, неизбежная, чуть ли не на уровне физиологии коренящаяся глухота к правде следующего поколения). Вот тут я готов засвидетельствовать: ситуация эта к Залыгину отношения не имеет. К писателям новых поколений он относился с доверием и интересом, чужой творческой удаче радовался как человек прежде всего творческий, угадывающий тут возможности приобретений и для собственной художественной практики.

Из дневника:

«10.05.1989.

Летучка по третьему и четвертому номерам. <...>

Залыгин: До чего талантлив Ким! В его способности одушевлять лес и все предметы — и его корейская восточная психология, и одновременно высокое искусство. Ну вот откуда он мог знать про бестужевку? У меня мать была бестужевка, я немного знаю про это, а он как будто знал всегда. Но ему-то знать это не откуда. Человек другого поколения. Но смог написать. Это и есть — талант.

Очень хорош Битов. Честно говоря, я, может, с бóльшим интересом читал эти примечания к „Пушкинскому дому”, чем сам „Пушкинский дом”. Я ведь тоже пользовался этими словами, но, оказывается, никогда не задумывался над тем, что эти слова обозначают».

(«4.04.1990. Мне Битов всегда интересен. У него есть то, чего избегают современные писатели, — элемент риска. Он всегда на грани, чуть не так — и сорвется. А он проходит — и ничего. Мне интересно, как? Он ближе всего к тому стилю, который вырабатывает нам жизнь».)

В своих взаимоотношениях с авторами журнала Залыгин исходил из сочетания присущих ему моделей поведения редактора и писателя. Выражалось это в изначальном для Залыгина признании суверенности творческой личности. Вот его — неожиданное в устах главного редактора — высказывание на летучке: «Автор несколько раз переделывал повесть по нашим замечаниям. Интересно, что ни скажешь, он тут же переделает. Хоть бы раз заупрямился и на своем настоял. Ну хоть разочек. Нет. Интересный какой писатель».

Достаточно сложно складывались отношения, например, с Бродским, Публикацию его первой в СССР подборки стихов, которая должна была стать чем-то вроде визитной карточки Бродского на родине, готовил Олег Чухонцев. И когда работа уже шла полным ходом, в США появились интервью, в которых Бродский на вопросы, имеют ли основания слухи о возможной публикации его стихов в «Новом мире», ответил категорически: полный бред! Услышав об этом, Залыгин покачал головой и почти с сочувствием сказал: «Как же им там, в эмиграции, трудно приходится, на что вынуждены идти люди, чтобы сохранить лицо».

Ситуация «писатель-редактор» в случае с Залыгиным могла иметь еще одну проблемную и достаточно деликатную сторону. Залыгин был не только редактором журнала, но и его автором. Автором давним. Но Залыгин, став главным редактором «Нового мира», как автор ничего не поменял в своих взаимоотношениях с редакцией.

«13.08.1989.

На летучке Залыгин сказал, что написал повесть, 5 печатных листов, свеженькую, — там и про съезд, и про Минводхоз и т. д. И вещь такая, что хорошо бы ее поскорее напечатать. Но повесть не отлежалась, написано сгоряча, и он в ней не уверен. Здесь он рассчитывает на мнение отдела. Если будут сомнения, он отложит ее и доработает. Он уже показывал Кострову, получил от него какие-то замечания и переделывает повесть с учетом этих замечаний».

Вот в этом стиле поведения Залыгина-автора проявлялись не только — и не столько — его деликатность и демократизм. Тут срабатывало его величайшее уважение к культуре. Он никогда не чувствовал себя над литературой. Он слишком уважал свое ремесло, слишком уважал литературу, чтобы ставить себя в положение мэтра. И в этом была его сила. Это избавляло его от зашоренности и возрастной, и поколенческой. Не раз и не два тексты, отклоненные его заместителями, подписывал к печати сам Залыгин — как человек более свободный внутренне.

В 1992 году во время разговора Залыгина с Н. Д. Солженицыной я услышал из его уст констатацию его нового, «постперестроечного», положения: «Я пришел сюда не как коммерческий директор, а как главный редактор. Я работал в старое время. Тогда нами занимались Шауро, Воронков, Горбачев. Работать было легче. Я знал, где и что говорить, я мог пригрозить, например, моим уходом. Все помнят, как в этом кабинете мы приняли решение: если нам не разрешат печатать Солженицына, я подам в отставку. А сейчас кого напугаешь своей отставкой?»

Борьба за свободу была выиграна журналами в большей степени, чем они оказались к ней готовы. Свободу они получили полную. Хозяйственную и юридическую в том числе. И главный редактор теперь должен был сочетать редакторский талант с талантом менеджера. Опыт административной и хозяй-

ственной работы у Залыгина имелся (начальник экспедиции, заведующий кафедрой в институте и т. д.), но опыт этот в новой ситуации был почти бесполезен. А обучаться менеджменту, приблизившись к восьмидесятилетнему возрасту, необычайно трудно. Навыки административной работы старых, советских времен срабатывали у него подчас непроизвольно. Плюс изначальное недоверие Залыгина к искренности нового курса власти, объявившей свободу экономической и частной жизни. Новые формы организации — акционирование, процедуры принятия устава и тому подобное — он воспринимал как некую формальность, к реальной жизни журнала не слишком относящуюся. И новая реальность обрушилась на Залыгина только тогда, когда издательство «Известия» поставило перед ним вопрос о формах дальнейшего сотрудничества издательства и акционерного общества «Новый мир».

Из дневника:

«15.04.1991.

Совещание у директора издательства „Известия“, из редакции пошли Залыгин, Видрашку, Костров и я.

Начал [директор издательства] Ю. Ф. Ефремов. Говорил о тяжелом положении, в которое поставлена печать, — все разваливается, тиражи журналов растут непомерно, мы не в состоянии с этим справляться. Особенно — с „Новым миром“. Растет себестоимость, очень дорогая бумага, очень дорогая рассылка, у издательства проблемы с клеем и краской и т. д. И нужно определиться, какими будут наши взаимоотношения в будущем году. Издательство предлагает журналу самому объявлять подписку на свой журнал. Издательство готово по-прежнему оказывать оплачиваемые редакцией услуги по изданию журнала. Нас попросили в течение недели дать ответ на вопрос, будем ли мы объявлять сами подписку, какой тираж предполагаем, какую цену ставим на журнал.

Залыгин и Видрашку выглядели откровенно растерянными. Под конец встречи Залыгин сказал: „Значит, так: вы, Юрий Федорович, набросайте письмо Лукьянову, я буду встречаться с ним на днях и передам письмо с вашими претензиями“.

Сидевшая рядом со мной плановик Петрова охнула. Я смотрел в потолок. <...> На обратном пути, у лифта, Залыгин сказал: „Чего захотели, а? Значит, я должен объявлять подписку и брать на себя ответственность за выход журнала. С какой стати?“

16.04.

Редколлегия. Выступал Залыгин: „Дело дрянь. Хуже некуда. Идем ко дну. Что значит объявлять подписку? Значит — определять цену. Мы этого сделать не в состоянии. Думаю, что журнал надо издавать в розницу“.

Затем выступил Видрашку со своими расчетами себестоимости и возможных доходов. Закончил тем же: журнал можно издавать только в розницу.

После чего начали выступать остальные члены редколлегии и говорили в один голос: издавать журнал в розницу — это самоубийство. Это гибель того „Нового мира“, который был. В лучшем случае будет что-то вроде альманаха под названием „Новый мир“.

Залыгин постепенно набрякал и наконец прервал выступления вопросом: „Я упустил один момент: кто в случае срыва выхода журнала будет нести всю полноту ответственности?“

Была растерянная, удивленная пауза. Потом, старательно подбирая слова, Залыгину начали объяснять, что по уставу отвечает главный редактор. Определеннее всех сказал Василевский: „По-другому уже не будет никогда. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Всю полноту ответственности за свое существование несет редакция в лице главного редактора“.

Заговорили о том, что редакции нужен человек, который будет специально заниматься этими вопросами.

— А почему не поручить это Феодосию Константиновичу [Видрашку]? — возразил Залыгин.

Роднянская: Это несерьезно. Нужен настоящий специалист.

— Но мы все делали как надо. Мы и с издательством „Правда” договорились о переходе к ним. Но в последний момент сорвалось. И сколько раз договаривались с иностранцами, каждый раз почти верное дело было, и каждый раз иностранцы отпадали. Они не могут с нами начать дела, потому что не верят советским законам. Не получается ничего.

17.04.

Утром говорил с Роднянской. Она в ужасе — ей звонил Залыгин. Он вернул к идее закрыть журнал. Вчера на редколлегии среди прочего он сказал, что в конце концов мы можем просто разойтись — и все. К этому отнеслись как к чисто эмоциональному высказыванию. Объяснили, что закрытие журнала не в компетенции главного редактора — это решает коллектив.

Днем в редакции я подошел к Залыгину. Сказал, что идея с розницей кроме того, что уничтожает журнал в его прежнем виде, неосуществима физически. У нас нет для этого денег. А подписка — это предоплата. Читатель заранее оплачивает существование журнала. Для розницы же надо брать ссуду в банке, а гарантии, что мы вернем деньги, у нас нет и быть не может. Залыгин слушал внимательно. Да, сказал он, я об этом как-то не подумал. Потом разговор пошел по тому же кругу: „Я не могу все брать на себя. Я сюда не на это шел — не на директора кооперативного издательства, а на редактора. И ничего страшного, если какое-то время журнал не будет выходить. В конце концов, я свою программу выполнил. Я шел сюда, чтобы напечатать Пастернака и Солженицына. Я сделал это. Что бы там ни говорили, а цензуру отменили мы, „Новый мир”. Теперь достаточно журналов, которые делают то же, что и мы. Литература не пропадет”».

Эти в общем-то понятные у старого человека минуты слабости и растерянности прошли достаточно быстро. Через полгода залыгинским замом уже был литератор и предприниматель Филимонов, который взял на себя ответственность за финансовое состояние журнала, используя свои связи. Стабильное — насколько это было возможно для толстого журнала в девяностые годы — положение журнал уже не терял. Залыгина очень беспокоила ситуация, когда — в самом начале девяностых — журналы, пользуясь определенной поддержкой государства и спонсоров, ставили цену на номер ниже его себестоимости. Делалось это из страха потерять подписчиков. «Получается, — говорил тогда Залыгин, — что нам вообще повышение тиража невыгодно. Увеличивается тираж — увеличиваются наши расходы». Помощь государства и спонсоров Залыгин считал ситуацией временной и потому — опасной. И когда в конце 1993 года он сказал как-то в редакционном буфетике с гордостью: «Мы вписались в рыночную экономику», — на гордость эту он имел право: чуть ли не первым из главных редакторов толстых журналов он рискнул проставить цену журнала выше его себестоимости, и обвала тиража не произошло. В качестве главной финансовой опоры тогда, в 1992 году, Залыгин выбрал деньги подписчиков, поставив журнал в здоровую, естественную ситуацию.

Стиль работы Залыгина-администратора в отличие от Залыгина-редактора так и не устоялся. Но когда Залыгин сокрушался: «Эх, не тех я послушался, не так надо было делать», — он немного лукавил. Решения он принимал сам. Всегда. И в начальный, самый дееспособный свой период, и в последние годы, когда слабел физически на глазах. Впрочем, его можно было убедить, приведя достаточно очевидные аргументы, с которыми он бывал вынужден согласиться, даже если ему поначалу не нравилось предлагаемое. Однако навязать ему какое-либо решение не мог никто. Ну а маневр для выбора Залыгин обеспечивал непохожестью людей, которых собрал в своей команде, — он выслушивал всех, а потом делал собственный вывод.

Весной 1991 года, после кровавых событий в Вильнюсе, я подписал коллективное письмо литераторов с призывом отказаться от каких-либо форм сотрудничества с КПСС. Подписал, особого значения этому не придавая. Это

были уже не семидесятые. Да и та работа, которой я каждый день занимался в редакции, значила тогда больше, чем участие в коллективных письмах.

Через несколько дней после появления этого письма в газете («Московских новостях», кажется) меня пригласил к себе Залыгин. Вид у него был немного странный, какой-то торжественно-замороженный. Он усадил меня напротив и, отведя взгляд в сторону, заговорил в дружески-укоряющей интонации: «Я слышал, вы там письмо подписали против КПСС... Я не уверен, что это следовало делать. В конце концов, вы не вольный литератор, вы член коллектива. Подписывая такое письмо...» и т. д. Все это действие было очень похоже на то, как если бы Залыгину позвонил кто-то из наших кураторов в ЦК и потребовал «выяснить» и «провести работу». Я тоже отвел глаза в сторону и молча ждал, когда закончится осторожная, спотыкающаяся речь главного редактора. «Ну вот, я сказал, а вы сделайте для себя выводы», — закончил Залыгин. Мы еще немного посидели, и я, уже больше для того, чтобы нарушить неловкое молчание, чем для объяснений, открыл рот: «Да нет, Сергей Павлович, я не мог это письмо не подписать. Раз я так думаю, куда мне деваться... И компартия ведь по-прежнему пытается управлять нами».

И вот тут Залыгин глянул на меня уже своим обычным взглядом — внимательно, цепко, и были в этом взгляде раздражение и сокрушенность: «Да вам-то... вам-то какое дело... до них?!» — сказал он уже, что называется, от души. Но вот это более чем выразительно прозвучавшее «до них» развивать не стал. И мне стало стыдно за свой инфантильно-покровительственный лепет. Я вдруг забыл, с кем имею дело: передо мной был человек, вся жизнь которого прошла при советской власти, который смог реализовать полностью и как писатель, и как общественный деятель — и проделал все это, не будучи членом партии. Точнее, сумев избежать этого членства, что Залыгину с его послужным списком было неизмеримо труднее, чем, допустим, мне.

Про свой личный опыт взаимоотношений с коммунистической номенклатурой он избегал говорить. Иногда только прорывалось что-то. Как-то при Залыгине я сказал, как отвратительны бывают партийные начальники, когда они вдруг перестают себя сдерживать и начинают держаться при тебе так, как привыкли в своей среде, — с матом, цинично и глумливо, так сказать, «по-свойски». «Да, — откликнулся вдруг Залыгин. — И ведь при этом считают еще, что тем самым чуть ли не честь тебе оказывают». Сказал с усталой безразличностью, видно было, что хорошо знает, о чем говорит.

Разговор этот случился в поезде, когда мы, несколько редакторов, ехали с Залыгиным в Тамбов. Такие поездки он любил: «Надо побольше ездить. Как мы сумеем делать хороший журнал, если будем жить скучно». В поездках он становился необыкновенно общительным, избегал, правда, тем редакционных и общеполитических, зато много и интересно рассказывал про Сибирь, про довоенные свои годы, про сибирский Академгородок, про Твардовского... Часть рассказов я потом записывал для себя, многие, которые слышал повторно, помню и так. Постепенно накапливаясь, рассказы Залыгина складывались в моем сознании в некий единый сюжет — я назвал бы его сюжетом противостояния. В историю того, как Залыгин в выпавших на его долю временах и обстоятельствах смог обеспечить себе максимум личной независимости и творческой свободы, возможность делать дело своей жизни. Если употребить выражение Юрия Трифонова, это история о том, как Залыгин «вел свою игру».

Судя по хладнокровию, с которым в одном из рассказов упомянул он про 1937 год (как в одну ночь Барнаульский учительский институт лишился всех своих преподавателей и отец Залыгина, работавший там библиотекарем, стал институтским преподавателем латыни, имея гимназический запас знаний), мир для Залыгина тогда не перевернулся. Изначальные иллюзии насчет советского общественного устройства у него не было. Помогало семейное воспитание — родители, политические ссыльные дореволюционных времен, достаточно критически относились и к Ленину, и к Сталину. Залыгин считал себя выучеником русской земской интеллигенции. Он исходил из того, что человек

обязан сам строить свою жизнь, не полагаясь ни на кого, а особенно — на государство. Тема эта варьировалась в его рассказах постоянно.

У меня есть запись одного удивившего меня разговора — Залыгин вдруг заговорил про деньги (речь шла о том, как трудно прожить на наши зарплатки): «Не знаю. Этой проблемы у меня не было никогда. Я начал зарабатывать на жизнь с шести лет. У нас в Барнауле, в доме, где мы жили, было много семей, и когда уезжали на несколько дней, то мне поручалось за свиньями, например, присматривать. И я присматривал. Или ведра выносить. Или еще какую-то работу поручали. И какая-то плата за это шла. А когда в техникум поступил, в тот же день устроился еще и на работу в техникуме лаборантом. И потом, когда в институте учился, всегда еще на двух-трех работах работал — страховым агентом, или чертежником, или инспектором, или какую договорную работу делал как агроном и как мелиоратор. Я в молодости не только себя, но и родителей уже мог содержать».

Учился Залыгин в школе хорошо. Объяснялось это не одними его способностями и трудолюбием. Просто у него не было другого выхода. В двадцатые годы бесплатным образованием было только для детей рабочих и крестьян. Залыгин же был сыном служащего, и потому родители должны были платить за его обучение 10 рублей в год при годовом жалованье отца в 25 рублей.

Окончив после школы сельскохозяйственный техникум, Залыгин поехал по распределению в Хакасию агрономом. И вот подробности, уже чисто залыгинские:

«Мне там восемь месяцев не платили зарплату. Жил на то, что делал по договорам, и получал за это живые деньги. Через восемь месяцев решил: хватит. Собрался и двинул домой. В Барнаул. На почтовых лошадях еду на станцию и по дороге встречаю другие почтовые. Спрашиваю у кучера: а это кто с тобой? А это деньги везут. Зарплату за восемь месяцев агроному. Я говорю: ты про меня молчи, не проговоришь. И дальше двинул. Приехал в Барнаул, в управление. Отказываюсь, говорю, работать, не имеете права без зарплаты держать.

— Как так? Мы тебе послали.

— Ничего не знаю. Отказываюсь.

И остался. Инспектором при техникуме.

Потом решил учиться дальше. Два было варианта. Омский сельхозинститут, факультет гидромелиорации, и Ленинградский пединститут. В Омском раньше были экзамены, потому начал с Омского, решил, что, если провалюсь, тогда — в Ленинград. В пединститут после техникума принимали без экзаменов. В Омске кроме всего прочего надо было сдавать тригонометрию, а я ее не знал. Не то чтобы знал плохо, а не знал совершенно. И пошел. И повезло. Задача по тригонометрии была составлена неправильно. Ее можно было обычным геометрическим способом решить. Я так и сделал. Попробовал — получилось. Преподаватель, поляк, спрашивает: „Как это вам удалось, почему не с помощью тригонометрии?“ — „А так проще“, — говорю. „Ну а хоть что-то по тригонометрии знаете?“ — „Нет, ничего не знаю“. — „А как же ты решился поступать?“ — „Так и решился“. — „Вот что, давай я с тобой за первый семестр пройду тригонометрию — и сдашь, а там посмотрим“.

Так и получилось.

А подготовка тогда была очень хорошая. Разносторонняя. Студентов после нашего института ценили, практически шесть лет учились. Потом в этом же институте и преподавать остался».

Далее жизнь шла как бы по накатанной колее. Инженер-гидролог на Иртыше, на Оби, работа в экспедициях, защита диссертации, заведование кафедрой. Писать начал рано. В основном очерки («К художественной литературе я тогда относился как к несерьезному делу»), но литература постепенно затягивала, начинают выходить первые книги, к концу сороковых годов Залыгин перебирается в Новосибирск и сочетает работу в академическом институте с занятиями литературой. С конца пятидесятых у него образуются прочные связи с сибирским Академгородком, который был тогда своеобразным государством

в государстве со своим общественным и культурным микроклиматом. И судя по всему, Залыгин охотно пользовался полуразрешенными для ученых вольностями, читал и сам давал читать вещи, запрещенные тогда в СССР, не слишком сдерживал себя в выступлениях и в личных беседах. Естественно, атмосфера вокруг него постепенно сгушалась. Доносы на Залыгина в соответствующие органы поступали исправно. Взаимоотношения с местным идеологическим начальством у Залыгина были весьма напряженными.

Из рассказов Залыгина:

«Когда Твардовский приехал в Новосибирск, я отправился встречать его в аэропорт и столкнулся там с нашим обкомовским секретарем, который кого-то из высокопоставленных встречал.

И тот спрашивает:

— Чего ты тут?

— Твардовского встречаю.

— А... Ну вот скажи, „На Иртыше“ ведь для них ты писал. Кто тебя всему этому учил — как писать, про что писать?

— Никто. Я сам.

— Так вот и сам! И что, Твардовский не звонил?

— Нет, не звонил.

— И так ничего тебе не объяснял, не растолковывал?

— Нет.

— Вот видите, — говорит секретарь, обращаясь к своей свите, — своих не выдает! А вы бы меня за пять минут заложили».

В конце шестидесятых Залыгин, оказавшийся в Москве, был неожиданно приглашен к себе тогдашним руководителем Союза писателей Георгием Марковым. Отношения у них были дружелюбными, так сказать, «земляческими».

«Марков сказал мне тогда:

— Значит, так, мужик. Вот тут у меня в шкафу столько лежит документов на тебя, что не реагировать я уже не могу. В Новосибирск тебе возвращаться нельзя. Там я тебе уже не смогу помочь. Съедят тебя дома. Сворачивай все свои дела и беги.

— Куда?

— Возьми путевку в Переделкино. Живи там. Через три года дадим тебе квартиру в Москве. Как бездомному писателю.

Так и сделал. Уволился тихо с работы. Взял путевку и уехал. А семья там на время осталась.

Потом мне говорили обкомовские: эх, быстро ты уехал, не успели додавить.

— А может, не очень и хотели, Сергей Павлович?

— Да нет. Думаю, просто упустили время. А потом поздно было, руки уже не дотянулись».

Когда кончился срок переделкинской путевки, Залыгин заявил литфондовскому начальству: «Выгнать вы меня не можете. Я член Союза писателей, и у меня нет квартиры». Так и остался. Помогал Твардовский, хлопотал о выдвигании «Соленой пади» на Госпремию. Премию за 1968 год Залыгин получил. К тому ж стал секретарем правления СП РСФСР и начал работать в секретариате СП СССР. Какая-то почва под ногами уже появлялась. Но он по-прежнему оставался бездомным, это становилось серьезной проблемой еще и из-за тяжелой болезни жены. Надеяться на помощь Твардовского он уже не мог. «Новый мир» переживал самое тяжелое свое время. В феврале 1970 года к Залыгину обратились Ю. Трифонов и Б. Можяев, собиравшие подписи писателей под протестом против снятия ведущих сотрудников редакции Твардовского. Залыгин письмо не подписал. Не мог позволить себе такой роскоши — именно в эти недели решался вопрос с его переездом в Москву. Эпизод этот потом описывался во многих мемуарах, но при этом ни разу не упоминалась двусмысленная ситуация Залыгина — прославленного к тому времени писателя, который уже больше трех лет на положении беглого и бездомного пытается перебороть судьбу. (Кстати, вот еще один не раз поминавшийся сюжет,

связанный с Залыгиным, — появление его подписи в коллективном письме сибирских писателей с осуждением Пастернака. Стремление Залыгина начать свою редакторскую деятельность с публикации «Доктора Живаго» некоторые даже расценивали как попытку соскresti свою подпись под тем письмом. «Да не было вообще никакой подписи, — сказал мне однажды Залыгин. — Люди просто забыли или притворяются, что забыли, как делалось такое в те времена. Звонят сверху секретарю правления областной писательской организации, и он просто диктует по телефону список ее членов. Про то, что там моя подпись, я узнал много позже». — «Ну а может, где-то сказать об этом публично?» — «Зачем? Если б этих журналистов интересовала истина, они бы легко все узнали и сами. Да уже говорил я об этом публично. Не услышали. Пишут ведь не для того, чтобы истину установить».)

В первые годы после разгона «Нового мира» Твардовского бывшие его авторы сгруппировались вокруг «Нашего современника», и в начале семидесятых он стал одним из лучших русских журналов. «Мы думали, он займет в литературе место „Нового мира“, но для этой роли Викулову не хватило культуры, его повело уже в свою партийность, с ним уже трудно было иметь дело», — вспоминал Залыгин. Поэтому пришлось ориентироваться на «Дружбу народов».

«— Тогда все выстраивали свою линию поведения сами. Я помню, как, например, Трифонов уже в первые месяцы сказал мне: „А я, Сережа, решил отдать новую вещь в ‘Новый мир’”».

— Ну да, торопился встроиться в новую реальность, — заметил кто-то из участников разговора.

— Нет, — очень решительно сказал Залыгин. — Нет. Трифонов был человеком исключительной порядочности. Это у вас у всех сейчас черно-белая картина тогдашней литературы: „Новый мир” Твардовского и все остальное, а в жизни все было посложнее».

«Свою игру» Залыгин выиграл. Смог написать все, что хотел, более того, смог опубликовать все, что хотел¹². Значит, приоритеты были расставлены верно.

Главным для него, по крайней мере во вторую половину жизни, была литературная работа.

Жалобы литераторов на тяжелую жизнь, не позволяющую нормально писать, он выслушивал чуть ли не с брезгливостью.

Вот дневниковая запись 1989 года:

«Залыгин: Я ведь пишу каждый день. Две-три страницы. Если не напишу, у меня пропащий день. Не могу. Утром есть часа два поработать, в субботу, в воскресенье. И прозу, и статьи, и что угодно, и не всегда обязательно это печатаю. Я могу писать всегда и везде. Вот тут в кабинете разговоры, шум, я под эти разговоры могу писать. Здесь просто привычка к работе. Писать начал рано, еще в институте, и как-то хватало времени для всего».

— Ну как же так вот, урывками, по два часа в день? Ведь за это время даже сосредоточиться невозможно?

— А рассредоточиваться не нужно!.. Не работает только тот, кто не хочет работать. Если хочется работать, всегда найдется время. А потом, я работаю быстро. Видите, у меня на столе почти нет ни одного письма? Я за полчаса почту разбираю».

Весь „Южноамериканский вариант” написал в заграничных поездках. Писал на бланках разных отелей. Дома над романом работал только полтора месяца.

А сейчас у меня будет тридцать дней отдыха — буду писать для первого номера журнала. Нужно всегда быть в работе».

¹² Высказывание Залыгина, процитированное Андреем Нуйкиным: «На свою писательскую судьбу я не жалею. <...> Все, что я написал за свою жизнь, я опубликовал. Один рассказ только остался за бортом. Не так уж он был плох, в общем-то. Можно было печатать, но можно было и не печатать. Я не стал. И второе — вычеркнули у меня за все время в совокупности не больше одной страницы текста. Сначала Твардовский боролся за каждую мою строку, а потом я уже и сам был в состоянии за себя постоять» (Нуйкин Андрей. Зрелость художника. Очерк творчества Сергея Залыгина. М., «Советский писатель», 1984, стр. 14).

В работе Залыгин был всегда. Помню, как в 1995 году, летом, придя однажды в редакцию, я похолодел, услышав от Руслана Киреева:

— Ты знаешь про Залыгина?

Залыгин в эти дни в очередной раз лежал в больнице, чуть ли не в реанимационном отделении, с сильным желудочным кровотечением.

— Нет, а что?

— Он свою новую повесть прислал.

Через пару недель в редакции появился Залыгин.

— Сергей Павлович! И где же вы успели повесть свою написать?

— А в реанимации. Так, понимаете ли, тихо, так хорошо, никто тебя не теребит, не отвлекает. Вот где можно сосредоточиться.

Его работоспособность и соответственно плодовитость производила впечатление на коллег. Александр Михайлович Борщаговский — на кладбище после похорон Залыгина: «Это он не от физической немощи. Мы с ним не так давно по телефону говорили, и он пожаловался: устал жить, мне уже тут делать нечего. Он от этого умер. А если б нужно было ему еще какой роман дописать, он бы сейчас не в земле лежал, а сидел бы в Переделкине у себя и писал».

К концу жизни Залыгин-писатель казался воплощением писательства на уровне почти физиологическом. Уже отказывало тело — он не в состоянии был приезжать в редакцию, отказывала память и способность сосредоточиться в разговоре. Перед нами была уже тень того Залыгина, которого мы знали на рубеже восьмидесятых — девяностых. Но он присылал в редакцию очередной свой текст, и в первых же фразах — энергичных, мускулистых, выразительных — он оживал в полной мере. Как будто вся оставшаяся в нем жизнь перетекла в его «писательский мускул», и мускул этот сохранял молодую работоспособность до конца.

Его творческая биография была нетипичной.

Обычно писатель начинает с короткого разбега (ученический период), затем — стремительное и бурное, питаемое еще как бы бездумным напором молодой энергии цветение таланта, когда на одном дыхании создаются самые яркие, насыщенные свежим чувством произведения. А далее следует постепенное оформление уже пойманного «на первом дыхании» собственного стиля, овладение собственным эмоциональным напором в сочетании с интеллектуальным созреванием, растущее мастерство. Ну а в старости — медленное угасание творческого дара и переход к публицистике и мемуарным записям. Так вот, эта схема к писательской биографии Залыгина отношения не имеет. Залыгин-художник шел по восходящей до последних лет своей жизни. (В 1996 году я вычитывал корректуру его романа «Свобода выбора» и всерьез обдумывал, как бы предложить Залыгину некую литературную мистификацию: поставить над романом вымышленное имя и снабдить его справкой: «Литературный дебют... молодой, ранее неизвестный автор» и т. д.; уверен, что о романе заговорили бы как об открытии года, сочетающем содержательность мысли с молодой дерзостью новой стилистики, включая коллажность: Залыгин вставил в этот роман «декларацию нового поколения» из газеты «Лимонка», сделал ее ультрамолодежный интеллектуально-эпатажный жаргон собственным текстом.)

Писать и печататься он начал рано, в конце двадцатых годов. Но писателем осознал себя поздно. Первая его книга прозы вышла в 1941 году в Омске. Внимание же читающей России Залыгин смог привлечь только в 1954-м, напечатав в «Новом мире» цикл очерков «Весной нынешнего года» о жизни колхозов и сразу же попав в звездное для тогдашней русской литературы окружение — Дорош, Овечкин, Троепольский, Тендряков. Это был успех, который, казалось бы, следовало только развивать. Но своим романом «Тропы Алтая» (1962) Залыгин начинает все как бы сначала — роман о биологах, о работе и быте научной экспедиции в тайге. Новое литературное поколение искало тогда свои экзистенциальные опоры, свои способы обновления зрения. Закономерна тогдашняя популярность в России Хемингуэя с его демонстративным

упором на простое и вечное: жизнь и смерть, страх, любовь, еда, природа. Своеобразным аналогом в русской литературе и кино начала шестидесятых стала разработка «геологической» темы: люди науки и природа, простая жизнь сложных людей. Сами мотивы зальгинского романа, сюжетные ходы, человеческие типы могли бы полностью вписаться в умонастроение и поэтику того времени, если б не «излишняя» обстоятельность повествователя и избыток натурфилософской окраски в его размышлениях. Зальгин не вменялся в эту поэтику.

И покида его собратья по перу догрызали геологическую романтику, Зальгин публикует в 1964 году оглушительную по тем временам повесть «На Иртыше». Впервые в советской подцензурной печати коллективизация осмыслялась не в канонической шолоховской интерпретации, а как трагедия российского крестьянства и — шире — катастрофа национальная. В качестве высочайшей оценки повести гуляла по Москве изустно передаваемая фраза Солженицына: «Это хорошо, что есть такая повесть. Теперь я могу об этом не писать». Имя Зальгина встало в особо значимый тогда, сокровенный для читателя ряд: Солженицын, Абрамов, Белов, Можаяев... Сегодня, когда такая оценка коллективизации уже не поражает новизной, повесть «На Иртыше» получает возможность быть прочитанной во всей полноте своего содержания. Это повесть о том, что крестьянская цивилизация, а именно так изображается деревня у Зальгина — во всей сложности психологических, идеологических и философских основ ее жизни, была внутренне готова к преобразованиям. Перед Россией стоял вопрос, как этой цивилизации развиваться дальше. Увы, развитие было прервано насильственно — большевики, сделав ставку на самое косное и безнравственное в человеческой природе, загнали деревню в слегка модернизированный феодализм, до основания разрушив веками создававшийся гармоничный, полный собственной энергии мир крестьянской России. Последствия этой катастрофы мы ощущаем и сегодня. Но, повторяю, в момент появления повести ошеломляющий для публики публицистический заряд этой вещи закрыл глубинное ее содержание. И Зальгину пришлось снова и снова возвращаться и развивать дорогие для него мысли о русской истории (и соответственно — современности) уже в целом цикле своих романов «Соленая падь» (1968), «Комиссия» (1975), «После бури» (1985). Этот романский цикл можно определить как специфически зальгинский жанр историко-философского романа. И писатель, создавший это громадное здание, мог бы главной своей задачей сделать до-писание, до-воплощение задуманного. Но какой бы широкой строительной площадкой ни казалась эта проблематика, для Зальгина и она оказывается тесной. Семидесятые годы актуализировали так называемую «литературу нравственных исканий» — Трифонов, Семенов, Шукшин, Маканин, «сократившие» свой полигон до размеров человеческой личности, предложили читателю размышления о том, «что с нами происходит». И Зальгин в очередной раз удивляет своего читателя — в 1973 году публикует роман «Южноамериканский вариант», сугубо «городское» повествование о душевной маете современной интеллигентной женщины. (И тогда же пишется глубокое и тонкое по мысли эссе о Чехове — отдельная страница зальгинского творчества.) И снова критика в недоумении: за каким литературным поколением числить, к какому отряду современных писателей отнести Зальгина? Он, можно сказать, свой в любой компании, и притом во всех этих компаниях ему тесно. У Зальгина с самого начала было «свое поле» — об этом написали в книгах о Зальгине Андрей Нуйкин и Игорь Дедков¹³.

Деятельность Зальгина-редактора могла бы стать великолепным финалом любой литературной биографии. Он смог в конце восьмидесятых сделать «Новый мир» тем органом, с помощью которого общество и литература восстановили свои права на мысль и слово. Но Зальгин оставался писателем. Девяно-

¹³ Дедков И. А. Сергей Зальгин. Страницы жизни, страницы творчества. М., «Современник», 1985.

стые годы для многих в нашей литературе стали не только «поминками по советской литературе», но чуть ли не поминками по русской литературе вообще; то, что начало происходить в стране, в литературной и журнальной жизни, отдавалось стоном и скрежетом зубным в литературной среде: «Какую литературу загубили!» Действительно, из классиков шестидесятых — семидесятых, начала восьмидесятых равновесие удержали очень немногие. Залыгин же как писатель прошел сквозь это время, как бы даже и не заметив катастрофичности его для искусства. Напротив, это время оказалось для него необыкновенно плодотворным: два романа, несколько повестей и цикл рассказов, почти каждый из которых становился объектом литературно-критических разборов. По яркости, глубине и неожиданности феномен «поздней прозы Залыгина» — явление не только его творческой биографии, но и новейшей русской литературы. Тот органический сплав социальной остроты, актуальности и историчности мышления, философичности, лирики и сатирического гротеска, который предложил Залыгин в своих последних вещах, требует отдельного разговора¹⁴.

Из дневника: «*Залыгин*: Сегодня все оправдывают себя тем, что время такое, — кажется, что нет сил и времени для серьезной, сосредоточенной работы. Не знаю. Бывает, что человек просто робеет перед самим собой. Тянет сделать что-то очень важное, значительное, а братья страшновато. И вот сейчас как раз такое время, когда не надо бояться себя...»

P. S. Очень сожалею, что во время работы над этими заметками я еще не имел возможности прочитать не предназначавшиеся для прижизненной публикации записи Залыгина о его работе в «Новом мире» (опубликованы ныне в журнале «Октябрь», 2003, № 9 — 11). Если бы я располагал этим интереснейшим текстом, я мог бы соотнести свое изложение с тем, что рассказывает сам Сергей Павлович. Зато читатели обоих журналов имеют теперь возможность убедиться, что публичная позиция Залыгина, которую я попытался описать, не расходилась с тем, как формулировал он ее сам для себя.

¹⁴ Статья Ольги Славниковой «Старый русский. Поздняя проза Сергея Залыгина» («Новый мир», 1998, № 12) тему только открывает.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЛИНОР ГОРАЛИК

*

КАК РАЗМНОЖАЮТСЯ МАЛФОИ

Жанр «фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом

Малфои, оказывается, размножаются от мужчины к мужчине. Женщины в их роду детей не рожают. Мужчина осеменяет мужчину, потом осемененный мужчина (тут многие подробности биологического порядка опущены) вынашивает ребенка. Извлекается новый Малфой кесаревым сечением. Джоан Роулинг, создавшая Драко Малфоя и папу его Луциуса Малфоя в качестве героев саги о Гарри Поттере, может об этом не догадываться. Зато в этом не сомневается автор с псевдонимом «Елена», разместивший на сайте, посвященном жанру «фэнфик», весьма подробный рассказ о размножении Малфоев. Сын, Драко Малфой, главный враг Гарри Поттера в повседневной жизни, обожает отца, Люциуса Малфоя, тоже знатного подонка. Люциус Малфой сообщает сыну, что пора «позаботиться о наследнике». Потом идет жаркая гомосексуальная сцена, со стонами, придыханиями, благорастворениями и «невynosимой болью, пронзающей все тело». Потом выясняется, что мальчик понес от отца и так надо. В тоске и ужасе он вспарывает себе беременный живот...

Это светлое произведение вполне типично для подвида angst — «страх» — в писательской субкультуре fanfic — fan fiction, «фанатская литература» (возможно, правильнее называть этот жанр «фанлит», но из уважения к терминологии, устоявшейся в описываемой субкультуре, я буду пользоваться режущим русское ухо словом «фэнфик»). Огрубленное определение жанра «фэнфик», видимо, должно звучать так: тексты по мотивам известных произведений масскультуры, созданные по большей части непрофессиональными авторами и не претендующие на коммерческую публикацию. Естественно, это определение никаким образом не рассчитывает на всеохватность (фэнфик может быть основан на произведениях классической литературы; автор может быть профессиональным писателем; текст может быть использован в коммерческих целях и т. п.), но позволяет представить себе в общих чертах поле текстов, о которых пойдет речь.

Интерпретация мифа

Чтобы говорить о фэнфике, необходимо прежде сказать несколько слов о более широкой субкультуре, частью — а в некоторых аспектах и апогеем — которой он является. Это субкультура «фанатства», представляющая собой совершенно неотъемлемую часть масскультуры вообще. Применительно к теме назовем «фанатством» определенную приверженность потребителя масскульту-

Линор Горалик — поэт, прозаик, переводчик, журналист. Родилась в 1975 году в Днепрпетровске, с 1989 года в Израиле — окончила Безр-Шевский университет по математической специальности, работала в области высоких технологий. С 2001 года живет и работает в Москве. Постоянный автор «Еженедельного журнала», журнала «Профиль», «Русского журнала»; автор сборника короткой прозы «Не местные» (2003), романа «Кожа бабочки» (в соавторстве с Сергеем Кузнецовым; готовится к печати в издательстве «Амфора»), монографии «Полая женщина. Внутренний и внешний мир Барби» (готовится к печати в издательстве «Новое литературное обозрение»).

ры к ее продуктам, будь то телесериал, книга, музыкальная группа или спортивная команда, — а именно приверженность, заставляющую «фаната» предпринимать какие-нибудь активные действия в рамках своей тяги к тому или иному культурному явлению. Минимальным действием такого рода я считала бы покупку диска, постоянный (запланированный) просмотр телепередачи, посещение концерта. Более активная вовлеченность в субкультуру фанатства обычно подразумевает взаимодействие с другими фанатами: обсуждение любимого феномена, толкование его преобразований, обмен слухами и мнениями, игры в персонажей книги или сериала, участие в конкурсах двойников и, наконец, организационную деятельность в пространстве самой субкультуры, как-то: организация фанатских съездов или создание сайтов, посвященных любимой теме. В отличие от, скажем, простого зрителя сериала фанат знает массу закадровых подробностей, касающихся режиссеров, актеров, сценариев, случаев на съемочной площадке... Он лучше вникает в сюжет, потому что пристально следит за эпизодами сериала, по возможности не пропуская ни одного, а часто даже просматривая один и тот же эпизод, записанный на видео, по нескольку раз. Он держит в уме подробности жизни персонажей, возможные варианты развития сюжета, заложенные в сценарий, но еще не реализованные перипетии, ожидающие героев. И, наконец, вдаваясь в детали происходящего, воспринимая просмотр очередной серии «мыльной оперы» уже не как сорокапятиминутное развлечение, но как удаление с общей картины альтернативного мира еще одного белого пятна, фанат, в отличие от простого зрителя, создает собственную версию событий, оставшихся за кадром. Он подзревает персонажей в отношениях, неназываемых вслух; он предполагает, что злодей замыслил очередной ход, но положительные герои еще не ведают об опасности ни сном ни духом; он сильно сомневается в том, что новый полицейский действительно является таким ангелом, каким хочет казаться, и что почтенная школьная учительница действительно провела всю свою непорочную жизнь в этом маленьком тихом городке... Я ни в коем случае не говорю сейчас об элементах патологии, хотя таких хватает. Я веду речь о тех, кто прекрасно различает вымысел и реальность и для кого подобная игра в интерпретации является именно игрой — захватывающей, щекочущей нервы, позволяющей реализовать личные фантазии и спроецировать волнующие личные или социальные проблемы на вымышленный мир, удобно созданный другими людьми. Эти интерпретации и проекции прекрасно существуют в устной форме, они возникают всякий раз, когда обычные зрители, отнюдь не фанаты, обсуждают происходящее на экране — так, как оно видится им. Там, где подобные интерпретации приобретают письменную форму, начинается фэнфик.

Ниже я буду говорить о том, что кажется мне причинами возникновения и развития фэнфика, но одна предпосылка видится мне общей для активного фанатства в целом. Фанатство — это метод, которым потребитель культуры взаимодействует с медиа. Интерпретируя, разыгрывая заново — но уже по-своему, в собственном изводе, — события, директивно заданные с экрана, со страниц журнала, книги или со сцены, фанат обретает некоторый контроль над полученным мессиджем, персонализирует его, делая его более близким и приемлемым лично для себя. В фэнфике, где подобное преобразование мессиджа оказывается более или менее сформулированным и вербализованным, такая попытка «диалога» с медиа просматривается легче всего.

На этой почве фэнфик плотно смыкается с традиционными деривативными кинематографическими и литературными жанрами — пародией, римейком, сиквелом и т. п. Смею предположить, что четкой грани между этими жанрами и произведениями в жанре фэнфик нет. Произведение в духе «фэнфик» вполне может быть пародией, римейком, приквелом, интермедией, сиквелом и чем угодно еще по отношению к первоисточнику. Очевидно, единственной характеристикой, различающей, скажем, «Идиота» Федора Михайлова (издательство «Захаров», перевод рогожинских рублей в баксы и проч.)¹ и фэнфик-историю

¹ См. рецензию С. Ивановой на этот римейк: «Новый мир», 2002, № 2. (Примеч. ред.)

на том же исходном материале, является авторская интенция: автор фэнфика, практически никогда не преследует коммерческих целей и в качестве читательской аудитории представляет себе главным образом других представителей той же субкультуры, а не неведомые народные массы. Между тем многие современные авторы-фанасты начинали с фэнфика, а часть из них, честно говоря, продолжает работать фактически в том же жанре: например, многотомные сочинения разработчиков эпоса Толкиена зачастую представляют собой чистый фэнфик, поставленный на коммерческую ногу.

Растяжимость вселенной

Объектом интереса фэнфикеров может стать телесериал, фильм, книга или серия книг, объединенные общим миром или общими персонажами, реже — явления реальной жизни (существует фэнфик «из жизни» знаменитостей, вызывающий множество нареканий как неприемлемая разновидность жанра, но вполне успешно находящийся себе читателей).

По моим наблюдениям, в первую очередь фэнфик возникает вокруг явлений культуры, предлагающих читателю-фанату хорошо разработанный, полный подробностей мир (фэнфикеры пользуются термином «вселенная», universe), допускающий широкое пространство альтернативы. Огромный пласт фэнфика существует, например, в привязке к сериалу «Секретные материалы» и к саге о Гарри Поттере, но фэнфикеров, работающих с сюжетом и персонажами суперхита «Титаник», оказалось до смешного мало. Очевидно, одной популярности для возбуждения писателей-последователей недостаточно.

Чаще всего фэнфикеры оперируют с мирами, способными без особых проблем выдержать довольно резкие изменения под влиянием креативного порыва — и при этом сохранить связность и узнаваемость. Так, вселенная Хогвартса видится идеальным пространством для фэнфикеров: простота мифологии в сочетании с обилием магии позволяет интерпретатору делать самые странные, самые дикие допущения — а потом с помощью пары заклинаний вырывать на проторенную сюжетную дорожку. Большим плюсом является и тот факт, что простота мифологии «Гарри Поттера» не исключает детальности мира, в котором живут обитатели Хогвартса: обилие мелких прелестных финтифлюшек — всех этих мантий, книг, заклинаний, бешеных деревьев, бессмертных преподавателей, летающих автомобилей и сговорчивых мячей — позволяет фэнфикеру чувствовать себя ребенком, дорвавшимся до гигантского конструктора «Лего»; выбор удобных кубиков так велик, что криво ли, косо ли, но можно построить из них более или менее все, что захочется, — от динозавра до кинотеатра. Аналогичной, на мой взгляд, оказывается ситуация с теми же «Секретными материалами», «Баффи — истребительницей вампиров», «Звездными войнами», «Матрицей», фанаты которых создают, судя по активности на соответствующих интернет-сайтах, сотни текстов в день. Предлагаемые исходные миры — в жаргоне фэнфикеров именуемые «каноном» — великолепно растяжимы; всегда можно создать еще одно странное дело для Скалли и Малдера, организовать еще один слет демонов в Саннидейл или отправить Оби Вана в путешествие на новую, еще не изведенную планету. Словом, пространство для интерпретаций оказывается достаточным, чтобы всякий заинтересованный сумел найти в нем свою нишу. При этом мне не хотелось бы создать впечатление, что фэнфикеры вовсе не интересуются мирами, в которых реальность предстает в своем повседневном облике: сериалы «Друзья» и «Элли Макбил», например, вовсе не обделены вниманием интерпретаторов, равно как и страстные детективы Сидни Шелдона и даже некоторые произведения классической художественной литературы. Но работать с такими «вселенными» интерпретатору труднее, и количество фэнфикеров по «Друзьям» или даже по «Санта-Барбаре» не идет ни в какое сравнение с числом тех, кто эксплуатирует «Звездные войны» или «Звездный путь».

Другое удобное качество, позволяющее фэнфикерам со вкусом разрабатывать тот или иной канон, — обилие персонажей, как центральных, так и вто-

ростепенных. В этом случае желание создать альтернативную ситуацию не наткнется на недостаток действующих лиц; вдобавок всегда найдется персонаж, с которым автор может более или менее идентифицироваться; кроме того, среди множества лиц легко вклинить кого-нибудь новенького, не присутствующего в каноне, но позарез нужного фэнфикеру для развития собственной идеи. Таким образом, Хогвартс с несколькими сотнями учеников, школа, в которой учится Баффи и еще триста человек, Соединенные Штаты Америки, по которым колесят как хотят детективы из «Секретных материалов», и другие многофигурные среды естественным образом порождают большее число интерпретаций, чем тот же выхолощенный в плане действующих лиц «Титаник» или, скажем, бедный полноценными персонажами «Чикаго».

Третьим фактором, способным превратить тот или иной канон в площадку для фэнфика, является наличие недоговоренностей в сюжете, в мифологии «вселенной» или в отношениях героев. Гигантский пласт фэнфика по произведениям Толкиена порождается не в последнюю очередь именно отсутствием очевидных объяснений массе исторических моментов, посылок, мотивов героев, частей мифической «вселенной». То же самое происходит со «Звездными войнами» — особенно благодаря манере Лукаса выпускать серии саги вне связи с хронологией событий. Заполняя эти пробелы, фанаты создают новые смыслы увиденного и получают контроль над «вселенной» канона.

И, конечно, не последнюю роль в создании фэнфика по тому или иному канону играет «серийность» поступления информации. В силу этого факта сериалы и фильмы (или книги) с сиквелами и приквелами привлекают гораздо больше внимания, чем «одноразовые» источники. Здесь фанат вступает во взаимодействие с пофазовым развитием сюжета; в ожидании новой серии или нового сезона он может экспериментировать с собственным даром предвидения, добавляя в свою жизнь остроты посредством сравнения своих предположений с очередными фазами оригинала; может осмысливать и обыгрывать каждый отдельный кусок. Естественно, из этого правила есть исключения: фильм «Матрица» благодаря захватывающей неординарности и гибкости «вселенной» породил массу фэнфика еще до того, как авторы канона (фэнфикеры используют для их обозначения термин «Высшие силы», Powers That Be) сообщили о планах по созданию сиквела.

Скалли при дворе короля Артура

При первом взгляде на фэнфик создается впечатление, что мы имеем дело с порождением последнего десятка, от силы — двух десятков лет. Между тем исследователи истории фэнфика любят начинать рассуждения с легенды о святом Граале, утверждая, что многочисленные интерпретации и дополнения к истории о короле Артуре являются нам пример раннего устного фэнфика. Возможно, с ними и стоит согласиться, — но тогда в область фэнфика попадет едва ли не весь фольклор. Я бы предпочла ограничиться случаями с письменным фиксированным канонам и теми ситуациями, когда римейкеры не стремились соперничать с автором исходника, представляя свою версию вместо его версии (как, скажем, это происходило с многочисленными изводами «Тристана и Изольды»). Мне нравится думать, что история фэнфика в моем понимании начинается с Льюиса Кэрролла. «Алиса» и другие сочинения Кэрролла породили не только шквал пародий и подражаний, но и настоящие «фанские» произведения — опусы людей, писавших интерпретации или подражания «Алисам» ради чистого удовольствия играть в предложенную игру. Наиболее известные вещи в этом направлении были сделаны Кристиной Росетти и Френсис Барнет. Полвека спустя сентиментальные поклонники Джейн Остин начинают писать собственные произведения, используя персонажей этой королевы мелодрам, и публикуют их в собственных же маленьких журнальчиках — ранних версиях любительских «зинов», начавших бурно размножаться в середине шестидесятых годов XX века.

В тридцатые годы XX века в Англии возникает едва ли не первое в истории подлинное сообщество фэнфикеров — «Литературное общество Шерлока Холмса», созданное для того, чтобы продолжать и развивать дело сэра Артура Конан Дойла. Члены общества, в основном дамы, самостоятельно писали детективы о великом сыщике и его недалеким помощнике, издавая их в журнале общества. В 1967 году выходит в свет первый журнал любителей «Звездного пути» — «Споканалия». Сагу как раз начали показывать в качестве сериала на канале NBC. Журнал помимо статей, сплетен и пересказа телеэпизодов печатал робкие опыты, ставшие классикой одного из самых богатых ответвлений современного фэнфика. В 1974 году другой журнал любителей «Звездного пути», «Gtur», впервые в истории публикует фэнфик-рассказ в поджанре «слэш» — гомоэротическую прозу о не существующих в сериале интимных отношениях двух главных героев. Идея настолько скандальна, что автор рассказа пользуется крайне завуалированным языком и не называет персонажей по именам (хотя всем ясно, что имеются в виду Керк и Спок).

Подлинную революцию в существовании жанра обеспечили, по единогласному мнению исследователей, два технических новшества: видеомагнитофон и Интернет. Первый позволил фанатам не только обмениваться видеоматериалами, смотреть в записи пропущенные серии и по двадцать раз перематывать один и тот же кусок, вдаваясь в нюансы. Видеомагнитофон изменил образ телефаната: теперь он не должен был, прилипнув к телевизору, ждать заветной серии и подгонять весь распорядок жизни под сетку вещания. Фанат мог стать социально адаптированным, работать, делать карьеру, иметь личную жизнь — и наслаждаться объектом фанатской страсти в удобное ему время. Что же касается Интернета — всемирная Сеть открыла перед фэнфикером совершенно новые возможности. На смену любительским журналам, распространявшимся в нескольких десятках (в лучшем случае — сотнях) экземпляров, пришли сайты, наиболее популярные из которых посещают по 10 000 человек в день. Круг читателей и писателей фэнфика разросся в тысячи раз — в первую очередь за счет того, что в доинтернетовскую эпоху потенциальные фэнфикеры просто не знали о существовании подобного занятия и уж тем более — о существовании потенциальных читателей их экзерсисов. Кроме того, Интернет создал фэнфикерам среду взаимной поддержки, оценки, обсуждения, обмена мнениями и информацией — словом, все то, что воодушевляет и стимулирует 90 процентов авторов, работающих в фэнфике. На сегодняшний день в Сети существуют тысячи сайтов, посвященных исключительно фэнфику в целом или определенным его ветвям (канонам, отдельным авторам и т. п.).

В поисках подтекста

Многочисленные рекомендации начинающим писателям-фэнфикерам, присутствующие почти на каждом сайте этого рода, в качестве главного требования указывают «связь с канонами». Действительно, привязанность фэнфика к канону, собственно, и отделяет сочинения этого жанра от «самостоятельной» литературы. Фэнфикер преследует цель, едва ли не противоположную цели обычного литератора: последний, как правило, стремится к максимальной оригинальности, к полной самостоятельности мира произведения и его героев; фэнфикер же, наоборот, должен стараться как можно надежнее попасть в заданное канонами русло и по возможности соблюдать взятый курс в мельчайших подробностях. Чем детальней и аккуратней выполнена привязка к канону — с точки зрения мифологии, стилистики, аутентичности персонажей, — тем выше ценится произведение в жанре фэнфик. С другой же стороны, автор фэнфика должен предложить читателю свою собственную интерпретацию сюжета или его элементов, иначе произведение окажется неинтересным для братьев фанатов. Главное мастерство хорошего фэнфикера заключается в умении балансировать на тончайшей грани между соблюдением канона и созданием альтернативы происходящему в исходном фильме, книге или сериале. Одно

неловкое движение и — «вселенная», на которой основан очередной рассказ в жанре фэнфик, развалится; недостаток дерзости — и рассказ попадает в категорию «опять двадцать пять». Искусству вносить изменения во «вселенную» канона посвящены целые трактаты мастеров фэнфика. Внося небольшое изменение — например, делая Малдера вурдалаком, — писатель должен просчитать все последствия такого шага для «вселенной» канона. Он обязан ответить читателю на вопросы исторического характера (как Малдер стал вурдалаком? почему мы не знали об этом раньше? как ему удалось скрывать такую нехилую фишку все эти годы — и не только от нас, но и от Скалли, что уж совсем неправдоподобно...), на вопросы персонального толка (что, собственно, подразумевает его метаморфоза: у него появляется желание пить кровь? или настоящая потребность? может ли он с ней бороться? а хочет ли? а страшно ли ему? — и т. п.), наконец, на вопросы «вселенского» масштаба (что следует из существования такого вурдалака? выходит ли, что вурдалаком может стать каждый? есть ли способ решения этой проблемы? значит ли это, что мы упускаем что-то коренное в нашем понимании «вселенной»?). Ситуация делается еще хуже, если вурдалаком становится, скажем, Фиби из сериала «Друзья», где не существует вообще никаких мистических явлений, — тут уж читатель имеет право обалдеть и потребовать от автора немедленных и крайне серьезных объяснений: что это за неприличные шалости? И если автор не отмажется, превратив свой сюжет в сон Фиби... ну, или в сон Малдера, собратья по перу имеют полное право от него отвернуться.

Поэтому традиционным подходом фэнфикера, за редкими исключениями, является не столько создание серьезной альтернативы происходящему в исходном тексте или на экране, сколько интерпретация деталей и заполнение сюжетных пустот, по той или иной причине оставленных авторами канона. В этом плане наиболее распространенный прием — не дерзкое и своевольное изменение тех или иных значимых деталей, но отыскивание подтекстов происходящего и выведение этих подтекстов на первый план. Например, в тех же «Секретных материалах» одним из главных подтекстов шоу является несомненное, но нигде не реализованное влечение агентов ФБР Даны Скалли и Фокса Малдера друг к другу — и несколько изводов фэнфика по «Секретным материалам» занимаются фактически только развитием этой темы: от страстных сексуальных сцен с участием обоих агентов — до их существования в многолетнем браке. Иногда работа с подтекстом происходит менее лобовым способом: например, в шоу «Элли Макбилль» существует постоянный подтекст противостояния феминистских и антифеминистских мотивов в поступках героинь, и хороший фэнфик по «Элли» просто акцентирует ту или иную составляющую поведения Элли и компании. Исследователями подмечено, что примерно тем же занимается и критика: раскапыванием и интерпретацией подтекста, того, «что нам хотел сказать писатель». Близость в методах критиков и фэнфикеров легко наблюдается при чтении материалов обогого рода, касающихся культового сериала «Секс в большом городе»: первые выискивают у одной из четырех подруг лесбийские наклонности; вторые попросту укладывают Саманту и Шарлотт в общую постель.

Еще одним распространенным приемом, используемым фэнфикерами с целью развить ту или иную интерпретацию сюжета, является выдвигание на первый план второстепенных персонажей. Такой ход позволяет, во-первых, вырваться из круга постоянно топчущихся на одной полянке главных действующих лиц, а во-вторых, перераспределить акценты. Кроме того, обычно слабо прописанные в каноне второстепенные персонажи оказываются куда более податливы и позволяют делать более свободные допущения, чем выверенные до мельчайших деталей главные герои.

В целом подходы к канону, так или иначе используемые авторами фэнфика, более или менее четко распределяются по трем категориям: детализация, заполнение пробелов и альтернативное развитие. При первом подходе автор стремится изобразить в подробностях заинтересовавший его, но нечетко про-

писанный в каноне поворот сюжета: взаимный интерес Скалли и Малдера, семейные обстоятельства двоюродной сестры Фиби, проблемы размножения Малфоев... При заполнении пробелов автор ставит перед собой задачу дать ответы на некоторые вопросы, поднятые, но недостаточно выясненные в каноне. Почему эльфы движутся на юг? Как получилось, что Курильщик избежал сожжения заживо вместе со всем Синдикатом? Что на самом деле думают родители Гермионы Грейнджер о том, что их единственная дочь — ведьма? Такой подход обычно очень одобряется читателями фэнфика — если ответ на поставленный вопрос оказывается остроумным и внятным, они и сами начинают чувствовать себя спокойнее по поводу Курильщика. При использовании же метода альтернативного развития автор развлекает себя и читателя расширением поля деятельности героев, заодно используя это в целях все той же детализации — скажем, разглядывая характер героя сквозь призму новых обстоятельств или находя ответы на поставленные исходным сюжетом вопросы в новой, неосвоенной и оттого более гибкой реальности. Иногда предчувствие не обманывает опытного фаната: авторы сериала впоследствии приходят к тем самым решениям, какие он описал задолго до выхода новых серий на экран.

Иные миры

Репертуар фэнфика не только демонстрирует заинтересованному наблюдателю масштаб описываемого явления, но и хорошо иллюстрирует тот факт, что фэнфик в поисках канонов привязан к масскультуре больше, чем к собственно литературе.

подавляющее большинство фэнфиков написаны в прозе; именно тут наблюдается богатое разнообразие поджанров. Фэнфик-поэзия — это по большей части либо баллады, интонация которых варьируется от подлинно средневековой до формата радио «Шансон», либо хвалебные оды, несколько пугающие накалом интонационного пафоса.

Она — пример, что даже маггла ведьмой может стать,
 Что человек силен усилием и верой,
 И каждый, кто готов всего себя за свой успех отдать, —
 Пусть Гермиона служит им примером!

*(Перевод с английского автора статьи
 с намеренной попыткой сохранить
 чудовищную корявость оригинала.)*

Фэнфик-поэзия и фэнфик-проза очень плотно смыкаются; подобные беспредметные оды в огромном количестве присутствуют и в форме прозаического экзерсиса, а сюжетные поэтические баллады обычно подчиняются тем же законам, что и сюжетная фэнфиковская проза. Безусловно, существуют исключения, даже в виде устоявшихся тенденций, но сейчас мне хотелось бы, обратившись в преобладающей массе текстов, попытаться описать, вне зависимости от формы — поэтической или прозаической, основные поджанры.

Одним из самых весомых является поджанр «развития». В этом случае авторы фактически не меняют никаких установок, заданных в каноне, но позволяют себе интерпретировать исходное положение дел или «заполнять» пробелы в полученной информации, самостоятельно досочиня недостающие сюжетные ходы. Прямой оппозицией этому поджанру, построенному на покорном следовании канону, выступает важнейший для фэнфика поджанр «альтернативной вселенной» (Alternative Universe, AU). Здесь автор вносит в установки канона свои изменения — например, делает агента Малдера инопланетянином или кэрролловскую Алису — мальчиком (последнее, признаюсь, — мой личный вымысел; но я дорого дала бы, чтобы прочитать такое произведение, при условии, что автор не поленится как следует подумать о викторианстве и гендерной ситуации применительно к этой эпохе). При всей его привлекательности, поджанр этот крайне опасен для автора: заявление о

принадлежности текста АУ не отменяет требования соотнесенности описываемого с канонем. Так что автору приходится постоянно следить, чтобы его «альтернативная вселенная» не оказалась несовместимой с исходным материалом. В рамках АУ существует несколько основных приемов. Самый распространенный — и соответственно самый простой в работе — изменение какого-либо качества одного из героев; иногда это качество является основополагающим, как в вымечтанном мной примере с Алисой-мальчиком, иногда — малозначительным, как, например, объявление Саманты из «Секса в большом городе» наследницей английских аристократов. При таком подходе легче всего не нарушить основные законы «вселенной», принадлежащей канону, и большинство «альтернативщиков» держится именно этого приема. Другой, более сложный прием — изменение некоего закона «вселенной» при сохранении базовых свойств персонажей. Масштаб может различаться и здесь: скажем, если автор заявляет, что в его версии «Секретных материалов» все жители земного шара будут верить в действенность магии, это может дать интересное развитие некоторым аспектам ситуации, но не перевернет мир Малдера и Скалли с ног на голову. Ну а если автор заявит, что он напрочь лишает школу Хогвартс магии, лично мне будет нелегко представить, что же он собирается делать с такой «альтернативной вселенной». Единственное объяснение, которое удалось бы придумать, — это желание автора прекратить волшебное бла-бла-бла, чтобы полностью сосредоточиться на отношениях героев. На поверку это предположение оказывается не таким уж наивным: большинство авторов, работающих в жанре АУ, однозначно заявляют, что все вносимые ими изменения служат единственной цели: создать среду, где характеры, манеры, отношения и намерения героев могут быть представлены под другим углом и оттого еще лучше раскрыты. Сильно обобщая, можно, видимо, говорить о том, что АУ в некоторой мере является квинтэссенцией фэнфика: авторы уходят в интерпретации исходника так далеко, как только можно, и делают это затем, чтобы лучше понять исходник. Особенно ярко это проявляется в тех ситуациях, когда АУшники идут на очень резкие перемены во «вселенной», окружающей персонажей канона: например, переносят их в другой исторический период (приключения Малдера и Скалли в эпоху охоты на ведьм пользуются особой популярностью). Кстати, сами фанаты часто различают понятия «альтернативной вселенной» и «альтернативной истории»: первое служит для обозначения перемен ситуационного порядка в настоящем, второе — для обозначения перемен, вносимых в более или менее отдаленное прошлое героев и влекущих каскад последствий (например: сестра Малдера не похищена инопланетянами; Саманта страдала от приставаний своего отца; Бедная Лиза не встретила Эраста, Эраст Петрович не стал статским советником...). Здесь степень вырванности персонажа из контекста так велика, что можно позволить себе полностью сосредоточиться на сложностях его внутреннего «я» — если, конечно, это кому-нибудь интересно.

Надо отметить, что метод «альтернативной вселенной» усвоен не только фанатами, но и производителями канонов. Прием так очевиден, что трудно говорить, что чему предшествовало, но, несомненно, развитию жанра АУ очень способствовали неоднократные разномасштабные попытки «Высших Сил» самим создавать альтернативные вселенные. Из них наиболее знаменита предпринятая в свое время корпорацией DC — крупнейшим производителем комиксов, владельцем, помимо прочих разностей, Бэтмена и Супермена. Когда монотонные подвиги идолов начали приедаться читателю, DC сообщила о существовании альтернативных вселенных (собственно, тогда же и введя, кажется, этот термин в обиход), — в частности, например, о «вселенной», где все хорошие являются плохими, а все плохие — хорошими... Но и те «Высшие Силы», которые избегают таких радикальных мер, время от времени подкидывают читателю «альтернативный» ход. Иногда он вписан в канон — скажем, Баффи просыпается и обнаруживает, что разучилась истреблять вампиров. В конце серии выясняется, что дело было в заклятии, заклятие снято, все возвращается на кру-

ги своя, — но в течение целого эпизода можно наслаждаться метаниями и размышлениями любимого персонажа. Иногда ни о какой вписанности в канон речи не идет — в дешевых сериалах обретение дара ясновидения или, наоборот, потеря оног свински выдаются за прекрасный (ужасный) сон героя. Наиболее обаятельное решение изобрели создатели научно-фантастического сериала «Скользющие» («Sliders»). Герои этой саги способны перемещаться между альтернативными мирами в поисках своего собственного мира. Иногда миры полностью отличаются от «нашего» — динозавры живы, антибиотики не изобретены, по планете шагает воинствующий матриархат и прочее. Иногда изменение более тонкое — например, всё как всегда, но погибший отец одного из героев оказывается жив. Словом, все те приемы, которыми фэнфикеры пользуются при интерпретации канона, тут становятся неотъемлемой частью самого канона: каждая серия — альтернативная реальность, что опять-таки позволяет зрителю сосредоточиться на персонажах. Впрочем, тема альтернативных вселенных в визуальной масскультуре — в первую очередь в комиксах и сериалах — заслуживает самостоятельного исследования.

Очень плотно к поджанру АУ примыкает еще один достаточно популярный, но все-таки менее массовый вид фэнфика: crossover, «скрещивание». Это когда персонажи канона не просто переносятся в выдуманную автором альтернативную вселенную — они переносятся в рамки другого канона. Создавать качественный фэнфик такого рода крайне сложно — нужно держать в голове массу мелких деталей, сглаживать острые углы и так или иначе отвечать на неизбежно возникающие у читателей неприятные вопросы. Дела обстоят сравнительно неплохо, если мифологии двух «вселенных» (а иногда и большего числа; мне доводилось видеть тексты, где совмещались четыре канона из трех разных жанров и двух разных эпох бытования масскультуры) хоть сколько-нибудь близки друг другу: так, в Саннидейле Скалли и Малдер явно будут чувствовать себя лучше, чем Саманта и Миранда. Впрочем, при выборе пересекающихся канонов очень многое зависит от готовности автора прорабатывать детали. Приключения Миранды в Саннидейле, по сути, мало чем отличаются от тех странных историй, в которые попадают ничего не ведающие о потусторонних силах агенты Скалли и Малдер из их собственной «вселенной». Скрещивание представляет собой наиболее удобную игровую площадку для авторов с высокими креативными амбициями: возможности варьировать происходящее тут поистине бесконечны. Лично меня совершенно поразил текст, где профессор Северус Снейп из «Гарри Поттера» встречает следователя Давида Фридмана из «Поцелуя Иуды» и обнаруживает, что перед ним его собственный двойник. Вся соль заключается в том, что Снейпа и Фридмана играл один и тот же актер — Алан Рикман. Здесь, кстати, надо отметить, что к скрещиванию — как и к АУ — несколько раз прибегали сами создатели канонов. Та же DC не раз переносила своих героев из вселенной во вселенную, да и в телесериалах в последние шесть-семь лет подобный прием — не редкость: «Зена, королева воинов» в какой-то момент слилась с «Геркулесом»; из «Баффи», наоборот, выделился «Ангел».

Еще одним принципиально важным поджанром фэнфика является так называемый shipping — производное от слова «relationship», «отношения». Этот поджанр предполагает сосредоточенность автора текста на отношениях между героями канона. Пласт такой литературы поистине огромен, ведь «фанатство» вокруг того или иного явления масскультуры построено не в последнюю очередь на вовлеченности реципиента в происходящее на экране, сцене, странице прежде всего за счет идентификации с персонажами. Таким образом, судьбы персонажей для девяноста девяти процентов зрителей оказываются гораздо более интересной составляющей канона, чем поднимаемые авторами проблемы общего характера. Вспомним хотя бы, что творилось с миром, когда умирал доктор Грин; вспомним также бесконечные «Санта-Барбары», где выяснения запутанных отношений между персонажами, собственно, и были основой сюжета.

У поджанра «отношений» есть масса ответвлений, крупных и мелких; я попытаюсь описать наиболее принципиальные и упомянуть несколько менее

значительных, но все же показавшихся мне интересными. Главное разделение внутри жанра проходит по линии shipping/pairing. Первым словом традиционно называют тексты, не занимающиеся сексуальными отношениями героев. Правда, здесь может присутствовать (в качестве особой разновидности) «сексуальное напряжение, не находящее выхода» (unresolved sexual tension, USR). Такие тексты обычно доводят героев до почти-поцелуя, но тут что-нибудь нарушает ход вещей или сами участники несостоявшегося акта спохватываются и уходят страдать под холодным душем. Самая типичная пара такого рода — Малдер и Скалли, которые так и не стали любовниками в полном смысле слова в рамках самого канона. Но по большей части тексты категории shipping занимаются внесексуальными аспектами в чистом виде: кто кого ценит, кто кому симпатизирует, кто кому давно хотел дать в морду. Тексты категории pairing занимаются, напротив, сексуальными отношениями героев. Разнообразие авторских манер, ситуационных решений и, главное, уровней порнографичности текстов здесь огромно (тут, кстати, следует заметить, что в хорошо устоявшихся, уважающих себя фан-сообществах практически все тексты имеют маркировку, аналогичную маркировке фильмов: например, код PG-17, NC, R — и пояснение к маркировке: «секс», «насилие», «грубая речь» и т. п.). Целых двадцать страниц, насыщенных метаниями и переживаниями, могут кончаться робким поцелуем; текст такой же длины может, напротив, быть сплошь заполнен описанием полового акта, с уделением должного внимания каждой отдельной фрикции. Некоторые тексты настолько лишены сюжета и сосредоточены на самом акте, что для них даже существует специальный термин: PWP — «Plot? What plot?» («Сюжет? Какой сюжет?»); герои входят в комнату (каюту, кабину, подпространство, бессознательное состояние) — и поехали.

Другое очень важное разделение «жанра отношений» проходит по линии slash/gen. Gen («general» — «обычный») означает гетеросексуальные отношения партнеров; slash — гомосексуальные. Термин происходит от принятых маркировок на текстах такого рода — например, «Superman/Batman» («Superman slash Batman»), что означает «внутри находится описание сексуальной сцены между Суперменом и Бэтменом». Слэш чаще всего сочиняется о героях, в рамках канона никаким образом не состоящих в сексуальной связи и по большей части готовых убить каждого, кто заподозрит их в подобных наклонностях. Керк и Спок, Малдер и Скиннер, Супермен и Бэтмен, наконец, вряд ли готовы разделить друг с другом постель; но их упорно укладывают туда поклонники. Иногда это делается на основе «ощущения», что герои в самом каноне тянутся друг к другу; иногда — по мотивам, никак с каноном не связанным. Причины, порождающие slash, станут понятнее, если учесть, что здесь подавляющее (около 90 процентов) большинство авторов — женщины в возрасте от 15 до 35 лет. Исследователи, занимавшиеся темой гендера в области фэн-фикшн, строили неоднократные спекуляции насчет этого феномена. Мне кажется вполне очевидным, почему слэш почти никогда не пишут мужчины, — видимо, из страха быть заподозренными в *наклонностях*. Касательно же того, почему слэш пишут женщины (и пишут зачастую гораздо охотнее, чем традиционный гетеросексуальный pairing), существует множество предположений. Наиболее популярно среди самих фанатов, насколько мне удалось выяснить, мнение, что за редкими исключениями масскультура не представляет зрителю образа равноправных отношений между мужчиной и женщиной. Мужчина оказывается сильнее и влиятельнее, и дамы-фэнфикерши, желающие изобразить секс на равных, не могут найти подходящей гетеросексуальной пары. Лесбийский фэнфик при этом пользуется меньшей популярностью потому, что женщин, во-первых, в качестве сексуальных объектов чаще все-таки привлекают мужчины, а во-вторых, они хотят наблюдать сексуальные отношения не только между равными, но и между сильными существами, какowymi женские персонажи редко оказываются в рамках канона. Не берясь оспаривать эти утверждения, выскажу собственную гипотезу. При обильном чтении текстов этого поджанра у меня сложилось стойкое впечатление, что

изображение мужчин — сексуальных партнеров здесь очень далеко от образа «сильных» и «равных». Супергерои, негибаемые капитаны, всемогущие демоны и покорители вселенной ведут себя, по выражению американского поэта Витаутаса Плиуры, «как котята, лакающие первую в жизни мисочку молока». Они нежничают; они часами предаются прелюдии; во время секса они постоянно думают о переживании партнера; они изнывают от благодарности к человеку, доставившему им такое наслаждение, и клянутся партнеру в вечной любви. «Навсегда?» — спросил капитан Керк. «Навсегда», — ответил Спок и поцеловал его мускулистое плечо. Одним словом, в слэше женщины изображают сексуальное поведение мужчин таким, каким они хотели бы видеть его в реальной жизни. Это идеальный любовник: нежный, мяующийся, боготворящий партнера, не засыпающий, отвернувшись к стенке. При этом изображение такого партнера в рамках гетеросексуального полового акта, мне кажется, все-таки смущает женщину: в первую очередь из-за того, что подобное поведение редко полагается персонажу по канону. В рамках гетеросексуального фэнфика женщина-автор не может располагать своим героем так, как ей хотелось бы; она вынуждена сохранять основные признаки его характера, предполагая (или копируя существующее в рамках канона) психологически достоверное сексуальное поведение. Входя же на территорию слэша, фэнфикер (в целом обычно не имеющий представления о структуре гомосексуальных отношений) и рассматривающий пространство этих отношений как чистый лист немедленно ставит персонажа в уникальную, никак не представленную канон обстановку — и вот тут уж может делать с ним все, что считает нужным.

Фэнфик с сексуальным подтекстом вызывает массу нареканий не только у сторонних наблюдателей и у «Высших Сил», но и у самих читателей фэнфика. Очень многие сайты отказываются публиковать тексты категории raicing, особенно слэш. Между тем совершенно очевидно, что эта разновидность текста неистребима и популярность ее будет неизменно оставаться высокой.

Особые же нарекания вызывают обычно тексты, в которых действуют дети и подростки. Естественно, тексты эти произрастают на почве соответствующих канонов — например, молодежных комедий и сериалов. Когда начался бум вокруг саги о Гарри Поттере, некоторые сайты поклонников Мальчика, Который Выжил, стали ежедневно публиковать десятки текстов, где десяти-одиннадцатилетние ученики Хогвартса с завидной резвостью совокупаются друг с другом, с учителями, с родителями, с волшебными животными и с неуловимыми магическими существами. Большинство авторов — взрослые старше двадцати. Их интерес к теме подростковой сексуальности, подавляемый страхом перед обвинением в одном из самых страшных грехов современного западного общества — педофилии, получает возможность в открытую цвести в пространстве фэнфика: во-первых, речь априорно идет о вымышленных персонажах, во-вторых, всегда можно сослаться на пресловутый подтекст в исходнике, в-третьих, никто не может помешать автору утверждать, что написанные им сцены, в которых профессор Северус Снейп за одну ночь лишает девственности разнополый класс из двадцати человек, были необходимы для художественного развития сюжета.

К теме «отношений» вплотную прилегает еще один поджанр фэнфика — то, что в среде англоязычных фанатов называется «Hurt/Comfort» — «Страдание/Утешение». Как верно подсказывает название, тут один из героев попадает в тяжелую ситуацию, а второй бросается ему на помощь, — крайне благодатная почва для выяснения отношений, давно ожидаемых признаний в любви — ну и секса, если позволяет физическое состояние пострадавшего (читая фэнфик, иногда остается только удивляться тому, на что способны люди с оторванными конечностями и выколотыми глазами, к груди которых привязан, скажем, килограмм динамита с дымящимся фитилем). «Страдание/Утешение» считается низким сюжетом в среде фэнфикеров — он слишком мелодраматичен, слишком прост в исполнении и оставляет мало места для работы во-

ображения. Но именно эти качества зачастую привлекают наиболее сентиментальных авторов.

Помимо разновидностей, общих для фэнфика в целом, в каждом фэндоме — обществе поклонников того или иного фильма, сериала или книги — существуют свои, особые подразделения: например, в фэндоме «Секретных материалов» существует понятие «бэбифик» — истории об общем ребенке Скалли и Малдера. Однако чтение подобных текстов сильно затруднено для человека, не посвященного в мельчайшие нюансы книги или шоу, в результате чего фэнфик такого рода привлекает сравнительно мало читателей — и сравнительно мало писателей.

Бог деталей

О манере письма авторов фэнфика говорить «в общем» крайне трудно — из-за жанрового разнообразия, из-за зависимости текста от канона. И, конечно, — из-за исключительно неровного уровня разных текстов. На почве фэнфика подвизаются как полуграмотные школьники, так и сорокалетние филологи, возможно, способные занять место в списках лучших фантастов современности. На одном и том же сайте может быть опубликована сорокастрочная писулька, явно призванная удовлетворить писательский зуд человека, впервые взявшегося за перо, и стостраничная сага мастера, на протяжении пяти лет развивающего судьбы персонажей канона в хорошо разработанной альтернативной вселенной. Поэтому я попытаюсь выделить только самые общие вещи, более или менее применимые к основной массе фэнфика.

Фэнфик ценится читателями и коллегами по перу тем выше, чем более детальное знание канона проявляет его автор. Под детальным знанием подразумевается как учет мелочей, так и удерживание в голове основной канвы повествования, называемой «мифологией». Некоторые части сериала или главы книг могут никаким образом не развивать мифологию, обходясь описанием мелких событий, но фэнфик, способный интерпретировать именно основные особенности «вселенной», ценится выше всего. С другой стороны, хороший фэнфикер, работающий с персонажами «Секретных материалов», никогда не позволит себе написать текст, где не фигурировало бы время «21:11». Эта дата (21 ноября) — день рождения создателя сериала Криса Картера. В той или иной форме она фигурирует практически во всех сериях шоу и почти во всех книгах, созданных на их основе официальными авторами. Хороший фэнфикер всегда учинит что-нибудь ровно в 21:11. А если вдобавок он сумеет внедрить в текст — в качестве намека «для своих» — еще какие-нибудь детали, известные только заядлым фанатам, его работа пройдет на «ура».

В вопросе о соотносительности текста с каноном волей-неволей возникают два болезненных момента: это стилистическое соответствие оригиналу — там, где оригинал представлен текстуально (например, в «Гарри Поттере», в тех же «Секретных материалах», в детективах Акунина, в историях о Шерлоке Холмсе, в «Джеймсе Бонде» и т. п.), и соответствие описываемых персонажей внешнему виду играющих их актеров, если речь идет о визуальном каноне. Как сформулировал это один из инструкторов сайта, посвященного жанру слэш: «Хуже всего — когда у вашей героини грудь больше, чем у играющей ее актрисы». После выхода на экраны первой серии «Гарри Поттера» в среде фанатов произошел настоящий и очень тяжелый раскол: некоторые настаивали на том, что теперь героям фэнфика нужно давать внешние характеристики актеров, другие яростно обороняли свое право на визуализацию, основанную исключительно на описаниях, данных в книгах самой Джоан Роулинг. По моим наблюдениям, визуальный посыл все-таки вытесняет посыл текстовый: большинство сегодняшних авторов фэнфика описывает Гермиону Грейнджер как играющую ее Эмму Уотсон, а самого Поттера — как юного актера Дэвида Рэдклиффа.

В русскоязычном фэнфике существует еще одна сюжетно-стилистическая специфика: нередко западный канон здесь прививается на российскую почву. Иногда это делается сравнительно тонко и аккуратно, более или менее в рамках канона: Баффи — истребительница вампиров едет в Москву... ну, скажем, к дядюшке и там борется... ну, скажем, с духом Ленина. Но чаще Россия играет роль альтернативной вселенной, причем происходящее может иметь откровенно пародийный характер. Зену — королеву воинов задерживают менты, Саманту в московском баре снимает браток, Бренду Уолш пытаются изнасиловать три бомжа на станции метро «Преображенская площадь».

Впрочем, по большей части русскоязычный фэнфик ничем не отличается от западного, следуя западному же канону и соблюдая правила игры касательно места действия, облика и языковой манеры персонажей.

Мэри Сью

Когда речь идет о фэнфике, лично для меня нет более интересного вопроса, чем вопрос «кто автор?». Будучи явлением в большей мере социальным, нежели литературным, фэнфик требует понимания социальной подоплеки жанра, социальной среды, в которой существует автор, и самого автора как социальной единицы.

Любой текст жанра «фэнфик» интересно рассматривать как проекцию авторского «я» на предлагаемый «Высшими Силами» канон. Доказательством этого тезиса в какой-то мере служит существование очень распространенного в фэнфик-сообществе понятия «мэрисюизм». В 1973 году фэнфикер «Звездных войн» Паула Смит пишет пародию на некоторых собратьев по перу. В этой пародии фигурирует персонаж, не присутствующий в каноне, — роскошная голубоглазая блондинка по имени Мэри Сью. Мэри Сью сексуальней всех на свете, Мэри Сью — технологический гений, рядом с Мэри Сью Шварценеггер выглядит хлипким парнишкой с плохой координацией — и, конечно, Мэри Сью спасает весь экипаж корабля, а заодно и человечество от страшной катастрофы. В этой пародии Смит удивительно верно подметила наиболее распространенную методику огромной массы фэнфикеров: внесение в текст «идеального себя» и использование фэнфика только затем, чтобы проявить на бумаге свои высочайшие, но никем покуда не замеченные личные качества. То, каких именно персонажей выбирает автор для написания фэнфика, ситуации, в которые он их ставит, манера речи, подтекст, вычитываемый им из канона, альтернативные вселенные и стилистические приемы — все это представляет собой прекрасный полигон для исследователей психологии творчества — тем более что фэнфик в силу непрофессионализма основной массы пишущих позволяет сравнительно легко разглядеть автора сквозь фигуру повествователя.

Социальный портрет фэнфикера пытались рисовать не раз. Наиболее внятные и свежие статистические выкладки, которые мне удалось найти, показывают, что девять десятых авторов фэнфика — женщины. Этот факт настолько принят самими фэнфикерами, что мне доводилось видеть рекомендации начинающим, в которых о потенциальном авторе прямо говорилось «она». В том, что касается возраста и занятий авторов, разные фэндомы дают разные показатели: так, поклонники «Гарри Поттера», естественно, в общей массе очень молоды. В фэндоме «Секретных материалов» — одном из самых активных на сегодняшний день — возраст авторов колеблется между 19 и 45 годами, но большинству от 27 до 35. Практически все фэнфикеры этого фэндома полностью заняты в рамках профессиональной или административной «мужской» карьеры, и только некоторые женщины имеют типично женские специальности: няня, воспитатель детсада, медсестра. Больше половины авторов — семейные люди.

Разброс факторов, указываемых авторами в качестве причин для написания (и регулярного писания; очень редко автор останавливается на одном тексте) фэнфиков, довольно велик. В качестве общего мотива можно указать на жела-

ние «поиграться» с любимыми персонажами на манер того, как дети играют в куклы, создавая для них все новые ситуации. Когда читаешь подобные признания, начинаешь остро чувствовать, сколько в фэнфике детского. Один из авторов пишет в ответ на вопрос исследователя: «Я представляла себе другие ситуации для тех же героев уже после просмотра самой первой серии сериала. Я даже не знала, что это фэнфик, но я как бы писала фэнфик в голове каждый день». Другой автор объясняет, что его «захватила идея контроля над персонажами. Вау! Я могу заставить Гарри и Драко делать все, что я хочу, так, как я хочу! Раньше это не приходило мне в голову». Некоторые авторы сами употребляют в разговоре о фэнфике слово «игра» — «play», вполне сознательно развивая метафору, но не находя в ней, по видимости, ничего инфантильного.

Другой ведущий мотив среди указываемых авторами — фиксация на каноне и стремление как можно сильнее растянуть удовольствие, получаемое от исходного материала. Здесь авторы часто говорят о желании получить продолжение сюжета, лучше понять персонажей, о потребности глубже проникнуть в смысл оригинала и дать самим себе (и другим) ответы на вопросы, не разрешенные по ходу действия. Авторы нередко заявляют: «Серия такая-то (сезон такой-то) были вялыми и неудачными, но все-таки дали нам достаточно материала для продолжения». Здесь очевидна привязанность авторов фэнфика уже не столько к канону как таковому, сколько к наработанному ими самими и их собратьями по перу пространству интерпретаций, гораздо более детализированному, обширному и, что еще важнее, освоенному, «своему». Иногда это желание оперировать скорее пространством интерпретаций, нежели самим каноном, приводит к парадоксальным ситуациям: так, фанаты, неудовлетворенные вторым сезоном «Звездных войн», просто проигнорировали смерть ведущих персонажей и новое развитие сюжета и продолжили писать историю «Звездных войн» так, как сами считали нужным.

Почти все авторы фэнфика приходят к письму через чтение. Нередко они признаются, что сначала боялись читать фэнфик: им казалось, что неудачный, непрофессиональный текст разочарует их и омрачит чувство восторга, вызываемое каноном, — или, что еще интереснее, они опасались «перепутать написанное в фэнфике с происходящим на экране». Однако, по утверждению тех же людей, на самом деле этого не происходит: существует огромное количество высококачественных текстов, которые только радуют поклонника исходной книги или сериала, а степень заинтересованности в происходящем такова, что никакой путаницы не случается.

Обычно авторы принадлежат какому-нибудь одному фэндому, но вполне могут существовать ситуации, когда фэнфикер следит еще за каким-то явлением массовой культуры. В автобиографии фэнфикера типична следующая формулировка: «Мой главный фэндом — „Баффи“, побочные — „Зена“ и „Геркулес“». Наиболее увлеченные авторы часто специализируются не только на одном фэндоме, но и на отдельной группе персонажей. В обсуждениях того или иного автора на интернет-форумах я находила такие замечания: «Она хорошо делает Драко, но ее Гермиона всегда слабовата».

Вот эта возможность обсуждения, обмена мнениями, критики, поддержки — иными словами, чувство принадлежности определенной среде — является, по утверждению многих фэнфикеров, самостоятельным и очень мощным стимулом к написанию текстов. Как заметил один автор, «обратная связь действует почти как наркотик».

Пишите! Пишите!

Как уже говорилось, с появлением Интернета фэнфик-социум сплотился, расширился и приобрел окончательные черты хорошо устоявшейся разветвленной субкультуры. Одно из ее самых обаятельных качеств — доброжелательность к новичкам. Большинство интернет-сайтов, посвященных этому жанру,

содержат подробные инструкции по написанию хорошего фэнфика. Отчасти в таких инструкциях содержатся советы, как писать хорошую литературу вообще, отчасти же объясняется специфика написания фэнфиков. Интернет-сайты, публикующие фэнфик, различаются степенью престижности. За наиболее престижными стоит серьезная редколлегия, обсуждающая каждый представленный текст и решающая, достоин ли он публикации. Надо отметить, что это обеспечивает очень и очень приличный, на мой вкус, уровень по крайней мере на трех-четыре сайта такого рода. Но даже в тех ситуациях, когда рукопись отклоняют, автор обычно получает от редколлегии комментарий касательно недостатков его текста, а иногда и советы по его улучшению. На некоторых сайтах работают виртуальные мастер-классы, в ходе которых заслуженные фэнфикеры делятся опытом с молодежью. Помимо этого повысить качество публикуемых на сайтах текстов часто пытаются посредством обращения к «бета-ридерам» — «читателям-экспертам», редактирующим текст вместе с автором и указывающим на ошибки, — практика, аналога которой я не нашла ни в каком другом литературном любительском сообществе.

Значительная часть серьезных фэнфик-сайтов предоставляет читателю не только художественный, но и критико-аналитический материал — чаще всего в формате авторских колонок, посвященных новым публикациям, а иногда и общим проблемам жанра. Надо отметить, что основными — и очень рьяными — исследователями фэнфика сегодня являются сами фэнфикеры.

Одной из главных составляющих пространства фэнфик-сайтов являются форумы и чаты — то есть зоны интерактивного общения, что делает сообщество таким привлекательным для фанатов, ищущих родственную душу. Обычно тексты здесь обсуждаются в крайне корректной манере, необоснованное высказывание считается неприемлемым, а автор, что бы он ни думал о критике на самом деле, обязан изображать готовность прислушаться к советам на будущее. Даже сайты, посвященные badfic — bad fiction — плохому фэнфику, обычно заявляют на первых же страницах, что все опубликованные здесь тексты были специально написаны плохо, чтобы продемонстрировать главные ошибки авторов фэнфика, а если кто и найдет сходство со своим собственным текстом, то это чистая случайность. Конечно, и в этой среде порой возникают личные конфликты между авторами, форумные войны, расколы, в результате которых закрываются сайты или отделяются сайты-конкуренты. Но общая доброжелательность обстановки позволяет считать такие конфликты редким в этой среде исключением. Та же доброжелательность дает толчок многочисленным соавторствам, порой весьма продолжительным, а также опытам коллективного письма, — например, подобием *ренга*, когда авторы продолжают текст по очереди, кусок за куском. На счет той же располагающей обстановки можно отнести и сравнительное обилие интертекстуальных связей — между версиями внутри одного сообщества, а не только связей с общим для всех канонем; нередко авторы берутся развивать сюжеты друг друга.

Лейтмотив всех инструкций, призванных наставлять начинающего автора в сложном деле писания фэнфика: «Пишите! Пишите!» Даже если вашу рукопись отклонили, на конкурсе вы оказались последним, на форуме обругали ваше новое произведение, да и сами вы чувствуете, что что-то идет не так, — пишите. Есть желание писать? Обязательно пишите, совершенство приходит с опытом, а чем больше авторов, тем лучше для всех.

Убить пересмешника

Сказав, что фанатство — это метод, которым потребитель культуры взаимодействует с медиа, я имела в виду и тот факт, что связь между медиа и потребителем оказывается двусторонней. Не только фанаты зависимы от медиа, но и медиа от фанатов. Фанаты — это наиболее активная и преданная часть потребителей, и малочисленность этого круга не мешает ему в большой мере задавать модус отношения к шоу, книге, кинопроекту — особенно в эпоху су-

ществования Интернета и соответствующей прозрачности информации. Практически все крупные теле- и кинопродюсеры пристально следят за реакциями фэндома в целом и фэнфика в частности на перипетии развития канона. Фанаты оказываются наиболее вдумчивой, наиболее внимательной, а главное — наиболее активно озвучивающей свое мнение частью аудитории, подлинным раем для маркетологов «Высших Сил». Корпорация «Lucas Films», например, известна тем, что она официально поддерживает и подпитывает фанатов «Звездных войн», справедливо считая их серьезной промоутирующей силой. Так, корпорация поддерживает некоторые фанатские сайты и журналы, публикующие фэнфик, и ежегодно устраивает конкурсы фэнфика и фэнфильма — фанатских кинофильмов. Однако даже «Lucas Film» время от времени рассылает по сайтам фэнфика, публикующим материалы на основе «Звездных войн», свои инструкции. В них не должно быть порнографии, насилия, прямых оскорблений и прочего неполиткорректного содержания — тогда у корпорации нет претензий к нарушению ее копирайта, каковым, по сути, является использование сюжета, имен героев, топонимов и прочих объектов авторского права в публикациях, не авторизованных корпорацией.

Однако многие продюсерские компании куда менее толерантны по отношению к авторам и издателям фэнфика. Несмотря на дисклеймеры, выставленные на всех уважающих себя фэнфик-сайтах и заявляющие о некоммерческой цели написания текстов, время от времени корпорации устраивают рейды среди нарушителей авторских прав. Например, в 1996 году компания «Ragmount» провела огромный рейд по борьбе с сайтами фэнфика, посвященного сериалу «Звездный путь». В том или ином масштабе борьба компаний и фанатов за копирайт фактически не прекращается. Особенно производителей канона смущает присутствие сексуального контента, жанра «слэш», произведений с описанием немотивированного насилия и тому подобных неполиткорректных вещей. Чаще всего компании ограничиваются угрожающими письмами от адвоката в адрес сайтов-публикаторов с требованием снять не устраивающие истца материалы, но периодически дело все-таки доходит до показательных судов. Другой страдающей стороной нередко оказываются актеры, исполняющие роли в том или ином каноне: некоторые авторы фэнфика предпочитают заниматься не столько их персонажами, сколько ими самими. Впрочем, такие тексты — как и все тексты вида RPS (Real People Stories, «истории о реальных людях») — считаются «низким жанром» и не поощряются престижными сайтами и журналами.

Жанр фэнфика видится мне превосходным инструментом для исследования взаимодействия массовой культуры и социума. Получая мессидж от медиа, фактически любой потребитель массовой культуры более или менее неосознанно продельвает ту же работу, какую продельвает фэнфик: это работа по интерпретации, вычитыванию подтекста, проецированию личных переживаний на события, происходящие в книге, фильме, песне, сериале. Этот процесс интерпретации представляет собой форму диалога с масс-медиа, ответа реципиента на директивно подаваемый сигнал. Фэнфик вербализует такой ответ, предоставляя нам уникальную возможность посмотреть на масскультуру глазами реципиента и понять, каким образом все мы воспринимаем изливающиеся на нас потоки развлекательной информации и что позволяет этой информации стать частью нашего сознания и нашего повседневного мира.

И, конечно, получить ответ на животрепещущий вопрос о том, как размножаются малфои.



КОММЮНИТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА

*

АНДЕРСЕНОВСКИЙ МАЛЬЧИК — РОЛЬ НАВСЕГДА

«**В** защиту банальных истин» — так называется книга Наума Коржавина, объединившая его критические работы, публицистику, эссеистику едва ли не за сорок лет. (М., «Московская школа политических исследований», 2003, тираж 1500 экз.).

Название книге дала некогда знаменитая новомирская статья 1962 года, посвященная, по формулировке автора, «выяснению смысла... некоторых важных понятий, употребляющихся при разговоре о поэзии». Был немалый риск открывать той некогда нашумевшей статьей книгу — уж больно старомодно-дидактическим выглядит сейчас ее пафос. «Я глубоко убежден, что работе многих поэтов мешают ошибки именно общие, теоретические, изначальные...» Какие? Оказывается, многие поэты считают, что в стихах главное — форма, а поэтическую форму понимают как «способ обработки материала». «А между тем поэзия от непоэзии отличается прежде всего *содержанием*». Ныне при разговоре о поэзии, кажется, никто, кроме школьных учителей, не употребляет в подобном контексте слова «форма» и «содержание» и никто не мнит, что если он сообщит миру об «основном заблуждении, тормозящем развитие поэзии», то с помощью разьяснительной работы это заблуждение, возможно, удастся преодолеть, обеспечить поэзии «правильное» развитие.

И все же понятно, почему Коржавин протягивает современному читателю, как визитную карточку, эту давнюю работу. В ней — в подцензурных условиях советской печати, в разговоре о достаточно узком предмете — вполне высветилась личность Наума Коржавина и та сумма взглядов, которая мало менялась на протяжении последующих десятилетий. «Стихи предельно ясные есть идеал поэзии» — это, с одной стороны, банальная истина. Но в эпоху, когда она слишком близко соприкасается с официальной установкой, нужна своего рода дерзость, чтобы атаковать «новаторство», «революционность формы», связать их с эстетикой декадентства и, предвидя обвинения в «ретроградности», заранее парировать ухмылки «радикально мыслящих литераторов»: «Мне же ретроградской кажется их радикальность». Нужно быть мальчиком из андерсеновской сказки, чтобы противопоставить модным и изоцированным словесным ухищрениям детски-простодушное и совершенно тривиальное суждение, заранее смирившись с обвинениями в банальности и предупреждая их уже самим ироническим посылом, вынесенным в заглавие полемической статьи.

В статье 1962 года пристрастному и беспощадному анализу было подвергнуто стихотворение Андрея Вознесенского, тогдашнего кумира «продвинутой» публики, и вынесен суровый (хотя, быть может, и поспешный) приговор: «иллюзия творчества», «иллюзия полного владения формой при абсолютной формальной разболтанности». В относительно недавней статье «Генесис „стиля опережающей гениальности“, или Миф о великом Бродском», опубликованной в «Континенте» № 113 за 2002 год и вошедшей в настоящую книгу, предметом ревиции становится творчество Иосифа Бродского и «культовая атмосфера», сложившаяся вокруг него. Коржавин не случайно произносит слово «культ», сближая политические и эстетические смыслы. «Любой культ требует всеобщей зачарованности, а следовательно, цельности и непротиворечивости.

Самое легкое прикосновение реальности — такое, как открытие мальчика, что „король гол”, — наносит ему непоправимый ущерб». Слова об андерсеновском мальчишке вырвались не случайно. Роль героя этой сказки Коржавин, в сущности, играет всю жизнь.

В мемуарном очерке «Опыт внутренней биографии» (им бы полагалось открывать книгу, но статья о поэзии приманила заглавием более точным) Коржавин рассказывает о собственной литературной юности. Слово «правда» оказывается одним из ключевых в этом мемуарном повествовании.

«Но какие бы насилия я над собой ни производил, все же, как думаю, одно положительное качество у меня было: я писал и говорил правду, я всегда интересовался тем, что для меня правда и почему это правда...». «В стихах я никогда не лгал», — говорит он в другом месте.

Правдивость — это имманентное свойство личности Коржавина, ощущаемое и в его стихах, и в его мемуаристике.

Пишет ли он о своем отношении к поэзии или о том, как верил в революцию и интернационализм и как свершился в нем поворот в сторону «патриотизма», об отношении к процессам тридцатых и кратковременному сталинизму — ему веришь. То, что стихи девятнадцати-двадцатилетнего Коржавина, перебравшегося в Москву в 1944 году и окунувшегося в кружковую литературную жизнь, которая тогда вовсе не была такой уж монотонной, производили «впечатление взрыва, ибо резко отличались от всего, что было вокруг», известно не только со слов автора — свидетельств тут предостаточно. Эффект воздействия стихов на слушателей сам Коржавин объясняет не их поэтической силой и даже не политической позицией, а «пафосом правды и смысла», пафосом «судьбы поколения», «окончание детства которого совпало с годами сталинских чисток».

Нетрудно понять, почему после двух-трех месяцев путешествий Коржавина по поэтическим объединениям он почувствовал, что вокруг него «начинает образовываться пустота». А что могут думать об авторе слушатели, скажем, «Стихов о детстве и романтике» (написано 30 декабря 1944 года):

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И дети просыпались,
И вскрикивали женщины со сна.

О чистках тридцатых, о ночных арестах было не принято говорить публично вообще. А тут молодой провинциал, внезапно появившийся в Москве в подозрительные военные годы, не просто нарушает разговор молчания, он еще высказывает отношение к тем арестам, к официальной версии обострения классовой борьбы, оправдывающей чистки: «И я поверить не умел никак, / Когда насквозь неискренние люди / Нам говорили речи о врагах...» Мало того — он обвиняет «неискренних людей» в предательстве революционных идеалов (на сами идеалы юный поэт пока еще не замахивался, время их ревизии придет позже):

Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные — кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.

Что думали слушатели этого стихотворения, собравшиеся в каком-нибудь литобъединении вроде кружка при «Молодой гвардии»? Скорее всего, задавали себе вопрос, что это — безумная отвага (вариант для идеологически законопослушного начетчика: «вылазка врага») или провокация? Сам Коржавин в

своих воспоминаниях так и не дает внятного объяснения причин своей безумной смелости.

Ведь именно трезвое понимание репрессивного характера режима должно бы удержать человека от признаний солидарности с «врагом», от заявлений «а может, пойти и поднять восстание?», которые рискуют быть истолкованы слишком буквально, от иронии по поводу сытенского партийного вождя, спрятавшегося за красными знаменами, — «а трогать нам эти знамена нельзя» («Знамена») — ведь сочувствие врагам народа, глумление над красным знаменем и призыв к митингу и восстанию — это уже готовая политическая статья. Даже дело изобретать не надо. Даже свидетелей искать.

Не дается внятного объяснения и контактам Коржавина с Лубянкой. История, которую он рассказывает, звучит вполне фантастически. Почувствовавший, что ему угрожает арест, Коржавин высказывает свои опасения случайно встреченному поэту Крученых и получает совет позвонить некоему Х (имя таинственного незнакомца до сих пор не раскрыто, хотя непонятно, какие соображения могут заставить сегодня хранить инкогнито этого благодетеля). Тот сводит поэта с товарищами из МГБ, и они, вместо того чтобы арестовать сочувствующего «врагам народа» юношу, начинают пестовать молодого поэта, помогают получить документы (до этого он 11 месяцев жил в военном городке без всяких документов и как-то сумел избежать многочисленных проверок), обещают, что его примут в Литинститут (и действительно принимают), и даже советуют Литфонду выдать обносившемуся юноше костюм. При этом «никаких попыток превратить меня в стукача они не предпринимали», — вспоминает Коржавин.

Если б историю альтруистической заботы МГБ о молодом даровании поведал любой иной литератор — над байкой долго бы смеялись, и не миновать ему подозрений в сотрудничестве с «органами». Ими у нас любят широко разбрасываться и по самому ничтожному поводу. Не могу забыть, как Михаил Ардов — ссылаясь на подозрения Ахматовой — обвинил в осведомительстве органически неспособную к этому Наталью Ильину на том основании, что большинство реэмигрантов из Харбина, вернувшихся в СССР после окончания войны, было посажено, а она вот — не только не арестовывалась, но даже в Литинститут поступила. За что же ее приняли?

Но Наума Коржавина — или Эмку Мандела, как его все тогда звали, а потом, когда он стал Наумом Моисеевичем, лишь друзья, — подобные подозрения всегда обходили стороной. Он был слишком непригоден «для ремесла такого». Нелепый, подслеповатый, неловкий, одержимый поэзией и стремлением «мысль разрешить» — кто знает, может, он даже у гэбэшников вызывал сочувствие и желание провести молодого человека по графе «воспитательная работа» (как иронически предположил сам Коржавин), не торопясь арестовывать. **П р а в д о и с к а т е л ь.**

Книга, где собраны работы едва ли не за сорок лет, свидетельствует о разительной вещи: взгляды автора могут меняться, но пафос правдоискательства — всегда остается. Давно достигшему совершеннолетия андерсеновскому мальчику все неймется раскрыть глаза заблуждающемуся большинству. (Потому и все неправдоподобности его мемуарного повествования просто не принимаешь во внимание, а если они не укладываются в твое представление о действительности — значит, следует менять эти представления.)

В юности ему надо было непременно понять, как согласуется существующий политический строй с любимой идеей мировой революции. Когда большинство населения страны носило звание советского человека и считало, что живет в справедливом обществе, строящем социализм, ему надо было прокричать, что не социализм у нас, а диктатура. Прокричал. Отсидел.

Эмиграция была для Коржавина тяжелым решением: он то собирался уезжать, то передумывал, усложняя свои и без того нелегкие отношения с властью. Но, эмигрировав, обосновавшись в США, он принимается спорить... с чем? Правильно, с господствующими в эмиграции настроениями. «Вообще-то

я уже привык к тому, что лица, только что покинувшие СССР, особенно если они „национальной ориентации”, — поначалу считают своим долгом смачно плюнуть в сторону оставленной родины», — пишет он в статье «Куприн и антисемитизм», разумеется, не одобряя ни этих массовых плевков, замешенных на страсти к разоблачению не просто советского строя, а именно страны, ни стремления оторваться от русской культуры. И само собой разумеется (если уж касаться основной темы его статьи), снимая с Куприна запоздалые (хотя далеко не беспочвенные, на мой взгляд) обвинения в антисемитизме. Кстати и некстати сообщает он о своем русском патриотизме, зачастую в тех выражениях, которые были не приняты в интеллигентской среде метрополии, ну например: «Человек, который жил и воспитывался в русской культуре, а потом отказавшийся от нее, меняет ее не на новое качество, а на пустоту». Аргумент, похожий на советскую страшилку официальной пропаганды: дескать, эмигрант теряет страну, почву, культуру и потому обречен на бесплодие.

А когда на страницах израильского журнала высказывается достаточно расхожая мысль о том, что коммунизм победил в России не случайно и что его эксцессы обусловлены национальным русским характером, Коржавин задает автору и редакции простодушный вопрос: «Как вам не стыдно? На страницах своего журнала спорили об антисемитизме, явно не одобряли его, и вдруг сами вступили в расизм?» («На путях к элитности. Этюд об освободившихся»).

Позиция Коржавина в эмиграции похожа на позицию Солженицына.

Он тоже пытается вразумить левую западную интеллигенцию, насмешливо замечая, что она уже много лет вдохновенно «жертвует нашими судьбами», и рекомендуя ей все же не так заботливо входить в сложное положение «наших палачей и душителей» («Психология современного энтузиазма»). Он протестует против отождествления коммунистических и правых диктатур, считая режим Франко куда более мягким, чем советский тоталитаризм, и высказывая мысль, что власть Альенде имела бы куда более страшные последствия для Чили, чем режим Пиночета (все это очень ретроградно и неполиткорректно с точки зрения печатных приличий, господствующих в «прогрессивной прессе»). Он насмешливо снимает героический ореол с личности Че Гевары, проявляя симпатию не к легендарному революционеру, готовому «разумным террором» придать руководимому им движению настоящий размах, а к «косным крестьянам», не пожелавшим положить свои жизни ради торжества революционного проекта. Он пытается поучать Запад, слишком легкомысленно доверившийся «разрядке». Он протестует против смешения понятий «советский» и «русский», доказывая все той же прогрессивной интеллигенции, что не русские виноваты в дурной «советской модели социализма», в искажении коммунистической идеи, а идея — скверная.

По меркам либерального Запада, он типичный консерватор. Но если Солженицына записывали в ретрограды, антисемиты и поносили в эмигрантской прессе (есть, впрочем, основания полагать, что затравщиков этой кампании направляли из КГБ), то Коржавину все его попытки «открыть глаза» этим незрячим левым, этим обезумевшим сторонникам прогресса сходили с рук. Так — вечные, мол, чудачества Коржавина. Замечателен рассказ Сергея Довлатова про то, как на какой-то конференции славистов все просят его не обижать Коржавина, а в ответ на удивленный вопрос, почему он должен Коржавина обидеть, отвечают: потому что Коржавин сам всегда всех обижает (что и подтверждается немедленно).

Неполевичны в этот период разве что статьи о творчестве Олега Чухонцева, Александра Сопровского, Ярослава Смелякова да эссе о книге Петра Григоренко «В подполье можно встретить только крыс». И то в статье, посвященной трудному выходу в свет первой книги Олега Чухонцева в 1976 году, сразу же ставшей библиографической редкостью, Коржавин успевает высказаться не только по поводу системы госиздательств и некомпетентного руководства ли-

тературой, не только по поводу творчества Чухонцева (которое ставит очень высоко), но в очередной раз полемически утвердить свои взгляды на поэзию и лишней раз напомнить, что «добро не может быть старо», вычитав эту уверенность «в каждой строке Чухонцева» (хотя, на мой взгляд, это далеко не главное достоинство поэта).

Дидактический пафос и накал правдоискательства заметно ослабевают в публицистике и эссеистике Коржавина времен перестройки: взгляды Коржавина на коммунизм, террор, Сталина, роль НКВД совпали наконец с общепринятыми, из работ ушел полемический накал, некому доказывать, что король голый. И вновь оживает увядший было полемический темперамент Коржавина, когда после 11 сентября, нарушив всякие нормы приличий, принятых в печати, он призывает «освободиться от пут политкорректностей», точно называть врага цивилизации — «политический исламизм» — и противостоять ему.

Книга Коржавина делится на две части: «Литература и искусство» и «Психология общества». И тут и там Коржавин отстаивает сумму некоторых консервативных взглядов. Банальных истин, — как он сам неоднократно и с вызовом повторяет.

«Те, кому кажется, что это простое занятие, ошибаются. Выступать против „прогресса“, против его „открытий“ сегодня не менее обременительно, чем во времена Джордано Бруно — в его защиту. Боюсь, что вся моя жизнь ушла именно на такого рода противооткрытия», — замечает Коржавин в статье «Анна Ахматова и „серебряный век“».

Подобные замечания делают честь трезвости его ума. Заметим только, что упрямая позиция «противооткрывателя» сама по себе еще не обеспечивает билет в царство истины, к которой так равнодушен Коржавин.

Андерсеновский мальчик выступает против заморочек прогресса с позиций здравого смысла. Эта позиция может быть даже героична, когда между голым королем и одураченным народом толпится свора полицейских, готовых хватать каждого, кто прокричит правду.

А если на короле надето платье, узор которого предлагается оценить? Искусство, литература — это как раз вещи, не поддающиеся измерению с помощью инструментария, где четко обозначены понятия добро — зло, правда — ложь, голый — одетый.

Коржавин, разумеется, этого не признает. Показательно его отношение к серебряному веку русской поэзии.

Опыт золотого века для Коржавина безусловен, а вот век серебряный — сомнителен. Дело не в масштабах дарования поэтов, а в «характере духовности». Поэтов золотого века отличает «уверенность как в ценности, реальности и высоте духовного начала вообще, так и в своей безусловной причастности к этому началу», — рассуждает он. Поэт серебряного века, нервозно отстаивая себя перед тем, что впоследствии назовут «массовой культурой», брезгливо отворачивается от обыкновенной жизни, что ведет его к «бессмысленному самообожествлению», к индивидуализму, а в конце концов и к утрате нравственных ориентиров.

Поэтому Ахматову, которую Коржавин считает «в полном смысле этого слова народным поэтом», он от серебряного века отделяет, считая, что она все время от него отталкивалась (интересно, согласилась ли бы с этим сама Ахматова?). А вот Блок, хоть и является «высоким и большим» поэтом, хотя ему и была дана от природы «душевная и духовная зоркость», не смог преодолеть всех нравственных соблазнов эпохи. «Защищая свою индивидуальность от пошлости утилитаризма, он далеко не всегда умел защитить ее от пошлостей противоположных».

Ярким проявлением борьбы двух противоположных начал в душе поэта Коржавин считает стихотворение «К Музе», подробнейшим образом его разбирая, сравнивая свое собственное юношеское восприятие этого стихотворения с нынешним зрелым.

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

Когда-то Коржавин упивался романтическим восторгом, подчиняясь экспрессии этого стихотворения, захваченный мощью воспеваемой Музы. В зрелом же возрасте он обратил внимание на то, что строка «роковая о гибели весть» (и здесь привлечен авторитет математика И. М. Нагорного) есть антитеза евангельского понятия «Благая весть о спасении», что проклинаются заветы действительно священные, что Муза соблазняет не каких-то «мещанских сусальных ангелов», речь идет об ангельском начале в человеке, о чистоте и добре. Иными словами, в музе поэта проступает демоническое начало, особенно наглядно заметное в следующих строчках:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Этот круг — нимб, который в Средние века рисовали над изображением дьявола. То есть муза Блока приобщилась к сатанинскому началу, замечает Коржавин, сближая судьбу поэта с героем «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, заключившего договор с дьяволом. Понятно, что всякий демонизм в искусстве Коржавин категорически не принимает, диалектику добра и зла не допускает, позицию «по ту сторону добра и зла» считает ложной, а «культ мгновения», «игру с дьяволом», романтизацию низменного — губительными для искусства.

Коржавинский анализ блоковского стихотворения полон прозорливых замечаний. Мне, например, жалко, что комментаторы Блока (даже вслед за известной статьей, приписываемой Павлу Флоренскому) не отметили, что нимб, светящийся над Музой, указывает на ее демоническое происхождение. И все же я остаюсь при мысли, что именно такая Муза придавала трагический накал поэзии Блока и что, если б ему пели свои песни те самые ангелы, с которыми так нехорошо обошлась его Муза, мы имели бы одним добродетельным гражданином больше и одним великим поэтом меньше.

Не мог Коржавин, понятное дело, не ввязаться и в тот спор о Бродском, который спровоцировал Александр Солженицын своей статьей в «Новом мире» (№ 12 за 1999 год). На мой взгляд, тот факт, что Солженицын прочел томик стихов Бродского глазами просто читателя (а именно тем и отличается солженицынская «Литературная коллекция», что оценка того или иного писателя строится без учета всего о нем написанного), прочел непредвзято и многое не одобрил, не стоил такого взрыва негодования, который прогремел в прессе.

То обстоятельство, что у Солженицына не лежит душа к Бродскому, имеет очень большое значение для биографов Солженицына и исследователей его поэтики и очень небольшое — для исследователей Бродского и его почитателей.

В истории бывало сколько угодно примеров, когда один выдающийся писатель испытывал неприязнь к другому. Я не о личных отношениях, не о соперничестве, разумеется. Толстой писал, что испытывает «неотразимое отвращение» к Шекспиру, что «Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем», что та «непререкаемая слава» великого писателя, которая заставляет читателей и зрителей отыскивать в нем «несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда». Отразилось ли толстовское мнение на количестве постановок Шекспира? Пришлось ли поклонникам Толстого и Шекспира выбирать между ними? Я как-то набрела на любопытный факт, что на планете Мерку-

рий «область Толстого» находится рядом с «областью Шекспира». Астрономы правы: эти области действительно близко.

Набоков не упускал случая расписаться в своей неприязни к Достоевскому, даже утверждал в лекциях по русской литературе, что он вовсе не великий, а вполне посредственный писатель. Повлияло ли это на место Достоевского в истории мировой литературы? Изменило ли это чье-либо отношение к Набокову?

Коржавин совершенно прав, когда выражает недоумение бурной реакцией на достаточно спокойные суждения Солженицына. Прав он и когда говорит, что оппоненты Солженицына защищают культ Бродского. Прав, на мой взгляд, и когда утверждает, что мировой известности и Нобелевской премии тот сильно обязан своей биографии, скандальному процессу, изгнанию, последовавшей поддержке зарубежных русистов. Но попытки нанести этому культу «непоправимый ущерб» восклицанием «король гол» — обречены на провал.

Область воздействия поэзии на читателя — это сфера, где трудно придется правдолюбцу, уверенному в «органической связи искусства с Высоким и Добрым» (и не обнаружившего у Бродского этой связи). Коржавин признает, что Бродский оказал большое влияние на современную поэзию, «но вряд ли оно было благотворно». Справедливость требует признать, что противоположная точка зрения на вклад Бродского в поэзию имеет не меньшее право на существование и что ценители его поэзии не «пребывают в заблуждении», а просто имеют мнение, отличное от коржавинского.

Хорошо жить в мире сказки, где король либо одет, либо гол. Жизнь же далеко не всегда предлагает столь простые альтернативы, культура — тем более. И все-таки отраднo, что в ней действуют герои, напоминающие о простых, старомодных, вечных истинах.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

Из «Литературной коллекции»

«**П**ривычное дело» (1966). — То, до чего Глеб Успенский досмотрелся пытливым взглядом доброжелательного стороннего наблюдателя — *власть земли*, — то через 80 лет Василий Белов бесхитростно излил нам из своего крестьянского естества, из своей души и опыта. Из чего вырос — о том всё написал, этого не сочинить. Автор и его герой слиты с природой, у них свычка с каждым деревом в лесу, с неуничтожимым родничком, развороченным дорожными машинами. Большую часть повести льются повседневные крестьянские заботы — труд, пропитанье, рощенье детей, внимание к каждому стебельку, к отогретому воробышку, домашней живности, наблюдение за каждой касаткой, синичкой, жуком (всё идёт в приметы погоды), окунем, глухарём, лягушкой, тёплое струенье из самого нутра житья-бытья, хода природной жизни, круговорота сезонов — всего того, из чего складается *вечное*. Малые дети явлены нам не просто с любовью — но с вниманием и пониманием к каждому — как в семье Дрыновых из 9 детей.

И на фоне этого вечного — поначалу лишь слабо заметно, лишь вкраплено *преходящее* — советско-колхозное. Вялые нехотные утренние сборы колхозников у кучи брёвен, неторопливые пересуды мужиков и баб. Дурная бестолковая пахота по неудобренной сухой глинистой земле («всё равно ничего не вырастет»). Давно покинутые и никому не нужные жернова от разорённой отцовской ветрянки. Или как, для обдуренья наезжего начальства, возят воду бочками в иссякший колодец. Или как за недоимку описали гармонию. И — выпивка по каждому доброму и недоброму случаю.

Во второй половине повести колхозные бесчинства выступают резче — но не обличительно-гневно — и, вероятно, эта пропорция и помогла повести увидеть свет. Напротив, у общественности, вообще равнодушной к крестьянскому бытию, именно вторая часть имела успех — и принесла автору его первую славу. Сквозь всю повесть выдержан добросердечный ненавязчивый тон — и так отлился литературный самородок — ненарочитая, ненастойчивая, но сгущённая правда о послевоенной советской деревне. Немало пропитана она и добрым юмором, хотя через горечь.

Иван Африканович Дрынов — и сам естественное звено природной жизни, только и мыслимый в отведенной ему непритязательной колее, на своём привычном месте. Добросовестный, даже робкий, многотерпеливый, покорный течению событий, покорный властям («Уж так повелось, его судьбу решали всегда без него»), всегда в работе, колхозной или своей собственной. Медлительный в решениях, стеснительный перед упрёками на колхозном собрании. Отвоевал войну, уцелел (не сказано нам: воротился ли ещё кто из односельчан...), таким же тихим и смиренным, совсем не героем. Иногда слаб к малой выпивке, но и в ней безвреден (на жену свою Катерину «замахнулся лишь в жизни раз»). И воинственность его наблю-

даем лишь краткую — и недостоверную — в момент его бунта на колхозном правлении, когда решился просить справку на паспорт.

На этот резкий подвиг подбил его шурин Митька, приехавший на побывку из Заполярья, — развязный жох, привыкший, что всё покупается и продаётся, избалованный лихими заработками на Севере — более чем современней советский тип. Он вносит сумятицу, даже загул в размеренно дремлющую колхозную деревню. («Да я бы вас всех давно разогнал!» Колхозник Пятак в ответ ему: «Ежели тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъедутся. Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, что варить будут?»)

Тут — все смиренны: день-деньской все на колхозном покосе, а для своих коров по ночам в лесу косят, Иван Африканыч для того за 7 километров ночью ходит, только два часа и спит. Смекает: как же накошенное перевезти к себе на повесть, сено за зиму в лесу сгниёт — а Митька дерзко привозит сено, почти открыто. Прознало начальство, уполномоченный требует от Дрынова как члена сельсовета доносную бумажку: у кого ещё сено скрадено. Нет, на это не идёт терпелец. Так свезли у него накошенное. (Потом всё же «напайло крещёным, разрешили покосить и для своих коров» один денёк.) — И в пьяный час уговаривает Митька зятя: ехать прочь из колхоза на Север, на лёгкие заработки. Документ, мол, хоть купим. Там — не столько заработаешь, хоть и плотничьим делом. Иван Африканыч сперва: «А ежели мне не надо продажного? Некуда мне ехать, дело привычное». Но потом, и без совета с женой, внезапно решается, и даже, по-фронтовому, в «весёлом безрассудстве» отчаяния, размахивается кочергой на председателя. (Не очень правдоподобно, что председатель сдаётся, не обращается в милицию, впрочем, и милиция обрисована диковатая, с юмором; а через две недели председатель добродушен к беглецу.)

И вскоре же, потерянный, возвращается Дрынов домой — не столько от нелепых приключений в пути, сколько по неотклонному зову родной земли, перед которой испытывает стыд. Не дала ему облегчения попытка вольности. «Всё самое нужное стало ненужным, пустым, обманным».

Но за время короткой его отлучки от смертной хвори скончалась Катерина — уже годами выложившая все силы на скотном дворе, даже после родов не упуская рабочего дня. «Худо тебя берёг...» Так жестоко наказанный, Иван Африканыч в муках осмысливает, как жить и что есть смерть. «Бог там или не Бог... А должно же что-то быть на той стороне». И как в жизни заблудился — так заблудился и в знакомом же лесу, едва не насмерть, — этими сильными картинками и размышлениями кончается повесть. «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя». Но девятерых детей надо дорастивать.

Композиция повести весьма свободна. Вклиняются эпизоды и разговоры, не связанные с сюжетом; об иных событиях мы узнаём не тотчас к сроку, а спустя время, прямым сказом от свидетеля или потерпевшего. (Этот приём очень прилегает к тону повести и к неторопливости её.) Допускает автор и пространные, совсем побочные включения (сказки о пошехонцах, — впрочем, не ответ ли беспомощности вконец задуренного колхозного народа?). Самое замечательное из них — «Рогуля» — целая глава о коровьей жизни, ещё нигде не читанная поэма о корове, её глазами, её пониманием. Это — жемчужина.

Язык диалогов — живейший, и авторская речь не диссонирует с ним. Есть мелкие срывы-неточности: «вневременная созерцательность» (о корове).

Многие сочные русские слова, употреблённые Беловым в разных местах, я привёл в «Словаре языкового расширения». Вот ещё несколько:

усторьонь	разореньё	в́знялся (отличился от других)
на усторьоньце	собраньё	вызнато-перевызнато
они по замужьям	сра́зiku	обряхуха (корове)
взапятки (назад)	раностав-м	еле-елёшеньки
	дремуны	

Очень част приём: вместо «начали делать» что — глаголы с приставкою «за» — даже такие, как *заувёртывались, завсплескивали, заразвязывали, запо-чёсывалась, запеременивались* местами.

При успехе «Привычного дела» прошёл малозаметно душевный рассказ «На Росстанном холме» — о 25-летнем жестоком ожидании жены, что пропавший на фронте «без вести» муж — ещё вернётся. Рассказ напоён фольклорным и даже былинным дыханием.

Вскоре за тем в «Плотничьих рассказах» (1968) Белов неоправданно допустил бессвязно-хаотическое построение из рассказов (сказов), drobных эпизодов, случаев и анекдотов из деревенской жизни (с захватом дореволюционной), направленных то на сравнение разумного хозяйствования с дурным, то совестливого поведения и бессовестного, но текст не прометен от сора — и разрушается цельность читательского впечатления, да даже и интереса.

Такая же неясность, сдержанность на перевесе — и в самом повествователе «Зорине», которому автор отдал и свой год рождения — 1932, и свои юношеские безудачные прорывы к среднему образованию, и своё наслаждение деревенской поэтикой — облегчением столетней избы от свала мартовского снега; и увлечённость перекладкою старой бани, а затем истопкою понову; и свой вкус ко всему быту и предметам его, тут и «лошадь берёт как невесту», и «разговор помогал работе плотничьих рук», «кто работает, тому скрывать нечего».

Во второй половине всё рассказываемое приобретает большую весомость и грозную глубину. Мелко-дрянной по характеру и житейским поступкам Авенир Козонков всё более открывается нам как «активист» первых советских годов («я с восемнадцатого года на руководящих работах»), он и мочится с высоты колокольни, и шлёт кого-то сбросить колокол, он и основатель комбеда, и гонитель работающих крестьян (вопиющие случаи, всякий раз по-новому разящие в любой книге), — и он же теперь жалко собирает документы и свои газетные корреспонденции-доносы в хлопотах «получить персональную пенсию». В потоке повествования, вперемежку с незначностями, мелькают потрясающие сцены расправ с лучшими крестьянами на рубеже 30-х годов, потом поминаются и жестокости колхозных лет, и как, в отрыв от земли, гоняли валить леса, и «трудгужповинность» на дорогах — и до натурально уродливого нынешнего «соборания» колхозной бригады.

И — почему же всему этому не придано цельное понимание? Почему эта раскалённая правда не стягивается ни в какой слиток? Форма то и дело расплывается, автор как будто только ищет её.

Ищет? Или не решается дать во всей цельности? Может быть, ещё и по художественной неготовности? Или ещё собственной душевной нерешённости?..

Сосед Козонкова — добросовестный, здравомысленный, честнейший плотник Олёша Смолин. Эти соседи на всём протяжении их жизни от юности (и на всём протяжении «Рассказов») то и дело сталкиваются, но и тут же мирятся, и так — много раз. И так же примирителен к их разногласиям автор — только бы не вынести явного решения, только бы не перевесить весы от себя. И кончает книгу, не выявив себя отчётливо.

Я думаю: сам воспитанник комсомола и партии, Белов к этой поре ещё был не готов. И одновременно же: замысел большого полотна на зияющую тему в нём только созрел.

Почти не прояснённого нам в «Рассказах» повествователя Зорина, но уже годами позже, мы встречаем у Белова ещё в нескольких рассказах 70-х годов. Однако избранный герой — тут как бы совсем нов, не развитие

прежнего, и такой сюжетный приём вызывает удивление. Зато в «Воспитании по доктору Споку» — ещё более нов, необычен сам Белов. Тут он — не привычный «деревенщик», но динамичный «городской» писатель. Совершенно другой жанр, тон, темп повествования, резкий прыжок в авторской манере. Кипуче достоверна, выхвачена из жизни и советская производственная обстановка, и вообще вся советская, как она отразилась на развале семей. (Тут Белов надолго начинает тему о современной пустоте и безнравственности молодого поколения, более всего обвиняя в том женщин. Это — рядом же, в ярком рассказе «Чок-получок». И ещё встретится нам впереди.)

В середине же 70-х годов Белов приступает к роману о деревне конца 20-х годов. Подобных романов в советской литературе раз-два и обчёлся, для восстановления верной картины они жадно нужны. Как же сложилось это у Белова?

«Кануны» (1976). — Очень медлительное, околичное начало. Белов пишет роман в доверчивом убеждении, что вся дробная, неторопливая описательная манера русской прозы — незыблема и будет действовать постоянно и без отказа. С этнографической обстоятельностью описываются устройство обширных изб и крытых дворов северной деревни, одежды, ручные занятия (с ними идут и в гости), обряды святочные, масленичные, бытовые отношения — и диалоги (всё — живое, достоверное). Всё новые фигуры, множество имён и отчеств, недосужий читатель не охватит, не запомнит. Во всём этом устоялся вековой уют.

Но вовремя, тут же, посылает нам автор и первые сигналы тревоги. В сельсовет (отнятый дом купца) прислана (декабрь 1927) замысловатая директива: с наличным составом (их, партийных в селе, три человека) обсудить материалы XV съезда партии и проявить своё отношение к линии оппозиции (троцкистской). А вот и Игнат Сопронов — уполномоченный от уездного исполкома и он же секретарь волостной партячейки. И первые кандидаты в «лишенцы» (лишённые избирательных прав) — как это неуклюже и тупо врезается в деревенскую обыденщину. И верна атмосфера того (ещё недалёкого от революции и Гражданской войны) года: всё более жестокие, грубые забавы мужской молодёжи; и распущенный поп «Рыжко», заправила в картёжной игре, при обиде же спешит жаловаться в сельсовет. А лишенцы везут обжалование в Москву (недавний свой деревенский Штырь угодил в курьеры при канцелярии ЦИКа). Вставлен (но никак не по сроку) и отбор церковных ценностей, правда — мельком.

По закону объёмного повествования ведёт нас Белов и в саму Москву, и в пролетарскую семью, и в литейный цех большого завода, — причём работа формовщика изображена с достоверной точностью, с какой Белов обычно пишет лишь о деревне: с большим знанием смысла каждого фрагмента деревенской жизни и любованием ею, что служит сохрану всего этого быта в нашей исторической памяти. Тут и — как «утром по всему селу из печных труб пахнет испеченными караваем». Тут и типичные частушки раннесоветского времени. Тут — и обильная свадьба со всеми обрядами — а коммунист Сопронов врезается во время венчания — и от царских врат предлагает тут же провести собрание граждан. Выставить его не смеют — и он читает обращение о помощи китайским революционерам. — Тут и — традиционные сельские масленичные гонки на санях.

К весне рождается и приходит в действие крестьянский творческий сюжет: ближе 10 вёрст нет мельницы, так построить свою ветряную! — да такую, «чтоб молола даже при самом слабом „травяном“ ветре». Молодой Павел Пачин давно искал и вот заприметил в лесу «великую сосну», кото-

рая одна только и может пойти на столп. И нам подарены прекрасные страницы русской прозы: как развивается замысел, как стовариваются начинатели большого дела — и всегда рискованного (можно разориться), и ещё не дано им предвидеть, насколько опасно рискованного в советское время. Затем кипуче развивается, охватывая всю деревню исконной общей работой — *помочами* в трудном деле. Всё это протекает перед нами как нестираемая трудовая поэма (несколько разбавленная обильным частушечным смехом).

Когда же в селе разражается направляемое с советских верхов «движение бедноты» (теперь «будут народ делить на три разряда») — автор оглядливо сужает размах проблемы, отъединяет Сопронова от других коммунистов села, от председателя волисполкома, и все разрушительные действия Сопронова сводятся к его личной злости и мести, до того, что «бедноту» он стягивает как бы по единоличной воле. (И этот одиночный злодей тут же наказан: переизбран с секретаря ячейки и уехал из села.)

Начало второй части романа производит странное впечатление беспорядочных метаний автора, как будто в робости или растерянности перед задуманным объёмом: с чего и как продолжать? — ведь надо успеть охватить все стороны той жизни. Перекидывается в Москву (вполне бестелесную). Рваные картинки: мимоходная женитьба пролетария Штыря; его озорство с заводским гудком; и он же — в президиуме заводского митинга по борьбе с троцкистской оппозицией; прискакивает представитель из ЦК товарищ Шуб — и вдруг оказывается тоже троцкистом; однако успевает заарканить Штыря к себе в кадр — но тут же сам издымливается бесследно. — Теперь в село. Бывший помещик Прозоров, ограбленный в революцию, но до сих пор пощаждённый, гуляет по цветущим июньским лугам. Его текучие мысли; беглым пунктиром — его прошлая жизнь и увлечения; тут же раздумья: «Россия, Русь... Что за страна, откуда ты взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям?»; тут же — бабы работают на полях, их зубастые шутки на досуге; к Прозорову вопрос: «а нас-то в колхоз будут заганивать?»; скороговоркой — справка о последних решениях ВЦИКа. И опять гулянье Прозорова уже в Иванов день, попытка вызвать девушку из деревни; цветенье и запахи разнотравья, поэтически о ржаных колосьях (хорошо, близкое авторскому сердцу); большое Ивановское гулянье в селе, игра в бабки (подробно, опять мельканье многих имён); между тем в селе бродячие коновалы легчат жеребца (жестокая реальная сцена); а Прозоров так и не дождался вызванной девушки. Праздник кончился, пора возить в поле навоз (из-за оводов — ночью), — и это уже пишется все-рѐз и у места.

И только вот когда возвращается главный сюжет: судьба начатой мельницы. Всю весну шла изнурительная и радостная постройка (подробно о ней — и интересно, особенно — как восставляли главный столп), спали по четыре часа в ночь, почернели — а вот накладываются и неотложные полевые работы — как на всё разорваться? И вдруг — два пайщика мельницы, пугаясь нового неверного времени, чем грозит оно, — отшатываются, выходят из пая. А за это время «мельница выкачала из хозяйства соки, подгрехала под себя». «Всё рушилось на глазах». И это — драматично ощущается нами, мы уже разделили творческий порыв с мельницей. И только здесь — реальное начало второй части. Павел Пачин с неутраченным вдохновением дорисовывает в воображении, какова мельница будет достроенная. Последний сохранившийся в амбаре ячмень — выгребает, везёт на продажу.

Тем временем в роман возвращается Сопронов. Сперва — в виде своего младшего брата Сельки. Селька, прежде исписавший церковную ограду матюгами, теперь повёл полдюжины недорослей бросать камни в церковь, бить стѐкла. За этим их застают подоспевшие старики. На совете стариков решено, по-старинному: выпороть Сельку розгами (и получают горячую

поддержку от Селькиного отца — безногого и беспомощного, тот при сечке сам считает вслух удары: «не жалей дьявола!»). А выручил секомого — озабоченный строитель мельницы Павел Пачин. — Сам же Игнат Сопронов минувшие месяцы проболтался где-то на лесозаготовках да на речной барже — но испытывает тяготение вернуться в своё село, однако опасается деревенских насмешек над своими неудачами — и жаждет получить новую командную должность. С этим добирается до самого секретаря укома — а тот, за долгую отлучку и неуплату в эти месяцы партвзносов, — отбирает у Сопронова и партбилет. (А тем самым, сюжетно: всё, что отныне Сопронов натворит в селе, — ложится на него лично, злодея, а партия тут ни при чём. Это — обдуманый ход автора.) Ошеломлённый Игнат впадает в лихорадочное состояние; тут его заботливо подбирает Пачин-отец, в уезде по своему делу, и доставляет в село (тоже прозрачный ход автора: именно Пачины добры к Сопроновым). — Приехав в село, выздоровевший Игнат узнаёт, что Сельку выпороли, — и кидается с жалобой в сельсовет. Тут же узнаёт, что Павел Пачин везёт на продажу 20 пудов ячменя, — и, вместе с главой местной коммуны, кидается отобрать зерно для коммуны. (Совсем мимоходом, не описав такого крупно-зримо, автор упоминает, что в минувшие месяцы, безо всякого Сопронова, «комиссия, возглавленная председателем коммуны, ходила по деревням, выявляла хлебные излишки» и «мужики ещё зимой сдавали зерно по чрезвычайным мерам». Хорошенькая малость — рядом с масленичными конскими гонками и играми в бабки, которые нашёлся простор описать. В том числе отобрали и у пачинского тестя, главного пайщика мельницы.) И теперь Сопронов успевает скомандовать Павлу: заворачивать воз на конфискацию. Но тут же, по чудесному совпадению, появляется досужий Прозоров с именно сегодняшней газетой в руке: чрезвычайные меры — отменены Советом Народных Комиссаров! Так, оказывается, во всём губительстве власть невиновна!

Следом сюжет переводится в ещё более личный план: Павел приходит к Игнату мириться: «Ты, Игнатий, зря на меня. Скажи мне, что я сделал худого — тебе, скажем, или Советской власти?» Игнат отвергает примирение, швыряет-разбивает принесенную бутылку водки: «Ты первый мой недруг! нам на роду было написано!» (Так что — конфликт частный.) И тут же садится писать анонимные доносы: «о классовой вылазке стариков, выпоровших молодого активиста», и о бывшем помещике, «который занимается подстрекательством среди населения». И «прямо в губернию, у него ещё раньше были запасены нужные адреса».

Далее следует бессонная ночь Прозорова и его довольно натужные (под прямым влиянием Толстого написанные, никак не даётся автору этот дворянин) размышления, вроде: «вдруг с жестокой ясностью понял неумолимый закон времени», «в чём же смысл жизни, если она всё равно кончится?», «подумал об относительности всего и вся», да ещё же «страдание от ускользающей нежности» к образу женщины «и от жажды видеть её сейчас, немедленно». «Кому и зачем всё это нужно?», «так невыразимо глупо всё на земле». (И тут же, от полного авторского чувства — утренний полевой пейзаж.) Направляется в соседний церковный домик к глубоко старому, медленно умирающему благочинному отцу Иринею. Тот читает ему, атеисту, наставление о вере. Тут же является нынешний бесчинный полупьяный поп Рыжко, только что разваливший полевой молебен ради собственного купанья в кальсонах: «А кто виноват, что церковь обюрократилась? Народ давно отошёл от вас». Так, коротким приёмом, автор извещает нас, что держит и эту всю проблему в памяти.

Но в памяти держало её и ОГПУ, и прикатившая в село чрезвычайная уездная *тройка* — со списком стариков, поровших Сельку: немедленно отобрать их всех в волисполком. Тут в селе — опять весёлый праздник, Казанской Божьей Матери (с новой пьянкой, гармониями, танцами и бессмысленными драками молодёжи), старики едут по вызову в лучших руба-

хах, ни о чём не догадываясь. А их — запирают под замок в тёмный амбар (когда-то их же руками срубленный добротнo для земской управы).

В этот же приезд уездный гепеушник арестует и Прозорова (опять пространно бродившего сутки по перелескам в равнодушно-тоскливых размышлениях о сути жизни, вплоть до самоубийства, очень размазанных, очень подражательных к Толстому, а к концу, в живописную грозу, встретившего свою желанную). Губком партии на основе сопроновских анонимок повелел чрезвычайной тройке допросить Прозорова и выяснить с о. Иринеем. Тройка находит, что «необходимо ликвидировать последние очаги буржуазной опасности» (Прозорову вменено как вредная агитация и чтение совнаркомовского постановления), и приговаривает: выслать обоих за пределы губернии. — Но огласка приговора окружена праздничной толпой, смята шутками, показным плясом секретаря укома и роспуском захваченных в амбар стариков — живая народная сцена.

А в эти самые часы, наглядяемый двумя нищенками, в своём чистеньком домике над речкой, по-за деревней, тихо отходит отец Ириной. По прошедшему слуху — к одру умирающего стекаются деревенские. Эта, с тёплой задушевностью написанная, глава — как раз при месте, мирно вышагивает надо всей предыдущей суетой.

На минувших тут страницах — мимоходом же, протокольно, обранияет нам автор, что перед уездными властями висят и такие вопросы: как быть с двумя коллективными образованиями — крестьянским кредитным товариществом (успешным с дореволюционного времени, как и по всей России) и маслодельной артелью (преуспевающей, как всюду по русскому Северу и Сибири)? А тут и коммуна имени Клары Цеткин (в развале, как и по всему советскому пространству), как быть с ней? Но этот ключ к накатывающим огромным событиям — по сути минован автором: именно двум опасным видам кооперации, не предусмотренным советской властью, этим «диким колхозам» и грозит уничтожительный каток.

Между тем роман — через не первую уже перегруженность избыточными малозначными сценами, да и вовсе лишними персонажами, занимающими немалый объём в ущерб существенному сюжету, — переносит нас от собственно сельских событий к делам и обстановке вологодского губкома. (Туда едет заведующий уездным финотделом, уже обвинённый «в потворстве середняку и недостаточной жёсткости в деле выявления скрытых доходов».) В вологодском губкоме — всё симпатичные люди — и секретарь губкома Шумилов, он «по натуре своей мягок и терпелив», и зав. отделом по работе в деревне, и «симпатичная зав. женотделом, всеобщая любимица губкомовцев». — Однако из Москвы затаённо гнетется, мол, какая-то непонятная смута. Например, Шумилов, занимая должность уже более года, почему-то всё не утверждён из Оргбюро ЦК. Исключённый же из партии «закоренелый троцкист Бек», подписавший телеграмму в Москву о возвращении Троцкого из алма-атинской ссылки, — Контрольной комиссией восстановлен в партии «и снова шумит в Вологде и мутит воду, где только может». Или потребовано отметить митингом провозимое через Вологду тело известного троцкиста Лашевича. Такова «атмосфера директив, которые поступали из центра за последнее время», «некоторые непонятные» влияния сверху. Вот и перехваченное, скопированное для губкома, частное письмо троцкиста из Москвы с нападками на «сталинскую фракцию»: «честных партийцев из оппозиции сажают в тюрьмы». В директивах из центра «постоянно подчёркивается важность работы с беднотой», «ударить по кулаку!». — Что это?.. «Какую ещё новую коллективизацию» затевают? Ведь «ленинский кооперативный план намного верней и надёжней, чем все эти левые лозунги». Да вот что: стали пугать «правым уклоном в партии» (это — сталинским) и «примиренчеством» (тоже сталинским). (В чём, кажется, разногласий с троцкистами нет, это — «крайняя

слабость работы по проведению налоговой кампании», разъяснить «классовый характер налога», «расширить обложение зажиточных».)

Тут автор принимается за документальное изложение материалов вологодского губкома за осенние месяцы 1928 г. Длинно и вязко цитируются пункты партийных задач и лозунгов. Белов тщательно ищет подозреваемую им истину: кто же на самом деле виновен в злодействе насильственной коллективизации? И в изнеможении, для отдыха души, откидывается вздохнуть в поэтическую обзорную главу (XV): «И ходила осень по русской земле... И древняя песня влетается в крик журавлей...» Следует яркая пейзажная картина. Однако и тут никуда не денешься: «Страна закладывала обширные стройки. Лес был нужен не только для барачных строил и бетонных опалубок, Европа платила за наши ёлки чистейшим золотом. Сразу во многих местах неоглядного русского Севера впились в древесину поперечные пилы, ударили топоры».

И вот наконец когда — мы возвращаемся в наше село. А тут что? Неуязвимый Игнат Сопронов, хоть и без партбилета, — стал председателем сельской Установочной комиссии (устанавливающей раскладку налогов). Из уезда, из губернии велят: повысить обложение зажиточных. И никем не контролируемый Сопронов грозно разносит по благополучным избам — невместимые в разум цифры. Это — «его ущемлённое прошлыми обидами самолюбие», «он утвердился, что весь мир живёт только под знаком страха и силы». «Партия тут ни при чём», — прямым текстом добавляет Белов. (Или заставила цензура?) — По всему селу поднялся стон и бабий плач. «В прошедшую ночь не спала половина деревни». Кто-то грузит сундуки на подводу, вообще уехать напрочь, покинуть свой дом. «Поимей совесть, Игнатей Павлович! Откуда таких цифров-то насчитали?» Кому ответа нет, а семье Павла Пачина: «Мельница, товарищ! Считается кустарное производство». — «Мельница? Да ведь она ещё безрукая!» — «А денег не было бы — не строили!»

Тут грозный ход прерывается большой поэтической главой, волной поэтических эпизодов — о тех, кто *делает дело*. Белов окунается всей душой в свою родную стихию. Картины невозвратного крестьянского быта: ночная сушка снопов в овине (и как это, в зареве печи, видится дивным малому мальчику). Тут же старый дедко Никита (прелестный сквозь всю книгу) бормочет отсердечную молитву ко ангелу-хранителю. И ночная же, до утра, цепная молотьба — поэзия работы, с большим знанием всех мелочей. — И не замерла же, ждёт сушка и трёпка льна. — И «сила рук, до конца выпитая вязким деревом» под топором. — И счастье Павла с женой. — И круговой обзорный огляд всех трудовых полей окрестья с мельничного угора. И — сама же мельница наконец! «Пусть ещё бескрылая, стояла уже на угоре, когда столько вложено в неё ума и силы. Желтовато-янтарная её плоть, объединившая сотни перевоплощённых древесных тел, была так осязаемо близка, дорога и понятна. Будто рождённая неожиданно, она посылала ему свой поклон, свою благодарность за то, что он вывел её из небытия. Придёт час — оживёт, стронется... замашут шестеро могучих широких крыльев». И Павел смекает следующие доделки. По доделкам надо идти в лес с топором.

И тут, в последних страницах, автор вносит сюжетный ход, совсем не нужный Сопронову: тот выслеживает Пачина за деревней, накидывается с жестокой дракой, затем и стреляет в него из ружья, — да осечка. (А расстреливать — сельским активистам не требовалось, то делали специалисты ГПУ.) Павел вырывает ружьё — и пренебрегает жалким врагом, оставляет его без возмездия.

Окончанье всего романа?.. Не тянет на то. Не достроено.

«Лад» (1979-81). — Это — уникальная книга, и жанр её нелегко определить. Формально бы — этнографические очерки (даже — энциклопедия) о жизни русского, преимущественно — северного, то есть самого исконного, крестьянства в охвате веков и каким оно дошло до советского времени, отчасти — и до Второй Мировой войны. Но Белов и сам предупреждает, что он «никак не претендует на академичность», хотя очень продуманное, стройное изложение и богатство фактического материала позволяет книге служить и обширным, и местами незаменимым, справочным пособием. Мало сказать, что это очень серьёзная, размыслительная книга, но она вся пропитана поэтичным (Белов — в своей родной стихии!), любовным и умиряющим духом. Она содержит и цитаты, эпитафии из поэтов, из фольклора, высказывания русских мыслителей, художников, изрядную долю и личного опыта автора, показательные случаи из жизни, — в книге разные слои, и они перемешиваются. Немало авторских комментариев от светлой души, — и они с интересом и легко читаются.

Книга составлена из последовательных разделов: «Круглый год» (сезонные чередования крестьянской работы и жизни). — «Подмастерья и мастера». — Работы и рукоделья женские. — «Родное гнездо» (жильё и что его окружает). — «Жизненный круг» (от младенчества и до смерти, шаг за шагом прослеживая переливы возрастных признаков; и от рожденья до похорон, через все бытовые обряды, игры, гулянья, праздники, сходы; но — примечательно для Белова: обряды церковные и вообще церковность, и церковный дух простонародья — вовсе не охвачены этой обильной книгой). — Еда и одежда. — Искусство народного слова (и виды его: разговор, предание, бывальщина, сказка, пословица, песня, причитание, частушка, загадка, прозвища; тут и — природные свойства сказочников, роль импровизации; и судьба всех этих жанров в послереволюционное время). — Наконец деревянное зодчество и народная скульптура. «Деревянные северные храмы поражали не размерами, а соразмерностью». Орнамент деревянных сооружений, птицы и кони в архитектуре. Шемогодская резьба по берёсте и холмогорская резьба по кости. Резная посуда, резные игрушки (и лаконизм игрушек глиняных). — Всё это и сгущено в названии «Лад», лад жизни — в контраст с *разладом* её.

Роль *ритма* в жизни и труде. Ритмичность в ежегодном повторе работ. Работы погоняют и перекрывают друг друга, бывает тесно одной работе от другой. «Такое состояние, когда человек не знает, чем ему заняться, совершенно исключено в крестьянском быту». Детская игра переходит в труд. Многообразие, многослойность и внутренняя гармоничность крестьянского хозяйства. Эта гармония придаёт сельскому труду красоту. Кто умеет *красиво* косить или плотничать — накосит и наплотничает больше и лучше.

Память и меткость в *приметах* погоды, их полугодовой пересчёт. Почти однодневная угадка момента посева. «Тот или иной обычай так естественен, так древен, что выглядит произведением самой природы». Молитва при начале важных работ, особенно сева. Взаимопонимание и сотрудничество с лошастью при каждой работе (а у женщины — с коровой). Да душевные отношения со всеми домашними животными — и отзывчивость тех.

То и дело вклиняются расширительные размышления автора, весьма уместные, много — психологических. Стихийное ощущение родного гнезда не зависит от красоты местности. С возрастом и до возмужалости — расширяющиеся круги этого ощущения, «своя душа в каждой волости». (Но показательны и его замечания о сходстве гоголевских миргородских сюжетов и персонажей — с северными.) «Трудолюбивые добрые люди были в чести у мира». Широкая взаимовыручка, особенно к сиротам и вдовам. Роль стариков в многодетных семьях (где теперь и те, и другие?), их душевное равновесие в ожидании смерти. «Русская печь остывала только с гибелью семьи или дома».

Немало и метких размышлений о народном художественном творчестве. Слияние предметов народного искусства с предметами быта и труда. Народная эстетика вытекает из жизненной психологии. Роль мастерства в крестьянской жизни. Красота в труде как отстаивание своей личности. Искусство может жить в любом труде, даже у дровосека. «Общепризнанная тяга к созидательному труду. Всё начинается с неукротимого и неизъяснимого желания трудиться». *Мастерство* — та же почва, из которой вырастают художники. «Потребность таланта теплится в каждом из нас, только вырастает в разной мере». «Высокий восторг и вдохновение возможны в любом труде». И при том: большие мастера своего дела не гнались за мирской известностью, «даже видели в ней нечто постыдное, мешающее их художеству».

Весьма познавателен, подробен и интересен весь раздел о мастерах. Особенное внимание и понимание у Белова — к плотницкому делу, в котором он и сам много потрудился. «Плотницкое дело — извечный и неизбежный спутник земледелия», «топор у каждого плотника — продолжение рук»; «чувство дерева». (Тут — и все виды древесных материалов, и: крыши изб крылись без единого гвоздя, да так, что никакой ветер их не сорвёт.) Но со вниманием и пониманием вникает автор в работу печников, кузнецов, гончаров («рождение образа из глины и огня»), столяров, бондарей, швцов (портных), сапожников, скорняков (кожевников), шорников, колесников, лудильщиков, дегтярей, смолокуров, пастухов, даже копателей колодцев (как угадывают «водяную жилу», где копать, и по росе, и по растущей траве, и по толчее мошки), помянет и слесаря-односельчанина, который сладил железный протез обезножевшему фронтовику, и катальщиков валенок — для каждой профессии находит автор любовные слова и разъясняет тонкости мастерства. Услеживает и безвозвратно погибшие виды художественных промыслов и гибель художественности от поточности производства. И, конечно, о кормильцах-мельниках, и о тех, кто пошёл по торговой линии, и тут важное психологическое замечание: сами торговцы считали *увеличение* своей торговли — грехом (как и вообще «в старину многие люди считали Божьим наказанием не бедность, а богатство»).

Да, почти всё это — ушло невозвратно, никогда уже не вернётся — но тем дороже, что так любовно схвачено при своём иссякании. У Белова — множество метких замечаний по творчеству всех видов, и как оно связано с терпением, трудолюбием и пониманием традиции. («Почти все умельцы становились подмастерьями, но только часть из них — мастерами», однако было и: «мастерство, передаваемое по наследству или по волостному соседству».)

И отдельно: целая поэма — о женских рукоделиях. «Лён — был женский удел, как лес — мужской». Сложные перипетии выращивания и неоднократной обработки льна, с какой точностью надо успевать за сменами погоды. Прослеживает всю неповторимую технологию обработки неповторимого же по качествам и многолетне служащего льна (так и не восполненного никакими новейшими тканями). И как эта обработка погнала к неутомному труду, но и вписывалась в быт, в супрядки-«беседы» с их игровыми элементами. Дальше — виды тканья, виды шитья, вязанье, кружево, плетение — и сочетание рукоделий с песнями. (И как краски труда изгасли в колхозных условиях.)

С большим знанием дела и смысла — много устройственных подробностей — памятник уходящей цивилизации. Примечательные особенности крестьянских сходов (впрочем — и живописность иных колхозных собраний). Многочисленные обряды (ритуальные потчевания и отказы от них, воздержание; гостьба и отгашивание; свадебные обряды, начиная от сватовства). Перерождение гуляний в советское время, снижение хорового искусства и пляски. «Народная музыкальная эстетика немислима без слияния со звуками и шумами природы». А «после войны художественная организованность народного быта ещё намного снизилась». — Чувство меры

в одежде — между щегольством и убожеством. («От сословной спеси национальные традиции в одежде стали считаться признаком косности».) Сочетание добротности и удобства, особенно в одежде повседневной. И бережливость к одежде, донашивание её в поколениях. «Выбрасывать — считалось грехом, как и покупать лишнее». «Неустойчивый быт 20 — 30-х годов свёл на нет резкую границу между выходным одеянием и будничным». — Наконец — и разные, многие виды крестьянской пищи, теперь тоже невозвратно ушедшие (та же выпечка ржаных караваев, которых нам уже никогда не есть).

На фоне огромного бытового материала порой не минует Белов и соображений о глубокой дали русской истории. Украшает книгу и его высокая чуткость к русскому словообразованию. Нашлось в книге и место оспорить мнение, будто северная русская природа «неяркая, неброская»: не говоря уже о переменах, связанных с временами года, — «смена пейзажных настроений происходит порою буквально в считанные секунды. Лесное озеро из густо-синего моментально может преобразиться в серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому шуточному ветерку. Ржаное поле и берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в зависимости от силы и направления ветра. А ещё же — небо, солнце, луна, тепло и холод... Зелень льна меняется с его ростом, зелень трав — бесконечно, а луга после косьбы снова ярко зелены, и до зимы зеленеет озимь. Вода в озёрах и реках то стальная, то голубая, то — до чернильной густоты...»

Книга «Лад» — драгоценность в русской печатности.

«Всё впереди» (1986). — После растравного окунания в невозвратное русское прошлое Белов тем больше должен был чувствовать себя неместным в уютном настоящем, в роящемся потоке современной жизни, не мог не ощутить себя в конфликте с нею. И тут — он отважно взялся противостать этому потоку? и даже повлиять на его течение? Сравнением 1-й и 2-й части этого небольшого романа можно так понять, что решимость набралась в нём не сразу.

В этом романе он круто сменил манеру письма, усвоил (впрочем, уже не впервые) живую и хлёсткую манеру вполне современного заправского московского писателя, как бы отдался этой круговерти телефонных звонков, метаний в такси по улицам (всегда с уверенной точностью называя их) и даже — чего уж совсем не ждешь бы от Белова! — начал с туристической поездки льготных (политически проверенных) москвичей во Францию. (Впрочем, эти страницы скучны, Франции почти не видим, лишь туристическую нудь, да наверно автор так и хотел, — только удивимся: как сам он влез в подобную поездку?) При том остро новые ноты, зазвучавшие в советской жизни как раз в середине 80-х, Белов игнорирует (да он и относит действие на 10 лет раньше) и собирает внимание читателя на пустоте развращённых нравов и распаде семей. А примеры легко нанизываются, их и правда немало вокруг.

В тоне автора нарастает раздражение. И этот тон проходит через всю книгу и портит её. Само по себе раздражение не может стать движущей силой художественной удачи. Но сначала автор не ограничивается назиданием (мол, нынешние женщины не хотят детей, а мужчины хотят, раздражение против женщин), а строит весьма правдоподобный сюжет из 7—8 персонажей, связанных между собой или родственно, или прежним соучием в одном школьном классе, — и всю 1-ю часть убедительно передаёт нервную, замотанную обстановку, типичные столичные сцены (у всех что-то много свободного времени, легко обращаются со служебными

часами), — и динамично доводит их до драматической развязки. И ограничь автор свой роман этой 1-ю частью — он воплотил бы свои назидания лишь в художественной форме, и мы могли бы упрекнуть его лишь в крайней непроявленности главных персонажей — Медведева, Бриша (о нём — только несколько раз, что у него длинные ноги, долговязый, больше — ни приметы) и нарколога Иванова, которому всё более поручается выражать автора, а он какой-то невыразительно деревянный, да и, настойчиво борясь против пьянства, сам всё время хлещет спиртное. (Впрочем, и все рядом пьют да пьют — укоренившийся и в образованном классе порок.) В романе немало совсем случайных сцен, малозначных засорённых диалогов и даже целые страницы ощущаются как посторонние вставки. И ещё: сплошь неудачен юмор, какие-то затрёпанные городские остроты, пустословные попытки острить, даже неловко читать. Кончаешь 1-ю часть с ощущением: всё это — духовно неплотно. И язык Белова — угас, нет его. Плата за смену манеры?

Однако Белов добавляет 2-ю часть. Действие рывком переносится на 10 лет.

Дмитрий Медведев — кандидат («почти доктор») наук, физик из секретного НИИ («академик сидел у него на крючке»), по давней школьной кличке «идуший впереди», «незаурядная воля», опередивший соперников в женитьбе на соученице красавице Любе, в 1-й части заподозривший (с основанием) измену её, во взрыве гнева запивший (ярко запоминается нам: пьяный сидит на диване босиком, по-турецки и «галстук болтался на его мощной шее, как верёвка на колхозном быке»), — этот Медведев, любитель Шопена, а всё напевавший «Блоху» Мусоргского, — за аварию на своей секретной установке отданный под суд (и отказавшийся от спасительного подложного медицинского бюллетеня), — Медведев, весь духовно обновлённый, вновь появляется после 10-летнего полного молчания. Узнаём, что он отсидел 6 лет (а было и больше, досрочка, затем 3 года вдали от Москвы), теперь, одинокий, под Москвой строит сушилку в совхозе — но никаких признаков, чтоб за эти годы искал прежнюю семью или кого из друзей, всё тот же нарколог обнаруживает его случайно.

Автор ничего не сообщает нам, как же и чем духовно жил Медведев эти 10 лет. Но вот он опять бодр, отпустил густую каштановую бороду, «почти всё понимающий, сильный, почти свободный», — и рвётся выразить свою программу? «Вновь возвращалось представление о забытой медведевской стремительности, о его уме и энергии» — ждём сверхчеловека? Не успел сказать с наркологом двух слов — уже процитировал и Гоголя, и Тютчева, и Твардовского. Залпом: «Научно-техническая революция? Чувшь собачья!» «Я консерватор, отъявленный ретроград, и, представь себе, даже немножко этим горжусь. Остановливать надо гонку промышленности. Едва ли не все наши НИИ просто гонят деньгу. Физический труд — это естественная потребность нормального человека. Насилие над природой выходит из-под нравственного контроля. Человечество идёт к самоубийству через свои мегаполисы. Мне жалко Москву» («бесконечно любил этот город... его родная Москва, все его радости были связаны с ней»).

Такое полное перерождение вполне естественно для тюремных лет. Но тюремные годы — не ощущены, Белов не даёт нам никакого объяснения, ни ниточки. А просто во 2-й части он прямой заговорил от себя, и Медведев выговаривает его заветное: «Крестьянская изба, братец, всегда спасала Россию». И: «Я иногда плачу о Пушкине».

К Москве Белов возвращается несколько раз, и их с Медведевым двумя слитыми голосами высказывается: «Душные московские объятия, окись тяжёлых металлов»; настолько оторвалась от природы, что в ней «гром мало кто отличал от реактивного гула»; «Нагромождения жилых массивов разбегались во все стороны, с косным самодовольством вновь и вновь воз-

никали перед человеческим взглядом»; «наверное, чем больше людей на единицу пространства, чем теснее они живут, тем сильнее отчуждённость»; «вышедший из человеческого подчинения гигантский город расширился по зелёной земле, углублялся в её недра и тянулся ввысь, не признавая ничьих резонансов»; «метастазы каменных скопищ расползались во все стороны на расстояния, не подвластные воображению». (Тут, в защиту мегаполисов, не найду возражений и я.)

И вот, как бы разбуженный визитом нарколога, Медведев (у которого «все телефоны записаны», но он до сих пор никому не звонил) отправляется на поиск своей дочери, теперь уж 16-летней, встреча удаётся, и дочь узнаёт отца. И вот только когда возникает в нём возбуждение: а имел ли право новый супруг Бриш усыновить его детей? 10 лет ему эта забота не приходила — а теперь вдруг настраивается против Бриша. (И нарколог нажимает: «присвоил семью, украл».)

А есть ли за что? Люба изменила Медведеву не с Бришем. До сих пор неженатый и всё ещё влюблённый в неё одноклассник, Бриш принимает её с двумя детьми. По советскому закону развод с заключённым не требовал не только согласия его, но даже осведомления. Это Люба, меняя мужа, должна была ответственно думать, кто же будет считаться отцом её детей. Но и сам автор во 2-й части резко переменяется к Бришу. Теперь, кроме длинных ног, обнаружился его «скрипучий голос», у него «наметилась лысина и брюшко», «кибернетическое спокойствие», то «внутренняя, не заметная снаружи улыбка», то «вечная ухмылка, хмыканье». Он же приходит к наркологу за содействием поставить на принудительное лечение спившуюся женщину из их компании. Он — деловой: «если ты не ленив и хочешь чего-то добиться». И из возникшей острой семейной ситуации он «пытается выйти хладнокровно и энергично». В своё время он первый искал путь, как выручить Медведева от суда. Теперь он ищет и как его снова устроить научным работником.

Но Медведев от этого отказывается. Да он бездействует и в усилиях вернуть детям свою фамилию. Не видно, что осталось от его только что объявленной энергии, программы, выдающихся качеств воли, — вообще становится непонятно, что же задумывал автор выразить фигурой Медведева? Явная авторская неудача.

Всю борьбу на себя перенимает неутомимый (от первого выслеживания Любиной измены ещё в Париже) нарколог. (Сам он тоже давно в разводе, сообщается нам, что у него тоже дети, он «любит своих сыновей», впрочем, мы их не видим.) Но тут и автор не выдерживает далее своего раздражения, выходит за пределы семейного конфликта — и столкновение нарколога с Бришем накаляет в русско-еврейский спор — как будто вся причина произошедшего в еврейской принадлежности Бриша, — неужели это евреи виновны в беспутстве и развале русских семей? Тут уже зацеплено и — еврей ли Христос? и — «вековая тоска» в глазах Бриша, и «русская удаль», которая «скачет на тройке ещё с гоголевских времён», только «одна из лошадок антисемитской масти», «вы — нация пьяниц! вы уже исчезаете!», и — «ты можешь улепётывать хоть сейчас, твой народ ждёт тебя всюду», «все заграничные голоса прямо воют о правах человека». После этого оба едут к каким-то знакомым Бриша, там нарколог продолжает пить безоглядно, его выбрасывают на улицу, бьют по затылку, и лишь в отрезвлении у него «ненависть сменилась стыдом за себя».

Вообще во 2-й части романа — ощущение дотягивания, чем заполнить? повторение сцен и вставные неинтересные (вовсе никчемная в большинстве); случайные разговоры, бружжания. Белов касается многих вопросов в тоне воинственном (но — ни звука о советском политическом устройстве) — однако весь счёт к современной цивилизации и нравственности не уместился в малую романную форму. От неразряженного авторского раздражения — и неудача. «Всё впереди» должно было выра-

зитель призывает не надеяться на будущее, а действовать в настоящем, — но весь состав романа не даёт такого материала и не осуществляет такого призыва.

«Кануны», часть III (1987). — Под влиянием ли «перестроечной» обстановки в СССР испытал Белов к этому году потребность подправить или подзакончить свою книгу 1976 года, о возможном продолжении которой прежде не было объявлено? Но третья часть вот появилась — и нам остаётся, в связи с предыдущими частями, также проследить её развитие.

Не сказать, чтобы Белов усвоил темы нового времени. Он опять начинает с медлительных сцен, разработки добротных подробностей быта, минувшего 60 лет назад. Затем, по революционному разгону тогдашних событий, ускоряется и он, — но всё ещё вставляет и композиционно лишние, никак не работающие эпизоды, уже явно опозданные.

Сдвигка в понимании текших в 1929 году событий — несомненно предоставлена, они больше не сводятся к злостной воле единственного Игната Сопронова, к тому же, как теперь узнаём, ещё и припадочного. Лишь мельком упомянутые раньше процветающая маслодельческая крестьянская артель и кредитное товарищество теперь громят: «заел чужой алимент», «теперь им каюк пришёл», — да не только им, та же судьба и льяному товариществу и машинному (уж было и такое). И деловой, деятельный кооператор вздыхает: «Разве мы знали тогда? разве ведали, что так-то дело обернётся? теперь что осталось от нас? Разгонили нас всех до единого, как зайцев, а денежки из несгораемых шкафов выгребли». И прямая мужицкая реплика: «Пришло, значит, такое время — мужиков к ногтю». И спорят: от Бога ли дьявольская власть? — Налогами обкладывают и повторно, и по третьему разу: «Мы платим, а оне прибавляют». У кого — уже и конфисковали одежду, бытовые предметы — и распродают желающим по дешёвке. Теперь читают в газете: «За чёткость большевистского руководства колхозами», «кулацкие выстрелы не остановят роста социалистической деревни». И — вот оно, понимание, нашлось-таки место в романе: «Да где концы-то искать?» — «Концы в руках Сталина да у Молотова». — А Россия? «Коли совсем догорит? Куды мы после-то?» — «Тоже сгорим! И тепла не оставим после себя, один угар...»

Но вот что существенно важно, часто упускается, а Белов тут не упускает. На стариковском совещании вспоминают, кто воевал в германскую: как на фронте в 17-м году издевались над своими офицерами и стреляли их. А Данило Пачин, отец нашего теперь отчаянного строителя мельницы, так вроде и сам молодого поручика застрелил. «За что?» — размышляет теперь. И подсмеиваются над ним: «Не здря Данило Семёнович ходил под красной-то шапкою, нет, не здря! Бывало, с гармоньей идёт по селу, кричит на весь свет: „Попало от нас белому енералу, попало!“ Ну вот, а ноне чего закричишь?» А один мужик ещё с Пятого года от сына брал да прятал в сундуке Чернышевского и брошюры разные. «А с чего в Двадцатом году колоколам языки выдрали? и святые кресты начали спихивать? Пропили сами себя! Погодите, то ли ишшо увидим». А теперь «куды пойти посоветоваться? Раньше хоть в церкву, к попу, а нынче и церкви под замком». К миру, к сходу? «А что теперь мир? Дожили до того, что скоро друг дружку будем бояться». (Но не покинул Белов и внутрипартийную перетряску. Всё ж — не трюкисты ли всё это затеяли? Вот хулигана Сельку Сопронова го-товит в ВКП(б) трюкист Меерсон из райкома.)

Увы. Композиция романа как была не упорядочена — такой и остаётся. Динамика то и дело расслабляется эпизодами, совершенно ни к чему не прилегающими, — то как Сопронов чуть не утонул в озере (а спасает его от смерти дочь опять же «кулака»), то какие-то армейские манёвры и

ещё новые крестьянские парни из недавних красноармейцев; и «приворотный заговор» старухи для покинутой девки. Вдруг вставлена запоздалая справка: история кооперативного движения в России — ещё от пореформенного александровского времени, и как Николай II учредил мелкий кредит в 1904, а в 1912 был создан московский народный банк, и сколько льна продали за границу в 1914 (сведения ценные, но не в рамках этого романа). (В тексте справки есть и нелепость: будто Ленин «подписал декрет, дававший широкий простор русской кооперации», — когда же? а 20 марта 1917 — то есть когда был ещё в эмиграции, в Цюрихе. А в 1918 — простор тот «был отменён», это-то верно.) — Или вдруг Сопронов зачитывает «беднячко-батрацкой группе», и нам тоже, — полный, без пропусков, на три страницы инструктивный текст, полученный из крайкома ВКП(б). — Уже и раньше проявленное автором похвальное стремление не упустить в историческом романе вбрызгивания и какой-то документальности — однако не в таком же объёме давать и не в такой органической неслитости. (Тут же, рядом, слишком лобово и с избыточной длиннотою, идёт чтение стариками Апокалипсиса.) А тем временем растёт и растёт обилие крестьянских лиц, незапоминаемых имён (уже не раз назван, хотя никак не действует и ни слова не говорит, — Африкан Дрынов: знайте наших! это будет отец Ивана Африкановича).

В этой тесноте уже с трудом находит автор место для оживления так страстно задуманной ветряной мельницы: доделываются кузнецом последние нужные шестерни, а вот наконец подул желанный устойчивый, ровный ветер — и закружились всего два готовых крыла — и мелет! «Тёплая мучная струя потекла из лотка в мучной ларь. Мука была почти горячеей, мягкой и ласковой. Хлебная струя текла как родная вода, как само непрерывное и вечное время». Крылья машут перед нами последним прощальным символом самодельной русской деревни. «И казалось, ничто никогда не остановит эту мучную ласковую теплоту». Какой там! Потому и прихлынули мужики на помол, что «по всей округе мельников объявили буржуйами» — и все перестали молоть.

Тут-то и притекли полномочия Сопронову — создавать колхоз и в нашем селе. Для начала он подаёт в райком «Список контрреволюционного алиментанта» (в том списке и тех стариков, кто за церковь). И близ полночи — кидаются стучать в окна и всех «загаркивать на собранье» тотчас. В полночь, однако, никто не пошёл, — так собрали с утра и протомили на собраньи целый рабочий день.

От этого момента финал романа уплотняется и убыстряется. Закруживается чехарда, хаос. Всё перемешивается: собрания, собрания, уговоры, партийная чистка, новые налоги, конфискации, аресты. И — всё не соглашались в колхоз. Тогда — прислали ловкача, агитатора-гармониста. Он попеременно и бойко, то в мягком тоне воздвигал горы обещаний, какие товары и машины потекут из города, то лихо играл на гармонии и сам же пукался в пляс, чем и покорил. Стали записываться. И ещё. А тогда, «ежели весь мир всколыхнулся да в колхоз двинулся, делать нечего, стало быть, и нам». И вот «люди пешие и конные, уже из других деревень, везли и несли заявленья в колхоз». Впрочем, «к вечеру во многих деревнях люди слышали бабий плач. Ночью в иных домах не зажигали огня. Мелкали по сенникам и подвалам отблески приглушенных фонарей. Попавшие в новый список грузили на санки сундуки и кадушки, завязывали в узлы женские юбки, одеяла, холсты, шубы, девичьи атласовки, кружева, ружья, чаши, выделанные кожи. Швейные машины, самовары и фарфоровую посуду заворачивали в половики. Кожи скручивались в рулоны, муку и зерно таскали из амбаров прямо в мешках. Всё это пряталось по гумнным перевалам в засеках, в овинах либо зарывалось прямо в снег».

И вот — новая жизнь. — «Всех куриц собрали в холодном хлеву при сельсовете, три курицы за ночь замёрзли». «Переписали скотину, зерно,

упряжь, гумна, амбары». (Характерная сценка: жена Сопронова пошла тащить из соседского сарая берёзовые дрова. «Дак пошто дрова-ти берёшь?» — «А беру и брать буду! Для чего и колхоз. Тепериче всё общоё!» Нет, установили: такого закона пока нет, но «может, и будет ишшо».) Восемь коров согнали в один хлев, «и не доёны стоят. А доить будут из других домов приходить». «Коней согнали на большое подворье, их никто не кормил, не поил да и не запрягал».

Крепкая семья Роговых долго сомневалась, устаивала. Наконец, пошла записываться. И у каждого в семье успокоенно забилось сердце. А не тут-то было: «Пришло новое распоряжение: верхушку и зажиточных в колхозы не принимать». — «Напринимали, грят, кулаков, колхоз недействительный».

Всё ж это дано Беловым не в сгустке, но разбавленно, он как бы потерял управление сюжетом. Нет энергии повествования, не передан полный напор эпохи. Всей беспощадности как бы и не взвесил нам. Что не просто уничтожен нацело многовековой этнографический быт, но необратимо сокрушена и народная духовная вера. Всегибельности катящего вала — не дал нам ощутить, скорей — хаос бессмысленных эпизодов. Однако — весьма поучительная иллюстрация тех лет. Хотя, к 1987, с открытием темы и опоздано, — а книга эта надолго сохранится живым свидетельством советской деревни конца 20-х годов.

Все разговоры крестьянские — живые, достоверные до последнего звука. Однако собственный авторский язык Белова не выражен своеобразно, им не приходится наслаждаться. И в нём — меньше богатых живучих русских слов, нежели у Распутина и Астафьева.

Ещё и «**Год великого перелома**» (1989) продолжает беловскую эпопею, но в той же композиционной расслабленности и с повторением сходных промахов. Книга написана неровно, хотя впечатляют сцены: как готовят расстрельщика из неподготовленного человека; раскулачивание среди ночи; телячьи вагоны высылаемых; жизнь раскулаченных по прибытии в ссылку (об этом меньше всего известно).

В 90-е годы Белов в тоске безнадёжности обратился и к послесоветскому периоду. «**В кровном родстве**» (1992). Как колхозники повезли в город кровь сдавать, а вослед пьянка: «свою же кровь пропиваем» — это при всех признаках вырождения деревни. «**У котла**», «**Лейкоз**» (1995) — густая безнадёжность всей обстановки. И пьеса «**Семейные праздники**» (1994) — страстный отзыв на расстрел Верховного Совета в октябре 1993. Тут — вполне динамично, энергично, политически заострённо — несравненно больше, чем это было когда-либо свойственно медлительному Белову.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ИГРА В РОМАН И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Дмитрий Быков. Орфография. Опера в трех действиях. М., «Вагриус», 2003, 688 стр.¹.

Литература, как, впрочем, и другие искусства, все больше напоминает профессиональный спорт. В кино уже давно появился термин «фестивальный фильм», то есть фильм, рассчитанный на участие или победу в каком-нибудь фестивале. В литературоведческой терминологии аналога пока нет, тем не менее задачи решаются примерно те же. Задача-минимум — войти в шестерку или тройку шорт-листа. Задача-максимум — получить какую-нибудь из главных премий. Существуют еще всякие рейтинги и топ-листы, в которых надо хотя бы присутствовать, а еще лучше — держаться наверху.

Книга Дмитрия Быкова «Орфография» уже вошла в шорт-лист «Национального бестселлера». У нее есть свои преданные болельщики, она уже попала в разные рейтинги и получила порцию положительных рецензий — от легкомысленных глянцевого до серьезных толстых журналов.

В рецензиях и отзывах об этой книге преобладают два мотива, которые наиболее ясно сформулированы в журнале «Афиша» (2003, № 13). В рейтинге лучших книг сезона, рекомендуемых для чтения на пляже, «Орфография» объявлена «лучшим отечественным романом», и ей вынесен такой ПРИГОВОР (так называется раздел характеристики): «Русская „*Волшебная гора*“, настоящий большой роман идей о пути людей книги во времена гибели империи. „*Орфография*“ — царица полей-2003». А в качестве характеристики АВТОРА сказано следующее: «36-летний автор двух романов, поэт, телеведущий, колумнист. Репутация Быкова-журналиста мешает читать его беллетристику». Наконец, в разделе ДЕТАЛИ говорится: «„*Орфография*“ — мало того что роман приключенческий (с любовной линией, подземными ходами и бродячей галлюцинацией, преследующей сразу несколько человек); это еще и гид по персонажам Серебряного века».

Итак, мотив первый, и главный: перед нами большой, лучше сказать — крупный и серьезный роман. Мотив второй: роман лучше репутации (в других вариантах — публицистических текстов) Дмитрия Быкова. При обсуждении книги этих мотивов, по-видимому, не избежать никому. Ко второму мотиву я еще вернусь, но сначала о самом тексте.

Почему он нравится критикам и, ну скажем так, просвещенному читателю? Ответ, кажется, прост до банальности: в этой книге есть все и на все вкусы. Упомянутая выше «серьезность» весьма условна, своего максимума она достигает в предисловии и послесловии, да и тема — судьба интеллигенции (они же «люди книги») — настраивает на определенный лад. Но прежде всего это книга-игра — игра автора с читателем, с критиком, причем не на интерес, а на вполне определенную ставку. Это игра в роман, в которой автор начинает и постоянно выигрывает. Впрочем, метафору игры можно применять к «Орфографии» в очень разных смыслах. В ней, например, множество интеллектуальных игр и игровых ходов, каждый из которых в отдельности, возможно, достаточно непритязателен и вторичен. Однако важным оказывается не их качество, а их количество — их просто очень много. В романе вообще всего очень много, и автор этого не скрывает, постоянно говоря об избыточности и условности.

Следует сказать, что перед нами действительно крупное произведение — почти семсот страниц. Оно состоит из предисловия к первому изданию, пролога, трех глав (названных автором действиями) — «Жолтый чорт», «Беглый гласный», «Бледный бес» — и авторского заключения («От автора»). В основе сюжета лежит вымышленный декрет большевиков об отмене орфографии, отсюда и название. Названия «действий» менее мотивированы, зато содержат игровой элемент. Первое

¹ Об этом романе публикуем два разных мнения. (Примеч. ред.)

и третье связано с орфографическими правилами и изменениями орфографии (последовательнее было бы, конечно, написать «бледный бес» с ятем), а второе является лингвистическим термином и в данном контексте, по-видимому, обозначает главного героя (бегством с некоторой натяжкой можно считать либо его поездку в Крым, либо, наоборот, его отъезд из Крыма).

Текст построен на постоянном сочетании и столкновении серьезного и драматического с игровым и ироническим. Глубокий психологизм уживается с пародийностью и постоянным постмодернистским подмигиванием (а постмодернизму вроде бы психологизм противопоказан), эпос — с фарсом, исторические изыскания — с альтернативной историей или уж совсем откровенным вымыслом без какой-либо претензии на правдоподобность. Трагические фигуры перемешиваются с комическими, а страх со смехом. Наконец, более или менее реалистичные события постоянно разбавляются какими-то уж больно навязчивыми совпадениями (вроде «зашел в первое попавшееся место, а там старый друг, потерянная любимая и т. д.») либо обыкновенной мистикой. На обложке роман назван авантюрным, «Афиша» называет его приключенческим, сам Быков склоняется к эпосу.

Парадоксы начинаются с самого начала. «Орфография» вообще-то роман, если судить его по литературоведческим канонам. Но именно здесь читателя ждет первый игровой ход. На обложке стоит подзаголовок: «Опера в трех действиях». По-видимому, это и не подзаголовок вовсе, а просто вынесенное на обложку определение жанра (поклон Гоголю, Павичу и другим любителям нетривиальных жанровых определений). Сам автор пишет по этому поводу в предисловии:

«Принадлежность „Орфографии” к жанру оперы предполагает ряд особенностей: вставные номера, дивертисменты, длинные арии, театральные совпадения, условности и пр.»

Не считывая на понятливого читателя, Дмитрий Быков добавляет в послесловии:

«„Орфография” — скорее опера, нежели роман, и потому требовать от нее исторической достоверности так же странно, как искать исторические ошибки или этнографические погрешности в „Хованщине” или „Чио-Чио-сан”».

Второй игровой ход продолжает первый. Книга напечатана тремя шрифтами: обычным, курсивом и полужирным. В предисловии это объясняется следующим образом:

«К сожалению, у автора нет возможности издать свою прозаическую оперу в двух вариантах, — к тому же ему видится в этом априорное неуважение к читателю. Поэтому, стараясь сделать сочинение удобным для широкой аудитории, он выделил курсивом места, которые можно пропускать без большого ущерба для фабулы, а полужирным шрифтом — те, которые сам он относит к „хитовым”» (поклон Кортасару и прочим авторам гипертекстов).

Далее начинается опера в трех действиях. Ее герой — журналист с псевдонимом Ять, как его, собственно, и называют другие персонажи, волею судеб и в результате собственных действий оказывается в центре трагикомических послереволюционных событий в Петрограде. Исходной точкой альтернативной истории становится, как уже сказано, вымышленный — январский — декрет большевиков о полной отмене орфографии (затесавшийся по времени между двумя реальными декретами об изменении графики и орфографии). Отменяя букву *ять*, декрет как бы отменяет и псевдоним, и самого Ятя. Как бы отмененный, он продолжает активно существовать и общаться с персонажами, как вымышленными, так и имеющими реальных прототипов, в числе коих Маяковский, Горький, Хлебников, Шкловский, Луначарский и другие. Некоторые из них спрятаны за новыми именами (Маяковский — Корабельников, Горький — Хламида и т. п.), некоторые фигурируют почти под своими собственными — например, Корнейчук (подлинная фамилия Чуковского — Корнейчуков). Благодаря предложению Ятя филологов, оказавшихся безработными в результате отмены орфографии, объединяют в коммуны и селят на Елагинном острове. В результате конфликта на национальной почве часть филологов откалывается, образует свою коммуну и под руководством Корабельникова занимается созданием нового искусства. Ять между тем, не входя ни в одну из коммун, общается со всеми и участвует в бесконечных разговорах о вечном, в

основном сводящихся к теме «Можно ли сотрудничать с властью». На некоторое время Ять уезжает в Крым (второе действие «Беглый гласный»), чтобы соединиться с трагически любимой им женщиной. Трагизм заключается в том, что жить без нее он не может, а с ней тем более. Власть в Крыму меняется чуть ли не каждый день, а Ять довольно регулярно попадает в тюрьму, из которой его с завидным постоянством выручает любимая женщина. Второе действие является откровенным фарсом и больше напоминает оперетту, чем оперу. Чреда властителей Гурзуфа вызывает в памяти город Глупов и его градоначальников (поклон Салтыкову-Щедрину). Апофеозом второго действия становится появление как бы Сталина (точнее, пародии на него). В конце концов Ять, естественно, расстается с любимой женщиной и возвращается в Петроград, где и разворачивается третье, трагическое, действие: уничтожение обеих коммун, еще одна встреча с любимой и отъезд Ятя за границу. Вот, собственно, и все. То есть на самом деле, конечно, не все. Где-то на заднем плане развивается судьба членов Временного правительства, на переднем — живут, страдают и наслаждаются главные персонажи: Казарин и Ашхарумова, Грэм и Маринелли. Последний, толстяк, певец и авантюрист, — пожалуй, самый оперный персонаж из всей оперы. Всего, конечно, не перескажешь, на то это и эпос, и роман, и опера, поэтому стоит вернуться к интеллектуальным играм и игровым ходам. Главная из них — игра в угадайку, то есть отгадывание прототипов (поклон Катаеву, казалось бы, исчерпавшему эту игру). Сами персонажи всего лишь пародии, в массе своей крайне несимпатичные и поэтому легко и с удовольствием отгадываемые читателем. Труднее отгадываются персонажи, обрастающие в романе собственной плотью и судьбой, — Казарин (видимо, Ходасевич) или Ашхарумова (наверное, Берберова), но тем острее радость образованных читателей: «А этого ты отгадал? Так это ж такой-то...» Среди игровых ходов надо еще назвать параллелизм судеб главного героя и одноименной буквы, историю альмековского народа и флейты альмеков, введение хороших и плохих мистических персонажей: хранителя ненужностей Клингенмайера, «темных» и символического мальчика Петечку, который то ли встречается, то ли мерещится разным героям. И наконец, подземный ход, спасший Ятя.

Все эти игры, безусловно, вторичны. Быков вообще подчеркнуто и осознанно вторичен, и это, пожалуй, его основная постмодернистская игра. Он повторяет то Салтыкова-Щедрин, то Кортасара, то Леонида Андреева, то Алексея Толстого, то Катаева, наконец, сам Быков называет Александра Житинского. В целом текст стилизован под классическую русскую литературу вообще. Не удержусь от длинной цитаты-списка (поклон Набокову):

«Талисманы были прекрасны неприметностью, бедностью — огарок, муаровый бант, кукольный глаз, башмак, монета, бусина, четвертка бумаги с обрывком счета, записанного порыжевшими чернилами, одинокий валет из старой колоды (все еще фронт — подкрученные усики, выцветший румянец на девически чистых щеках), витой шелковый шнурок, плоский и ломкий засушенный цветок из гимназического гербария, задачник Магницкого с вписанными карандашными ответами, игральная кость, коготь неизвестного дракона (а при ближайшем рассмотрении, скорей всего, куриный), бархатная подушечка с запахом пряной, сухой, мелко крошенной травы, — все это было разложено на шести полках высокого, загнанного в темный угол шкафа красного дерева с резьбой».

Если предметов, то десяток, если эпитетов, то не меньше трех, — так и набегают семьсот страниц.

Хотя по стилю это совершенно и незаметно, но с точки зрения сюжетных приемов и, главное, перемещивания реальности с вымыслом Быков много заимствует у Борхеса. Такова история с выдуманной флейтой выдуманного народа, части которой хранятся в Мехико (улица Лоуренсио Дебальо, 23, со двора) и в Кратове (улица Ворошилова, дом 17, во втором мешке справа от входа). Ключевой для Быкова во многом становится фраза из заключения:

«Автор не документалист, однако за некоторые частности может поручиться».

Вполне традиционен для всей русской литературы и замечательный психологизм Быкова (то есть опять же вторичен). Лучше всего автору удаются женские портреты. Психологическая характеристика персонажа обычно предлагается вмес-

те с его появлением на сцене. Например, увидев Ашхарумову, Ять практически сразу понимает:

«Прелесть Ашхарумовой была неотразима, но открывалась *не сразу* (здесь и ниже курсив мой. — М. К.). Это походило на постепенное узнавание: поначалу оставалась смутная надежда, что гармония ее облика чем-нибудь да нарушится. Ять все ждал, что обнаружит себя резкая черта, которая сразу развеет очарование и позволит не томиться по недостижимому. Однако чем дольше он сидел в хорошо протопленной, крошечной комнате Казарина (с единственной и довольно узкой постелью, предполагавшей тесное объятие), тем яснее понимал, что никакого облегчения ему не будет, что она именно то, что есть: образ цельный, выточенный из единого куска. Красота? Но красота — еще легкий, переносимый случай по сравнению с этим: бывают красавицы, в которых все разнородно, раздрызганно, и именно эта дробность облика позволяет надеяться, что так же раздергано их сознание. Эти легко прощают вину, забывают, уходят и возвращаются. Ашхарумова была иной породы: такая женщина уходит раз навсегда, бежит из дому с первым встречным, если находит в нем свое (и находит безошибочно, никогда не обольщаясь ничтожествами); любит долго, терпит безропотно, прощает измены (не прощая лишь измены предназначению) — и остается с избранником до тех пор, покуда он сам не надломится. Около надломленного она не задержится и секунды — жалость ей незнакома; жалость оскорбила бы и его, и любовь. Такие женщины вечно устремлены вперед, как фигуры на корабельном бушприте, — и безошибочно чувствуют, какой корабль понесет их вперед быстрее всего. Это могло бы, на взгляд недоброжелателя, сойти за карьеризм — ненасытная жажда не просто любить, но любить победителя; но не было сомнения в том, что Ашхарумова с тем же пылом устремится и на гибель, лишь бы катастрофа соответствовала ее представлениям о совершенстве. Все это Ять понял почти *сразу*, но признать себе боялся и потому постепенно убеждался в убийственной точности первоначальной догадки. У нее было крепкое, точно мраморное тело, на котором ни время, ни лишения, ни объятия не должны были оставлять следов: он представил всю ее *сразу* и ясно с несомненностью опыта и вождения...»

И далее психологический портрет переходит в столь же подробный физический (здесь неизбежен низкий поклон Льву Толстому, потому что кто же еще мог столь глубоко и поспешно проникать человека вообще и женщину в частности?).

Еще одна игра и еще один парадокс связаны со столкновением «тогда» и «сейчас»: будучи «гидом Серебряного века», опера оказывается весьма актуальна сегодня. На это указывает сам Быков:

«Всякий, кто жил в России в девяностые годы, не может не знать русскую революцию: есть вещи, типологически присущие всем пред- и постпереворотным эпохам».

Связь времен осуществляет мечущаяся интеллигенция, рассуждающая о возможности сотрудничества с властью. Кажется все же, что для большей части интеллигенции (особенно языковедов) в 90-е годы эта проблема не была столь значительной.

Отдельное восхищение критики вызывает тот факт, что такой роман — безупречный этически и вообще, как уже говорилось, серьезный и большой — написал человек с неоднозначной репутацией, а попросту говоря, борец с либерализмом, *enfant terrible* сегодняшней культуры. Роман лучше автора, — удивленно, с понятным недоверием признают критики. Если другим писателям для привлечения внимания нужно шокировать читателя текстом, то здесь все наоборот. Быков привлекает внимание к роману и отчасти шокирует собой, собственным поведением и другими текстами. Сам же роман нарушает ожидания опытного критика, но, как ни невероятно это звучит, в лучшую сторону.

В действительности же ситуация в восприятии романа, по-видимому, несколько сложнее, и здесь уместно вернуться к спортивной терминологии. Речь идет об игре Быкова с читателем, в которой Быков одерживает победу за явным преимуществом. Решая сегодняшние литературные задачи, он замечательным образом конструирует «правильный» текст. И, безусловно, попадает в цель. Он создает текст, абсолютный чемпион в тяжелой весовой категории, которым интелли-

гентный (или теперь уже лучше сказать — интеллектуальный) читатель просто обязан зачитываться, находя в нем множество любимых писателей, жанров и приемов, и который критик просто обязан обсуждать, находя в нем бесконечные аллюзии, цитаты и перифразы (что я, кстати, выше и проделал). И критик, и читатель вынуждены принять быковскую интеллектуальную игру и потерпеть поражение.

И это бесспорно. Остальные рассуждения носят гипотетический характер, поскольку являются деконструкцией текста (поклон Деррида), а гипотетичность, как мы знаем, есть главное свойство деконструкции.

Быков не был бы Быковым, если бы не оставил следов, знаков своей игры и победы над читателем, даже рискуя эту победу упустить. Этими знаками, на мой взгляд, являются небрежность, неправдоподобность и многочисленные неточности, которые умный человек не мог бы допустить случайно. Конечно, Быков подстраховался, написав «серьезные», отчасти пафосные и отчасти сентиментальные предисловие и послесловие. И все-таки...

Зачем роман назван оперой? Ведь ничего оперного в самом тексте и в его структуре нет. Это просто еще одна страховка, поскольку любую неправдоподобность можно теперь объяснить «театральными совпадениями» и «условностями».

Зачем нужна кокетливая игра ео шрифтами, превращающая линейный текст в гипертекст, если ни один нормальный читатель не будет пробовать читать его несколько раз и по-разному? Но ведь на это и расчет. Вряд ли коротсаровские романы «Модель для сборки» и «Игра в классики» многие читали разными способами. Прием работает, потому что его не проверяют.

Зачем предисловие названо «предисловием к первому изданию»? Затем, что это успешный роман, который будет еще переиздаваться не раз. Критик, смирись!

Зачем вообще писать и предисловие, и послесловие? Просто Быков, не вполне доверяя критику, предпочитает сам оценить свой текст. В ход идет и «предисловие к первому изданию», и выделение «житовых» фрагментов, и слова о Божественном присутствии в тексте, и светлая грусть послесловия («Я был очень счастлив, пока писал эту книгу»).

Зачем так неправдоподобен зачин? Дело не в отмене орфографии, а в том, что ее отмена в целом как раз не отменяет букву ять (точнее, равным образом отменяются правила употребления всех букв, и в этом смысле буква ять ничуть не хуже других), то есть метафора ненужности героя оказывается неуместной. Кроме того, отмена орфографии никак не может сделать лингвистов безработными, поскольку только единицы из них занимаются орфографией. Быков прекрасно понимает это и даже проговаривается где-то в середине. Снова прием ради приема, и снова читатель принимает ложное допущение.

Зачем эти мелкие ляпы: путаница с названиями газет, когда разные названия закрытой газеты («Наш путь», ранее «Воля народа», ранее «Наша речь») вдруг приписываются каким-то другим, вполне здравствующим, газетам? Зачем в игре в орфограммы, которая наглядно иллюстрирует действие декрета, допущена ошибка? Последнее придется пояснить. В газете «Наш путь» опубликован текст: «Труб сомодержавия еще смердит. Целесообразно, кажется, наконец сделать все, *итоб* у антенародново элемента вырвали жало. Омирзительные враги пятнают наш стьяк и гризнят его, но мы идины и непобедимы. Много еще затрад придстоит нам, мосштаб битв неописуем. Но жизнь возьмет свое!» с комментарием: «Надеемся, что читатель наш не станет по-гимназически подчеркивать красным карандашом ошибки начинающего публициста». Персонажи романа, естественно, подчеркивают (как выше проделал это я) и получают фразу — «Большевики идиоты». Неприятность, однако, состоит в том, что в результате подчеркивания можно получить лишь: «Большевики идиоы». Так снова Быков играет со своим читателем.

Глубокий психологизм также оказывается с изъязном. Персонаж, получивший исчерпывающую характеристику, ей, вообще говоря, никак не соответствует: ни речами, ни делами. Да это и не важно. Ведь, например, процитированная выше характеристика Ашхарумовой вовсе не принадлежит Ятю и собственно к Ашхарумовой никакого отношения не имеет. На самом деле это авторская характеристика ее прототипа, женщины, о которой мы знаем гораздо больше, чем о персонаже романа.

Все эти приемы-обманки разбросаны по роману без особой цели: разве что показать, что это отнюдь не серьезный роман, а совсем другое (правда, Быков прекрасно понимает, что на эти его знаки никто не обратит внимания).

Что именно? А именно, как сказано выше, «правильный текст» (в сегодняшнем понимании этих слов). Слово «правильный» в последнее время чрезвычайно расширило свою сочетаемость. Выражения типа *правильная еда, правильная одежда, правильный ресторан, правильный фильм* ранее едва ли были возможны. Сегодня же слово *правильный* фактически формирует новый стиль поведения, следовать которому должен любой «продвинутый» человек. Если использовать европейские аналогии, можно сказать, что речь идет о создании нового русского дендизма, особого свода правил, «как себя вести», «какую одежду носить», «что есть», «куда ходить» и в числе много другого — «что читать».

Наше время замечательно тем, что «литературными чемпионами» становятся не банальные бестселлеры (читай — массовая литература), а исключительно правильные тексты. К ним и относится опера в трех действиях «Орфография», которая будет переиздаваться, быть может, получить премии и считаться серьезным большим романом. Единственным ее, впрочем несущественным, недостатком оказывается то, что ее неинтересно читать (не трудно и даже не скучно, а именно неинтересно). Но, во-первых, это уже дело вкуса (а следовательно — недоказуемо), а во-вторых, она не для этого предназначена.

Максим КРОНГАУЗ.



НАЗОВУ СЕБЯ КЛИНГЕНМАЙЕР

И что во мне — и в каждом, вероятно...

Д. Быков, «Песнь песней».

Дмитрий Быков написал роман, которого не должно быть. Которого не может быть потому, что не может быть никогда. Это роднит «Орфографию» с быковскими стихами. Их ведь тоже, по всем правилам, не должно существовать. Ну в самом деле, что это за стихи такие: длинные, многословные, с перечислительными рядами и хлесткими афоризмами, выдающими изрядный газетно-журнальный стаж? С минимумом метафор, с легко вычленимой, по всем канонам школьного сочинения, «главной мыслью»?

Теперь еще и роман такой же. Чуть ли не семьсот страниц текста (хорошо еще в «Вагриусе» сократили раза в полтора — и так-то «Анна Каренина» получилась, а без редакторского вмешательства и вовсе «Войной и миром» пахло). Обладающий всеми признаками альтернативно-исторического сочинения — жуткого подвида современной прозы, затоптанного Крусановыми и Шаровыми до полной невозможности пасть на этой лужайке. Описывающий известные из учебника события, построенный на героях, за которыми стоят вполне определенные и не особо маскируемые прототипы...

А результат тот же, что и со стихами. Мы давным-давно знаем, что так нельзя, и все вокруг уже это усвоили, а он, видимо, не в курсе, и потому у него получается. Хочет — сочиняет стихи с патетикой и риторикой, заменяющими ему мать всех тропов — иронию. Хочет — роман идей пишет, хотя никаких идей на свете нет, а если и есть, то к ним должны прилагаться указующий перст и скорбно наморщенное чело, а не гузуфское солнце и легкомысленная девушка.

И ничто его не берет, даже приемы и штампы исторической беллетристики, которыми «Орфография» набита, как чучело ватой. Даже искренняя убежденность, что писателю необходимо «наличие собственной исторической или социальной концепции», и уверенность, что хороший прозаик — это тот, кто «всерьез размышляет... над особенностями русской истории и над нашим общенациональным будущим». Все равно в результате получается все тот же Быков — живой, настоящий, узнаваемый в каждой строчке.

Где же ключ к этой загадке? Почему писатель, делающий все наоборот, поступающий так, как нельзя (не «не положено», а действительно, кроме шуток, нельзя), оказывается едва ли не единственным, кто знает, как надо? Честнее всего было бы ответить одним словом — «дано» и на этом разговор закончить. Наверное, нормальный читатель так бы и поступил. Увы, рецензент не имеет права на простые читательские радости.

Быкову удалось создать идеологический роман без диктата авторского голоса. По прочтении его хочется произнести затрепанное слово «полифония». О настоящей полифонии, впрочем, речь не может идти по той простой причине, что никаких героев-идеологов в «Орфографии» нет. Ну разве что кто-то из второстепенных персонажей: Соломин, Алексеев. Все прочие персонифицируют не идеи, а скорее различные типы поведения интеллигента в предложенных историей экстремальных обстоятельствах. При этом каждый из героев то сближается с автором, то отдаляется от него; действия ведут попеременно Казарин, Львовский, Чарнолуский, — автор словно примеряет на себя их взгляд, их позицию и движется дальше.

Но ведь есть еще и Ять — классический герой-протагонист, чрезвычайный и полномочный представитель автора в романе. Может, именно выбором Ятя в главные герои и объясняется отсутствие в романе руководящей и направляющей авторской идеи? «Орфография» — своего рода опыт апофатической антропологии, роман о человеке, который не уверен в собственном существовании. Какие истины может изрекать человек, ощущающий себя то прозрачным, а то и вовсе невидимым? Какую положительную программу он может предложить? Чем может поделиться с миром, кроме опыта собственного небытия?

На самом деле отношения автора и Ятя, конечно, не так просты. Правда Ятя едва ли предпочтительнее правд всех прочих персонажей — достаточно прочитать его диалог с Ашхарумовой на Крестовском мосту. И чем ближе к финалу, тем чаще правота героя ставится под сомнение. Едва избежав гибели от рук «темных» при разгоне коммуны, лежа в тифозном бреду, Ять ощущает свою богооставленность: «Сын разошелся с отцом... сын никогда не найдет отца». И романский демиург отрекается от своего «двойника», проводя между отцом и сыном четкую границу: «Как все люди ограниченного ума, он сделался в эти летние месяцы необыкновенно хитер».

Все, что происходит потом, напоминает качели: отец отталкивает сына, а тот вновь льнет к нему. На качелях раскачивается и последний разговор Ятя с возлюбленной, обернувшейся «большевицкой амазонкой»: герои то пробиваются к себе прежним, то вновь теряют себя и не узнают друг друга (сцена, отсылающая к давней быковской «Поэме отъезда»). После расставания с Таней Ятю еще будет позволено внушить случайной знакомой, девочке по прозвищу Зайка, что она проживет счастливую жизнь. Зайка поверит, и автор даже признает это «самым ценным результатом» всего, о чем рассказано в романе. Но тут же вновь подчеркнет дистанцию между собой и персонажем, а затем и вовсе отберет у Ятя надежду на возвращение в лоно отца, заставив перед окончательным отъездом из России узнать в одном из «грязных вокзальных детей» мальчика Петечку, некогда упущенного Ятем и теперь ставшего «темным».

Но, может быть, мы все придумали, замороженные репутацией Быкова-публициста, и «Орфография» вовсе не роман идей и не квазиисторический эпос? Может, революция, наркомы, указы и мандаты — лишь декорации для Тани и Ятя, Барцева и Ашхарумовой? Что, если и впрямь «вся грандиозная катавасия для того только и затевалась, чтобы какой-нибудь Иван встретился с Катей и продолжал с маниакальным упорством обнаруживать ее везде, куда бы ни сунулся»; что, если действительно «в России, кроме Ивана с Катей, никого особенно и не было», как подсказывает автор?

На самом деле и эта бесспорно утешительная мысль, увы, неверна. «Комиссар, просто нам изначально дан выбор: история или любовь», — пел когда-то БГ. Быков, показывающий фиктивность любого выбора, камня на камне не оставляет и от этого. Человек, пытающийся найти в любви спасение от истории, попадает в самую гущу исторических катаклизмов, в бесконечно ускорившееся время, как

Ять, бегущий из Петрограда в Гурзуф в надежде найти Таню. Пытаясь спастись от адского абсурда истории, он попадает в другой ад, отличающийся от прежнего только еще большей степенью абсурдности. У истории есть хоть какие-то законы. У любви нет никаких.

В притче про Барцева и Ашхарумову важна прежде всего полная немотивированность, придающая всему описанному статус общего закона. Спасшиеся от гибели при разгоне коммуны, соединенные навеки альмекской флейтой, подаренной им Ятем, супруги расстаются на следующее утро после свадьбы, чтобы никогда больше не увидеть друг друга. «Он за ней коршуном — она от него рыбой, он за ней рыбаком — она от него кобылицей, он за ней всадником — она от него облаком, он за ней ветром — она от него дождем». Почему? Да в том-то все и дело, что нипочему. Так все устроено другим демиургом, и от романиста здесь мало что зависит.

Так о чем же этот роман? Он об игре, в которой не бывает победителей. Об истории, которая случайна и не имеет ни конца, ни смысла — недаром автор сравнивает ее с брехом собак в ночном Гурзуфе. О том, что жизнь скользит вниз, в «первичный бульон» (воспоминание о «подвижной лестнице Ламарка» приходит само собой), и человек определяется лишь тем, как он ведет себя на этом эскалаторе. О том, что каждый всегда стоит перед выбором; выбора нет — с одной стороны петля, с другой удавка, — но сделать его ты обязан — выбирать глупо, отказываться подло...

Все так, но кроме Ятя, елагинцев, крестовцев, большевиков, «темных» в романе есть еще два персонажа, которым доверено высшее знание о мире и человеке. Первый из них — беллетрист Ростислав Грэм (в нем без труда угадываются черты Александра Грина), памяти которого посвящена «Орфография». Именно он «должен был написать этот роман — и непременно закончил бы его, если бы не умер от истощения в оккупированной Ялте 26 января 1942 года». Грэм, как мудрец из знаменитой даосской притчи, не различает покровы, но видит суть и потому повторяет Богово «мир хорош».

Второй — это чудака антиквар Фридрих Клингенмайер, чье собрание «раритетов и древностей» оказывается прозрачной метафорой мироздания, где Клингенмайер играет роль Творца. Он наблюдает изнутри то, на что другие смотрят снаружи, и постигает смысл там, где остальные видят случайный набор вещей. Соблазнительно прочитать «Орфографию» как апологию случайных и бессмысленных мелочей. Но Быков не Уайльд и не Кузмин, и его роман не об этом. Он о том, что случайностей нет, о том, что сквозь любой затейливый, но бесполезный орнамент проступает иной узор — вязь божественного промысла.

Именно случайное остается от идущих на смерть; именно релятивность истории и дает почувствовать ее высокий трагизм; именно невозможность любви и наделяет любовь смыслом. Роман Быкова светел и тепел, как прогретый крымским солнцем берег. И, в отличие от лучшего романа прошлого года — «<НРЗБ>» Сергея Гандлевского, небезнадежен. Никто не знает, что в точности Аристотель понимал под катарсисом, но по прочтении «Орфографии» читатель испытывает именно его.

Сын теряет отца, отец отрекается от сына, но и в самом конце, на Финляндском вокзале, автор стоит за правым плечом Ятя — все проигравшего, потерявшего Таню, Россию, себя. Стоит, как раньше стоял за плечом пляшущего Львовского, нелепого Чарнолуцкого, сумасшедшего Борисоглебского. Более того, даже отрекшись от Ятя, автор не перестает себя с ним отождествлять.

В прототипы главному герою Быков назначил Виктора Ирецкого (настоящая фамилия которого все ж таки Гликман, а не Ириксон, как сказано автором). На самом деле Ирецкий если и имеет к Ятю какое-то отношение, то лишь как один из. С тем же правом прототипом героя «Орфографии» может быть назван кто угодно — например, сам автор. Или любой из нас.

Как и всякое большое произведение, роман Быкова не открывает ничего нового. Он сделан из того, что вы и сами знали о жизни, но не умели назвать. Теперь сумеете. Автор не продуцирует оригинальные идеи, он находит слова и отликает из них зеркало. Зеркало для негероя. Отсюда приходящее с самого начала и не оставляющее до конца четкое ощущение, что все это твоей парой глаз увидено, твоей кожей почувствовано.

И напоследок о самом главном. И стихи, и роман Быкова написаны для тех, кто все еще верит, что книга не просто черные буквы на белой бумаге, но горе и радость, смех и слезы. От «Орфографии» получаешь удовольствие в самом прямом, до-бартовском, смысле. В послесловии Быков говорит, что был очень счастлив, пока писал эту книгу. Я был очень счастлив, пока ее читал. Наверное, именно поэтому об «Орфографии», несмотря на всю ее цитатность и конструктивность, так сложно писать — не хочется ничего анализировать, ничего разбирать. Закрадывается совершенно неприличное для критика желание просто сказать автору «спасибо» и перечитать текст еще раз.

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.



ДИЕЗЫ ДЛЯ ТОНКОГО СЛУХА

Иван А. Дуда. Разлинованная тетрадь. Фрагменты. [Предисловие А. Кушнера]. СПб., «Знак», 2003, 75 стр.

...Все опыты, все виды рукоделья,
 всю прорву и булавок, и крючков
 засуну, если некуда, в портфель я,
 всю с вызовом пролившуюся кровь,
 всю изморозь,
 всю суточную стужу,
 лишь рухну я на жесткую кровать,
 под пологом суконным обнаружу,
 всех плачущих отправлюсь утешать.

В этой свалке разнородных предметов заводится мелодия, которой изъясняется душа, — такие, верно, имел в виду Фет, когда восклицал, что хочет «сказать» без слова. Печальный звук «у» — лингвисты знают это его свойство — при помощи анафоры окольцовывает и пронизывает все стихотворение виолончельным, сердечным мотивом. По правде говоря, читателю этой рецензии придется верить мне на слово: цитаты не дают верного впечатления. Но часто бывает так, что рецензент цитирует удачные строчки, а читатель, открыв книгу, обнаруживает, что стихотворение как будто приколото к ним канцелярской скрепкой. В стихах Дуды нет такой эффектной законченной мысли, которую можно было бы предъявить. Поэтическая мысль растворена в мелодии всего стихотворения, и отдельные стихи тоже так связаны между собой, что не поддаются показательному вычленению.

Муза Дуды обладает своим собственным голосом, своим местом обитания. Декорации российского захолустья ее не принижают, не делают глуше и проще.

Странности, отклонения от обычного хода мысли, которые именно воспринимаются как отклонения, как сбои, диссонансы, — преобразуют известное в новое и пленяют воображение. Пришел чех, сел, погладил котенка, подумал о старости и сказал две фразы — о трудности жизни и трудности смерти: «Оттого, что ты дома, что грустен твой смех, / что невесел твой ветреный Кальман, / оттого и пришел, и раскланялся чех, / сел, где воздуха больше, где пальма...» Просто невозможно восстановить причинно-следственную связь между посещением чеха и тем, что «ты дома, что грустен твой смех» и т. д. Обманная логика. Не только пришел «оттого, что», но и раскланялся оттого. Вот тут и начинают звучать «диезы для тонкого слуха». Холодок вечности угадывается за кулисами этого стихотворения; как будто жизнь с ее уязвимым теплом увидена из какой-то необитаемой точки вселенной.

В «Записках по теории словесности» А. А. Потебни рассказан такой случай. Грек пел свою песню, спел и заплакал. Его попросили перевести, он сказал: «Сидела птица, сидела, потом улетела. По-русски ничего, а по-гречески очень жалко». Музыка в стихах любит как раз те места, где теряется логика. Ее сестра — неожиданность.

Неожиданность, смелость... О них мечтает каждый пишущий и на какие только уловки не пускается, чтобы удивить. В сущности, все ведь испробовано: и алогизм, и перечисления, и повторы, и экзотические имена, и странные словосочетания — все это приемы с двухвековой седой щетиной. Можно вспомнить и Тредиа-

ковского с его дикими словечками, и обэриутов (особенно Введенского) — характерное словоупотребление Дуды встречается и у них. Но принципиальная разница состоит в том, что у них мы часто видим самоценную игру с «далековатыми понятиями», а у Дуды — окрашенное новыми красками лирическое волнение, музыку.

Наверно, тем объясняется торжество этих приемов, что художественное восприятие не знает иерархии впечатлений. Сознание отделяет важное от неважного, главное от второстепенного; подсознание этим не занимается, оно интересуется всем подряд, без всякого ранжира. Жизнь застает художника врасплох, внезапно заключая в свои объятия. Он видит, слышит, осязает одновременно и временами проговаривает что-то вскользь, охваченный горячим чувством. Тут и является к нему его Муза, и между ними происходит забавно описанная поэтом семейная сцена, домашняя, в процессе общей работы, перебранка: «Емкость души не измерила, стерва...» А кончается это стихотворение симптоматическим: «...непроизвольно вторгается в сферу / грубых инстинктов, энергию тратит, / прежде чем плотно задернуть портьеру, / мысли собрать и уснуть с ними, кстати».

Что еще муза может сделать с мыслями? Сбыть их логике не удастся. Да и что за мысли, цепляющиеся за портьеру, за грубые инстинкты? В соседнем стихотворении, например, сказано: «...под старой ветлой, чумовой и трухлявой, / до одури грызть можжевельный стебель, / и думать, и думать при этом: о, дьявол, / мы видели землю, нам холодно в небе» Вот именно — видели, грызли, холодно... но под чудную речевую мелодию, «чистый, как детство», мотив. Пастернак в разговоре об этом поэте подворачивается не случайно. Кстати говоря, цитаты в два-три стиха из Пастернака звучат для нас в полный голос, я думаю, потому, что мы помним звуковой образ целого, а для читателя, который — представим себе — его не знает, отдельные строки не отразили бы его прелести.

...Психологизма в привычном виде, как у Ахматовой, например, или у Анненского, у которых нередко в основу сюжета ложится психологическая ситуация, — у Дуды нет. Но точность и тонкость в передаче смысловых оттенков имеет источником остроту чувств и гибкость ума, способного доставать со дна души то, что обычно — неведомое и самому владельцу — лежит глубоко под спудом. И что интересно: чем менее знаменательны доставленные на поверхность глубинные ощущения, тем достовернее они свидетельствуют о тонкой психологической работе. Можно подумать в привычных формах: нет сил, не хватает души на все впечатления жизни. А можно, оказывается, выразить это так: «Когда бы не ты, не твоя Украина, / не слезы твои на твоих именинах, / — я в сердце впустил бы и эту ворону, / что так грациозно прошлась по перрону». А до «Украины» и «именин» в перечислении того, что «когда бы не»: настурции в черном бокале, кивающие на блоковскую черную розу, гости, девушки в доме, почему-то пума (обойдемся без лишних вопросов), грешные мысли и смутные думы (все вперемешку!), — и как же смешно после всего этого выходит на перрон грациозная эта ворона, встреченная от неожиданности нервическим смешком читателя; как она удивляет необъяснимой уместностью!

Или — совсем другой сюжет: человек жалеет, что место, которое он посетил, по-видимому, много лет спустя (где живет его возлюбленная), не стало его домом: «Вот улица, двор... Но штормовку нельзя / на жерди сырые, на мокрые бросить — / другим это счастье, здесь идол не я, / а сторож церковный, а земский судья, / а Трифон какой-нибудь либо Амвросий». Удивительны в такой ситуации внимание к мокрым жердям, мысль о штормовке, о жесте, совершаемом машинально, и конкретность вымышленных имен. Эти ископаемые детали говорят о том, что упомянутое счастье развернуто воображением поэта с добросовестностью, не свойственной романтической мечте, прижато к сердцу в самых будничных проявлениях; от них веет чеховской шемящей тоской.

Дуда обращается к психологии изредка и ненадолго, что делает ее краткие, как бы нечаянные визиты особенно ценными: «осень жизни безжалостна к вёснам» или «убойную силу стесненного сердца / боится осмыслить кондовый рассудок...». Но цитировать можно почти все подряд по той причине, что все, что пережито и не банально сказано, в какой-то мере подходит под зыбкую категорию «психологизма». «Трудно даются нам первые классы / поднаторевшей в риторике школы: /

мы — не рабы, но плетемся за насыпь, / обремененные сердцем тяжелым»... И так далее, как говорится, и так далее!

Как бы ни была грустна жизнь, как бы ни соответствовала этой грусти поэтическая мысль, само звучание стиха, невольно поощряемое ритмами трехсложных размеров, смягчает фундаментальную печаль мироздания. Это онтологическое свойство поэзии, русской поэзии, вскормленной и воспитанной регулярными метрами. А кроме того, помимо очевидной радости, которую доставляют Дуде амфибрахии, дактили и анапесты, ему нравится поэтическая смесь печального и радостного — тоже генетический признак стихотворной речи, в которой *мелодией одной звучат печаль и радость*. Более того, смешное и грустное у Дуды слиты иногда до полной неразличимости: «А вас и не надо пускать за границу: / вы эту страну отогрели, как птицу...»; «Ласточка с Лесбоса писем не пишет, / не провоцирует, не донимает, / улице хочется плюшевых мишек, / осени болдинской с ласковым маем...». Ну как? Как вам болдинская осень с ласковым маем? Ничуть не изменяя грустному напеву — шутит, острит направо: «Губы облизывать нам бы, сюсюкать, / дайджест на радостях путать с инцестом, / выручку в твердых подсчитывать штуках, / плыть по течению, знать свое место»; «и чего ж тут, я думаю, Карамзину / так трудиться, мантулить так эту шпану...».

Два раздела в этой книге, всего два: «Миллион терзаний, миллион» и «Жить от противного все же есть способ». По поводу первого хочется сказать, что, видимо, терзаний нигде не меньше, но наш миллион, на котором сосредоточен поэт («не Марсель это шумный, не праздный Версаль, а всего лишь Торжок или Клин»), — российская провинция с приметам вечной разрухи и неисповедимой любовью к непогоде, к рябине («кисть рябины под шестел дождя»), вполне банальной любовью. И все-то дело в разнообразии непредвиденных поворотов чувства: «И вы мне не нравитесь: / атомный вы, / какой-то не чистый, не гуманитарный. / Я в новый хочу, но билет — до Москвы. / А все еще — едем... А все еще — Сарны...»

Что касается «жизни от противного», то она тоже не слишком оригинальна и тем более удивительна способами, которыми манифестируется. «Мозаика фактов по мне такова, / что было бы глупостью не усомниться / в способности и самого божества / отстаивать толком свои же права / и взгляды свои, невзирая на лица». В этих понятных сомнениях самое, пожалуй, утешительное — музыка. Она, как радио в деревенском доме, никогда не выключается и присутствует то голосами Бернеса и Утесова, то вдруг является совсем другими именами и ракурсами: «Сказал бы я: музыка есть, Берлиоз...» — или: «...вот и гибнет соперница рая, Дон Кихота земля, Дебюсси». Но главным образом это «музыка из ниоткуда», о которой мы уже заявили в самом начале названием этих заметок, музыка стиха, настоящая на «семантике метра» великих предшественников, музыка «для тонкого слуха», возникающая из ритмов, фонетики, рифм и просто из воздуха — «оттого, что ты дома, что грустен твой смех...».

Все имеет оборотную сторону. К каждому достоинству прикладывается недостаток. Только в искусстве случается, что отсутствие какого-то положительного качества смотрится неожиданным приобретением. К поэтике Ивана Дуды есть претензия: нет лирического героя — персонажа, с которым охотно идентифицирует себя читатель, — и может показаться, что книга Дуды слишком описательна, не хватает в ней участия автора в каких-то событиях знакомых, запоминающихся. «Не хватает концентрирующей внимание сюжетности, что ли, конкретной ситуации, когда все многообразие слов и образов работает в конце концов на ее разрешение. Так в поезде можно часами смотреть в окно под стук колес... но после не за что зацепиться, чтобы восстановить что-то отдельно...» — написал из Омска по поводу «Разлинованной тетради» один поэт, человек тонкий и одаренный.

Я думаю, что это как раз тот случай, когда внесение лирической персоны лишило бы стихи индивидуальности — как ни странно. Своеобразие их держится на этом отсутствии. А лирический герой — вовсе не непременно условие лирики. Его отсутствие появилось, если можно так выразиться, две тысячи лет назад. «Он почти никогда не пользуется местоимением „я“, избегая таким образом вездесущего эгоцентризма, который был несчастьем как его современников, так и приемни-

ков... Он напрочь лишен нарциссизма, неосознанно демократичен и чрезвычайно смиренен. Вот почему в его строках нет априорного поэтического апломба, и вот почему его будут читать в следующем тысячелетии, если, конечно, оно наступит» (Бродский о Вергилии).

Лирического героя нет, но автор-то проявил себя так искренне, так полно (и так нежно), как дай вам Бог, всем другим. Иван Дуда — человек мягкий, застенчивый, свой ум выказывающий как бы по необходимости, живущий нелегкой жизнью, любя ее «от противного» тайной, запретной любовью.

И вообще *человек из толпы*, каким предстает перед читателем поэт, более, чем кто-либо и что-либо другое, может противостоять *человеку толпы*, несущему нынче такую серьезную опасность для общества — будь то безумный футбольный болельщик, рок-фанат или яростный защитник исламского фундаментализма. Проблема сохранения индивидуальности стоит перед человечеством, может быть, как никогда прежде. В этой связи вопрос: «С кем вы на рынок Торжковский идете, / кто эту жизнь комментирует вам?» — вписывается в ряд самых насущных, недалеко отстоящих от начального «быть или не быть?». Я надеюсь, что читатель, столкнувшийся с ним на 52-й странице книги Дуды и прочитавший его с той интонацией, которая продиктована предшествующим текстом стихотворения, почувствует в авторе собеседника, с которым не хочется расставаться; легко помещающиеся в сумке, в портфеле, в кармане плаща «Фрагменты» — грустный и утешительный комментарий жизни.

...Ах, взбалмошной юности грех не осудим,
присмотримся к ивам плакучим, к туману,
к убогим заведомо будням, мы — люди,
мы — люди, Мария, так мнится Ивану,
не смей же, не всхлипывай больше, не стоит
распугивать звезды ночные, гляди, как
цветы наши грустно поникли, левкой:
сорвавшему голос уже не до крика.

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.

С.-Петербург.

*

ГЛУБИНА НЕПОДВИЖНОСТИ

Галина Гампер. Что из того, что лестница круга... Книга лирики. СПб.,
Издательство «Журнал „Нева“», 2002, 208 стр.

Булат Окуджаву писал во вступительном слове, предварявшем сборник избранных стихотворений Галины Гампер «И в новом свете дождь и в старом свете» («Пушкинский фонд», 1997): «Конечно, любому поэту приятны добрые слова в свой адрес, но если они отсутствуют — он все равно продолжает жить по велению Предназначения. Он знает, что не ему определять свое место в поэзии. Это совершит Бог — когда-нибудь потом, потом... Я с волнением прочитал стихи Галины Гампер и убедился в том, что передо мной — поэт, а не стихотворец, что она — верный слуга своего предназначения, что, знакомясь с ее рассказом о себе самой, о ее нелегкой жизни, я соучаствую, сопереживаю и, самое удивительное, раздумываю о собственной судьбе».

В этих словах Окуджавы, кроме безусловного признания поэтических заслуг, есть еще и неявное извинение — за то, что «добрых слов» в адрес поэта Галины Гампер досталось не слишком-то много.

Я попытался поискать в Сети отзывы на ее стихи и вынужден констатировать, что их действительно не много. Основной тон упоминания Гампер — перечислительный. На питерских писательских собраниях: «Даниил Аль, Андрей Арьев, Галина Гампер, Нина Катерли, Александр Кушнер, Самуил Лурье, Леонид Семенов-Спаский, Владимир Уфлянд, Илья Фоянков». Или, скажем, в передаче «Памяти

.....
Поверженный,
 в чем ты найдешь опору,
Не дав угаснуть
 разуму и взору?
Как устоишь?
 А ты ведь устоишь.

Вывод, сделанный поэтом в последней строке, ниоткуда не следует. В этой строке есть удивление и преклонение перед рационально необъяснимой силой человека. Несмотря на внешнюю стертость — обычность со времен Йова — перечисляемых несчастий, которые падают на человека, они по-прежнему тяжелы. От того, что кому-то перепадало и похуже, легче не становится. Эти формулы несчастья — знаки беды — неизменны. Но человек, не конкретный персонаж, а тот всякий раз другой человек, к которому поэт обращается напрямую, он — устоит. Поэт не только констатирует, он еще и убеждает, он верит в то, что хватит силы и выдержки. Это трогательное «ведь». Это почти вопрос. Почти просьба. И она направлена ко мне.

В этом стихотворении проявляется важнейшее, на мой взгляд, качество поэзии Гампер. Я бы назвал его строкой из ее стихотворения: «глубина неподвижности». Эта неподвижность — абсолютная точка стояния, точка Предназначения, по словам Окуджавы. Это не та видимая миру неподвижность, которая всего лишь следование течению, когда человек как бы остается на месте, а река времени и судьбы тянет его куда хочет. Это — акцентированный выбор. Как подчеркнуть, как описать эту глубину неподвижности? Нужно заставить двинуться и закружиться окружающий мир, погрузить его в «великий ветер» и самому остаться на месте.

Сам принцип поэтики Гампер — это пристальное, отстраненное и даже слегка ретушированное традиционностью тропов и размеров описание, которое разрешается резким, как пощечина, броском последней строки, чья динамика пронзает стоическую статику стиха.

Мое детство —
 стеклянный зверинец,
Боксы детских больниц на просвет.
Шоколадка, печенье — гостинец,
От домашних посильный привет.

(Гампер так говорит «посильный», что понимаешь, сколь дорог был этот привет его передававшим. Дорог во всех смыслах.)

Мать с бабулей —
 свекровь и невестка —
Два колодника, скованных мной,
Постоянные мечь и отместка
За всевидящей детской спиной...

Детство смутно, как утро спросонок
Вечно длящейся полужимой.
Я, обритый больничным волчонок,
Никогда
 не хотела домой.

Последняя строка меняет ракурс и переворачивает пространство стихотворения, делая его именно таким, каким оно было дано «больничному волчонку». Почему не хотела? Ведь это так нормально, так понятно — стремиться поскорее уйти из больничной палаты, пропитанной чужим потом и болью, пахнущей вечной хлоркой. Уйти от чужих, случайных, озабоченных только собственным страданием людей.

Домой — это на руки «двух колодников», любящих, страдающих, прикованных этой любовью к твоей инвалидной коляске. Что ты можешь сделать для них? Остаться в больнице. Пусть отдохнут. Это — выбор любви.

Домой — это на продолжение мучительной борьбы с болезнью. Но дома эта борьба теряет временные рамки. Домой люди уходят из больницы выздоровевши-

ми или по крайней мере выздоравливающими. Но если ты знаешь, что болезнь только на шаг отступила и все опять повторится, зачем уходить из больницы, зачем терять иллюзию границы болезни? Есть конец у больничного пребывания, но нет конца у болезни.

Это отчаянное и точное впечатление, впечатанное в детское сознание, и дано в стихотворении.

Доходя до последней строки, Гампер умеет так оглянуться назад, что по всему стихотворению пробегает ток. Это не в каждом стихотворении ей удается, но уже то, что ей всегда есть на что оглянуться, говорит о многом. Иногда традиционность становится у поэта инерцией стиха, и тогда недостает объема схваченного пространства — строчки бьют крыльями по пустоте. Иногда та же традиционность позволяет стиху быть очень кратким. Каждая строка перевязана множеством нитей с русской стиховой традицией, и достаточно малого толчка, едва различимого намека — и мир начинает выстраиваться, проявляться, как рисунок резким пером.

...Очнуться бы,
 прервать блаженный сон,
К июлю прислонясь —
 к макушке лета...
Сам Рим
 был на упадок обречен,
А мы и не подумали
 про это.

Это — человеческое легкомыслие, и это — обязательное для Гампер спохватывание. В этих строчках есть и растерянность, и самоирония. Здесь об упадке Рима сказано так, как говорят о том, что к столу забыли подать яблочный пирог. Не подумали про это. Так Ахматова писала летом 1917 года: «А мы живем, как при Екатерине: / Молебны служим, урожая ждем». А Рим-то вот-вот и рухнул.

Можно опоздать оглянуться. Тогда оглядываться будет не на что.

...Оглянуться, заплакать
И взглядом прощальным измерить —
Моментальным и точным,
По льду отчужденья скользя.

Этот прощальный взгляд, брошенный назад, уже отстраненный, но еще ничего не забывший. Глядя через плечо, ты видишь пройденный путь целиком — и совершенно иначе видишь каждую деталь: другой масштаб, другая резкость, предельно обостренная потеря и желанием хотя бы что-то сохранить и удержать в памяти, в строке.

Памяти отца

...Как страшно одиноко
 тот переход,
Когда и стоном не выразишь,
 где ты.
И речка Сож,
 нащупав волны Леты,
С рук на руки
 тебя передает.

«С рук на руки» — это удача. Лета становится материальной, вещественной, осязаемой, в ней есть вода и речки Сож.

Художник

...И за эту росинку дождя,
Что не хочет наполниться светом,
Ты полжизни швырнешь не шадя.
Ты потом пожалеешь об этом...

В этом последнем повороте есть обязательная неокончателность суждения и возможность обжалования любого приговора. Конечно, он же художник! Он же

всем должен пожертвовать ради красок, славы, упоительной красоты пейзажа. Конечно, должен. Но Гампер знает, что в этой жертве есть ущербность и восполнение никогда не бывает достаточным. «Ты потом пожалеешь об этом». Есть вещи и поважнее красок.

Ночь минула,
а все темно.
И жизнь прошла,
а не легчает...
Рука
привычно свет включает,
Как странно
все заведено,
Как все
оберегает нас
От истины,
как от испуга...
О, распрямиться бы
хоть раз
Пружине,
заведенной туго!

Но распрямиться-то и нельзя. Распрямиться — это потерять сопротивление бытия, утратить сцепление с миром. Потому и «не легчает». Но вовсе не значит, что не надо хотеть распрямиться, что не надо всеми силами попытаться разогнуть спину! Эта внутренняя пружина и есть та энергия, которая позволяет осуществиться глубине неподвижности. И есть та энергия, которая дает силы устоять на страшном ветру, и снова и снова выстраивать мир, и опрокидывать его последней, прощальной строкой. А в этом падающем мире как устоишь? А ты ведь устоишь...

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.



ТЕАТР СТРАСТЕЙ В МОНАРХИИ УМА

Григорий Кружков. Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Якова. М., «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2002, 528 стр., с ил.

Есть книги, одно прикосновение к которым заставляет нетерпеливо перелистывать страницы в предвкушении несомненного удовольствия. Книга известного поэта, переводчика и литературоведа Григория Кружкова, изысканно оформленная художником Сергеем Любаевым, из их числа. Это настоящий шедевр полиграфического искусства, который сначала привлекает взгляд, а затем незаметно подчиняет себе читателя. Само название интригует, суля встречу с лучшими литераторами века, который мы привычно называем «шекспировским». Однако встреча эта будет обставлена весьма необычно. Автору, у которого накопилось столько переводов из английской поэзии, что их могло бы хватить не на одну антологию, стало тесно в рамках хрестоматийных подборок. Ему захотелось создать из мозаики индивидуальных судеб и стихов единую картину или таинственный и мерцающий разнообразными красками витраж, а затем, шагнув за раму, пригласить читателя за собой в Англию XVI века. Стереоскопический, почти реально осязаемый образ страны и ушедшей эпохи возникает благодаря очень разным по характеру текстам и тщательно подобранному визуальному ряду, который играет в книге чрезвычайно важную роль. На общий замысел работает все: и предисловие автора, в достаточно академичной манере повествующее об основных вехах английской истории в правление Тюдоров и Стюартов; и его биографические очерки о поэтах, и литературоведческие эссе о влиянии французской поэзии на англичан, о народных балладах или о распространении массовой печатной продукции в XVI — XVII веках, и, конечно же, сами стихи в прекрасных переводах. Автор не зря говорит, что каждая строка, избранная им, призвана стать травинкой в зачарованном лесу, но поскольку поэзия — территория

культуры, не менее уместен здесь и другой образ — заповедного сада, приоткрыв калитку которого медлишь его покинуть, любуясь каждым цветком и вдыхая экзотическую смесь ароматов.

Не иначе как в одном из предыдущих воплощений Григорий Кружков был елизаветинцем. (И совсем не случайным кажется то, что именно ему принадлежит перевод едкой и одновременно философичной поэмы Джона Донна о странствиях души во времени — «Метемпсихоз», которую читатель найдет среди прочего в предлагаемой антологии.) Разумеется, широчайшую историческую осведомленность автора и непринужденность, с которой он чувствует себя в ренессансной Англии, можно было бы безо всякой мистики приписать его многолетним исследованиям, архивным поискам, переводам английской поэзии XVI — XVII веков, практике преподавания, наконец. Такие книги рождаются, только когда за ними стоят труды и опыт целой жизни. И все же возникает ощущение, что за преданностью поэта определенной поре скрыто нечто большее — избирательная память души, вынуждающая его, игнорируя напластования времени, предпочесть шекспировскую эпоху всем прочим и попытаться так донести ее атмосферу до своих современников, чтобы ее герои не казались бледными призраками, воскрешенными из небытия ученым-антикварием и интересными лишь ему одному. Он приводит их к вам за собой, как шумную компанию близких друзей — остроловов, бахвалов и выпивох, застенчивых влюбленных, удачливых или опальных придворных и всегда — утонченных интеллектуалов.

Те, с кем предстоит встретиться читателю благодаря изящным кружковским эссе, составляли цвет тюдоровской и якобитской литературы. Среди них — поэты первой величины, чьи имена говорят сами за себя. Совершенный джентльмен и «первый рыцарь» елизаветинского двора, дипломат и герой Филипп Сидни. Невеоятно красивый голубоглазый девонширец Уолтер Рэли — фаворит королевы Елизаветы I, философ, заподозренный в атеизме, бретёр, морской волк, путешественник, историк и государственный преступник. Уильям Шекспир и его вечный соперник на сцене и оппонент в литературных спорах Бен Джонсон, комедиограф, первым отважившийся официально издать тексты своих пьес и тем самым превративший драматургию из стыдливой Золушки в принцессу. Джон Донн, чьи метафоры, казалось бы, взывающие к нашему разуму, неизменно оставляют щемящую боль в душе; человек, научивший потомков «не спрашивать, по ком звонит колокол». Это плеяда великих, благодаря которым елизаветинскую эпоху называют золотым веком английской поэзии (или, как предпочел съязвить толстяк Бен Джонсон, «веком рифмачей»). Однако не меньший интерес вызывают лирические жизнеописания и стихи тех, кто не снискал столь широкой известности, а между тем без них расцвет литературы второй половины XVI века был бы невозможен. Речь идет об авторах первой половины столетия, чей вклад в становление литературного английского языка Нового времени и его поэтики трудно переоценить: о Джоне Скелтоне, наставнике и придворном поэте Генриха VIII, чьи сочные и грубоватые вирши были органичны как для народной средневековой традиции, так и для ренессансной литературы; о самом Генрихе VIII — коронованном поэте, музыканте, гедонисте и куртуазном рыцаре, которому, по признанию историков, принадлежит заслуга создания в Англии подлинно ренессансного двора. О плеяде утонченных поэтов-джентльменов: поклоннике Сенеки, Платона и королевы Анны Болейн Томасе Уайетте, а также безвинно погибшем аристократе Генри Говарде (графе Сарри), усилиями которых итальянский сонет был успешно привит на английскую почву. К этому же кругу придворных принадлежали виконт Рочфор, барон Во, Дж. Харрингтон и другие — поэты, которых принято относить ко второму или даже третьему ряду, однако сколько же тонких наблюдений и изящных рифм они оставили, не подозревая о том, куда их отнесут позднейшие классификаторы.

О каждом из них Григорий Кружков пишет любовно, с неизменной долей поэтической романтики, которая была столь свойственна их веку, веку «героического энтузиазма», и в то же время с толикой добродушной иронии, в не меньшей степени присущей их поэзии. Успех переводчика всегда связан с его талантом перевоплощения, способностью личности раствориться в другом человеческом существе, проникнувшись его мыслями, эмоциями и порывами. Неоднократно перево-

дивший поэзию своих героев, Григорий Кружков прекрасно знает их подноготную, кажется, он слышал и философские их монологи, и ночные молитвы, был где-то поблизости, когда они веселились за дружеским столом, терзались в любовной горячке или, одолевая страх, готовились достойно встретить смерть. Степень сродства переводчика с теми, кому он многократно отдавал свой голос, такова, что наш автор как «последний елизаветинец» XX века, чувствующий себя естественно в компании великих англичан, решается включить в антологию и собственные стихи — поэтические размышления о судьбах его героев, парафразы к их строкам, философические замечания о духе времени — и его оправданная смелость придает книге удивительную многослойность и глубину, создает ощущение живого и непрерывающегося потока культуры.

Ненавязчивое, но неизменное присутствие личности переводчика за каждой строчкой стихов, принадлежащих одновременно и не ему, и ему, неизбежно заставляет читателя задуматься о культурной миссии перевода. В стихах Кружкова, посвященных Уолтеру Рэли, есть такая метафора: перо для поэта — оружие, которым превозмогается смерть, этой «хрупкой тростинкой» поэт «бодается с вечностью». Но и переводчик — такая «тростинка», посредник между прошлым и настоящим, он вновь и вновь вкладывает в руку поэта оружие, наделяя голосом и воскрешая для очередной битвы с забвением.

Автор-составитель, безусловно, прав, утверждая, что его книга — не простая антология. Она действительно представляет собой нечто большее. Используя излюбленный елизаветинцами образ (вспомним Шекспира), можно уподобить ее зеркалу, в котором отражен лик времени. Эпоха в зеркале поэзии, вернее, во множестве зеркал, по-разному преломляющих и высвечивающих ее черты. «Лекарство от Фортуны» можно смело рекомендовать студентам-историкам и филологам в качестве путеводителя в интеллектуальный мир елизаветинцев, поскольку здесь найдется самый полный набор волновавших их тем и расхожих представлений того времени — от устройства Вселенной до анатомического строения человека. Раздвигающиеся на глазах границы известного европейцам мира, еще непривычная шарообразность Земли, Новый Свет, недавно появившийся на картах, прогресс математики и естественных наук вкупе с общепризнанными и уважаемыми алхимией и астрологией, рационализм и вера в призраков — все это находило отклик в поэзии. У словоохотливых рифмоплетов легко подметить клише и общие места, представлявшие собой популярные политические максимы и актуальные для того времени философские размышления.

Пытливый читатель почерпнет здесь множество сведений о повседневной жизни тюдоровской Англии, ее столицы и округи, о популярных актерах, чудаках и безумцах, о типичных развлечениях и казнях, служивших развлечениями, о притягательном и невыносимом дворе с его интригами, обольщениями и обманами, но больше всего — о книжности, культуре слова и о самой поэзии. В глазах англичан XVI века поэтическое слово — квинтэссенция мысли, заключенной в лаконичную форму, — ценилось неизмеримо выше прозы; поэзия была их божеством. У современного читателя наслаждение от прикосновения к поэтическим шедеврам золотого века неизбежно обостряется благодаря печальному осознанию того, что уже скоро на смену ему придут «прозаические времена» и проза — научная, историческая, литературная — потеснит поэзию. Пока же каждый уважающий себя джентльмен или просто образованный человек упражнялся в стихосложении. Парадоксально, однако, что в «век рифмачей» лучшие из них (если принадлежали к благородному сословию, подобно Филипу Сидни) считали приличным делать вид, что поэзия для них — лишь безделка, и тщательно скрывали, скольких усилий и бессонных ночей она им стоила. Истинную же цену сонету мы узнаем благодаря тому, кто зарабатывал поэзией на хлеб, «потрясателю сцены» Уильяму Шекспиру, который позаботился о том, чтобы тщательно выверить и издать свои стихи, но не счел достойными публикации пьесы. Он полагал, что для бессмертия достаточно сонетов, «Гамлет» же был избыточен.

Избранные Кружковым образцы великолепно иллюстрируют некоторые особенности английской лирики. Принято считать (и не без основания), что люди той

поры были эмоциональнее, чем ныне, их всецело захватывали страсти, вызывая то ламентации, то гнев и проклятия, то экстатическую радость. Мужчины с легкостью проливали потоки слез, трепетали при виде возлюбленной или хватались за шпаги в приступе ревности. Все эти бурные эмоциональные проявления неизменно присутствуют в поэзии. «Страсть», «аффект» — одна из ключевых категорий, которыми любили оперировать как философы, так и поэты XVI века, пытавшиеся постичь природу человеческого поведения. «Что жизнь? Мистерия людских страстей», — писал У. Рэли. И первенство среди них принадлежало Любви, благодатную силу или тиранию которой прилежно воспевали английские последователи Петрарки. Однако введенный им сонет не мог не измениться за полтора столетия.

Воздавая должное учителю, англичане больше не хотели мешать «мертвого Петрарки стон певучий» с «треском выпреженных речей». Они предложили иронию в качестве противоядия от скуки и неизбежного омертвления жанра и тем самым продлили жизнь сонета. Вспомним хотя бы «смуглую леди» Шекспира, с глазами, «не похожими на звезды», или бесконечные подтрунивания изобретательного Донна над его возлюбленной. Не эта ли инъекция юмора и смелость в обращении с канонами помогли английской поэзии и драме устоять перед нивелирующими все и вся правилами классицизма и сохранить живость интонации, утраченную в XVII — XVIII веках континентальными авторами? Не потому ли Шекспир остается актуальным уже пять веков?

Однако легкость, некоторая фивольность и чувственность, которыми проникнута английская ренессансная поэзия, не имели ничего общего с поверхностностью. В XVI столетии Альбион не мог похвастаться обилием «профессиональных» философов, но многие поэты были оригинальными мыслителями. Их занимали те же проблемы, которые итальянские гуманисты обсуждали в длинных ученых трактатах: о предназначении человека и границах его возможностей, о тяготеющем над ним предопределении или свободе воли, о насмехающейся над людьми Фортуне. Не случайно тема Фортуны вынесена в заглавие этой книги — к ней часто обращались поэты, восстававшие против превратностей судьбы. Неотвратимость смерти — другой постоянно возникающий мотив, в особенности на излете века, когда наивный ренессансный оптимизм стал уступать место маньеристическим страхам и разочарованиям. Какие разные по сути, но всегда великолепные и исполненные достоинства ответы дают английские поэты на мрачные вопросы, от века и до наших дней смущающие человека. Как быть, зная, что впереди мрак небытия?

Вот стоик Томас Во призывает не искать иных богатств, кроме интеллектуальных, ибо разум — единственная опора в земной жизни, и только свои мысли человек сможет забрать в мир иной. Вот мудрый и лишенный иллюзий Дж. Гаскойн в потрясающей «Колыбельной» готовит себя к вечному сну. А поэты младшего поколения дерзают бросать вызов времени и надвигающейся смерти. Джон Донн зовет возлюбленную погибнуть за Любовь и быть канонизированной во имя ее. Ему вторит Эндрю Марвелл в удивительных по силе стихах:

Да насладимся радостями всеми:
 Как хищники, проглотим наше время
 Одним куском! Уж лучше так, чем ждать,
 Как будет гнить оно и протухать.
 Всю силу, юность, пыл неудержимый
 Сплетем в один клубок нерасторжимый
 И продеремся, в ярости борьбы,
 Через железные врата судьбы.
 И пусть мы солнце в небе не стреножим —
 Зато пустить его галопом сможем!

Как и большинство образованных современников, поэты шекспировской поры исповедовали философию неоплатонизма, наложившую своеобразный отпечаток на их лирику. Центральное место в этом учении занимала идея чисто духовного союза любящих душ. Этот мотив характерен для Сидни, Спенсера и, как ни для кого другого, для Донна.

Все они воспевали внутреннюю красоту возлюбленной, которая останется притягательной даже после смерти и возвращения земных тел к первоначальным элементам. Только духовный союз считался вечным и нерасторжимым. Но как же быть с фривольной поэзией, проникнутой неприкрытым эротизмом, станцами «на раздевание возлюбленной» и призывами в духе того же Донна «Не надо покрывал: укройся мною!»? Как отнестись к тому, что в одном сонете автор превозносит добродетели возлюбленной, а в другом признается, что нет ничего скучнее добродетели и что противостоительно любить за одни лишь душевные качества. Как ни странно, примирение этих очевидных противоречий совершалось в рамках неоплатонизма. Остроумный Джон Донн находил, что подлинный экстаз — это слияние душ, но высокая любовь облагораживает и тела, не заслуживающие презрения. Выражаясь языком популярной алхимии, телесные оболочки были необходимы для успешной химической реакции объединения душ и получения «квинтэссенции».

Нерасторжимое единство духовного и телесного начал в глазах поэта позволяло ему со смелостью еретика говорить не только об «алхимии любви», но и о ее «теологии», ибо каждый ее акт поистине божествен.

Эти изящные ухищрения и сложные логические ходы, призванные реабилитировать радости любви, позволяют поговорить еще об одном свойстве английской поэзии XVI — XVII веков — ее интеллектуализме. Она нередко апеллирует не столько к чувствам, сколько к рассудку читателя, стремясь поразить его воображение интересными конструкциями и неожиданными сравнениями. Особенно преуспел в этом искусстве Донн, заимствовавший свои приемы у математика, доказывающего теорему, или юриста, излагающего аргументы в суде. Он любил сложные метафоры-концепты, сравнивая, казалось бы, несопоставимые вещи, но в конце концов доказывая их глубинное внутреннее сходство. Это и образ влюбленных, связанных, как ножки циркуля или полушария географической карты, и уподобление возлюбленной Новому Свету, который предстоит исследовать и завоевать. Такой художественный язык был понятен и импонировал современникам, ощущавшим себя причастными «монархии ума», признанным властителем которой считался Донн.

Образный строй и язык той поры были насквозь эмблематичны. Как в поэзии, так и в живописи существовал набор символов и аллегорий, которые содержали в себе некий шифр, аллюзии на священные темы или сюжеты античной мифологии. Поэтические строки полны этими символами — розами и лилиями, олицетворявшими совершенство и чистоту, упоминаниями Феникса — неумирающей веры и надежды и Пеликана — самопожертвования, Саламандры, охваченной пламенем любви. Стрелы Амура и ножницы Парок были заимствованы из языческих мифов, «говорящие» цвета — из средневековой геральдики, знаки Зодиака — из астрономии, геометрические линии и фигуры — из математики, символы стихий — из алхимии. Эффект поэтического образа был нередко рассчитан на то, что он вызовет у читателя не менее яркий зрительный образ. Поэтому, повторю, особой похвалы заслуживает богатейший иллюстративный материал, собранный автором и творчески обработанный художником С. Любаевым. Редкие портреты, гравюры из раннепечатных изданий, титульные листы книг, изображения из популярных «сборников эмблем» с девизами, расшифровывающими их значение, орнаменты — все это в сочетании с текстами позволяет ощутить подлинный колорит эпохи.

Перечень неожиданных открытий и радостей, которые ждут читателя при встрече с лирической и одновременно интеллектуальной поэзией шекспировского века, можно продолжать. Обаяние каждой новой личности, с которой знакомит нас автор, и свойства самих стихов таковы, что невольно ощущаешь себя полым кубком, который передают из рук в руки на пиру, наполняя его драгоценным вином пятисотлетней выдержки. Когда-то Ромен Роллан сказал: «Восхищение — вот достойное вино для благородных умов». Пригубите его.

Ольга ДМИТРИЕВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БАКА

+9

Уистен Хью Оден. Застольные беседы с Аланом Ансеном. Перевод с английского М. Дадяна и Г. Шульпякова под редакцией М. Дадяна. М., «Независимая газета», 2002, 256 стр.

Эккерман на английский лад. Что-то подобное вертится на языке, когда читаешь книгу Ансена — Одена. Важно все-таки помнить, что в оригинале она издана под именем Ансена, с его копирайтом (Alan Ansen, «The Table Talk of W. H. Auden»). Удивительное умение записчика блистательно отсутствовать в диалоге не затушевывает соавторство, а его подчеркивает, — так в Эйнштейновой физике присутствие наблюдателя меняет параметры системы... Оден не «вещает», ничего не объясняет, говорит то, что непременно нужно было бы в разъяснении, будь у него в собеседниках не идеальный свидетель, а вездливый интервьюер. А так получаются диалоги, строго расписанные по дням, в которых ни одна тема не выходит за рамки мимолетного обмена репликами. «Возможно, вам понравилась „Dreigroschenoper“?» — спрашивает Ансен. «Да, я видел ее в Берлине», — отвечает сорокалетний Оден 16 ноября 1946 года, на седьмом году своей жизни в США, еще не будучи «великим Оденом», к мнениям и оценкам которого прислушивается и стар и млад интеллигент. А здесь он «просто» говорит — будто стихи пишет или прозу. Соответствий, кстати, между содержанием застольных бесед и стихами — сколько угодно, очень полезно и приятно их вылавливать. Есть вполне курьезные. На Новой сцене Большого идет сейчас опера Стравинского «Похождения повесы», написанная на сюжет известного цикла гравюр Хогарта в стихотворном переложении Одена. Там дьявол искушает нестойкого юношу, одарив его неожиданно свалившимся богатым наследством. Все как обычно — деньги, далее везде: праздность, разврат, желтый дом. Оден: «Знаете, я рад, что мне пришлось зарабатывать себе на жизнь, когда я покинул колледж. Если бы я был рантье — я бы ничего не делал. Рантье в Америке вообще приходится нелегко. Он начинает пить». Это сказано в декабре 1946-го, за полгода до предложения Стравинского написать либретто для будущей оперы...

Англичанин в Новом Свете — одна из ключевых тем в монологах Одена, еще не свыкшегося со своим американским гражданством, невольно все сопоставляющего — от мелких деталей быта до Шекспира с Хемингуэем. Впрочем, нет, Оден ничего не сравнивает специально, он как будто бы просто пробалтывается за бутылкой хереса, роняя многозначительно-рискованные сентенции: «Когда я слышу отвратительные комбинации звуков, я подозреваю Брамса и всегда попадаю в точку». Собеседник в ответ безмолвствует. В комментарии поясняется: «Мир Брамса настолько велик, что перечеркивать его вот так, походя, было все-таки неправильно». Этот комментарий лучше не комментировать, но большинство других удачно расширяют смысловые горизонты книги, да и перевод, по-моему, прекрасный, несмотря на простоту задачи. Ну, легко ли, скажите на милость, было передать по-русски все эти бесконечные перетекания слов и смыслов: «А пакт Риббентропа — Молотова в 1939... Понятно, что тогда русским было из-за чего опасаться Англии и Франции, но то, что они сделали, все равно непростительно. Вы знаете, я не переносу все „французское“...» Так что же тут нелюбимо-непереносимо: «французское» либо советско-нацистское соглашение, против него направленное?

Помимо афористических курьезов — прибавляют ли застольные беседы что-нибудь к нашему представлению об Одене? Да: он был (или хотел в определенных ситуациях выглядеть) человеком, не знающим колебаний и сомнений, на все вопросы имеющим скорые ответы. «„Любовник леди Чаттерлей“ — это все-таки порнография. Статьи, есть только один надежный способ проверки на порнографию. Нужно заставить двенадцать (?? — Д. Б.) здоровых мужчин прочитать книгу, а потом задать им только один вопрос: „У вас была эрекция?“...» Это «Идущим вместе» на заметку...

Беседуя с Ансеном, Оден вполне понимал, что на самом деле происходит и на кого и что это похоже: «Читая Эккермана, видишь, что Гёте всячески пытался шокировать Эккермана, а потом Эккерман шел домой и думал: что имел в виду Мастер?» В отличие от автора «Фауста», Оден ничего не шифрует, все говорит прямо — этим книга и интересна.

Дело Сухово-Кобылина. Составление, подготовка текста В. М. Селезнева и Е. О. Селезневой, вступительная статья и комментарии В. М. Селезнева. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 544 стр.

Казалось бы, что еще можно сказать нового об этой истории? Более полувека прожил Александр Васильевич Сухово-Кобылин после убийства Луизы Симон-Деманш (1850), в ста судах побывал, собственную философскую систему по гегелевским рецептам разработал (что в России не часто случалось), написал прозрачно автобиографическую драматическую трилогию. Создатели книги с самого начала выбирают в освещении одного из самых скандальных уголовных дел позапрошлого столетия необычный путь. Их интересует не столько сама по себе сенсация, не жареные факты и претензии на окончательное разрешение всех загадок, но спокойный анализ всего случившегося. Подборка документов (содержащая, кстати, и тексты, впервые найденные и публикуемые) построена составителями книги таким образом, чтобы беспристрастно осветить два сюжета. Первый: проследить, почему «юридическая мысль двух столиц движется противоположными курсами, к различным полюсам», а именно — почему московское правосудие стремится оправдать Сухово-Кобылина, а петербургское — осудить? Второй: какими мотивами руководствовались авторы многочисленных мемуаров, а также научных и околонучных работ, которые его то осуждали, то оправдывали — на протяжении полутора столетий. Противостояние Москвы и Петербурга в деле Сухово-Кобылина объясняется не только личной неприязнью двух графов: генерал-губернатора Первопрестольной А. А. Закревского и министра юстиции В. Н. Панина. Важнее здесь заинтересованность министерских чинов вывести на чистую воду вечно фрондирующую московскую знать. А уж история мнений и оценок «дела Кобылина» и личности самого драматурга в книге освещена очень подробно — представлена целая подборка фрагментов из писем, статей, мемуаров...

И все же самое главное в книге — дневник самого Сухово-Кобылина, ранее публиковавшийся лишь фрагментами. В погоне за новыми подробностями судебного разбирательства многие биографы оставляли в стороне главное: что произошло с Сухово-Кобылиным *после* череды процессов, растянувшейся на целое десятилетие? Составители правильно пишут о том, что он не только почувствовал себя другим человеком, но стал им. И не потому лишь, что стал упорно заниматься гимнастическими упражнениями и переводами Гегеля. Иным стало отношение к себе и к миру: «С тех пор как стал я трудиться в природе, она выступила из Себя предо мною. Небо ее треснуло предо мною Голубою Глубиною, которую я прежде не видел и не разумел...» Но не только метафизический пафос важен для читателя. Еще интереснее следить за тем, как пристально наблюдает автор дневника мельчайшие изменения в природном мире и в собственном (физическом!) состоянии, как он вслушивается и всматривается не только в движения «Природы» и «Неба», но в мельчайшие подробности быта. И странно, что именно эти детали сголь часто опускаются публикаторами, обидными купюрами в угловых скобках пестрят страницы дневника. Жизнь Сухово-Кобылина превращается за вычетом этих наблюдений в стенограмму внешних событий. Стоило ли «впервые» и «полностью» публиковать записи Сухово-Кобылина, если полнота сия столь относительна?? Вероятно, объем текста помешал более обширной публикации. Коли так, не лучше ли было воспроизвести обширный фрагмент дневника, но полностью? Иначе трудно ведь проследить, как рождается совершенно необычный сухово-кобылинский синтез жизни-покаяния и драматургии-исповеди, глубоко и подробно описанный в недавней прекрасной книге Е. Н. Пенской...¹

¹ Пенская Е. Н. Проблемы альтернативной литературы (А. К. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. В. Сухово-Кобылин). М., 2000.

Симона Ландау. Мост в тумане. Семейная хроника XX века. Фрагменты воспоминаний. Тамбов, Издательство ОГУП «Тамбовская типография „Пролетарский светоч“», 2003, 416 стр.

Редкая книга — не потому, что издана в Тамбове, а по совокупности совершенно иных обстоятельств. Автору — за девяносто, Симона Ландау, внучка французского инженера Жан-Жака Ландо (Landau), в России ставшего Иваном Августовичем Ландау, автор книг и статей о театре, поэт, в не самые, как некогда принято было говорить, благополучные годы оказалась в Тамбове. И, как водится, небольшой город стал для пришельницы из столичного мира родным: здесь Симона Ландау не только нашла приют, но и получила возможность работать, писать. В одной из рецензий книга «Мост в тумане» названа «исповедью дочери века» — думаю, лучше не скажешь. И как только могло все это уместиться в одну жизнь?! Приезд деда из Парижа в Петербург, его работа ведущим инженером французской фирмы «Батиньоль», построившей знаменитый Троицкий мост, имена Кюи и Бенуа среди знакомых семьи, потом арест и гибель в советских застенках отца Густава Ивановича, тоже инженера, унаследовавшего отцовскую преданность делу и ответственность, в пору катастрофического наводнения 1924 года с болью смотревшего на Троицкий мост, словно бы свободно плывший по вздувшейся Неве, и минуту восклицавшего: «Только бы выдержали торцы...»

В объемистом томе, содержащем, к сожалению, лишь часть записок Симоны Ландау, два основных сюжета. Первый — летопись кропотливых усилий автора по восстановлению подлинной истории строительства Троицкого моста, одной из главных достопримечательностей Петербурга индустриальной эпохи. В 1890-е годы фирме «Батиньоль» пришлось дважды участвовать в конкурсе проектов будущего сооружения. Эксперты-профессионалы оба раза отдавали французскому проекту безоговорочное предпочтение. А вот городские власти судили иначе, несколько лет не могли решиться доверить столь важное строительство в имперской столице иноземцам, видимо полагая, что времена Растрелли и Фальконе безвозвратно канули в Лету. Годы и годы ушли у внучки французского инженера Ландау на розыски одной из четырех памятных досок, установленных в 1903 году после церемонии торжественного открытия моста. Фамилия Ландау значилась именно на этой доске, впоследствии таинственным образом исчезнувшей. Но вот связь времен восстановлена, целый пласт прошлого семьи и страны воссоздан из небытия. И здесь автор переходит к следующей эпохе — от деда к отцу, от девятнадцатого века к двадцатому.

Вторая тема книги — рассказ о том, как мучительно Симона Ландау пыталась выведать в лубяньских архивах подробности осуждения по 58-й статье и гибели своего отца, «изобличенного» в пресловутой «контрреволюционной троцкистской деятельности». Шаг за шагом, преодолевая боль и отчаяние, она ищет ответ на страшный вопрос: как мог столь безукоризненно честный и преданный делу человек сознаться в преступлениях, которых не совершал? Очень сильные страницы — не просто архивные разыскания, не мемуары, а захватывающее романное повествование, разбавленное стихами самой С. Ландау, обретающее дополнительное измерение в иллюстрациях, старых фотографиях. Удивительны лица на детских фотографиях деда и внучки. Париж и Петербург, век нынешний и век минувший, — а смотрят на нас все те же глаза, выразительные, по-особому нежные, поблескивающие, чуть недоумевающие, хранящие память о временах далеких, о людях ушедших. Такие глаза легко заметить в толпе, полюбить — забыть, кажется, нельзя...

Август Стриндберг. На круги своя. Повести и рассказы. Составитель А. Мацевич. М., «Текст», 2002, 349 стр.

Август Стриндберг. Серебряное озеро. Повести и рассказы. Составитель А. Мацевич. М., «Текст», 2002, 365 стр.

Новый двухтомник Августа Стриндберга, конечно, не столь объемист, как напечатанный некогда в издательстве «Художественная литература». Однако его выход в свет не менее знаменателен, ведь долгие годы «канонизированное» у нас представление о Стриндберге было двойственным. Да, по отголоскам из серебря-

ного века — один из корифеев литературы «конца столетия», повлиявший на символистов. Однако — если судить по издаваемым и переиздаваемым по-русски текстам — Стриндберг мог легко быть воспринят в первую очередь как автор «Красной комнаты» и «Фрёкен Жюли», следовательно, «реалист», бытописатель, исследователь «социальных проблем» и проч. Какие-то умолчания и недомолвки видны были невооруженным глазом, однако для полноты картины недоставало неких текстов, на русский язык не переведенных. Вместо них официальное литературоведение предлагало уклончивые отговорки: «Одной из легенд, созданных о Стриндберге, была аксиома о его духовном падении. Декадентство писателя обычно связывали с его обращением к религии... Двадцатое столетие Стриндберг встречает с большим душевным и творческим подъемом. Будучи верным принципам реалистического искусства...»² и так далее.

В новом двухтомнике пять вещей из двенадцати переведены впервые, особенно важен второй том, названный по заглавной повести «Серебряное озеро». Некоторые мотивы и лица связывают эту повесть с другой — «Подведение дома под крышу», занимающей в томе центральное место. Многочасовой предсмертный то ли бред, то ли исповедальный поток сознания пережившего несчастный случай музейщика, отстраненно, трезво и в то же время горячо и страстно повествующего о своей незадавшейся жизни... О большой литературе двадцатого столетия здесь напоминает очень многое: тематика, стиль, поэтические приемы. Конечно, хотелось бы услышать из уст профессионалов обстоятельные комментарии к «новой» (для нас) прозе Стриндберга, однако по неизвестным причинам в двухтомнике отсутствуют не только предисловие и комментарии, но даже датировки повестей и рассказов, которые так легко было бы разместить — ну хоть на шмуцтитулах, коли иного места не нашлось...

Тумас Транстрёмер. Избранное. Перевод со шведского. А. Афиногеновой и А. Прокопьева. Tomas Tranströmer. Samlade Dikter. М., О.Г.И., 2002, 288 стр. (Серия «Bilingua», редактор серии Г. Дашевский).

Еще одна шведская книжка. А. Прокопьев начинает предисловие к книге обреченно: «Труднее всего поддаются переводу стихи современников». Все так, однако трудно припомнить, чтобы имя крупного иноязычного поэта было нами усвоено за довольно короткий срок. Может быть, все дело в том, что О.Г.И. — не только издательство, но и культурный проект, а посему явление Тумаса Транстрёмера в России было обставлено целой чередой мероприятий, вечеров, обсуждений, дискуссий (чуть раньше нечто подобное произошло вокруг поэзии Кавафиса). Вы скажете — очередная пиаровская акция, раскрутка модного литератора? Все бы так, если б героем был не Транстрёмер, лирик камерный, демонстративно отгородившийся от литературных бурь и модных полузапретных-полукоммюльфонных тем в жизни и поэзии. Ни тебе смещенных «ориентаций», ни демонстративных странностей в привычках. Обычный вроде бы литератор, бывший психолог, а ныне наполовину парализованный пожилой человек, увлекающийся энтомологией и поэтому, быть может, часто (и не без оснований) сближаемый по принципам поэтического видения с другим, русско-американским, любителем бабочек. Сопоставляет Транстрёмера с Набоковым и А. Прокопьев, в своем предисловии сумевший, надо отдать ему должное, сказать о шведском поэте много правильных слов (неоклассицизм, поэтика продленного в вечность «остановленного мгновения», созерцания повседневности как идиллии и утопии...).

Двуязычность книги хоть отчасти да помогает расслышать подлинную интонацию Транстрёмера, иначе безрифменные русские переводы могли бы показаться повисшими в воздухе, лишенными прямых ритмических ассоциаций. Да и вообще — пора уж понять (и многие издатели, слава Богу, поняли!), что не только поэтическую классику нужно издавать на двух языках — с классикой-то все уж ясно,

² См.: Стриндберг Август. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1986, стр. 18, 19.

впору говорить лишь о нюансах. Современные стихи, пришедшие из другой страны еще при жизни автора, еще не имеющие канонизированного международного «патента на благородство», — именно их русские версии непременно должны быть сопровождаемы оригинальными текстами, пусть даже по-шведски. Иначе легко ли все правильно расслышать?

Камни, которые мы кидали, — я слышу отчетливо,
как они падают — прозрачным стеклом через годы. В долине
растерянно мечется то, что сделано
в эту минуту, крича, от
верхушки кроны к верхушке, замолкая
в воздухе более разреженном, чем сиюминутный, скользя,
как ласточка, от вершины горы
к вершине, пока не достигнет
того плоскогорья, что на самом краю,
у самых границ бытия. Там падают
все наши поступки,
прозрачные, как стекло,
туда, где нет иного дна,
кроме нас самих.

В прошлом стихи шведского поэта печатались по-русски лишь в журналах да антологиях. Составители книги вместили в нее стихи из десяти сборников Транстрёмера (всего издано одиннадцать), так что начало основательному знакомству, можно считать, положено.

Леонид Губанов. «Я сослан к Музе на галеры...». Составление И. С. Губановой. М., «Время», 2003, 736 стр. («Поэтическая библиотека»).

В последние годы в разных издательствах как грибы растут поэтические серии, часто эклектичные, непродуманные, не имеющие самостоятельного значения. Со соседство в рамках очередной серии сборников Вяземского и Высоцкого, Полонского и Асадова уже почти не изумляет. А вот в издательстве «Время» уже десять лет выходит серия лирических книг вполне респектабельная, достаточно указать на сравнительно недавний том Владимира Луговского³, поэта интересного (особенно в молодости).

Итак — представительный сборник Леонида Губанова, одного из основателей знаменитого «СМОГа» — сообщества молодых стихотворцев, из которого вышли многие ныне известные поэты. Что обычно помнится о Губанове, о способе его присутствия в культуре шестидесятых годов? Нонконформист, не желавший играть с подцензурной литературой ни в какие игры, странный и неприкаянный в быту юный гений, в тридцать семь лет, как роковым образом заповедано поэту, ушедший из жизни. Лицо эпохи поздней оттепели и зрелого застоя наряду со Шпаликовым, Зверевым, Енгибаровым, Ильенковым — таланты разные, судьба почти у всех одна: популярность, надежды, дела, разочарования, безвременный уход. Все это представления общие, стандартные, старательно заново сформированные в конце восьмидесятых, в эпоху «возвращенной литературы». На деле все обстоит гораздо сложнее. Конечно, среди стихотворений Губанова можно найти немало иллюстраций тогдашнего образа жизни, есенинского ощущения «прерванного полета», упоения полузапретными стихами Мандельштама...

Лицо Есенина — мой парус,
Рубцы веселия — мой хворост.
Я нарисую гордый атлас,
Где новый остров — новый голос.

Узнаете? Так и хочется этот дерзкий манифест продолжить: «На чешуе жестяной рыбы...» Вот еще несколько строк:

Я каюсь худыми плечами осин,

³ Луговской Владимир. «Мне кажется, я прожил десять жизней...». М., 2001.

холодного неба безумною клятвой —
 подать на поминки страстей и засим...
 откланяться вам окровавленной шляпой.

И еще штрих к портрету героя советской эпохи бури и натиска, уверенного в своем призвании и признании, которые неизбежно сопряжены с жертвой, с гибелью:

Вы меня совсем прольете,
 пронесете мимо губ,
 это — волосы пролетки
 разметались на бегу.

Но в том-то и дело, что поэзия Губанова — не просто памятник ранней эпохе «дворников и сторожей» («Ищите самых умных по пивным, / А самых гениальных по подвалам...»), его стихи не есть нечто производное от ее духа и воздуха, но совсем наоборот — собрание *первообразных*, исходных, базовых текстов, образов, опытов, ощущений, давших начало многим и многим из нынешних поэтических миров. Хотите чуть-чуть «концептуализма» (это когда «народ с одной понятен стороны, с другой же стороны он непонятен...»)? Пожалуйста:

Мои стихи рассеялись в народе.
 Рассеянные люди ходят вроде...

Желаете прохладного «неоакмеизма» — милости просим!

В саду прохладно, как в библиотеке,
 в библиотеке сладко, как в саду...
 И кодеин расплачется в аптеке,
 как Троцкий в восемнадцатом году.

В книгу включены стихи из нескольких сборников, составленных автором, но при жизни публиковавшихся лишь за пределами страны. И в этих до поры лишенных широкого читателя нескольких сотнях стихотворений — живая история не первого и не последнего потерянного поколения русских литераторов. Траектория их свободного полета быстро превратилась в вертикаль свободного падения, шестидесятническая гениальность и невозможность жить по лжи оборачивалась у кого — диссидентством, у кого — предсмертным отчаянием:

Холодеющая крошка!
 Ледяная спит страна.
 Золотое пью окошко
 вместо терпкого вина...

Наталья Горбаневская. Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. Поэма без поэмы. Новая книга стихов. М., О.Г.И., 2003, 296 стр.

Еще одно поэтическое «Избранное», еще одна судьба поэта, в течение нескольких десятилетий печатавшегося только в зарубежных изданиях. Стихи Натальи Горбаневской вернулись к «широкому читателю» во многом благодаря издательству «Арго-риск», выпустившему в 1996 году сборник «Набор», а позже еще две книги поэта — в 1998 и 2000 годах. «Русско-русский разговор» вышел после окончания в нашей словесности очередной «прекрасной эпохи». Передел литературного мира ныне завершен, никто больше не станет вздохнуть читать «возвращенную литературу» потому лишь, что раньше этого делать было нельзя. Литературные имена и события обретают свой подлинный масштаб, без малейших скидок на приводящие обстоятельства. Конечно, обстоятельства эти обозначены у Горбаневской вполне недвусмысленно: посвящения стихов Ю. Галанскову и В. Делоне, А. Горской и А. Рогинскому говорят сами за себя. Столь же красноречивы и строки, написанные в знаковом 1984 году:

Муха бедная в янтарь
 ненароком залетела.
 Орвелловский календарь
 оборвался до предела.

Бег времени присутствует в стихах Горбаневской почти всегда, лирическая эмоция тесно связана с внешними обстоятельствами, далеко выходящими за пределы одной отдельно взятой жизни и судьбы:

С надвое сердцем расколотым
 косимся как в протокол:
 накрепко ль над серпомолотом
 вбито осиновый кол?

Но в том-то и дело, что исторические перипетии увиденны глазами человека частного и честного, переведены на язык повседневных жестов, возгласов, уединенных раздумий. Кем-то из корифеев русского серебряного века были произнесены знаменательные слова: «Если бы не были сформулированы апории Канта, изменился бы наш любовный шепот». Без советско-российской истории русско-русский разговор Горбаневской действительно невозможен, но он к этой истории не сводим — это самое важное:

Я с тобою тихо-тихо
 тихо-тихо говорю
 и уже не понимаю,
 таю я или горю...

Отметим, что в состав сборника вошла последняя на сегодняшний день книга стихотворений Горбаневской — «Поэма без поэмы» (2001). Наконец — об оформлении книги: строгий геометрический дизайн Андрея Ирбита узнаваем и соразмерен задаче — представить несколько десятилетий творчества русского поэта Натальи Горбаневской.

Андрей Немзер. Замечательное десятилетие русской литературы. М., «Захаров», 2003, 608 стр.

Объемистая книга литературного критика нынче редкость. Не потому, что критиков мало, просто из-за того, что «десятилетия» (либо прочие крупные этапы литературной жизни) завершаются не каждый день. Книга критика, изданная двадцать пять лет назад в «Худлите» или в «Совпесе», означала только одно: очередной член гильдии дождался своей очереди к печатному станку и потому собрал воедино журнальные публикации за отчетный период. Читать подобные книги было, как правило, ни к чему — посвященные читали статьи по мере их появления в журналах, прочим смертным критика была безразлична.

Собрание статей и рецензий Андрея Немзера — случай особый, причем сразу в нескольких смыслах. Да, большинство его текстов всеми читаны, усвоены, одобрены, оспорены (нужное подчеркнуть) — уже потому, что он никогда не сочинял дежурных отписок, старался всегда судить по максимуму, высказываться с открытым забралом, часто провоцируя полемику. Именно полемика (и былая, и теперешняя, еще не угасшая) и делает сборник Немзера интересным для сквозного (пусть и — часто — повторного) чтения. В его текстах всегда слышны голоса возможных и реальных оппонентов, намечены основные нити ключевых споров вокруг того или иного писателя, литературной школы, стилистической манеры. Жаль, что к книге не приложен указатель имен, тогда она бы лучше соответствовала своей задаче — служить своеобразным компендиумом, путеводителем по литературе рубежа столетий. Здесь нельзя в сотый раз не сказать об исключительной эрудиции критика, судящего не только о шедеврах, но и обо всех мало-мальски заметных текстах и событиях, а уж читающего в последние годы все или почти все, что выходит в периодике и в издательствах по-русски.

Откроем оглавление книги — и поймем, что название ее совершенно не случайно. За истекшее десятилетие в литературном развитии произошли поистине

тектонические сдвиги: вернулись в читательский обиход сотни ранее запретных текстов, прежний литературный андерграунд стремительно распался или по крайней мере полностью изменил свои очертания, возникли, разгорелись и отошли в небытие споры о «реализме и постмодернизме», многие бывшие эмигранты вернулись в Россию либо с некоторых пор живут «на две страны», обозначив совершенно новую ситуацию писательской идентификации... Что еще? В литературу пришли совершенно новые поколения поэтов и прозаиков, появились и окрепли литературные премии, призванные фиксировать «итоги литпроцесса» за каждый год... Список можно продолжать и продолжать — важно отметить, что все эти явления и процессы пока что нигде связно и логично не описаны, не приведены в систему. Книга Андрея Немзера служит важной вехой на пути к созданию будущей истории литературы 1990 — 2000-х годов.

И еще об одном — о предисловии. Здесь не просто темпераментный манифест, не только исповедальное повествование о собственном пути в критику. Во вступлении к сборнику представлен своеобразный моментальный снимок ныне сложившейся ситуации — как всегда у Немзера, с именами, с фактами. Прочтите, например, страницы об истории литературных разделов в «Независимой» и «Сегодня», в «Коммерсанте» — это летопись фактов, никем еще последовательно не зафиксированных. Борис Кузьминский, Михаил Новиков — их роль в самом феномене постсоветской газетной критики, это тоже сказано впервое...

Так что работы для Немзера, судя по всему, хватит не на одно еще новое «замечательное десятилетие».

Олег Лекманов. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2003, 237 стр.

Несколько лет назад, на заседании Мандельштамовского общества, в разгар споров о бергсоновских подтекстах одного из «Восьмистиший» Олег Лекманов вдруг поднялся с места и темпераментно произнес: довольно, дескать, стихи и судьбу Мандельштама на части рвать! Сегодня мы там бергсоновский фон обнаружим, завтра парменидовский, а потом и любой другой! Мандельштама бы не забыть... Признаюсь, тогда мне это заявление из уст признанного знатока подтекстов и параллелей показалось слегка странным. Однако кто знает — не в тот ли день родился замысел написать «просто» биографию великого лирика, без крена в средневековую мистику либо в «мускус иудейства»? Задача очевидная и насущная, но никто до нее раньше почему-то не додумался, хотя отряд мандельштамоведов растет (среди них немало ученых с мировым именем), выходят десятки книг о его поэтике, работы по текстологии, готовятся комментированные издания текстов, на очереди «Мандельштамовская энциклопедия»...

У Лекманова получилось! Факты обретают свой естественный масштаб, главное названо главным, второстепенное — второстепенным, достоверное отделяется от легендарного, причем легендарное — не развенчивается, но вдумчиво анализируется и интерпретируется. Цитаты следуют не прихотливой логике желающего продемонстрировать свою эрудицию «читателя книг», но — опять же — сообразны их реальной значимости для жизни и судьбы Мандельштама. Вместе с тем «документальное повествование» Лекманова — не компиляция, не монтаж выписок, авторитетных мнений и документов. Вопреки своей как будто бы сугубо позитивистской задаче, книга концептуальна, биограф стремится разгадать сформулированный еще Ахматовой парадокс — вечное стремление Мандельштама «восстать на самого себя», говорить и поступать вопреки собственным заветным идеям. И еще одна важная вещь: Лекманов осознанно относится к противоречию между двумя альтернативными репутациями поэта (неприспособленный чудаков и трезвый, последовательный мыслитель), небезуспешно пытается это противоречие прокомментировать, как говорится, с фактами в руках. Из этих важнейших установок и рождается биография поэта, которая, не сомневаюсь, со временем будет признана образцовой. Все тут на своих местах, ну разве что за Арсения Тарковского обидно: он назван «боязливым» из-за отсутствия посвящения к стихотворению «Поэт» (там речь о Мандельштаме: «Эту книгу мне когда-то / В коридорах Госиздата / Подарил

один поэт...»). Ну, во-первых, стихотворению был предпослан пушкинский эпиграф, Лекмановым опущенный («Жил на свете рыцарь бедный...»), во-вторых, впервые текст был опубликован в 1966 году, какое уж тут посвящение Мандельштаму! Но главное даже не в этом: стихотворение Тарковского напрасно названо «мемуарным». Конкретность портретной характеристики героя в первой же строке намеренно разбавлена обобщенностью взгляда («один поэт»), да и «пушкинское» заглавие свидетельствует, что не только о Мандельштаме тут речь, но еще и о собственном поэтическом кредо Тарковского, более того — о творческом символе веры любого, по его мнению, подлинного поэта («Так и нужно жить поэту. / Я и сам сную по свету, / Одиночества боюсь...»).

- 1

Вероника Шеншина. А. А. Фет-Шеншин. Поэтическое мирозерцание. М., «Добросвет», 2003, 256 стр.

В старое время если человек говорил, что у него вышло два-три сборника стихов, книга прозы или несколько монографий, то — часто — это что-нибудь да значило. Если только в книгах не оказывались на первом плане бойцы трудового фронта, если только не шла речь о руководящей роли партии в развитии литературы, то видимость в той или иной мере соответствовала сути. Не то теперь. Внешне вполне респектабельные «параметры» книги всякий раз нуждаются в проверке. Сочинение Вероники Шеншиной издано почти роскошно: прекрасная бумага, колонтитулы, виньетки. В аннотации сказано, что автор — финский славист, специалист по поэзии Фета, фамилия ясно указывает на благородное родство автора с героем. Все основания ожидать если не открытий, то по крайней мере «вклада в науку». Вот и в предисловии говорится, что В. Шеншину «как исследователя Фета отличает интерес к сущностным проблемам его мирозерцания». Правда, некоторые фразыстораживают: «Своеобразен и понятийный аппарат работы В. Шеншиной. В русское литературоведение она настойчиво вводит понятие „метафизической поэзии“». Где же тут «своеобразие» и, главное, — к чему «настойчивость»??

«А. Фет в самом начале своего творчества испытал воздействие ранней философской лирики Ф. И. Тютчева, находившегося, в свою очередь, под влиянием Ф. Шеллинга» — такой вот зачин. Здесь либо трюизм, либо неточность, потому что уж если по строгому счету, то полное имя автора опубликованной в пушкинском «Современнике» в 1836 году подборки «стихотворений, присланных из Германии», было раскрыто только в 1850 году. А в предыдущее десятилетие (на которое и приходится «начало творчества» Фета) стихотворец Ф. Т. (или Ф. Т-в) и служащий за границей русский дипломат Федор Тютчев в сознании многих читателей существуют раздельно. Тут нужны либо исторические уточнения, либо какие-то нестандартные содержательные доказательства приведенного тезиса — то и другое у Шеншиной отсутствует. В книге нет или почти нет серьезных историко-литературных ошибок, но нет и прозорений, это ясно всякому компетентному читателю. Всерьез опровергать мнения некоторых фетоведов советской поры, считавших Фета последовательным атеистом, ныне нет никакого смысла, а вот обстоятельный разговор о пантеистических воззрениях поэта был бы очень интересен, но — только «был бы»...

Автор приводит — в извлечениях и полностью — много стихотворений Фета, но цитаты остаются только цитатами, анализ подменяется тавтологиями. Берется стихотворный пример, затем пересказывается прозой в качестве аргумента в пользу суждения очевидного, с которым спорить не приходится. Скажем, цитируется замечательное стихотворение «Кому венец: богине ль красоты...» — помните, вторая строфа начинается стихом «Не я, мой друг, а Божий мир богат...»? В. Шеншина «анализирует»: «Поэтическими средствами превозносит здесь Фет Божье творение. Поэт, который получает похвалы за свои прекрасные стихи, смиренно говорит, что благодарить надо Бога, так как это он создал такой прекрасный мир».

Вот еще одно аналитическое суждение: «Здесь слово „рассказать” встречается в каждой строфе, и трижды начинаются с него четверостишия. Используя повторы, поэт подчеркивает важность своего послания, выражающего взрыв чувств и ощущение счастья». Правильно, это о стихотворении «Я пришел к тебе с приветом, / Рассказать, что солнце встало...».

Кому адресована книга? Профессионал вряд ли будет привлечен суждениями о том, что «в поэзии Фета получили свое развитие и лиричность В. Г. Бенедиктова, и тональность элегий В. А. Жуковского, и философичность Тютчева». Любителя беллетризованных биографий отпугнут многочисленные цитаты из научных работ. Так и подмывает предположить, что книга рассчитана на человека, не знающего русского языка, нуждающегося в текстуальных пояснениях, расшифровках стихов, желающего познакомиться с общепринятыми мнениями об «известном русском поэте». Но стоит ли пособие для студентов-славистов (пусть в чем-то и полезное) переводить на русский язык, издавать под видом академической монографии да еще на мелованной бумаге?

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

В театре об итогах принято говорить в конце сезона, а не в конце календарного года. В июне — июле газеты публикуют рейтинги, которые вроде бы должны демонстрировать более или менее объективную театральную картину: кто выбивается вперед, какой театр вышел в лидеры, кто лучший режиссер, актер, актриса. Но рейтинги почти ничего не говорят о тенденциях. Или, напротив, опровергают многие рассуждения и заключения, кажущиеся почти непреложными.

Так, считается, что сегодня — расцвет новой драматургии, и приводится в пример немалое число новых «летучих» театральных образований — вроде занимательного «Театра.doc», небольшого подвальчика, приютившегося, кажется, по соседству с местной дворницкой, в жилом доме. Или упоминается сразу несколько фестивалей, специализирующихся на современных пьесах; первый среди них тот, что проходит на сцене МХАТа имени Чехова при непосредственном участии главного драматического театра страны и Министерства культуры. Называют, конечно, и отдельные собственно театральные достижения — вроде «Пластилина» Василия Сигарева, «Облом'off'a» Михаила Угарова, «Пленных духов» братьев Пресняковых. Впрочем, относительно третьей пьесы критики расходятся в своих оценках.

Между тем рейтинги свидетельствуют о том, что уходящий год прошел под знаком Островского. Среди лучших спектаклей — два, поставленные по его пьесам: «Правда — хорошо, а счастье лучше» в Малом театре и «Доходное место» в «Сатириконе». В успехе первого не сомневается никто. Спектакль, который в Малом поставил Сергей Женовач, можно уподобить русскому празднику, его плясовому веселью: когда каждый, показывая, на что способен, выходит в круг, а остальные радуются его успеху. В спектакле — быть может, лучшая, во всяком случае, одна из лучших трупп Москвы, где умеют играть в ансамбле, не отталкивая, не затирая друг друга.

В Малом, где первый всегда — актер, а режиссер может претендовать только на вторые роли, Женовач и не стал «насиловать» — мол, нельзя быть демиургом, так и не буду, — и согласился на роль волшебного помощника из сказки. Иванушка-дурачок (если попробовать развить это сравнение, то оно вполне подойдет здесь отставному солдату, которого играет Василий Бочкарев, внося в роль и простодушие, и хитрость русского героя) остается верен себе, но через речку перенестись, другую какую преграду одолеть Женовач ему своими чародейными средствами помогает.

Одно из самых сильных театральных потрясений минувшего сезона — «Плач палача» в «Ленком». Я согласен со многими критическими замечаниями, высказанными в адрес постановщика, но художественное открытие, как и эмоциональ-

ное потрясение, тем не менее состоялось. Поразила сценография О. Шейнциса, дающая материальное выражение «иног мира», но поразила и какая-то удивительная наивность, с которой не боится М. Захаров говорить о смерти и утешать себя, а следом и нас возможностями болезненных, но не смертельных переходов «из тени в свет» и обратно.

«Король-олень», поставленный Григорием Дитятковским в Театре имени Евг. Вахтангова, разругали за скуку. Неспешное текучее движение этого спектакля, наверное, выпадает из нынешних клиповых ритмов, но зато соразмерно Гоцци, философской глубине этой его сказки для взрослых.

Но вернемся к тенденциям, к тому, о чем теперь так мало пишут, заполняя культурные полосы газет (включая «Нью-Йорк таймс») отчетами о скандале вокруг Волочковой.

Из тенденций заметных и уже замеченных — медленное и естественное размывание «оседлого» репертуарного театра. Актеры все свободнее участвуют в спектаклях соседних и даже весьма отдаленных театров (отдаленных и географически, и «по духу»), так что разделение на репертуарный театр и антрепризу становится все более условным. Спонтанность этих перемен мешает согласиться с теми, кто призывает «организованно» пойти навстречу времени и решительно порвать все, что еще связывает нас с «замшелым» стационарным прошлым. Одни театры сами постепенно превратятся в антрепризы, другие, где окажется режиссер-лидер (или где такие лидеры покуда существуют), будут сохранять репертуарные традиции и постоянную труппу, чему не помешает и введение контрактной системы. В конце концов, а вернее, в начале начал Художественный театр практиковал именно контракты: только с одними актерами основатели заключали договор на сезон, с другими — на несколько лет; достаточно взглянуть на список труппы МХТ, чтобы убедиться в том, что ее костяк первооснователи старались сохранить и радовались самой возможности планировать надолго вперед, будь то пьесы или конкретные исполнители. Кто из нынешних художественных руководителей и главных режиссеров отважится планировать на год вперед?! Откуда возьмется уверенность, что в середине сезона его премьер не возьмет академический отпуск ради съемок в телесериале или работы в антрепризе? Вот один из свежих примеров: после закрытия мюзикла «Норд-Ост» часть актеров, игравших главные роли, пришла в Театр им. Моссовета. Их приняли, дали роли, в том числе — первые. После чего артисты тут же отправились на конкурс — в новый мюзикл «Двенадцать стульев».

Среди молодых, начинающих и уже вкушающих плоды первой громкой славы, слишком очевидно стремление ко «всему». Их интересы — дискретны, они, еще не разобравшись в своем увлечении чем-то одним, тут же отдаются новому интересу. С тою же легкостью перелетают из одного театра в другой, не желая налаживать постоянные связи. Такая жизнь, конечно, препятствует прежним представлениям об ансамбле, тем более — о том или другом направлении театра, то есть обо всем, что не случается и не складывается за один день, для чего необходим определенный «инкубационный период».

Но думается, и прежде школы и направления в чистом виде существовали только на бумаге. Сегодня уместно, вероятно, говорить об атмосфере, о разных истоках и лейтмотивах, лелеемых в особенности мэтрами. К Фоменко, с его верностью классике и собственным принципам подхода к прозе и стиху, приложимо понятие режиссерского направления, где видны вахтанговские темы и приемы. Ансамблевый спектакль — вот к чему стремится Петр Наумович, и здесь уже приходится говорить об особой актерской школе. То же справедливо и в отношении Льва Додина и Малого драматического театра — Театра Европы, где уважение к Станиславскому переплетается с какими-то элементами вахтанговского стиля.

Актерская школа по-прежнему ценится в академическом Малом, и — на другом полюсе — в пору говорить об актерской школе, ансамбле и режиссерском направлении Юрия Погребничко в Театре около дома Станиславского. Пожалуй, слабее всего сегодня мхатовское направление, отсутствующее в обоих МХАТах. И в том и в другом воспоминания о великом прошлом, какие-то понятия, почерпнутые из этого прошлого, по-прежнему в ходу, но звучат они как неработающие, потерявшие волшебную силу заклинания.

Итак, сегодняшнее время называют временем совместительств, никому и в голову уже не придет упрекать известного, да и начинающего, актера в том, что, не жалея себя, он мечется между «родным» академическим театром, антрепризой и телевизионными съемками. Процесс пошел. Но в театре, по аналогии с медицинской, лучшие средства — не хирургические, а гомеопатические. К слову, в минувшем сезоне молодые искали себя как раз в репертуарных театрах.

Существуют, впрочем, и тенденции-мифы уже объявленные, однако же еще мало или совсем не проявленные. Один из таких мифов — взлет современной драматургии (или — перемена ее участи, от прежнего всеобщего равнодушия к нынешнему повышенному вниманию и любви). Нечто вроде фальстарта в части ожиданий. Хотелось бы, но пока не случилось.

Скажем, наши театральные знаменитости, обращаясь к молодым театральным авторам, заказывают им римейки. Пьесы, которые заставляют поверить в молодые силы, так и остаются «бумажной драматургией», а в дело идет перелицовка или инсценировка, написанная молодым драматургом по заказу театральной звезды. И если бы не Михаил Угаров, который взялся поставить «Трансфер», — кто знает, сколько бы еще пришлось ждать Максиму Курочкину постановок его оригинальных пьес! (Но эта премьера вышла на одной из немногих экспериментальных площадок, где почти ничего, кроме современной драматургии, и нет, — в Центре драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина, в месте, с некоторых пор ставшем модным, но все равно маргинальным, где и авторы, и актеры, и зрители — все свои и всё, как пел Окуджава, «для тех, кто понимает».)

Современная, недавно написанная пьеса — по-прежнему падчерица в афише «обыкновенного» театра, успех же ее всегда вызывает изумление, шок, поскольку представляется чем-то невероятным или, сильнее того, противоестественным. Так было, когда удача настигла «Маму папу сына собаку» в «Современнике», так — прибавляя к радости недоумение — говорили об успехе «Пластилина» Василия Сигарева в Центре драматургии и режиссуры.

Притом «разбирательства», которыми сопровождается подобное недоумение, часто приводят к неутешительным для автора выводам: все лавры достаются постановщику и артистам, чьи усилия сумели, дескать, перебороть недостатки «первоисточника». Примерно так описывали премьеру пьесы Курочкина «Трансфер» («Цуриков») в постановке (тоже драматурга) Михаила Угарова. Драматурги, которые ставят самих себя и своих коллег, — это из списка нынешних едва различимых театральных тенденций. И такое вынужденное «самообслуживание» приводит к успеху: Николай Коляда ставит уже не только свои сочинения, но и пьесы своих учеников — Василия Сигарева и Константина Костенко. С постановки собственной пьесы «Облом'off», получившей сразу несколько премий, в том числе и «Золотую маску», начинал как режиссер и Михаил Угаров.

Хорошее дело — «Театр.doc», но драматургия в этом подвале интересуется экзотикой жизни, ее той или другой, но всегда специфической стороной, в то время как драматургия, которая имела успех (причем в самые разные эпохи), брала жизнь «за рога» целиком, в ее полноте, не боясь неожиданных сплетений низкого и высокого. Кстати, когда и в более широких аудиториях говорят о потенциале современной драматургии, о новой драматургии и ее невостребованности, чаще всего имеют в виду как раз ее радикальные образцы, а не ныне живущих традиционалистов. Нельзя ведь сказать, что театр «забыл» про пьесы Надежды Птушкиной, успешно идущие в репертуарных театрах и кормящие многочисленные «летучие» антрепризы. Или другой пример: в те самые дни, что в Москве проходил второй фестиваль «Новая драма», в Театре имени Моссовета была назначена премьера пьесы Леонида Зорина «Опечатка». Зорин — в его качестве современного драматурга — по всем категориям подходил для фестиваля, но в афишу — даже среди событий, не включенных в официальную программу конкурса, — эта премьера не попала. Не тот формат. Не дожидаясь, когда это скажут другие, Николай Коляда, которого позвали на этот фестиваль вместе с несколькими уже известными его учениками, говорит: «Ну какой же я новый драматург? Все, что я пишу, — это все старая драма. Я упорно считаю, что в пьесе должно быть исходное событие, кульминация, развязка. Через пятнадцать минут зрители должны уже понимать, кто

кому — брат, кто — жена, кто с кем в каких отношениях. В начале должно быть смешно, в конце зрители должны заплакать. Старая, старая...»

В отношении к современной драматургии, пожалуй, заметнее всего проявляется сегодня конфликт режиссерских поколений. Молодые, как и положено им, активны, и их не всегда плодотворный энтузиазм совершенно затмевает раздумчивую отстраненность поколения «отцов» (и «матерей»). Так, Петр Наумович Фоменко на прямой вопрос с очевидным вызовом отвечает, что непременно будет ставить современную драматургию, в первую очередь Чехова и Островского. Впрочем, вызов тут — обоюдосторонний: молодые, поднимая сочинения своих ровесников на щит, настаивают, что только такой — продвинутый, пробуждающий и будоражащий — театр имеет право на жизнь.

Театр «нового» текста (свободно оперирующего разговорным слоем русской речи, ее жаргоном, сленгом и ненормативной лексикой), театр упрощенных объяснений и истолкований, немного плакатный, лишенный сложных связей, — право на жизнь он, спору нет, имеет. Но должен ли такой театр потеснить все остальное — это, пожалуй, вопрос. Для будущих ответов.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ПАУК И ВОР

— Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую.

Ф. Достоевский, «Преступление и наказание».

Изумись же тому, что существует такая вещь, как наша языковая игра: признание в мотиве моего поступка.

Л. Витгенштейн, «Философские исследования».

(1) В конце мая нежно любимая газета скоропостижно отбросила копыта. Деньги за добросовестную службу еще не выплачены, меж тем как жизненные силы уже истрачены. Значит, опять Тула, нескончаемые дожди, комары да мухи, задушевное общение с опостылевшей водкой... Но тогда в центре решающего кинообзора закономерно окажется она, прошлогодняя картина выдающегося, без малого гениального канадского мизантропа Дэвида Кроненберга «Паук». Тяжелая, безрадостная, смурная, коротко описанная мной в пресловутой газете (см. «Консерватор», 2003, № 10, март), — перемешивает настоящее с прошлым, путает вымысел с памятью, правду с ложью, одного человека с другим.

Конечно, попытка пересмотреть «Паука» завершилась провалом. В неласковой Туле, где Кроненберга закономерно ценят и чтут все порядочные люди, найти видеокассету не удалось. Однако именно «по памяти», не вполне доверяя себе самому, и следует разбираться с этой поразительной работой, постановщик которой рассказывает о Британии так, что радостно узнаешь бессмысленные отечественные «шесть соток» и безвыходную тоску провинциальной среднерусской полосы. Мир, куда с волшебной легкостью ныряешь в первые же минуты и откуда никогда не возвращаешься.

(2) Ровно в этом месте произошла роковая накладка. Автор кинообзора совершенно случайно оказался у телевизора в ту секунду, когда по этому телевизору демонстрировали ленту «Вор», сочиненную и поставленную Павлом Чухраем в 1997 году и тогда же признанную за большое достижение отечественного кино. Сначала автор обзора лениво отметил любопытную сюжетную рифму, о которой ниже. Постепенно увлекся сопоставлением «Вора» с опусом Кроненберга и досмотрел до конца. После чего безжалостно вмешался в готовую статью, отжав ее, подсушив и дополнив. В результате получился парный дивертисмент: «Паук» — «Вор».

В представлении участвуют разные приглашенные звезды. Вторгаясь, нарушая инерцию повествовательных клише, не позволяют осуществиться самодовольному дискурсу. Что называется, всем спасибо!

(3) Многие не догадываются, что канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг обязателен к употреблению. В том смысле, что *все порядочные люди* (мне кажется, в эпоху девальвации терминов эта эзотерическая формула заслуживает статуса культовой) обязаны посмотреть и осмыслить его главные фильмы. Для начала следует внимательно, не поддаваясь искусу упрощения, изучить «The Fly» (неправоммерно поименованный у нас «Мухой») и «Dead Ringers» (одно из самых поразительных откровений мировой культуры минувшего столетия).

К сожалению, наши знатоки кинематографа по сю пору клянутся каким-нибудь архаичным Феллини, полагая его за вершину вершин. Бесперспективная позиция. *Этого вашего Феллини* следует если не забыть, то принимать гомеопатическими дозами. Всем несогласным рекомендую закончить чтение кинообзора здесь¹. Мне нечем порадовать несогласных.

(4) Ну хорошо, западная культура предлагает варианты. Они — за Феллини, мы — за Кроненберга. А что же на внутренних фронтах? Существуют ли культура жеста и свобода выбора у нас? Черта с два. Советская и наследующая ей постсоветская культуры тиражируют детство, канонизируют инфантильную социально-психологическую позицию. Вот почему лучшая, архетипически нагруженная отечественная литература столетия — так называемая «детская». А вот ее квинтэссенция, безукоризненный слоган, совпадающий с названием повести Виктора Голявкина: «Мой добрый папа». Все — там.

«— Ах, Клементи, Клементи, — говорит мама. — Счастье играть Клементи!

— Клементи, Клементи! — говорит папа. — Прекрасная сонатина Клементи! Я в детстве играл сонатину Клементи».

Кстати, великий Орсон Уэллс обмолвился: «Все фильмы Феллини — это мечты провинциального мальчика о Большом Городе».

«— Ну все, — говорю я, — все сыграл.

— Еще разик, — просит папа.

— Больше не буду, — говорю я.

— Ну пожалуйста, — говорит мама.

— Не буду, — говорю я, — не буду!

— Ты смотри мне! — говорит папа. (Гениальное повышение градуса! — *И. М.*)

Я пробую встать. Убираю ноты.

— Я сотру тебя в порошок! — кричит папа.

— Не надо так, — говорит мама.

Папа волнуется:

— Я учился... я играл в день по пять-шесть часов, сразу после гражданской войны. Я трудился! А он?... Я его в порошок сотру!»

Все. Больше в так называемой советской культуре ничего нет. Только это: *архетип!*

Сразу после Сологуба и Блока в школе следует изучать Голявкина.

Остальные — зачем?

(5) Теперь «Паук». Главный герой (Рэйф Файнс) — измученный, за гранью добра и зла, едва передвигающий ноги мужчина среднего возраста. Кажется, выпущен из сумасшедшего дома за примерное поведение. Возвращается в город своего детства, поселяется в приюте для отверженных, *реконструирует прошлое*. Главное достояние — тетрадь, куда он целеустремленно записывает свои теперешние представления о событиях тридцатилетней давности. Итак, *писатель!* Что-то вроде «...Руссо, чья „Исповедь“ ознаменовала рождение литературного героя нового времени — плебея... использующего жанр исповеди для самооправдания, а главное, для превращения своей жизни в литературный текст» (А. Жолковский).

Так, да не так.

¹ Да, это депрессия. (*Реплика А. В.*)

Самооправдание? — Безусловно. С другой стороны, деклассированный герой Кроненберга навряд ли сориентирован на аудиторию и социальный эффект. Кому же, в таком случае, предназначены невразумительные каракули в пухлой тетрадке? Оправдание — перед кем? На кого работает этот «безостановочно действующий автомат», эта «бесконечно мощная оправдательная машина текста», которая, о чем догадается лишь предельно внимательный зритель, окажется в результате «машинной вымысла — источником литературности и невменимости вины» (опять-таки Жолковский)?

Цитируемый автор указывает на «глубокое внутреннее расщепление личности Руссо — одного из первых людей модернистской эпохи». Итак, удовлетворимся самым тривиальным объяснением — так называемым «расщеплением». Впрочем, в кинематографическом случае это объяснение непродуктивно, потому что якобы «расщепленный» персонаж остается тем не менее в пределах одного и того же тела — тела протагониста. Напомню: кино работает с телесностью, «внешним».

Тогда «письмо» здесь — это не то же самое, что у Руссо, Толстого или Лимонова. Его «оправдательная» задача фактически упраздняется. Скорее это «письмо», выступая в качестве переключателя модальности, *просто* обозначает мыслительный процесс, работу сознания, неподконтрольную зрочку киноаппарата. В кинематографе «письмо» — пластический эквивалент «внутреннего». Таким образом, Кроненберг актуализирует сферу невидимого: «В голове этого человека происходят неопознанные процессы».

(6) «Мышление человека совершается внутри его сознания, закрытого настолько, что по сравнению с ним любая физическая закрытость — нечто, явленное всем (Offen-da-liegen)» (Л. Витгенштейн).

(7) В совершенно безумной и оттого привлекательной ленте Пола Верховена «Звездный десант» есть поразительный эпизод. Высадившись на планету насекомых, доблестные земляне захватили в плен огромного, с двухэтажный дом, мерзкого и слизистого не то Паука, не то Таракана. Этот Чужой, этот Другой — не кто иной, как «Верховный Мозг» насекомой нации. Как с этим чудовищем общаться, как *допрашивать*?

Вызвался сообразительный американский десантник, вроде бы толмач, приложил ладонь к слизистой оболочке «Верховного» врага. «Наши» замерли в ожидании ценной информации. Томительная пауза, долгожданный, вполне предсказуемый «перевод»: «Бои-ится!» Бесстыдная пропаганда принимается собравшимися за полезную информацию: всеобщий восторг, самодовольство, аплодисменты.

Во-первых, сценаристу картины за этот восхитительный и беспощадный ход полагаются все мыслимые премии. Во-вторых, лучшей иллюстрации к вышеприведенной цитате из Витгенштейна нельзя даже вообразить.

(8) «Иностранцы наблюдатели... описывают... упорное нежелание допрашивать пленных офицеров...» (Уткин А. Первая мировая война. М., 2002, стр. 115). Смертельно поражает, валит с ног словечко «упорное». То есть как это? А чем же занимались — *вместо*? Все эти князья, генералы и поручики. Пили, играли, насиловали? Почему бы не поговорить, не выведать вражеские секреты?!

Вот это «упорное нежелание» — самый страшный, самый беспощадный антирусский аргумент, который мне приходилось слышать и который я не могу не признать за справедливость.

Верно, облеченный даже пустяковой властью русский любит, нацепив портупею, покрасоваться. Поговорить за водкой с бабами и приятелем. О какой-нибудь заведомой туфте. *О доблестях, о подвигах, о славе*. А надо бы работать, допрашивать пленных. Ловить и допрашивать, допрашивать и снова ловить. По-человечески, уважительно интересоваться: что замышляете, на каком направлении? Шевелить мозгами, анализировать.

Поговорите со мной, поинтересуйтесь моими настроениями! А может, у меня уже заначена граната? В смысле — идея. Черта с два, элита пьет и закусывает.

(9) Итак — «Вор», кажется, получивший все мыслимые «Ники» и даже номинированный на «Оскара». Отец малолетнего героя погиб на фронтах Великой Отечественной и теперь, в послевоенной суете, являет себя десятилетнему пареньку, точно призрак отца Гамлета: «Ты отомстишь за меня?» Господи, кому?! Гитлеру,

Сталину, Берию, Политбюро, Богу, а может быть, черту? Или эта реплика мне почудилась? Наверяд ли. Но пересматривать такое кино по доброй воле — Боже упаси!

Мать между тем сходится с молодцеватым офицером-фронтовиком, который на поверку оказывается ряженым, вором. Однако вор теперь за Отца. Иначе говоря — Отчим. Забеременев от этого, с позволения сказать, дубликата, мать благополучно умирает. Паренек тоже «предает» Отца, добровольно подставив Отчима на его место: «Папка, папка!» Ясное дело, простому советскому пареньку нужен Авторитет, здесь и сейчас. Однако отсидевший в очередной раз Отчим быть Отцом не желает и повзрослевшего паренька за Сына не признает!

Финал: наши, постперестроечные времена, очередной региональный конфликт, где заматеревший Сын, полковник российской армии, встречает все того же опустившегося Отчима, уже старика. По-прежнему безотцовщина! Не к кому прийтись! Ни бабы, ни детей, ни идеалов! Бедный, бедный постсоветский офицер *типа мужчина*. На груди у подозрительного старика — знакомая татуировка, «сталинский портрет». «Отец?!» — «Да нет, обознался...»

Короче, непотопляемый Голявкин: «Мой добрый папа». Патернализм, инфантилизм, сопли.

(10) Предельно талантливый советский сюжет: старинный рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным». Советский мальчик Дениска кушал противную манную кашу, сваренную мамой. Не докушав, вывалил содержимое тарелки за окно. Естественно, мальчишеская подлость мгновенно обнаружилась. Некий посторонний дядя, шляпу которого поразила клейкая манка, *безошибочно* отыскал квартиру маленького негодяя, осуществившего бомбардировку. Мальчик пристыжен, точнее, морально уничтожен. Мама и ее потенциальный партнер торжествуют победу. Извините, все тот же единственно возможный *советский сюжет*.

Восхищает пластическая точность. Новоявленный «Отец» является не сверху, не с Небес («у Отца Небесного сосчитан каждый волос на вашей голове»), а снизу, вроде как из преисподней (немудрено, ведь он ряженный, дубликат).

Текст Драгунского гениально демонстрирует, как устроено советское коллективное тело, трехголовое чудовище: Отчим — Мать — Сын. Никакой самостоятельности, претензия личности на эмансипацию *мгновенно* выявляется и наказывается. А где же настоящий, заботливый и ответственный, Отец? Как водится, погиб в схватке с врагами, а теперь, в мирной жизни, простер свои совиные крыла над живыми.

«Возвращались домой солдаты.

Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется...» (В. Голявкин).

(11) Мифологическая фигура победившего врагов, но *не вернувшегося* с полей сражений «Доброго папы» — палочка-выручалочка советского режима, обоснование его святости и неподсудности. Поэт Юрий Кузнецов стал *единственным* деятелем отечественной культуры, посягнувшим на право Мертвого отца — властвовать над живыми.

Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать!

Стоит дорого, дороже всех, вместе взятых, диссидентских и либеральных заклинаний. Этот, на грани абсурда, жест доброй воли не оценен по достоинству и теперь. Стоило мне защитить *живого* русского солдата от бессовестных посягательств Александра Рогожкина («Кукушка») — иные зафыркали, заголосили, заскрежетали зубами. Потому что их советская ментальность определяется тотальным влечением к Мертвому отцу. Не к Живому или Небесному, а именно к Мертвому. Ему клянутся, ему присягают герои советской культуры, начиная с приснопамятной «Заставы Ильича», кончая обласканным «Вором».

Отец, — кричу, — ты не принес нам счастья!

Ни одна вмняемая культура не осмелилась бы на «Вора» через двадцать пять лет после этой кузнецовской строки. (Пост)советская — сколько угодно!

(12) «Фрейд, установивший символическую близость эротике огню, показал, что мочеиспускание... у мужчин обыкновенно противостоит коитусу. Это связано с блокировкой мочеиспускания в состоянии эрекции: „Взрослый знает, что в действительности два этих акта несовместимы — как несовместимы огонь и вода... Относительно противоположности этих двух функций мы можем сказать, что мужчина заливает свой собственный огонь своей собственной водой”» (М. Ямпольский).

Главный герой картины «Вор» вызывающе бледен. Его единственная яркая черта — *неконтролируемое мочеиспускание*. Патологически зависимый от Мертвого отца и укравшего отцовскую власть Отчима, мальчик, а затем подросток регулярно «делает в штаны». Когда бы Павел Чухрай решился ровно таким же образом охарактеризовать нынешнюю ипостась героя, бравого полковника, на деле все так же нуждающегося в опеке, картина приобрела бы новое измерение и немало выиграла. Немотивированно пощадив полковника, автор расписался в симпатии к герою и словно бы идентифицировался с ним.

Что же, *весь этот энурез* — всего-навсего ошибка молодости? Но художественный строй картины (равно как и наша действительность) не дает оснований для подобного оптимизма. Объект желания, Женщина, не является сколько-нибудь значимым элементом сюжета. Даже Мать героя представлена как бледная тень, лишенная заметного влияния на любовника и сына. И один и другой забывают ее столь же легко, сколь равнодушен к проблеме Другого постановщик.

Как известно, применительно к кино проблемы сюжетосложения совпадают с проблемами социальной психологии.

(13) Почему я вообще отважился на просмотр картины «Вор»? Потому что в самом ее начале есть эпизодик, настойчиво рифмующий «Вора» с «Пауком». Невнимательный к человеческому, Чухрай забывает про эпизодик через минуту, а патологически внимательный Кроненберг разворачивает ровно ту же самую коллизию в изощренную полнометражную ленту!

Мальчик спит в одной комнате с родителями. Просыпается от шума. Слышит звуки, замечает движения под *их* одеялом. Мальчик прибегает к истерике и слезам, скорее всего, писает в штаны. «Мама, мама, он тебя душил!» — «Уверяю, ты ошибаешься!» Отчим требует от пасынка послушания, тот подчиняется. Уже через пару мгновений эпизод благополучно забыт и зрителем, и героями. Так, в категориях внешнего, акцентируя отношения власти и коммунального неблагополучия, решают перспективную сюжетную коллизию наши. И это закономерно: герой, писающий в штаны, не знает эрекции, коитуса и Другого (Женщины). Все оставшееся время бега за неисправимым ворюгой и просит у него милости.

Кроненберг разбирается с сознанием свободного человека, не связанного по рукам и ногам *авторитетом*, то бишь криминальным суррогатом Отца. Столкнувшись с той же самой коллизией, что у Чухрая, малолетний герой «Паука» осуществляет сложнейшую мыслительную операцию по перекодированию реальности. На место *использованной* Отцом Матери он подставляет Шлюху из ближайшего бара (обе роли играет Миранда Ричардсон). Мысленно инсценирует сцену убийства Матери Отцом (Гэбриэл Бирн), чьи забавы со Шлюхой та якобы подсмотрела. Хотя, как впоследствии понимаешь, «подсмотрел» именно ребенок, Сын, *писатель*, автор безадресной исповеди.

После того, как на глазах у Сына Мать побывала *в услужении* у Отца, она должна умереть в качестве Матери. Ее тело закопано на злополучных шести сотках, среди картофельной ботвы, возле дачного сарайчика. Ее место в Доме занимает Шлюха. Поразительная сцена утреннего чаепития, когда Кроненберг впервые намекает на необходимость критического отношения к изображаемым фактам. «Ты действительно думаешь, что это мы с Отцом убили твою Мать?!» — спрашивает Шлюха, «переселившаяся» в Дом. Мальчик не сомневается. Однако зритель осознает *невозможность* подобной постановки вопроса и начинает испытывать легкое метафизическое беспокойство, переходящее в непреодолимый дискомфорт: нам предлагают историю эмансипированной человеческой души.

В типовом советском сюжете à la Драгунский или Чухрай не существует никаких альтернатив. Мир прост и независим от твоих усилий. Ты — ребенок, сопля,

не боец. Отец — убит врагами Земного Царства. Мать отдалась первому попавшему Отчиму, вместе с которым станет тебя судить. А все вместе называется: коллективное тело, (пост)советский народ.

(14) «Никакой сигнал бедствия не может быть большим, чем крик *одного* человека.

Или же *никакая* беда не может быть большей, чем беда отдельного человека.

Итак, один человек может терпеть бесконечные бедствия и нуждаться в бесконечной помощи...

Весь земной шар не может быть в большей беде, чем *одна* душа» (Л. Витгенштейн).

(15) «Одной из примечательных черт любви к падшей женщине, по мнению Фрейда, является почти неизменное желание ее „спасти“, вернуть к респектабельности, избавить от мнимой опасности, угрожающей ей в силу ее „безнравственности“. Это парадоксальное желание овладеть шлюхой и одновременно „переделать“ ее свидетельствует о том, что такого рода объект сексуального выбора является субститутом матери, в терминах Фрейда — „mother-surrogate“. Фрейд следующим образом объясняет комбинацию черт в суррогате матери: ребенок склонен отрицать возможность половых контактов у своих родителей. Однако наступает травматический момент, когда такое отрицание становится невозможным.

„Тогда, когда он уже больше не может утверждать, что его родители являются исключением из мерзкого сексуального поведения остального мира, он говорит себе с цинической логикой, что различие между его матерью и шлюхой в конце концов не так уж и велико, раз обе они делают одно и то же“» (М. Ямпольский).

(16) «Перейдем к вопросу о Бессознательном. Фрейд постулировал существование скрытого континента души, в недрах которого и разыгрывается сущность импульсивной, аффективной и когнитивной избирательности... Бессознательное стало установлением, понимаемым в расширенном смысле слова „коллективным оборудованием“. Оказываешься выраженным в бессознательное, стоит только начать грезить, бредить, совершить плохой поступок, ляпсус...» (Ф. Гаттари, «Язык, сознание и общество»).

(17) «Фрейд своими фантастическими псевдообъяснениями (именно потому, что они являют блеск ума) оказал нам дурную услугу. (Теперь каждый осел с помощью этих образов „объясняет“ симптомы заболеваний.)» (Л. Витгенштейн).

(18) Короче, наша свобода в том, чтобы забыть Фрейда, чтобы не знать Фрейда, не иметь Фрейда в виду. Но и в том, чтобы использовать Фрейда где и когда это удобно. Русская свобода: делать с Фрейдом *все, что захочется*.

(19) Заветная тетрабочка Паука, по сути, моделирует работу Высокой культуры, которая *заколдовывает* мир, предлагая *сложные* ответы на, казалось бы, «тривиальные» вопросы. Некоторые известные и небесталанные деятели «постсоветской культуры» осуществляют обратную операцию. В этом смысле они, со своей *последней простотой*, мало чем отличаются от Павла Чухрая с его «Вором». Хотя небесталанные, конечно, изощреннее и амбициознее нашего совсем уже простецкого кинематографиста.

(20) «На вопрос: „Как достигается изображение чего-то с помощью предложения?“ — можно было бы дать такой ответ: „А разве ты этого не знаешь? Ты же видишь это при его использовании“. Здесь же нет ничего скрытого.

Как предложение это делает? — А разве ты этого не знаешь? Здесь ведь нет ничего утаенного.

Но ответ „Ты ведь знаешь, как предложение это делает; здесь нет ничего скрытого“ склоняет к возражению: „Да, но тут все происходит так быстро, а для меня было очень важно увидеть это как бы более крупным планом“» (Л. Витгенштейн).

Сознание Паука, героя Кроненберга, превращает так называемую «внутреннюю речь» в изображение, картину, в «крупный план». Самое интересное в фильме вот что. Внутренняя речь и сопутствующая ей совокупность предложений, чье авторство вполне очевидно, на наших глазах трансформируется в набор «объективных» изображений, в некую «подлинную» картину мира. Примерно так *желание* становится *верой*.

Герой творит мир заново, деформируя так называемые «факты» до неузнаваемости. Но убедительность порождаемых его внутренней речью картин безупречна, и я сдаюсь на милость этой анонимной, этой «достоверной» версии, которой противоречит мое аналитическое знание!

Итак, я *знаю*, что именно малолетний герой отравил собственную Мать. Но я в то же время *вижу*, как, загуляв на стороне, Отец ударил подкараулившую его жену (она же Мать) лопатой в лоб, закопал на огороде и в ту же ночь привел в Дом — Шлюху, объект своих сладострастных забав. Шлюха и Отец зажили в мире, согласии и любви, невзирая на закономерные протесты и утрюмство осиротевшего паренька...

Не уверен, что мое отвлеченное «знание», заблокированное анонимным фантазмом, надежнее, нежели ложная версия Паука! Своей новой картиной Кроненберг предъявляет внимательному зрителю какие-то ключевые, какие-то *решающие* механизмы «внутреннего» человека.

(21) «Так, значит, ты не замаскированный бихевиорист?»

(22) «То, что другой говорит мысленно („про себя“), скрыто от меня, входит в *понятие* „внутренней речи“. Правда, слово „сокрытое“ следует признать ложным, ибо то, что сокрыто от меня, должно быть открыто ему самому, *он* должен это *знать*. Но он этого не „знает“, он просто не испытывает того сомнения, которое существует для меня» (Л. Витгенштейн).

(23) Случайная (с пылу, с жару, из телевизора!) реплика среднестатистического американского кино: «Кажется, я должна сказать „ух ты!“? Говорю!»

Речь с комментариями, если угодно, «в кавычках». Американские персонажи играют с нашей пронизательностью, словно возмущаясь: «Похоже, вы знаете, что происходит у меня внутри, лучше, нежели я сама (сам)? Вам это не кажется странным? Что, у меня уже не осталось суверенной территории и свободы? Вы полагаете, мое существо исчерпывается внутренней речью?»

Диалоги — очень сильная сторона американцев. Лично я мысленно аплодирую американцам за диалоги. Не всегда, но часто.

(24) «Стало быть, психология ведет речь о поведении, а не о душе?»

Что фиксирует психолог? Что он наблюдает? Разве не поведение людей и особенно их высказывания? Но *последние* говорят не о поведении» (Л. Витгенштейн).

(25) «„Так, значит, ты не замаскированный бихевиорист? И ты не утверждаешь, что, по сути, все, кроме человеческого поведения, есть фикция?“ — Если я и говорю о фикции, то имею в виду *грамматическую* фикцию» (Л. Витгенштейн).

(26) Витгенштейн говорит о некой «визуальной комнате». Это своего рода «крупный план», темпоральная развертка внутренней речи. Видимо, именно эта навязчивая способность человека трансформировать предложения в картину делает возможным искусство кино. Его производство и его адекватное потребление.

«Визуальная комната» — то, что не имеет обладателя, то, о чем *лишь говорят*: «Я в столь же малой мере могу обладать ею, как и пройти по ней, осмотреть ее или указать на нее». Несколько раз Кроненберг размещает взрослого Паука, уже писателя, в комнате, где выясняют отношения Отец, Мать, маленький Паук или Шлюха. Взрослый Паук незримо присутствует в собственном (выдуманном?) прошлом. Эти ретроэпизоды соседствуют с другими, где взрослого Паука в кадре, то бишь в пресловутой «визуальной комнате», — нет. Было бы любопытно проанализировать речевую разницу, но, повторяюсь, в Туле нет не только заветной кассеты, но также солнца, денег и самоваров.

(27) «Представь себе, что на картине изображен вымышленный пейзаж с домом — и кто-то спрашивает: „Кому принадлежит дом?“ Между прочим, на это можно было бы ответить: „Крестьянину, который сидит перед ним на скамейке“. Но в таком случае он не может, например, войти в свой дом» (Л. Витгенштейн). И далее: «Можно было бы также сказать: ведь владелец визуальной комнаты должен быть одноптипен комнате; однако в ней его нет, а какого-то „вне“... тоже не существует».

Последнее замечание представляется крайне важным. Кинематографическое пространство никому не принадлежит и, видимо, этически невменяемо. Кроме того, его фотографическое сходство с «действительностью» — обманка. Мы не за-

мечаем ни того, ни другого, поскольку наше сознание слишком подчиняется *предложениям*. И это ни плохо, ни хорошо — нормально.

(28) Любопытен Хичкок. Мало того, что этот толстый человек предварительно рисовал свой будущий фильм. Многие образы, мотивы и даже сюжетные ходы Хичкока навеяны жанровой живописью и в особенности *английской карикатурой*, чей расцвет, насколько я знаю, пришелся на первую половину XIX столетия. Но карикатура — это, по существу, сведение «внутреннего человека» к «внешнему»! Карикатура не церемонится, карикатура не оставляет «внутри» ничего, выворачивая нутро наизнанку. Карикатура элиминирует «внутреннего человека», предъявляя *чистое поведение*. Именно по этому рецепту лепит своих героев Хичкок. Все его герои, будь то эпизодические или главные, — *гении поведения*, бессодержательные (в безоценочном смысле) марионетки. Именно он, Хичкок, — замаскированный бихевиорист, этим и интересен. Лучшие (а это почти все!) картины Хичкока аккумулируют и перерабатывают затронутые выше проблемы в полезный продукт, возвращая зрителя к истокам, к немой комической и Люмьеру.

Если рассуждать последовательно, нельзя не согласиться с Витгенштейном: «Ты не можешь не хотеть отказаться от лжи и говорить правду». Какие могут быть тайны у «пустого», вывернутого наизнанку кинематографического героя? — Кожа, кости, кровь, эякулят. Голос, улыбка, походка. — Все остальное делает сообразительный зритель.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

АПОЛОГИЯ «ГОРБУШКИ», ИЛИ ЦЕНА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР

Когда рынок «контрафактной» (теперь какие-то специфические российские юридические ухищрения вроде бы позволяют считать ее «лицензионной», но по сути мало что изменилось) аудио-, видео- и программной продукции располагался в парке возле известного в Москве ДК завода им. Горбунова, место это стало для большого мира чуть ли не очередным символом России; во всяком случае, было известно из русского набора куда шире, чем, скажем, кинорежиссер Михалков. Иностранцы ходили там толпами. Поговаривали даже, что туристические фирмы «цивилизованных» стран предлагали клиентам специальные туры в Москву на «Горбушку» за дисками. Теперь поговаривают, что в тех же «цивилизованных» странах ввоз дисков с нашей «Горбушки» строжайше запрещен и нарушитель рискует нарваться на серьезный штраф или что похуже. Как бы там ни было, но, когда рынок перевели в чистое и удобное помещение, где он работает уже не только уик-энд, а полную неделю, иностранцев там стало на порядок меньше. Возможно, запретительные меры сделали свое дело.

Возможно, мусор, запах водки, продавцы в ушанках, притопывающие валенками на двадцатиградусном морозе, хорошо репрезентировали русскую экзотику, а чистый прилавок в теплом и просторном здании иностранцу скучен. Но покуда нам, слава Богу, никто еще посещать «Горбушку» не заказал, будем ценить возросшее на родной почве уникальное культурное явление.

История так называемого «аудиопиратства», под чем понимается прежде всего тиражирование музыкальных компакт-дисков без оформления соответствующих соглашений и без отчисления полагающихся процентов авторам и (что, разумеется, в сто раз ужаснее) фирмам — держателям прав, насчитывает в России что-то около десяти лет и разворачивалась у меня на глазах. Начиналось это с каких-то жутких продуктов китайского производства — их и в руки-то брать было противно — с отвратительной полиграфией и перепутанными английскими буквами. Изначальный репертуар составляла расхожая поп-музыка типа Майкла Джексона, дискотечные сборники и, конечно, всякие обожаемые в России «Бони М», «Смоу-

ки» и т. п. Довольно скоро подтянулась и всегда популярная рок-классика вроде «Пинк Флойд», однако издания были такого качества и порой с такими дикими самостоятельными компиляциями, что почти не интересовали настоящих любителей. Однако уже через год-полтора в этом вроде бы полукриминальном бизнесе (хотя меня, как ни старайся, не убедишь, что «аудиопираты» — такие же бандиты, как и бритоголовые «братки», и наносят такой же вред обществу, как тьма чиновья, жиреющего за счет торговли общенародным природным достоянием) проявилось совершенно не свойственное русской что рыночной, что не рыночной экономике стремление к повышению качества продукта. С этого момента стало интересно и остается интересно до сих пор. Репертуар постоянно расширялся, охватывая все новые и новые, отнюдь не очевидные с коммерческой точки зрения области. Все более и более серьезная, «специализированная» рок-музыка, какие-то вещи, любопытные с точки зрения «палеонтологии» рок-культуры, — и эти прилавки собирали теперь отнюдь не молодежь, а сорокалетних мужиков; потом довольно широко потоком хлынул джаз и появились на «Горбушке» покупатели уже откровенно солидного возраста...

Но, казалось бы, все равно угадывались пределы: «Горбушке» полагалось дойти до уровня нормального, «легального» большого музыкального магазина (отбрасывая, конечно, филармоническую музыку, которая в европейском магазине будет составлять не менее половины, а у наших «пиратов», как, впрочем, и у поставщиков дисков с Запада, и по сей день несколько отстают, хотя прогресс за последние годы произошел гигантский). То есть можно было предположить, что коммерческая «пиратская» деятельность не пойдет дальше нормальных коммерческих соображений и не отяготится чрезмерной инициативой — просто со временем будет спокойно куплен на Западе весь хороший «магазинный» ассортимент: актуальные на данный момент хиты плюс достаточно полный и представительный набор классики джаза, рока и поп-музыки — куплен, скопирован и растиражирован; на этом вполне можно было кормиться многие годы, и нет никакой рационально обоснованной необходимости что-то здесь еще особенное выдумывать. Какие-нибудь китайцы, они так бы и сделали и с полным основанием потом хвалились бы своим экономическим процветанием. Но мы-то не китайцы, и нам обязательно нужно с вывертом. И надо сказать, редкую гордость я испытал за свою страну и свой народ, когда постепенно начал обнаруживать на «Горбушке» музыкальный материал (причем не единичные издания — целые серии), который — гарантирую — вы не найдете на стендах ни в одном крупном музыкальном магазине мира; такие диски в лучшем случае можно заказать по специальным каталогам. Но для этого надо хотя бы знать заранее об их существовании. Сегодня на «Горбушке» есть точки, являющие собой настоящие коллекции неожиданного и неочевидного в мире современной музыки — маргинальные проекты известных музыкантов, целые маргинальные музыкальные направления, представленные музыкантами практически никому не известными: иногда встретишь такое, что только рот открыть и стоять в изумлении. Это действительно место, где человек, обладающий в данной области определенным исследовательским пылом, может пусть не ежедневно, но еженедельно открывать для себя что-то достаточно новое. И самое главное, по «пиратской» цене здесь можно позволить себе покупать диски из чистого интереса — просто послушать, узнать, что это такое. К сожалению, поставщикам джаза на «Горбушку» несколько не хватает столь располагающего меня к себе «палеонтологического» рвения по сравнению с теми, кто занят рок-музыкой или авангардной электроникой. Но в целом за последние три-четыре года благодаря «Горбушке» я узнал о современной нефилармонической музыке, пожалуй, больше, чем за предшествовавшие двадцать лет увлечения ею.

И вот чем, собственно, можно объяснить, что люди, которые в силу самого своего наименования «пираты» должны заботиться исключительно о собственной выгоде, пускаются в издания, которым сколько-нибудь серьезный спрос наверняка не обеспечен? Я точно знаю, что некоторые из таких дисков удавалось продать хорошо если по две-три штуки, а ведь они не нарезаны на компьютере, а сделаны промышленным способом, то есть изготавливалась матрица, потом печать, потом полиграфия, которая, кстати, стала теперь на «пиратской» продукции весьма при-

личного качества, да еще коробочки купи, плати за место и т. д. и т. п., а всей выручки — триста рублей? «Горбушка» породила (или возродила?) парадоксальный и, по-моему, весьма русский тип дельца: я познакомился там кое с кем и не перестаю удивляться тому, как вполне в общем-то алчные, испорченные торговлей — а кого она не испортит? — дядьки вдруг начинают проявлять себя как настоящие культурные подвижники: возмут и забачаю что-нибудь такое, что потом годами не могут продать. Зато копаться на их прилавках — истинное удовольствие. Любавью только и объяснишь, чем еще? Казалось бы, уродливое порождение дикой российской рыночной системы, «Горбушка» вдруг как-то так извернулась, что проявились в основах ее существования материи, которые с точки зрения рынка можно рассматривать исключительно с приставкой «анти».

Когда случается прочесть где-нибудь в газете статью на тему «когда же в России наконец изведут всевозможных „пиратов” и начнут соблюдать права на интеллектуальную собственность?», меня неизменно посещают растерянность и недоумение. Мало того что это самое право в том виде, в каком оно сегодня существует, вообще вызывает у меня массу вопросов и ни в коей мере не представляется осмысленным и оправданным. Мало того что все развитие информационных технологий, разделение информации и ее носителя ведет к тому, что во множестве областей, в том числе и в искусстве, само понятие такого права все отчетливее теряет содержание¹. Мне просто непонятно: а зачем журналист все это пишет? Чего он хочет для себя? Ему неохота приобретать весьма качественную продукцию за три доллара и он желает платить за то же самое двадцать? Ну так и Бог в помощь, есть соответствующие магазины, только там и двадцатой части не найдешь того, что можно купить по три. Или же он ратует за абстрагированную от всякого «бытового» смысла строгость, последовательность закона. Ну это уж извините, мы где живем, тут такого никогда не было и никогда не будет, национально-историческое своеобразие, понимаешь... Или, в конце концов, журналиста искренне беспокоит ущемление доходов рок- или поп-звезды? Ну, не знаю. Я вот не испытываю вообще никаких угрызений совести по поводу того, что, недополучив от меня пятнадцать «зеленых», какой-нибудь даже уважаемый мною исполнитель не переедет в новую виллу или не купит себе очередной спортивный «феррари». По мне, так музыка и деньги — это все-таки разные вещи. Не то чтобы вовсе несовместные — но разные. Музыканты, конечно, тоже люди и тоже во все века мыкались по свету в поисках отношения почеловечнее, места потеплее, заработков получше. Но посмотрим правде в глаза: ни Бах или Бетховен, ни Чарли Паркер или Джон Колтрейн, ни даже рок-н-рольные герои Джимми Хендрикс или Джим Моррисон и не думали об особняках на берегу океана, без чего нынче не мыслит себя ни один средней руки американский рэпер, выпустивший два-три удачных сингла, не говоря уже о собственных островах, вполне обычных для поп-звезд покрупнее. К тому же никто из них не нуждался в оплаченной рекламе, ибо это были персонажи, порожденные самой плотью времени и временем востребованные, а не слепленные «мастерами» от шоу-бизнеса по рецептам, прописанным в книжках-руководствах «Как на музыке разбогатеть». Это шоу-бизнес, со всем его обязательным и массовым дерьмом, перекачивает через себя вздрюченные, непомерные денежные потоки. И понятно, что артисту присосаться к этой трубе — сплошное удовольствие. Только вот за эти удовольствия его я платить не намерен. За музыку — готов. А шоу-бизнес мне не нужен. Я не создаю себе кумиров. Не потребляю рекламу — я и так найду то, что мне надо, пусть это будет записано даже на домашней студии и выпущено на собственные средства музыкантов. Реклама вообще нужна только там, где много совершенно однотипных товаров одинакового качества, — меня однотипные товары в культуре в принципе не интересуют. Конечно, современная музыка требует определенных вложений: необходимо оплачивать студийное время, собственно выпуск компактa, работу инженеров, дизайнеров и т. п. Кроме того, разумеется, более-менее востребованный артист должен иметь возможность за счет своего творчества обеспечатать себе достойную, пусть даже богатую жизнь и даже

¹ См. об этом, в частности, «WWW-обозрение Владимира Губайловского» в № 5 «Нового мира» за текущий год.

некоторые безумства, для творчества необходимые. Но ни в достойную жизнь, ни в необходимые безумства не входят тысячи долларов в день, потраченные на наркотики, многомиллионные рекламные кампании, распушенная роскошь, при которой музыканты якобы не имеют возможности работать в полную силу, если не живут в президентских номерах отелей, и многое другое, что вроде бы для звезд современной музыки составляет неотъемлемую часть имиджа, а на деле зримо сжирает их изнутри даже не за годы, как бывало прежде, а в считанные месяцы. Я полагаю, что за вычетом всей этой бессмысленной, а чаще — и откровенно гадостной мишуры все необходимое могло бы обеспечиваться при сильно пониженном уровне цен на легальную продукцию: во-первых, это не затронет нередко даже более существенную для музыкантов в качестве статьи дохода концертную деятельность, во-вторых, основательно повысит тиражи, поскольку позволит слушателю покупать пластинки не только «навверняка» раскрученные, но и стимулирует обыкновенное любопытство, которое можно позволить себе удовлетворить (если, конечно, верить, что у современного потребителя вообще можно что-либо стимулировать и он способен еще на что-то иное, кроме как тупо следовать рекламе). Я не думаю, что кто-нибудь всерьез просчитывал, доказывал, что существующее ныне соотношение цена/тираж является единственно возможным или хотя бы оптимальным.

Это часть большой игры, в которую современный мир превратил культуру и которая крайне выгодна, словно финансовая пирамида, абсолютно всем ее организаторам — но из творческих людей только тем, кто послушно подчиняется правилам. Для музыкантов, которые не добились массового успеха (что зачастую мало коррелируется с мерой их таланта) или сознательно работают в направлениях, на массовый успех не рассчитанных, это навязанная игра на чужом поле.

Ну ладно, положим, мои рассуждения несколько утрированы, утопичны и не всюду приложимы — скажем, в джазе сегодня ситуация с продажами почти критическая, и тут не до роскоши, расходы покрыть — уже хорошо. Но я и не призываю принимать какие-нибудь законодательные билли с целью пообрезать финансовые крылья воротилам шоу-бизнеса. Просто всякая отцифрованная информация, будь это бухгалтерский отчет или симфония симфоний, слишком легко копируется без потери качества, и отследить копии практически невозможно — в этом плане «Горбушка» еще простодушно открывается, демонстрирует себя городу и миру. Вопросы прав на интеллектуальную собственность, ценообразования в информационной сфере и тому подобные так или иначе необходимо будет решать — и, скорее всего, коренным образом все здесь менять — в самое ближайшее время, сама действительность ставит нас перед этим. Какой выбор? Ставить на каждый компакт-диск программную защиту от копирования? Но в компьютерном мире, известно, все, что можно поставить, можно и снять — сегодня это умеют уже ученики средней школы, причем не из отличников. Что делать с компьютерным форматом mp3 — ибо сколько должен стоить, при прежней системе охранения прав, один диск в этом формате, включающий в себя десяток альбомов того или иного исполнителя: $10 \times 17 = 170$ \$? При том, что любой владелец современного компьютера способен составить и нарезать себе такой за час, не отходя от монитора (благо множество пользователей Интернета из самых филантропических побуждений конвертируют аудио- и видеоматериал в удобные компьютерные форматы и располагают их в Сети в свободном доступе; и страшных этих преступников вежливо — не переловишь).

Есть один способ избежать в современных условиях аудио- и прочего «пиратства» — сравнить цену легальной и «пиратской» продукции. Кстати сказать, российские исполнители и производители давно уже разобрались, что к чему. И когда вы покупаете на «Горбушке» за три доллара диск какой-нибудь отечественной группы или певца — к «пиратству» это не имеет никакого отношения. Наши фирмы выпускают определенный тираж в «серьезном», «коллекционном», оформлении за полную стоимость (у нас она, кстати, даже в самом «расфирменном» варианте меньше, чем за бугром), а основная масса, оформленная попроще, без книжечек с фотографиями и текстами, но тоже вполне прилично, и ничего не потерявшая в качестве звука, поступает именно в «дешевую» продажу. Дорогими даже в нынешней обстановке могут оставаться особые коллекционные издания, аудиофильские

диски или записи в широко применяемой в кинозалах и домашних кинотеатрах, но только нарождающейся в качестве чисто музыкального формата многоканальной системе Surround — объемного, окружающего звука. И у всего этого останется определенный потребитель — но, разумеется, не очень многочисленный: не так уж много завязтых коллекционеров, а качественная аппаратура Surround или High End доступна лишь весьма богатым людям. Массовый слушатель, использующий простенький плеер, «мыльницу»-бумбокс, музыкальный центр или просто довольствующийся достаточно качественным старым добрым стерео, в самом скором времени из цепких лап торговцев «легальным» товаром совершенно ускользнет, по крайней мере в нашей стране. И такие меры, как, например, закрытие «Горбушки» и силовое прекращение всякой торговли «пиратским» товаром, ни к чему тут не приведут: никто уже не побежит в фирменный магазин покупать то же самое в шесть раз дороже.

Наше нынешнее «аудиопиратство» — это веселый информационно-экономический терроризм, которому нельзя не сочувствовать, поскольку хуже сложившейся системы развлекательных СМИ и шоу-бизнеса все равно ничего быть не может. Оно подрывает основы этой системы — и слава Богу, иначе система вскоре подорвет всех и вся, утопит в навязанных, искусственных приоритетах. Оно пусть тихо, медленно, но все же перекраивает культурную карту современной нефилярмонической музыки на иной, куда более естественный, лад, потому что обеспечивает почти неограниченную свободу плавания в этом море, возможность прокладывать неожиданные курсы, освободиться от рекламной зависимости, самому расставлять вехи, которые представляются тебе важными, самому выбирать. Российское «аудиопиратство» стало, в сущности, плодотворной творческой средой — только в ней и могли появиться целые серии интереснейших изданий, таких, как, скажем, коллекции германского рока с записями малоизвестных немецких рок-групп шестидесятых — семидесятых годов.

А еще «Горбушка» — это совершенно особое акустическое пространство. Поднявшись по эскалатору на второй этаж, стоит остановиться и прислушаться к сливающемуся звуковому полю, образованному массой всяческой музыки, доносящейся с разных направлений, с разного расстояния: поле пульсирует, качается, живет, обволакивает... Уже не первое поколение композиторов с тем или иным успехом добивается подобного. «Пиратский» музыкальный рынок, торжище, храм наживы сумел превратиться в безличного актуального композитора — сонориста, постмодерниста, центонника...



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Андрей Батов. Дао саксофониста. М., «Пальмира», 2003, 414 стр., 11 000 экз.

Роман молодого петербургского прозаика, сочетающий признаки исповедальной прозы, романа воспитания и авантюрного повествования. Детство и отрочество героя приходится на перестроечные годы; школа, рано состоявшаяся карьера музыканта, играющего для «новых русских» в ресторанах, армия, первая любовь, деньги, разгульная питерская жизнь, неожиданное отцовство и смерть отца — все это написано лихо, с ориентацией на новейшую «крутую прозу», сквозь стилистику которой тем не менее пробивается писатель настоящий, пытающийся в чуть ли не первую свою — молодую — книгу вложить весь накопленный опыт. Основную часть повествования занимает китайская одиссея героя: заключив контракт на работу с владельцем крупного ресторана, на собственной шкуре познает он законы жизни в современном Китае, с его как бы бредовым, но по-своему органичным соединением еще дикого капитализма с коммунистическим тоталитаризмом — идеологически выверенным ритуалом повседневного поведения, всеобщим стукачеством, предписываемым в качестве главной гражданской добродетели, публичными казнями, на которых обязаны присутствовать законопослушные граждане, закрепленной законодательно ксенофобией, преследованием религии, превосходящим по жестокости даже сталинский вариант бытом китайских концлагерей, где в конце концов оказывается герой. «Мир по-китайски», изображенный Батовым чуть ли не с оруэлловской пронзительностью, становится для героя продолжением пережитого им в Киргизии, по дороге в Китай (лучшие страницы романа), продолжением развороченного перестройкой уклада жизни Петербурга, да и всей России, накрытой жутью чеченской войны. К сожалению, некоторая утрированная сочность в описании контрастов Китая, чернушное физиологическое письмо в сочетании с авантюрными поворотами сюжета художественно ослабляют эту часть повествования. Неизбежные для сегодняшнего читателя ассоциации с философски нагруженным образом Китая в романе Крафта «1979» (та же ситуация — молодой европеец в китайском концлагере) тоже не в пользу «Саксофониста». Тем не менее выход этого романа — несомненная удача издательства «Пальмира».

П. Д. Боборыкин. За полвека. Воспоминания. М., «Захаров», 2003, 686 стр.

Мемуарная проза Петра Дмитриевича Боборыкина (1836 — 1921).

Артур Кёстлер. Девушки по вызову. Трагикомедия с прологом и эпилогом. М., «Махаон», 2003, 224 стр., 10 000 экз.

Сатира на европейских интеллектуалов первой половины XX века.

Редьярд Киплинг. Немного о себе. Перевод с английского Д. Вознякевич, В. Кондракова, Н. Димичевского. М., «Вагриус», 2003, 414 стр., 5000 экз.

Автобиографическая проза Киплинга «Немного о себе для моих друзей — знакомых и незнакомых» и путевая — «От моря до моря», описывающая путешествие от Индии через Китай в Англию.

Вадим Козовой. Тайная ось. Избранная проза. Составитель Ирина Емельянова. Предисловие Жан-Клода Маркаде. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 528 стр.

Собрание эссеистики и эпистолярного наследия Вадима Козового (1937 — 1999). «Проза Козового является переплетением разных семантических пластов — художественно-литературных, литературоведческих, историософских, философских и мемориальных... Для нес характерна стилистика триады, *mutatis mutandi* напоминающей парадоксальным образом фразу у Гоголя с ее извивами, отступлениями, уточнениями, оговорками» (из предисловия). (О первой в России книге, представляющей личность и творчество Козового, — «Твой нерасшатанный мир. Памяти Вадима Козового» — см. «Библиографические листки» в № 5 за 2002 год).

Юлия Кокошко. Совершенные лжесвидетельства. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2003, 244 стр.

Новая книга (пять повестей) уральского прозаика, уже обратившего на себя внимание изощренностью своей стилистики и ставшего лауреатом премии имени Андрея Бе-

лого 1997 года с формулировкой «за хрупкое равновесие пишущего между молчанием, трудным словом и изобретательностью, позволяющее не разрушать работу сердца».

Харуки Мураками. Норвежский лес. Роман. Перевод с японского А. Лян. М., «ЭКСМО», 2003, 368 стр., 75 000 экз.

Перевод еще одного романа Мураками, написанного им в 1987 году и названного по строчке из песни «Битлз».

Денис Осокин. Барышни тополя. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 475 стр., 1500 стр.

Вышедшая в серии «Soft Wave» книга молодого прозаика (а также поэта и филолога-фольклориста) из Казани, лауреата премии «Дебют» 2001 года. «В „Барышнях тополя” двадцать самостоятельных книг, главный их смысл — художественное исследование действительности: взять интересующую категорию предметов или их конфигурацию — и к ним отнестись — и выдать результат» (из авторского предисловия). Журнал уже писал об Осокине (см. мое «WWW-обозрение» в № 10 за 2002 год).

Виктор Пелевин. ДПП (нн). Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. Избранные произведения. М., «ЭКСМО», 2003, 384 стр., 150 100 экз.

После четырехлетней паузы, следовавшей за «Generation 'П'», — новая книга одного из самых популярных современных писателей. Композиция: открывает книгу «Элегия 2», далее два раздела — «Мощь великого» (роман «Числа», повесть «Македонская скрипка французской мысли»), рассказы «Один вог», «Акико», «Фокус-группа») и «Жизнь замечательных людей» (рассказы «Гость на празднике бон» и «Запись о поисках ветра»). В Интернете книга представляется сайтом издательства «ЭКСМО», выставившим для свободного доступа рассказ «Акико» <<http://www.eksmo.ru/reading.asp?pgStr=pelevin/akiko01&IDBook=9074>>.

Аргуно Перес-Реверте. Тайный меридиан. Роман. Перевод с испанского Н. Малыхиной. М., «Иностранка», 2003, 623 стр., 15 000 экз.

Перевод нового для русского читателя романа популярного испанца, вышедший в серии «Лекарство от скуки» (составитель серии Б. Акунин). На этот раз авантюрное, отчасти детективное повествование для интеллектуалов; действие, происходящее в наши дни, связано с историей Испании XVIII века, архивными изысканиями персонажей романа, морскими путешествиями, с поисками затонувших кораблей и т. д. Роман написан в 1999 году.

Джон Фаулз. Аристос. Перевод с английского Натальи Роговой. СПб., «Симпозиум», 2003, 284 стр., 5000 экз.

На этот раз Фаулз не как романист, а как эссеист-философ. Собрание максимум в одиннадцати тематических разделах. На родине автора книга вышла в 1968 году. Главной заботой писателя «при создании „Аристоса” было отстоять свободу индивидуального вопреки всеохватному натиску конформизма, который грозит обернуться бедой для нашего века» (из авторского предисловия).



Г. Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30 — 40-е годы). М., «Молодая гвардия», 2003, 463 стр.

«Уникальный по фактографическому материалу труд... Досуг жителей столицы, их зарплаты, содержимое магазинов, ресторанные меню. Московские квартиры, общежития и бани. Шпиономания в 1941 году. Кражи в осажденной Москве, подделка хлебных карточек. Кампании по борьбе с вредителями» («Книжное обозрение»).

В. П. Бузескул. История афинской демократии. Общая редакция и вступительная статья Э. Д. Фролова. СПб., ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003, 512 стр., 1500 экз.

Классический для русской исторической школы труд известного российского историка-антиковеда Владислава Петровича Бузескула (1858 — 1931).

В. С. Жидков. Театр и власть. От свободы до «осознанной необходимости». М., «Алетейя», 2003, 656 стр.

Исследование реальной практики и эстетических деклараций русского советского театра в первое послереволюционное десятилетие; активно использованы мемуары Ю. Анненкова, Н. Бердяева, С. Франка и других.

Маомао. Мой отец Дэн Сяопин в годы «культурной революции». Перевод с китайского Е. Астрахан и других. М., «Консалбанкир», 2003, 568 стр., 3000 экз.

О Дэн Сяопине не как о великом реформаторе Китая, а как о слесаре на тракторном заводе провинциального Наньлчана, как о политическом ссыльном в годы «куль-

турной революции», десять лет (1966 — 1976) тренировавшего себя китайскими гимнастками и чтением древних философов для выполнения своей миссии в будущем, — в книге дочери «архитектора китайских реформ» Дэн Жун, отчасти мемуарной, отчасти напоминающей официозный исторический очерк, написанный в духе новейших — сочетающих верность учению Мао с устремленностью в капитализм — идеологических веяний современного Китая.

Современный городской фольклор. М., Российский государственный гуманитарный университет, 2003, 736 стр., 5000 экз.

Коллективная монография, подготовленная Научным семинаром Института высших гуманитарных исследований РГГУ, изучающим фольклорные традиции современного российского города. В сборнике участвуют более двадцати авторов, фольклористов и этнографов. Ответственный редактор С. Ю. Неклюдов. Из предисловия: «...русскую (и советскую) науку характеризует устойчивое разграничение собственно фольклора (под которым понимаются прежде всего вербальные тексты) и этнографии, включающей „материальную“ и „духовную“ культуры (к последней относятся народные верования, обычаи, обычновения, народное прикладное искусство и т. д.). За последние годы разграничение утрачивает свою категоричность...» Ориентацией на современное расширительное понимание термина *фольклор* и определялась схема его исследования в данной работе, «отраженная в композиции книги: традиции субкультур — ритуалы и обряды современного города — картина городского пространства — жанровый состав вербального фольклора — речевой обиход города». «В книге описывается большой фрагмент культуры, ранее незамечаемый либо в силу своей этической или политической табуированности, либо, напротив, в силу своей обыденности. Здесь нет какой-либо предварительной цензуры собранного материала...» Описываются и анализируются субкультуры молодежных сообществ, туристов, профессиональных программистов, студентов, курсантов, солдат срочной службы, заключенных; современный городской песенный фольклор, анекдот, альбомная традиция, городские граффити; сегодняшние родильные обряды, свадебные, похоронные и поминальные; киноцитаты и рекламные тексты в обыденной речи и т. д. Цитата: «Граффити — явление чрезвычайно древнее. Сохранившиеся стены античных и средневековых городов покрыты надписями. <...> Жители Помпеи, как и наши современники, писали о любви, сексе, политике, выражали свои симпатии или неприязнь либо просто оставляли на городских стенах свои имена. <...> Сотни граффити XI — XIII вв. найдены в Софийских соборах Киева и Новгорода, а также в других древнерусских храмах. Граффити на церковных стенах имеют в большинстве своем религиозное содержание <...> Тем не менее можно встретить надписи и вполне светские: „Пропил плащ, когда был тут“ (др.-рус. „Отпил крзу бы ту коли“»).

Жермена де Сталь. Десять лет в изгнании. Перевод с французского, вступительная статья и комментарии В. А. Мильчиной. М., О.Г.И., 2003, 532 стр. Мемуары.

Володя Тетельбойм. Два Борхеса. Жизнь, сновидения, загадки. Перевод с испанского Ю. Ванникова. СПб., «Азбука», 448 стр., 3000 экз.

Биография Борхеса, написанная известным чилийским писателем и сочетающая жанровые признаки биографического романа-эссе и литературоведческого исследования. Повествование строится на темах узловых, по мнению биографа; соотношение национального и интернационального, европейского и латиноамериканского в творчестве Борхеса, любовь к женщине в жизни и в творчестве Борхеса, отношение — достаточно противоречивое — к политике и политикам, Борхес и его город Буэнос-Айрес, взаимоотношения Борхеса со своим ремеслом, учителя и предшественники Борхеса и его самопозиционирование в современной и мировой литературе, взаимоотношения с философами, отношение к снам и т. д.

Леонид Юзефович. Песчаные всадники. М., Издательства «Зебра Е», «ЭКМО», «Деконт +», 2002, 224 стр., 7000 экз.

Новую книгу Леонида Юзефовича составили повесть «Песчаные всадники» о бароне Р. Ф. Унгерн-Штернберге и рассказы («Гроза», «Бабочка», «Колокольчик»).

Составитель **Сергей Костырко.**

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке библиографического раздела Книжной галереи «Нина» (ул. Большая Якиманка, дом 6, часы работы: 10.00 — 20.00, тел. 238-02-69).

ПЕРИОДИКА



*«Аргументы и факты», «Время MN», «GlobalRus.ru», «День литературы»,
«За нравственное возрождение Отечества», «Завтра», «Знание — сила»,
«Известия», «Книжное обозрение», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета»,
«Литературная Россия», «LiveJournal», «Митин журнал», «Москва»,
«Московские новости», «Московский литератор», «Наши современник»
«НГ-Религии», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета»,
«Новая Польша», «Новое время», «Новый Журнал», «Огонек», «Подъем»,
«Русская мысль», «Русский Журнал», «Rednews.Ru/Советская Россия»,
«Складчина», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Urbi et Orbi»*

Владимир Алейников. Самиздат моей эпохи. — «Литературная Россия», 2003, № 34, 22 августа <<http://www.litrossia.ru>>.

«Нет уже в живых Вадима Борисова, нашего Димы, Димки. А сколько замечательных текстов давал он тогда [в 60-е] мне, приехавшему из провинции и жадно набросившемуся на доступные наконец книги, на перепечатанные, тогда еще числившиеся в запретных, тексты. <...> Тогда, в шестидесятых, он был нашим лидером. Был он очень умен, очень образован, талантлив. Писать он мог все, кроме стихов. То есть стихи он тоже в состоянии был сочинить, и хорошие, и писал их при случае. Но он слишком хорошо понимал, что такое поэзия, кто такой поэт, — а потому и сознательно отстранялся. Не только я могу сказать, что это был один из лучших людей России, но и многие его современники и товарищи. Он был самостоятелен во всем и оригинален во всем. Немало его словечек, мыслей, даже интонаций в речи прижились среди нашей братии. Был он человек подвига, жертвенный человек, — и сам шел напрямую, сквозь опасности. Когда он, продолжая заниматься самиздатом, стал известным правозащитником, ему и его семье — а у него было четверо детей — немало пришлось хлебнуть горя. Он — не сдавался. Он работал за десятерых. Блестящий историк, которому не дали защитить диссертацию, он вынужден был заниматься всякой поденщиной, чтобы кормить семью. Он писал за других рефераты, переводил, брался за любую работу — и совершенно не шадил себя. От природы крепкий, здоровье свое он за десятилетия невротрепок растерял. Он не любил говорить о болячках. Отшучивался, отмахивался. Живейший ум его — ждал деятельности. Как-то я сказал ему совершенно серьезно:

— Дима, ты для меня человек уровня Чаадаева.

Он, тоже очень серьезно, посмотрел на меня и кивнул. Он это — запомнил. Невероятная, светлая его энергия была при нем до конца».

Максим Амелин. Игра в слова. Беседу вела Светлана Родина. — «Литературная Россия», 2003, № 37, 12 сентября.

«<...> я был потрясен видовым богатством. Чего мне не хватает в общей массе [выдвинутых на премию романов], так это языкового разнообразия, — говорит член Букеровского жюри, поэт и издатель **Максим Амелин.** Между прочим — лауреат Антибукера.

Михаил Ардов. «Шостакович — русский гений в чистом виде». Беседовал Андрей Мирошкин. — «Книжное обозрение», 2003, № 33, 18 августа <<http://www.knigoboz.ru>>.

«Я считаю, что Шостакович — это едва ли не лучший композитор в мире за все времена; во всяком случае, не хуже Баха и Бетховена. <...> Ведь его музыка будет жить столько, сколько будут существовать оркестры и музыкальная культура в целом».

См.: **Михаил Ардов,** «Книга о Шостаковиче» — «Новый мир», 2002, № 5, 6.

См. также: **Эрнст Неизвестный,** «Я буду говорить о Шостаковиче»; **Дмитрий Горбатов,** «Шостакович и „сермяжная правда“ музыки»; **Яков Рубенчик,** «Взгляд на Шостаковича с прищуром» — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 303, 22 декабря <<http://www.lebed.com>>.

Алексей Балабанов. «Сидя в яме, очень много понимаешь и узнаешь». Беседу вел Игорь Рябов. — «Новое время», 2003, № 35, 31 августа <<http://www.newtimes.ru>>.

«<...> если говорить в целом, они [чеченцы] действительно другие, как и все народы. Это идея всех моих фильмов. — *А в чем для вас русские* — „другие“? — Нет, я сказал, что чеченцы другие. Потому что я не считаю себя „другим“ из-за того, что я русский. Так же, как чеченец считает, что русские другие, — это у него надо спросить про русских».

«Мой семилетний сын, например, очень любит человека-паука. У него главный герой — человек-паук. Мне кажется это абсурдным, потому что я на других ценностях рос. Но я понимаю: бывает вот так. Я не считаю, что это плохо».

«У меня еще три года назад была идея сделать бронебойное матерщинное кино. Про школьников. Я считаю, что это будет очень круто. Сергей Сельянов сказал „нет“, нельзя. Нигде не пройдет, нигде не покажут. Это было три года назад, я шел по улице и слышал, как две девочки лет тринадцати, с портфелями, между собой разговаривают. У меня уши увяли. Причем язык яркий был, не какой-то тупой мат, было ясно, что они на этом языке разговаривают, это живое слово. <...> Скоро это станет абсолютно легализованным. Просто для русского сознания это немножко тяжело. У следующего поколения уже в газетах будут такие слова».

О фильме Балабанова «Война» см. новомирское «Кинообозрение Натальи Сиривли» (2002, № 7).

Владимир Баранов. Будущего не будет. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 336, 10 августа <<http://www.lebed.com>>.

«Да, собственно, и сам роман [С. Витицкого/Бориса Стругацкого „Бессильные мира сего“] тоже утилизирует неизвестную современному российскому читателю интеллигентскую мифологию и эстетику „совка“ 60-х, адаптируя ее к понятиям и вкусам новой генерации».

См. также: «<...> в романе [„Бессильные мира сего“] с некоторыми коррективами использована та испытанная модель, которая работала во всех сочинениях Стругацких, ставших уже классическими. Однако применение ее к реалиям сегодняшнего дня дало сбой. <...> Неудача романа Бориса Стругацкого еще раз доказывает потребность в полноценном реалистическом романе, в котором главной была бы не старая соцреалистическая (в истоках — сказочная) проблема искоренимости/неискоренимости зла и создания нового, совершенного человека (которая всегда и волновала Стругацких, писателей вполне сказочных и одновременно соцреалистических), а изображение его настоящих, глубинных причин. <...> В итоге я так и не понял, зачем Стругацкому, давно возведенному в ранг классика, надо было менять стратегию литературного поведения и втягиваться в актуальный литпроцесс. Вместо того чтобы загадочно молчать», — пишет **Михаил Золотоносов** («Преступление Гришки-Ядозуба» — «Московские новости», 2003, № 34 <<http://www.mn.ru>>).

См. также: **Михаил Абельский**, «Быть или не быть богом» — «Лебедь», 2003, № 337, 17 августа.

См. также: **Константин Крылов**, «Проклятая свинья жизни» — «Консерватор», 2003, № 17, 23 мая.

Сергей В. Бирюков. Долгое эхо августа, или Преодоление постмодерна. — «Русский Журнал», 2003, 21 августа <<http://www.russ.ru/politics/agenda>>.

«<...> „наследие августа“ сегодня очень актуально для тех, чей экономический и политический капитал подпитывается ситуацией управляемого (до известной степени) системного кризиса в России — значительной части политической и бизнес-элиты, криминалитета, либеральной интеллигенции, а также адаптированных к условиям модернизации массовидных слоев и групп. В то же время данное наследие <...> объективно препятствует интересам развития и выживания российского социума».

Пользуясь случаем, хочу — со значительным опозданием — отметить статью **Сергея В. Бирюкова** «Техника и судьба. Обзоры периодики Андрея Василевского как гипертексты» в парижской газете «Русская мысль», 2003, № 4439, 16 января <<http://www.rusmysl.ru>>.

Михаил Бойко. Как я стал либералом. — «НГ Ex libris», 2003, № 29, 21 августа <<http://exlibris.ng.ru>>.

Неудачная (и запоздавшая) пародия на манифест Дмитрия Ольшанского «Как я стал черносотенцем, или Упромысливать, гнобить и не петюкать» («Ex libris НГ», 2002, № 13, 11 апреля).

См. также: «Не стыжусь и не хвастаюсь, что не читал ни единой строчки данного оборотня [Дмитрия Ольшанского] — надо надеяться, без погон? — и сведения об очередной имитации напряженной духовной жизни черпаю из библиографического обзора журнала „Новый мир“», — пишет **Станислав Рассадин** («Процесс ушел?» — «Новая газета», 2003, № 60, 18 августа <<http://www.novayagazeta.ru>>).

Владимир Бондаренко. Курский шлемоносец Евгений Носов. — «Завтра», 2003, № 35, 27 августа <<http://www.zavtra.ru>>.

«Евгений Иванович Носов — самый яркий пример того народа, который мужественным молчанием своим, молчаливым делом своим, слиянностью с природой уже, может быть, столетия живет, минуя всяческие власти <...>».

См. также: **Валентин Курбатов**, «Как все...» — «Литературная Россия», 2003, № 32, 8 августа <<http://www.litrossia.ru>>.

Владимир Варавя. «Спасители вселенной». Детство в русской философской культуре. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 6 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

«В этом Платонов — прямой наследник Достоевского, веривший в конечном итоге не в силу рабочего труда и научного прогресса, а в бесконечную метафизическую мощь детства, выявленную Евангелием».

Юрий Васильев. Мама-шансонетка. Интервью с Диной Рубиной. — «Московские новости», 2003, № 33 <<http://www.mn.ru>>.

Ю. В.: «Но почему нынешний антисемитизм при таких-то традициях — действительно прибежище бездарей? Нет среди них нового Гоголя, Достоевского, Чехова или Куприна. Один [композитор Георгий] Свиридов — судя по недавно изданным дневникам».

Дина Рубина: «Не читала. Впрочем, дневники — это личное дело каждого человека. В отличие от общественно-ксенофобской деятельности, омерзительной во всех проявлениях. <...> Давайте-ка проживем лет тридцать — пятьдесят. Вполне возможно, что в опубликованных дневниках замечательных людей мы с изумлением — или со смущением — обнаружим что-то подобное. И выясним, что и в наше время были весьма талантливые антисемиты».

Андрей Волос. «Жизнь на бумагу ложится нелегко». Беседу вел Александр Неверов. — «Труд», 2003, № 149, 15 августа <<http://www.trud.ru>>.

«Страна [СССР] развалилась — это более или менее очевидно. Лично меня это не удивляет, потому что все, когда-либо появившееся на свет, должно однажды этот мир покинуть. Это относится ко всему существу: весне, снегу, империям, идеям, неприятностям и даже к нам самим, как ни печально это признавать. <...> Существует миф о том, что СССР распался в результате того, что три лидера, собравшись в Беловежской Пуще, подписали некую декларацию. Это далеко, очень далеко не так. Я хорошо знаю Таджикистан и могу сказать по крайней мере об этой республике: центробежные силы в ней были чрезвычайно велики и питались желаниями и чаяниями огромных масс людей. <...> Положение русских в Таджикистане хорошо описывалось формулой „в чужом пиру похмелье“. В ситуации, когда тебя самого специально не бьют, но вокруг идет такая молотьба, что, того и гляди, по нечаянности сорвут голову, — тоже хорошего мало. В Таджикистане была большая война, оставшаяся нам неизвестной».

Анри Волохонский. Рассуждения о поэме Николая Заболоцкого «Рубрук в Монголии». — «Митин журнал», 2003, № 61 <<http://www.mitin.com/mj61>>.

«<...> обратил внимание на какую-то странную глухоту по отношению именно к его этим стихам, к поэме „Рубрук в Монголии“. Хотя они изданы миллионным тиражом, но по-настоящему обоснованные оценки встретишь едва ли». Среди прочего — Сталин: «Наполнив грузную утробу / И сбросив тяжесть портупей, / Смотрел здесь волком на Европу / Генералиссимус степей».

См. также: **Татьяна Игошева,** «Восток и запад в поэме Н. Заболоцкого „Рубрук в Монголии“» — «*Urbi et Orbi*». Проект молодого искусства. Великий Новгород <<http://urbietorbi.narod.ru>>.

Владимир Гандельсман. Прошу тишины. Беседовала Майя Кучерская. — «Русский Журнал», 2003, 22 августа <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Поэтические школы, наверное, кончились в начале прошлого века. Если же Вы имеете в виду „ленинградскую“ школу, то я ее не заканчивал. Есть такая интеллигентская манера писать стихи для интеллигентных барышень либо манера этих барышень писать стихи, скажем, об архитектуре Петербурга и ахать, — вероятно, это и есть „ленинградская“ школа: взяться за ручки и пойти вдоль Фонтанки («Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...» А. Кушнера. — А. В.), посасывая какую-нибудь метафизическую конфетку. Я не мог принадлежать этой „школе“ хотя бы потому, что моим кумиром был поэт московский [Пастернак]».

«Мое поколение прожило без „аудитории“ 25 лучших лет жизни, тех лет, когда признание и успех могут осчастливить, потому что вы молоды».

«В Нью-Йорке нарушены права человека на тишину».

См. также: **Олег Вулф,** «Русский поэт в североамериканском контексте птиц» — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 334, 27 июля <<http://www.lebed.com>>.

Владимир Гусев. Речь перед студентами [Литературного института] 1-го сентября. — «Московский литератор». Газета Московской городской организации СП России. 2003, № 18, сентябрь.

«После всех передрыг этих полутора десятков лет молодой литератор стоит перед проблемой заново в принципе определить для себя, как соотносится искусство с политикой <...>».

«Проблема поколений ныне заново обострилась, причем в ином плане, чем это бывало ранее. Есть проблема *вины* старших (но не военного, то есть самого старшего!) и средних поколений, есть проблема поведения самой молодежи».

Михаил Давидов. Дело номер тридцать семь. Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние «злого» гения и «доброго» злодея. — «Москва», 2003, № 7, 8 <<http://www.moskvam.ru>>.

«Михаил Юрьевич имел маленький рост, некрасивую фигуру, с очень большой головой и непомерно широким туловищем, выраженный кифоз (горб) из-за врожденной и приобретенной деформации шейного и грудного отделов позвоночника, был кривоног и страдал хромотой. Грудная клетка Лермонтова была деформирована от врожденного уродства костей и неправильного их развития в результате рахита...»

Майкл Дирда («*The Washington Post*). Утрата языкового разнообразия — угроза нашему будущему. Перевод И. Н. Фридмана. — «Русский Журнал», 2003, 18 августа <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>.

«Прежде всего [Эндрю] Долби опровергает [в своей книге «*Language in Danger*»] распространённое мнение, что наличие языка-посредника резко уменьшает, а то и сводит на нет опасность глобальных конфликтов. <...> Главный тезис автора состоит в том, что люди всегда будут учить своих детей тому языку, который они считают языком власти».

Иван Ефимов. На сельской ярмарке в Вултоне. — «*Urbi et Orbi*». Проект молодого искусства. Главный редактор Александр Соковнин. Великий Новгород <<http://urbietorbi.narod.ru>>.

«[Джон] Леннон по сей день остается неоткрытым для широкого читателя».

«<...> следует предупредить читателя о принципиальной непереводаемости текстов Леннона на русский язык <...>».

«Стихотворения Леннона столь же маразматические, псевдотрагические, циничные и забавные, как и проза».

Отар Йоселиани. Прощание с невинным ремеслом комедианта. — «Новая газета», 2003, № 54, 28 июля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Пощечина в кино всегда настоящая, и актеру по-настоящему больно. Вообще любое прикосновение — ласка, поцелуй или раздевание догола перед камерой, да еще в присутствии всей съемочной группы, — есть грубое вторжение в интимные пределы человеческой личности, и невозможно причислить к профессиональным навыкам отсутствие целомудрия — актеру и больно, и стыдно. <...> Сознание, что все интимные стороны своего эго он вынужден делать достоянием посторонних людей, накладывает тяжелый отпечаток на душу актера и не может не раскатать его психику. Потеря личности — явление необратимое; годами практикуя это неестественное новое ремесло, киноактер теряет знание о себе, а не зная, кто он такой, потеряв чувство меры, человек может сделать практически все — и в быту, и в кино».

См. также беседу **Отара Йоселиани** с Валерием Мастеровым («Московские новости», 2003, № 32 <<http://www.mn.ru>>): «Из моего опыта следует, что свободного мира как такового не существует. Мы все время от чего-то или кого-то зависим. И некуда деться на этом свете. И уйти от повседневности практически невозможно. Тем более от самого себя. С детства слышим от взрослых: хорошо там, где нас нет. А убеждаемся в этом только на своей шкуре. <...> я не выношу американского вкуса, образа мысли, который тебе навязывают. Я представляю Америку огромным детским садом, в котором множество безответственных людей. Ну что это такое: президент пальчиком погрозил, и вся страна перестает курить. Кошмар какой-то. (*После этих слов Йоселиани достал очередную сигарету и сладко затянулся.*)»

Денис Иоффе. От Блока к Хармсу — пертурбации «текста жизни» и «текста поэзии». К вопросу об одном физиологическом подтексте феномена *жизнетворчества*. — «Митин журнал», 2003, № 61 <<http://www.mitin.com/mj61>>.

«Нас <...> будет интересовать отнюдь не формирование и описание Общей Теории Сексуальности рассматриваемых авторов, но лишь один специфический мотив, лишь одно примечательное свойство „жизненно-творческой“ поэтики как Хармса, так, по нашему мнению, и Блока. Мы заранее просим наиболее чопорных коллег набраться изрядного запаса толерантности и терпения, ибо речь пойдет о материях наиделикатнейших, в частности о таких, которые „академическая бумага“ терпит с изрядным трудом». В частности о том, что такое — *Ночная Фиалка*.

Руслан Киреев. Лев Толстой. Арзамасский ужас. — «Литература», 2003, № 32, 23 — 31 августа <<http://www.1september.ru>>.

Эссе из книги «Семь великих смертей».

Здесь же: **Игорь Золотусский**, «Толстой читает „Выбранные места из переписки с друзьями“»; и *другие материалы к 175-летию Льва Толстого*.

См. также — из книги «Семь великих смертей»: **Руслан Киреев**, «Чехов. Посещение бога» — «Литература», 2002, № 38, 8 — 15 сентября; «Гоголь. Талызинский особняк» — «Литература», 2003, № 10, 8 — 15 марта.

См. также: **Руслан Киреев**, «Вокруг Толстого. Заметки читателя» — «Литература», 2003, № 15, 16 — 22 апреля.

Кольбельная для муравейника. Материал подготовили Дмитрий Соколов-Митрич и Татьяна Путьгина. — «Известия», 2003, № 145, 14 августа <<http://www.izvestia.ru>>.

Говорит **Наталья Маркова**, руководитель Центра коммуникативных исследований Института социально-экономических проблем народонаселения РАН: «Наркотик как товар имеет характеристики, о которых мечтает производитель любого продукта. Эйфория, возникающая при потреблении, быстро превращается в жизненную необходимость и гарантирует повторную покупку. Единственный минус — быстрая смерть потребителя. Поэтому наркомаркетинг, законы которого ничем не отличаются от системы продвижения любого другого товара. <...> Невозможно продавать наркотики, рекламируя их как средство самоубийства (что является истиной). Существует несколько типов мифического позиционирования, привязанного к потребностям: наркотики как средство от депрессии, средство усиления сексуального наслаждения, средство расширения подсознания и т. д. Каждый тип позиционирования имеет грандиозный *promotion* в СМИ, кинематографе, литературе, но практически неприметен неспециалисту. <...> Я занимаюсь социологией, изучаю воздействие информации на человека и общество и могу лишь констатировать, что на территории России осуществляется хорошо построенная драгмаркетинговая кампания. Ее методы выработаны западной прикладной наукой. Следовательно, и заказчики — не таджики с афганцами. Пропаганда наркотиков, сексуальная революция, дробление общества на субкультурные группы — это традиционные методы регулирования численности населения, используемые в перенаселенной Европе с середины XX века, и эти цели вполне совместимы с получением прибыли от наркотиков».

См. также: **Татьяна Бутурлина**, **Павел Клубков**, «Что делать со скинхедами?» — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 21 августа <<http://www.globalrus.ru>>; «Раз скинхеды существуют и в них есть нужда, как в некоем направляемом карающем органе, то борьба с ними станет шлепаньем левой ладони по правой. <...> Бритоголовые хотят избивать торговцев? — пусть избивают. Но не всех, конечно, а, к примеру, драгдилеров, причем независимо от цвета их кожи. Пусть одно зло борется с другим. Ведь известны лица, рулящие скинхедскими командами, почему бы не раздать им задания, купив кого надо и как надо? <...> Глупо было бы предлагать бритоголовым переводить бабушек через дорогу и вообще тимурствовать, нужна борьба, которая покажется им героической, но только с другим знаком. Наркотоновец — преступник. Избиение виновного принципиально отличается от избиения невинного в первую очередь для самих избивающих: они уже не звери бессмысленные, не беспредельщики, а почти что воины. <...> Избивать людей плохо в любом случае и в любом случае противозаконно. Но законность все равно не восторжествует над понятиями, по крайней мере у бритоголовых. Поэтому в который раз надо выбрать меньшее зло».

Анатолий Копейкин. Две жизни Семена Бычкова. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 6.

Из Красной Армии — в РОА.

«**Кошунство должно быть наказуемым**». Беседу вел Алексей Лампси. — «НГ-Религии», 2003, № 14, 20 августа <<http://religion.ng.ru>>.

Говорит протоиерей **Александр Шаргунов**: «Сейчас под вывеской свободы слова, свободы совести происходит финансирование российской „церкви Сатаны“. <...> Особенно возмутительно использование в них [коллажах на выставке «Осторожно, религия!】 освященных икон. Для нас не имеет значения, что они были „ширпотребными и грошовыми“, как писали защитники выставки. Для верующих любая икона — святыня, оценивающаяся не деньгами, а Кровью Христовой. Как не имеет значения, деревянный храм или каменный. Поэтому надругательство над освященными иконами абсолютно тождественно уничтожению храмов».

Здесь же — точка зрения директора Сахаровского центра **Юрия Самодурова**: «С моей точки зрения, самыми интересными и талантливыми [на выставке «Осторожно, религия!】 были работы, подвергшиеся самой большой критике. Например, рекламный плакат Косолапова со стилизованным изображением Христа, надпись «*This is my blood*» и банкой кока-колы. Художник выразил свою неприязнь к деятельности тех, кто любой ценой пытается навязать людям свой товар или идею. <...> Это может оскорбить

чувства верующих только в том случае, если они не понимают смысла созданного художником».

См. также на сайте <<http://www.sakharov-center.ru>> «Особое мнение директора Музея и центра имени Андрея Сахарова» **Юрия Самодурова**: «Как директор и на основе своего опыта работы я думаю, что независимо от намерений участников выставки *неискусственными в искусстве или воспитанными на классическом наследии* (курсив мой. — А. В.) людьми она может быть понята и превратно — как кошунственная или издательская по отношению к религии...»

См. также: **Муфтий Фарид Салман** (заместитель Председателя Центрального духовного управления мусульман России по информационному взаимодействию), «Открытое заявление по ситуации вокруг выставки „Осторожно, религия!“» — сайт Общественного комитета «За нравственное возрождение Отечества» <<http://www.komitee.r2.ru>>; «Ненависть и религиозную нетерпимость к православному христианству, издательское глумление над почитаемым и в Исламе пророком Исой (Иисусом Христом) нельзя оправдать никакой свободой искусства и убеждений. <...> Мы считаем недопустимым существование в России двойных стандартов у органов прокуратуры, которые немедленно реагируют на факты [оскорбления] религиозных чувств представителей одних религий и совершенно игнорируют глумления над чувствами верующих других религий (Ислама, Христианства)».

Владимир Крупин. Положить злу предел. — «Литературная газета», 2003, № 35, 27 августа — 2 сентября <<http://www.lgz.ru>>.

«А потом ворвались покемоны, нечистые духи преисподней».

Константин Крылов. Право владеть. — «Спецназ России». Газета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 2003, № 8, август <<http://www.specnaz.ru>>.

«Оправдать [российскую] приватизацию невозможно. Ее можно только утвердить силой (то есть передать вора и разбойникам всю власть в стране, чтобы они могли оборонять свои пожитки штывками, возможно иностранными) — или отменить».

Анна Кузнецова. «Шедевр» патологоанатома. — «Русский Журнал», 2003, 1 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«„Лето в Бадене“ Леонида Цыпкина (М., «Новое литературное обозрение», 2003) — роман плохой, об этом много говорилось. Писатель-дилетант создал текст-паразит, используя как канву досконально изученный эпизод известнейшей биографии [Достоевского] <...>. <...> восторги Сьюзан Зонтаг безосновательны: вещь беспомощная, дилетантская».

Ср. <...> если [Сьюзан] Зонтаг сравнивает роман Цыпкина с Пастернаком, а не с кем-то из современных русских писателей, то это потому, что современные русские писатели ей, как и всякому западному интеллектуалу, скорее всего, неизвестны. <...> мнения Зонтаг [оказались] достаточно, чтобы русский роман, не имеющий отношения ни к политике, ни к Нобелевской премии, прочитали на Западе за пределами славистских резерваций, — чего в последние сто лет почти не случалось», — пишет **Андрей Степанов** («Читайте Цыпкина!» — «Русский Журнал», 2003, 3 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>). Он же: «Любовь-ненависть еврея Цыпкина к антисемиту Достоевскому приводит к тому, что „Федя“ романа нарисован точно так, как Федор Михайлович изображал своих „жидов, жидков, жидишек и жиденят“ <...>». Он же: «Глубокая и трагическая книга. Благородный поступок Сьюзан Зонтаг. Честный труд Андрея Устинова, подготовившего текст и написавшего отличное послесловие. Некомпетентность Анны Кузнецовой».

О романе «Лето в Бадене» см. также: **Татьяна Сотникова**, «Неграндиозное чувство» и **Борис Крамер**, «Высота» — «Русский Журнал», 2003, 27 мая <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; **Маргарита Меклина**, «Какой прощляли шедевр!» — «Критическая масса», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

Юрий Кузнецов. Во тьме Ада. С известным русским поэтом беседует **Владимир Бондаренко**. — «Завтра», 2003, № 33, 13 августа.

«Вводить в жизнь Христа любовную линию — безумие для богослова, но не для поэта. Поэт всегда прав — эту истину я знал давно. Я ввел любовную линию, чем оживил поэму».

«Мое воображение сковывал канон, пришлось его поэтизировать. В Евангелиях поэзии мало».

«Возьмем Гоголя. Его Тарас Бульба — могучий герой, но погиб он из-за пустяка — потерял люльку. Это похоже на Гоголя. Так он из-за пустяка рассорил Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Я решил поправить Гоголя. Тарас Бульба не нашел свою

люльку потому, что она провалилась в ад и нечистая адская сила задержала его на месте, а тут и ляхи подоспели. Вот какую глубину дала моя поэма гоголевскому „пустяку”».

«У нынешних критиков нет соответствующего культурного инструментария, чтобы работать над моей поэмой. Они копошатся в литературной пыли, а поэма требует от читателя и критика большой культуры и знаний».

Поэмы Юрия Кузнецова об Иисусе см.: «Наш современник», 2000, № 4, 9; 2001, № 2; 2002, № 12 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

См. также подборку стихотворений Юрия Кузнецова «Дух мой не убит» — «Литературная Россия», 2003, № 33, 15 августа <<http://www.litrossia.ru>>; про *нулю-дуру*: «Вот она! Горячая и злая. / На лету поймал ее в кулак. / — Здравствуй, дура! Радость-то какая! — / И в ответ я слышу: — Сам дурак!»

См. также: Юрий Кузнецов, «Прозрение во тьме» — «Наш современник», 2003, № 9; «День литературы», 2003, № 9, сентябрь; «Завтра», 2003, № 37, 10 сентября <<http://www.zavtra.ru>>.

См. также: Олег Дорогань, «Между миром и Богом. В защиту Юрия Кузнецова» — «День литературы», 2003, № 8, август.

Лев Куклин. Казус Улицкой. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

«Короче говоря, и Фрейд, и Улицкая предназначены не для счастливых...»

Здесь же: Евгения Щеглова, «О спокойном достоинстве — и не только о нем. Людмила Улицкая и ее мир».

См. также новый роман Людмилы Улицкой в следующем номере «Нового мира».

Александр Лейфер. Друзья мои от Омска до Читы... Штрихи к портрету Вильяма Озолина. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2003, № 4 (10), август.

«Не лезь, Саша, в споры с „бондаревцами”. В конце-то концов теперь народ пойдет за теми книгами, которые написаны талантливо, а говорить любую чушь ныне не запретишь, что и хорошо, с одной стороны, и плохо, т. к. негодяи чувствуют себя безнаказанными» (из письма Вильяма Озолина к Александру Лейферу от 16 июля 1995 года). В более полном виде текст книги печатается в журнале «Сибирские огни».

Игорь Мардов. Лев Толстой. Поприще духовной жизни. — «Знание — сила», 2003, № 8 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

Две главы из книги «Лев Толстой. На вершинах жизни». «Толстой всей душой, как родного себе по духу, любил Иисуса Христа и верил ему (курсив мой. — А. В.)». Да, не часто попадают такие фразы.

См. также: Вольфганг Казак, «Да, смерть — пробуждение!» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 232 <<http://magazines.russ.ru/nj>>; умирание и смерть в творчестве Льва Толстого.

См. также почему-то не датированное, но от этого не менее интересное письмо Мариана Здзеховского Льву Толстому: «Новая Польша», Варшава, 2003, № 7-8 (44), июль — август; и здесь же — отрывок из эссе Чеслава Милоша «Религиозность Здзеховского» (1943) в переводе Анатолия Ройтмана.

См. также: Андрей Немзер, «То, что называется фугой. Сто семьдесят пять лет назад родился Лев Толстой» — «Время новостей», 2003, № 167, 9 сентября <<http://www.vremya.ru>>.

Маша Мериль. «Женщина уходит от мужчины, чтобы встретить кого-то лучше...» Брутальный секс и новая свобода «феминисток XXI века». Беседу вела Екатерина Богопольская. — «Русская мысль», Париж, 2003, № 4468, 7 августа <<http://www.rusmysl.ru>>.

Говорит французская актриса Маша Мериль (Мария-Магдалина Владимировна Гагарина), написавшая автобиографию «*Biographie d'un sexe ordinaire*»: «Я с большим удивлением наблюдаю, что с годами, старея, чувствую себя как женщина все более счастливой. И это состояние внутренней гармонии я могу передать мужчине, я могу дать моему спутнику что-то, что просто помогает жить. <...> Нет, в самом деле, настоящая любовь возможна только с пятидесяти лет. До этого происходит строительство личности».

Зоя Мозалева (Рязань). Рассказ поселился в музее. В Рязани открыт музей, посвященный одному из произведений Александра Солженицына. — «Труд», 2003, № 150, 16 августа.

«<...> в колледже электронных приборов появился музей, посвященный рассказу Александра Солженицына „Для пользы дела”. В основе этого произведения — реальная история о том, как у техникума электронных приборов был отобран корпус студенческого общежития. <...> В 1963 году рассказ „Для пользы дела” был опубликован в журнале „Новый мир” [№ 7]. Появление музея — заслуга московского литературоведа и

журналиста Н. Ледовских и руководителя рязанского литературного объединения „Переславль” В. Крылова. <...> Одновременно с открытием музея на здании колледжа появилась мемориальная доска. Александр Исаевич прожил в Рязани не один год. Мемориальными досками были отмечены здесь пока только два места — дом на улице Урицкого, где он жил, и гимназия № 2, где работал».

«Пока ты не святой — будь образованным». Беседы митрополита Суражского Антония (Блума) были глотком воздуха для российских интеллигентов. — «Известия», 2003, № 167, 13 сентября.

Фрагменты бесед.

Ольга Разводова. Родина против чужбины. По страницам военной прозы А. Твардовского. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 6.

«<...> именно эта книга [„Родина и чужбина”] наиболее полно и явно выражает основы мировоззрения великого поэта».

Виктор Розов. «Спасибо людям...» Беседу вел Владимир Бондаренко. — «День литературы», 2003, № 8, август <<http://www.zavtra.ru>>.

«Владимир Бондаренко: <...> О чем вы хотели, но по разным причинам так и не написали?»

Виктор Розов: Хотел написать пьесу о 30-х годах.

В. Б.: Вы говорите о трагедии 30-х годов? О той несправедливости, которая обрушилась на крестьянство, на духовенство, на интеллигенцию?

В. Р.: Не только тяжело было. Но и хорошо было. Оптимизм был в обществе».

Эта же беседа: «Завтра», 2003, № 34, 20 августа.

Михаил Ромадин. Когда идет проливной Рейн. — «Литературная газета», 2003, № 36, 3 — 9 сентября.

«[Евгений] Рейн — консерватор».

«Я бы причислил Рейна к художникам какой-то фигуративной школы, только затрудняюсь сказать, к какой».

Автор статьи — народный художник России.

Андрей Румянцев. Драматург на все времена. — «Москва», 2003, № 8.

Дотошное выискивание фактических ошибок в статьях и книгах о Вампилове.

См. также: **Андрей Румянцев**, «Александр Вампилов: студенческие годы» (Иркутск, 1993).

Геннадий Русаков. Поэзия — горчайшее счастье. Беседу вела Елена Константинова. — «Труд», 2003, № 151, 19 августа.

«Почему вы упорно пишете слово „Бог” со строчной буквы? — Во-первых, я, как и большинство в моем поколении, так писал это слово всю жизнь. Для перехода к заглавной букве необходимо иное ощущение мира и себя в нем. Это не просто орфография. Во-вторых, заглавная буква сразу меняет отношения подчиненности между нами: он „Бог”, на которого я гляжу снизу вверх, как муравей на забор, понимая свою ничтожность. Тем самым я лишаю себя права „разговора” с ним, как говорится, на равных. Понятно, что я ему не ровня, дело не в словах. Так ребенок понимает, что он не равный взрослому человеку, но это не лишает его права спорить с ним, обижаться на него. В-третьих, это мой бог, и другого для меня не существует...»

См. также: **Геннадий Русаков**, «Разговоры с богом» — Томск — Москва, «Водолей Publishers», 2003.

См. также: «Стихи, которые после подобной встряски [смерти жены] стал писать Геннадий Русаков, позволили заговорить о нем как о большом поэте на основании нескольких опубликованных [в „Знамени”] подборок [„Разговоры с богом”]», — пишет **Анна Кузнецова** («Жизнь после жизни» — «Русский Журнал», 2003, 25 августа <<http://www.russ.ru/kgug>>); из текста статьи непонятно, знакома ли Анна Кузнецова с «прежними» стихами Геннадия Русакова, в частности с замечательной книгой «Длина дыхания» (М., «Советский писатель», 1980).

См. также: **Сергей Арутюнов**, «Рассвет вечеряющий» — «НГ Ex libris», 2003, № 30, 28 августа <<http://exlibris.ng.ru>>; **Владимир Славецкий**, «Голошение» — «Новый мир», 1998, № 1; **Владимир Цивунин**, «Горькая дерзость Геннадия Русакова» — «Новый мир», 2003, № 3.

См. также: **Геннадий Русаков**, «Как страстен этот мир, как солью саднит губы! Из книги „Стихи Татьяне» — «Дружба народов», 2003, № 8 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>; «Стихи Татьяне» — «Знамя», 2003, № 8 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Дмитрий Сахаров. «Моего отца свела в могилу Елена Боннэр!» Беседу вела Ольга Ходаева. — *«Rednews.Ru/Советская Россия»*. Информационно-политический портал. 2003, 18 августа <<http://www.rednews.ru>>.

Говорит **Дмитрий Сахаров**, сын Андрея Сахарова и его первой жены Клавдии Алексеевны Вихиревой: «Когда умерла мама, мы некоторое время продолжали жить вместе — папа, я и сестры. Но после женитьбы на Боннэр отец ушел от нас, поселившись в квартире мачехи. <...> Таня к тому времени вышла замуж, мне едва исполнилось 15 лет, и родителей мне заменила 23-летняя Люба».

Он же вспоминает про то, как Сахаров объявил вторую по счету голодовку, требуя, чтобы правительство выдало разрешение на выезд за границу невесте сына Боннэр — Лизе: «В те дни я приехал в Горький, надеясь убедить отца прекратить бессмысленное самоистязание. <...> Между прочим, Лизу я застал за обедом! Как сейчас помню, она ела блины с черной икрой. Представьте, как мне стало жаль отца, обидно за него и даже неудобно. Он, академик, известный на весь мир ученый, устраивает шумную акцию, рискует своим здоровьем — и ради чего? Понятно, если бы он таким образом добивался прекращения испытаний ядерного оружия или требовал бы демократических преобразований... Но он всего лишь хотел, чтобы Лизу пустили в Америку к Алексею Семенову. А ведь сын Боннэр мог бы и не драпать за границу, если уж так любил девушку. У Сахарова сильно болело сердце, и был огромный риск, что его организм не выдержит нервной и физической нагрузки. Позже я пробовал говорить с отцом на эту тему. Он отвечал односложно: так было нужно. Только вот кому? Конечно, Елене Боннэр, это она подзуживала его. Он любил ее безрассудно, как ребенок, и был готов ради нее на все, даже на смерть. Боннэр понимала, насколько сильно ее влияние, и пользовалась этим. Я же до сих пор считаю, что эти шоу сильно подорвали здоровье отца. Елена Георгиевна прекрасно знала, насколько голодовки губительны для папы, и прекрасно понимала, что подталкивает его к могиле».

Далее интервьюер Ольга Ходаева пишет, что после того, как дети, зять и невестка Боннэр один за другим уехали за рубеж, эмигрировать хотел и Дмитрий, но *отец и мачеха* сказали, что не дадут ему разрешения на выезд из Союза. Дмитрий Сахаров объясняет это так: «<...> похоже, мачеха боялась, что я могу стать конкурентом ее сыну и дочери, и — самое главное — опасалась, что откроется правда о настоящих детях Сахарова. Ведь в таком случае ее отпрыскам могло достаться меньше благ от зарубежных правозащитных организаций. А отец слепо шел у жены на поводу».

Солидарность по-постсоветски. Беседу вела Ирина Прусс. — «Знание — сила», 2003, № 7.

Говорит социолог **Светлана Климова**, которая в начале 90-х годов работала в фонде, созданном американской Ассоциацией профсоюзов в помощь нашим свободным профсоюзам: «Пик рабочего движения пришелся на 1989 — 1991 годы, когда шахтеры выступали „за вашу и нашу свободу“. Именно эта волна забастовок и стачек вывела демократов к власти. А потом оказалось, что свобода ваша, но совсем не наша, что рабочим от демократических преобразований, за которые они выступали, стало хуже, а не лучше. <...> Рабочее движение фактически к 1993 году уже кончилось, остались только отдельные изолированные островки».

Егор Холмогоров. О детях и русской мести. — *«George Holmogorov's LiveJournal»*, 2003, 24 августа <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>.

«Так сказать, „отвести душу“ (это, кстати, наиболее точное описание формулы русской мести — не выпить крови врага, не преподать урок, а именно отвести душу, заставить заплатить за то напряжение, которое враг создал в процессе приведения его в кондицию). Собственно, „отводящие душу“ по обидчикам русские — это будет страшно. Хотя и одновременно, до разрядки одного напряжения <...>. У нас существует определенный алгоритм „народного мщения“ и существует государственная традиция причинения неприятностей врагам. Главное — *не мешать* им реализовываться, не накладывать искусственных ограничений, а эту традицию развивать. Думаю, что если бы этих ограничений не было, то пошагидить на нашей территории желающих бы не нашлось».

См. также: **Егор Холмогоров**, «Тотальная мобилизация. Выпуск 1. Помни войну!» — «Русский Журнал», 2003, 17 июля; «Тотальная мобилизация. Выпуск 2. Мобзаявка» — «Русский Журнал», 2003, 24 июля; «Тотальная мобилизация. Выпуск 3. Удавка шахида» — «Русский Журнал», 2003, 1 августа <<http://www.russ.ru/politics>>.

Виктор Шибанов (г. Ижевск). Лики и отражения. — «Литературная Россия», 2003, № 36, 5 сентября.

Удмуртский этнофутуризм как могильщик постмодернизма.

См. также: **Виктор Шибанов**, «Зигзаги современности, или Ростки этнофутуризма в удмуртской литературе» — «Литературная Россия», 2002, № 37, 13 сентября <<http://www.litrossia.ru>>.

Николай Шмелев. «Пустыня мертвая. И небеса над ней...» — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 7.

Мемуарные зарисовки, некоторые — весьма выразительные.

Это критика. Выпуск 14. Беседу вел Михаил Эдельштейн — «Русский Журнал», 2003, 18 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>.

Говорит **Павел Басинский:** «Я категорический противник идеи литературы для литературы. Когда я слышу, что литература избавилась от несвойственной ей роли, мне хочется спросить: а кто знает, какая роль литературы, кто это определил? Со всех сторон раздается: „Наконец-то литература займется сама собой”. Но представьте себе женщину, которая говорит: „Ой, как хорошо! Ушел муж, умерли дети, теперь я займусь сама собой”. Ну и что она будет делать? Сидеть перед зеркалом и краситься? А если литература — это часть жизни, то, следовательно, она может приносить жизни пользу или вред».

«Давайте сначала согласимся, что культура запретов создает культуру вообще. Каким образом — это следующий вопрос. Например, я говорю: необходима цензура. Меня спрашивают: а кто ее будет осуществлять? Так вот и давайте думать: кто, как, в каких пределах?»

«<...> появившись сегодня новый Юрий Казаков, первоклассный, глубокий прозаик-реалист, то он остался бы маргиналом, имеющим свою достаточно узкую аудиторию. Ну, получил бы он премию имени Юрия Казакова, и на этом его известность закончилась. А реально все равно читали бы Маринину, Акунина, Пелевина».

«Советский человек, которого сейчас принято считать уродом, был умнее и тоньше сегодняшнего человека».

Борис Якеменко (первый заместитель руководителя Общероссийской общественной организации «Идущие вместе»). Нежданность скандала. — «Литературная газета», 2003, № 35, 27 августа — 2 сентября.

«<...> [Виктор Ерофеев] дал интервью серьезному изданию — газете „Ди Вельт”. Речь в нем идет только об организации „Идущие вместе” и о той ситуации, в которой оказались „современные писатели” России и прежде всего он сам. Для характеристики данной ситуации Ерофеев использует словосочетания „было несладко”, „поливала грязью всей страной”, „выгоняли из России”, „жгли и бросали в унитаз” и некоторые другие. <...> Начнем с того, что организация „Идущие вместе” никогда даже не упоминала Ерофеева во время своих акций (курсив мой. — А. В.). <...> А вот кого поливали грязью, так это „Идущих...” <...>».

См. также: **Уве Витшток** («Die Welt», Германия), «Виктор Ерофеев: „Они хотели бы изгнать нас из России» — «ИноСМИ.Ру», 2003, 2 июля <<http://www.inosmi.ru>>; в частности, в этом интервью **Виктор Ерофеев** говорил: «Нас [Ерофеева, Сорокина, Пелевина] хотели изгнать из страны. <...> Я чувствовал себя как писатель конца двадцатых годов, когда Сталин устроил охоту на нежелательных авторов. Но самым страшным было бы, если бы им удалось заставить нас эмигрировать. Тогда в Россию возвратился бы страх».

См. также: «[Виктор Ерофеев] утверждает, что причинное место русской красавицы пахнет бергамотом. С какой стати? Мне кажется, его дезинформировали», — говорит прозаик **Павел Крусанов** в беседе с Александром Яковлевым («Литературная газета», 2003, № 38, 17 — 23 сентября <<http://www.lgz.ru>>).

См. также: **Александр Вознесенский**, «Из Ниоткуда в Никуда» — «Независимая газета», 2003, № 173, 20 августа <<http://www.ng.ru>>; «Единственная в последнее время крупная „засветка” его [Пелевина] имени в российских СМИ — акции „Идущих вместе”, когда представители „сознательной” молодежи книжки его жгли, на что-то там меняли, разве что в унитазах не топили и чуть ли не ломились к писателю домой».

«Идущие...» не жгли книг Пелевина (и ничьих не жгли), в унитазах их не топили, меняли — да, меняли, но ломились не к нему».

См. также: «Они приходили ко мне, когда на меня завели дело... Сказали, что они из фирмы по установке решеток. Что пришли устанавливать тюремную решетку на наших окнах. Такая шуточка. Я закрыл дверь», — рассказывает **Владимир Сорокин** в беседе с Андреем Архангельским («Огонек», 2003, № 34, сентябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>).

См. также: **Николай Переяслов**, «Синдром „смещения языков» — «Литературная газета», 2003, № 38, 17 — 23 сентября <<http://www.lgz.ru>>; «<...> абсолютно непонятно, почему это наши демократические СМИ возмущаются тем, что представители движения „Идущие вместе” демонстративно сжигают в бетонном унитазах книги Владимира Сорокина, а молодые прихожане церкви Святителя Николая в Пыжах громят устроенную в сахаровском музее выставку „Осторожно, религия!”. Если считать допустимым появление НОВОГО ИСКУССТВА, то кто сказал, что недопустимо появление и адекватной ему НОВОЙ КРИТИКИ? А чтобы быть действительной, сегодняшняя критика должна быть адресной, как зачистки в Чечне».

«Идушие...» не жгли книг Сорокина. Унитаз был, кажется, — не бетонный.

См. также: «<...> Владимир Сорокин реально вредит жизни. Поэтому с ним нужно бороться несмотря на то, что он талантливый человек, виртуозно владеющий стилем... <...> Я не предлагал преследовать конкретно Сорокина. Я писал, что если писатель по Уголовному кодексу заслуживает ареста, то его надо посадить. Почему можно посадить нарушающего закон слесаря и нельзя посадить писателя? Писатель такой же член общества, как слесарь, на нем даже больше ответственности, потому что он имеет дело со словом, а оно будет действовать и после его смерти. Если же вернуться к Сорокину, то я не считаю, что его нужно сажать, скорее, надо штрафовать издательства, которые выпускают его книги. Я не очень хорошо разбираюсь в уголовном праве, но думаю, что в УК РФ можно найти основания для подобных действий. Что касается „Идуших вместе“, то я не знаю, что это за организация, кем она создавалась и кем финансируется. Я в ней не состою и никакого отношения к ней не имею. Но когда томный Сорокин, развалившись, рассказывает, что вернулась цензура, настал новый 37-й год, — это чушь! Какой 37-й год? Да в 37-м он до письменного стола не дошел бы! Давайте разберемся. Что, собственно, произошло? Общественная организация подала на писателя в суд. <...> Происходит нормальная демократическая процедура, демократичнее некуда. Подобное случается на Западе сплошь и рядом, на писателей подают в суд, феминистки со всеми подряд судятся — и ничего. Никого это не волнует, никто не кричит про 37-й год. <...> Наверное, мне было бы жалко Сорокина, мне всех жалко. Я жалел Лимонова, когда он сидел в тюрьме. Действительно жалел. <...> С другой стороны, писатель должен знать, на что он идет. Он отвечает перед вечностью, но он отвечает и перед обществом, перед законом. И Рушди должен был знать, на что идет. И знал, я вас уверяю», — говорит **Павел Басинский** в беседе с Михаилом Эдельштейном («Это критика. Выпуск 14» — «Русский Журнал», 2003, 18 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: «Я бы сказал, что у нас начинается эпоха закручивания гаек после продажи болтов. <...> Ужас в том, что диктатура никогда не вредила литературе, скорее наоборот. Стендаль говорил, что тирания способствует появлению великого искусства, а демократия, наоборот, убивает его, потому что художник вынужден потакать вкусам своего сапожника. „Мастера и Маргариту“ невозможно написать в открытом обществе. Но это не значит, что я предпочел бы жить при тирании — в конце концов, „Мастер и Маргарита“ уже есть. А что касается „Идуших вместе“, то это, конечно, любопытное явление. <...> Зачем все это устраивается? Очень просто. Когда наш паровоз летел к коммунизму, приходилось раскачивать вагоны, чтобы люди думали, что поезд движется, хотя он давно уже стоял на месте. А сейчас делают вид, что раскачивают вагоны, чтобы люди думали, что поезд стоит на месте, хотя его давно уже продали на металлолом вместе с болтами и гайками. Все это, конечно, смешно. Но не надо забывать, что Россия — такая страна, где можно обхотаться до смерти в самом прямом смысле», — говорит **Виктор Пелевин** в беседе с Юлией Шигаревой («Аргументы и факты», 2003, № 38, 17 сентября <<http://www.aif.ru>>).

Наталья Яшина. «Из распутья, из бездорожья...» — «Литературная газета», 2003, № 37, 10 — 16 сентября.

Дочь — об отце. К 90-летию со дня рождения Александра Яшина и к 35-летию со дня его кончины.

См. также: **Виктор Бараков**, «Семь уроков Александра Яшина» — «Москва», 2003, № 7 <<http://www.moskvam.ru>>.

Составитель **Андрей Василевский.**

«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя», «Октябрь»

Юрий Арабов. Биг-бит. Роман-мартиролог. — «Знамя», 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Как всегда «проникающее», трогательно-сентиментальное произведение Араובה повествует о сюрреалистической сказке конца 60-х: московские пацаны, объединившиеся в *джаз-банду*, устают лабать Бабаджаняна в чистом виде и постмодернистски приклеивают к «Королеве красоты» кусочек из Пахмутовой. Бренчат и воят от души, записывая свои вопли на бытовой катушечник. Затем весь этот рок-н-ролл переправляется, натурально, к самим *жучкам*-«Битлз» для их дочерней студии, поддерживающей дарования. Совершенно случайно прочитав письмо из дикой «Рашша», чуваков приглашают в Лондон.

Параллельные линии романа: коммунально-дворовый серпантин типа «отцы и дети»: Эдди Рознер или Джон Леннон; быт битлов вместе и порознь; Брежнев с Андроповым — вольнолюбивая Прага: ресторан или столица? Встреча одного из пацанов с реальными «жучками» и совместный дикий сейшн — это вообще, доложу вам, нечто. Смешного дуракаваляния как самого автора, так и собственно персонажей в «Биг-бите» — навалом.

Арабовскую точность я проверил по «Битлз»: он читал все и вылепил «жучков» чуть ли не фактурнее, чем вечно живого Лукича в «Молохе».

Эх, роману-мартирологу да в начало бы перестройки! Опоздали. Ведь с тех пор *в приеме* не оттянулся, как говорится, только ленивый — от Саши Соколова до Жени Попова. В общем, сегодня это не звучит, но зато хорошо и вкусно читается.

Исайя Берлин. Литература и искусство в РСФСР. Публикация, вступительная заметка, примечания Н. В. Королевой. Перевод с английского Г. П. Андреевой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

1945 год. Тогдашний сотрудник Британского посольства в Москве писал этот текст для Министерства иностранных дел Великобритании. Помимо содержания замечателен тон письма: несколько эмоциональная, но полная достоинства, неторопливая европейская интеллигентность (и еле заметная осмотрительность). В 1989 году, говоря о своем давнем докладе, Берлин вспомнил, что документ был проникнут верой в возрождение русского народа, что он, Берлин, «не назвал ни одного имени оппозиционного писателя» и «Анну Андреевну не назвал». Все так.

Андрей Битов. Русский устный и русский письменный. Вступительная заметка Елены Дьяковой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 8.

Часть этих расшифрованных и авторизованных аудиомонологов (основной корпус публикации — именно они) уже печаталась в «Огоньке» и «Новой газете». Немного хаотично, но зато интересно. Только непонятно, что это Е. Дьякова так переживает «скрежетания, взвизгивания и торможения» своего диктофона («черный камень диктофона») со «старыми, полустертыми головками»? Не у кого было попросить аппарат понадежней — для записи значительного (и, между прочим, хворающего) писателя? Или так будет *поэкзистенциальнее*?

См. также: **Андрей Битов**, «Дежа вю» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 5.

Марк Гиршин. Жили-поживали. Главы из книги. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 7.

«Когда „Потемкин” пришел на рейд Одесского порта, она (престарелая Евдокия Ивановна, одесская соседка автора. — *П. К.*) в тот день, как всегда, понесла мужу Антону обед в порт, где он работал кочегаром. Мимо по Матросскому спуску туда же валила толпа с окраин города грабить пакгаузы с винами и колониальными товарами. Катили пустые детские коляски и даже тачки, чтобы набрать побольше.

Толпа и подошла порт. Пылали бочки с керосином, штуки английского сукна и ливанского шелка, дрова для безлесого Египта. <...> Услышав мою соседку, я отдался недоброму сомнению: а не забрал ли Эйзенштейн эту коляску у люмпена с Молдаванки и толкнул ее с младенцем вниз по крутым ступеням знаменитой лестницы? Теперь я уже уверен в этом. Потому что какого лешего поперлась мамаша с ребенком в полыхающий порт? И фильм для меня как смыло!»

Даниил Гранин. Оборванный след. Повесть. — «Дружба народов», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

«Еще недавно его веселило, как Катерина обмеривала свой бюст, задницу, меняла диету, и вдруг эти игры стали глупостью, неужели так подступает старость, — спрашивал он себя. Физически это не чувствовалось, тут было что-то другое. Обычно он не вмешивался в жизнь своей плоти, отростка, своего греховодника, фаллоса, органа... У того появлялись свои причуды, происходил самостоятельный выбор, влечение, которого Погосов не разделял. Этот затейник вдруг начинал командовать, отрывал Погосова от работы, заставлял ехать к очередной подруге, врать, как-то оправдывать свои гнусные желания».

Согласен, безжалостно вырываю из контекста. С корнем. И все же: давненько я не брал в руки Гранина...

Ирина Ермакова. «Стихи были всегда». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2003, № 4, июль — август <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

«Речь от первого лица — это не всегда я, вернее — не только я. В особенности речь от первого лица в „Колыбельной”, тяготеющей скорее к эпосу, чем к лирике. Иногда я далеко не сразу понимаю, что же на самом деле получилось в том или ином стихотворении. Иногда, как несколько раз выяснялось, понимаю иначе, чем другие люди. Меня всегда очень занимал этот вопрос... <...> Поэзия, как вот сейчас, в данный

момент, мне представляется, и есть напоминание о том, что в человеке не только — зверь, но и душа бессмертная».

«Разные культуры прекрасно дополняют друг друга, а не противопоставляют. Запад акцентирован на Логосе, Восток — на интуиции. Лучший результат, по-моему, в соединении того и другого».

См. также рецензию **Ирины Васильковой** на книгу И. Ермаковой — «Новый мир», 2003, № 2.

Вальтер Кауфман. Из книги «Ницше: философ, психолог, антихрист». Вступительная заметка и перевод Г. Ноткина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 8.

Выпущенная более чем полвека тому назад, *четырежды* изданная в США монография, свободная от сладких мифологических декораций, доехала наконец и до нас.

Книги, о которых спорят. — «Вопросы литературы», 2003, № 4, июль — август.

Критик **И. Шайтанов** предваряет заметкой «Проект *Pelevin*» («не будет Пелевина, кто-то другой явится в его роли») апологетическую статью **Е. Прониной** «Фрактальная логика Виктора Пелевина» и рассудительно-скептическое эссе **М. Свердлова** «Технология писательской власти. (О двух последних романах В. Пелевина)».

М. Свердлов: «Мы видим: Пелевин, „развлекая, поучает“ — игра слов предписана читателю как *стиль мышления, стиль общения, стиль жизни*. Научившись у Пелевина острить и каламбурить, желающий получает возможность с блеском говорить, когда ему нечего сказать, и, не имея ничего за душой, стать душой общества. Под руководством писателя можно освоить новый жаргон, а затем сбиться в группы и перекликаться друг с другом: „Мы одной крови, ты и я“. В конце концов, на тех, кто сподобился, падает отсвет писательской власти и неуязвимости: игра слов дает им ощущение обладания словами и свободы от того, что эти слова означают».

Александр Кузнецов-Тулянин. Язычник. Этнографический роман. — «Дружба народов», 2003, № 9.

Сумрачная, неудобная, *кряжистая* вещь. Читая, вспоминал похожие ощущения от «Мы обживаем землю» Владимира Максимова. Столько же безнадежной силы.

Автору сорок лет, живет в Туле, лауреат премии имени Андрея Платонова.

Т. Л. Лабутина. Была ли Екатерина II англофилом? (К вопросу о «вестернизации» политической элиты России). — «Вопросы истории», 2003, № 9.

Нет, скорее — «франкофилом».

Лазарь Лазарев. Записки пожилого человека. — «Знамя», 2003, № 7.

«Очень дурно [кинорежиссер и сценарист] Арнштам говорил о Шелепине (он тогда, в войну, работая над фильмом, с ним встречался) как о человеке, который несет немалую ответственность за то, что „цвет московский молодежи“ (эти его слова я точно запомнил) угробили без всякого смысла и пользы: там, куда забрасывали группы, в одну из которых входила Зоя [Космодемьянская], — сто километров от Москвы, — условий для партизанской войны не было никаких, они были обречены».

С еще большим негодованием говорил он о матери Зои: она снимала пенки с гибели дочери, она славы ради вытолкнула в добровольцы младшего брата Зои, он по возрасту еще не должен был призываться, и мальчишка погиб.

„Когда фильм был готов, — рассказывал Лео Оскарович, — я со страхом думал о том, как она будет его смотреть. Ведь там пытаются и князят героиню. Да, это актриса, но ведь за ней стоит ее дочь, ее страшная судьба. А она мне сказала: 'По-моему, ее мало пытаются'. Я ужаснулся»».

См. также: **Лазарь Лазарев**, «Из книги „Записки пожилого человека“» — «Знамя», 1997, № 2; 2001, № 6.

См. также: **Лазарь Лазарев**, «Наше время уже стало веком минувшим» — «Литература», 2003, № 34, 8 — 15 сентября.

Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932 — 1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие. — «Вопросы литературы», 2003, № 4, июль — август.

«Драматический накал сюжета заставляет Радзинского (Эдварда, из телевизора. — П. К.) привести резолюцию Сталина с таким комментарием: „Вождь, ставший мишенью стихов Мандельштама, размашисто пишет на письмо Бухарина“. „Размашистости“ на письме нет. Наоборот, вождь рационально использовал свободное место на бланке „Известий“ между типографским способом напечатанными именем и должностью Николая Бухарина и рукописным текстом письма. „Размашистость“ — поэтическая небрежность в историческом повествовании. Неправильное цитирование текста — небрежность уже иного рода. В русском языке, богатом опасными нюансами, запятая меняет смысл приговора, а одна буква в глагольной флексии переводит инфинитив из ка-

теории перфекта в имперфект, совершенное становится несовершенным, единичное повторным, смертное и одноразовое — вечным. Радзинский ключевой вопрос Сталина прочитал таким образом: „Кто им дал право *арестовывать* Манделъштама? Безобразия”. В действительности текст таков: „Кто дал им право *арестовать* Манделъштама? *Безобразия*...” Многозначие после „безобразия”, забытое Радзинским, — характерная выметка в графическом оформлении этой незаконченной саги.

Г. Н. Мокшин. Василий Павлович Воронцов. — «Вопросы истории», 2003, № 9.

«Василий Павлович Воронцов (1847 — 1918) принадлежит к числу видных теоретиков русского реформаторского народничества. Труды Воронцова о русском капитализме и негативном его влиянии на состояние народного хозяйства внесли весомый вклад в развитие экономической мысли пореформенной России. <...> Воронцов был одним из пионеров „теории малых дел”. В феврале 1884 г. в „Отечественных записках” он опубликовал статью „Капитализм и русская интеллигенция”. Здесь впервые в народнической литературе <...> был поставлен вопрос о тяжелом положении лиц интеллигентных профессий, обрекаемых капитализмом на безработицу и нищету, и необходимости их переселения в деревню. Воронцов был убежден, что никакого перепроизводства интеллигентных работников в России нет. Крестьянин, пишет народник, умирает без медицинской помощи, не имеет вовсе дохода от истощенной земли, ломает голову над изобретением, известным всему миру, а врач, агроном и технолог бродят без дела в поисках куска хлеба. Отсюда Воронцов заключал: судьба трудящейся интеллигенции всецело зависит от того, как быстро возвышаются благосостояние народа и его запросы на высший труд».

Вадим Перельмутер. Записки без комментариев. — «Октябрь», 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Зимой 1936 года Шервинский навещал Кузмина в Мариинской больнице на Литейном. Раз в несколько дней приносил что-нибудь из еды и лакомств. Медленно гуляли по больничному двору, беседовали.

Однажды, в конце февраля, собираясь уходить: „До свидания, Михаил Алексеевич”. — „Нет, Сергей Васильевич, прощайте. Больше ко мне приходить не надо”. — „Почему так?” — „Я теперь умирать буду. А это... очень некрасиво”...»

Русская идея: текст и реальность. Круглый стол. Подготовка к печати Андрея Столярова. — «Октябрь», 2003, № 7.

«*О. Вениамин [Новик]:* <...> Я хочу еще раз сказать, что по какому-то жестокому парадоксу (и это вопрос, наверное, не к богослову, а скорее к психологу) люди верующие — это люди пассивные социально и политически. Особенно это заметно в России. В Америке же христиане, напротив, были социально активными. Отсюда, кстати, и выросло социальное христианство. Связь между верой и борьбой за социальную справедливость. Почему церковь в России „слетела” в начале XX века? Лишь потому, что освятила неблагодетельность государства. То есть понятие несправедливости ассоциировалось с государством, а церковь эту несправедливость оправдывала. Возник острый социальный вопрос, его надо было решать. Церковь его не решила. В результате явились большевики и решили его своими методами.

Андрей Столяров: Боюсь, идею Бога трудно технологизировать. Ни православная, ни католическая, ни протестантские технологии сейчас уже не работают. А создавать новую церковь — долго и очень дорого. К тому же это встретит сопротивление официальной российской церкви.

О. Вениамин: <...> Я не хочу выступать официальным рупором и потому еще раз повторяю: в чем, с моей точки зрения, заключается вся проблема? Она в том, вступили ли мы в новое время или еще нет? Или продолжаем играть в средневековые феодальные игры, только с мобильными телефонами и аудиозаписями? А психология наша остается по-прежнему феодальной? Единственно, к чему я сейчас призываю, — это внятно определиться. Я предлагаю за основной „текст” нашего времени принять Всеобщую декларацию прав человека. Там написаны простые и понятные вещи: не убивай, не воруй, уважай права остальных, свобода слова, свобода передвижения. К постмодернизму это имеет какое-нибудь отношение? Нет. Оставьте постмодернизм писателям и поэтам. Пусть они изощряются в своем постмодернизме и вручают друг другу премии. В социальном аспекте мы ничего нового не изобретем, лишь понятия гуманизма и общечеловеческих ценностей».

А. Н. Сахаров. Историческая сага Всеволода Соловьева. — «Вопросы истории», 2003, № 9.

«Его романы — это прикосновение к такому далекому, но удивительно яркому миру русской истории XVI — XIX веков, полному значительных характеров, сильных страстей, благородных порывов и злой воли. Соловьев (сын историка С. М. Соловьева

и старший брат философа и поэта — Владимира. — П. К.) просто и доверительно ведет читателя по причудливым лабиринтам родной истории <...> помогает сопоставить ее с прошлым других стран. Все это принесло этому автору, одному из наиболее популярных русских писателей в конце XIX в., необычайный успех, отзвуки которого мы слышим и сегодня, заново знакомясь с его творчеством. <...> Подлинной силы историзм В. С. Соловьева достигает в знаменитой „Хронике четырех поколений”, охватившей историю дворянского рода Горбатовых с 80-х гг. XVIII в. и до пореформенной поры. Именно выход „Семьи Горбатовых”, как стали называть в России „Хронику”, принес писателю славу „русского Дюма”. Были годы, когда „Горбатовыми” зачитывалась вся Россия. <...> Журнал „Нива”, где печаталась „Хроника”, был нарасхват. Продолжения, по свидетельству современников, ждали с захватывающим интересом и в столицах, и в провинции, и в элитарных слоях, и в среде образованных обывателей.

Священник Сергей Лунёв. Против толп. — «Октябрь», 2003, № 8.

«Сейчас снизу, как всегда по просьбе трудящихся, раздаются требования о введении в школах предмета „Основы православной культуры”. При этом никто не принимает во внимание неуклонно внедряемую в нашу жизнь глобализацию, которая по своему характеру не обойдет и Церковь. <...> Может, кто-то наивно видит в религиозном воспитании панацею от всех бед. Но в условиях глобализации оно станет лишь частью этой программы. Ведь глобализация по существу — антихристианское мероприятие, поскольку претендует на запланированное ограниченным кругом лиц управление обществом, а не самостоятельный выбор и принятие решений самим человеком. На должностях клириков оставляют людей безопасных, говорящих только правильные и нужные вещи. Надеяться на то, что наших детей этот предмет будет вводить в число избранных, а не посадит их на осла государственной религиозности, — глупо. <...> И предмет ОПК будут преподавать люди, приуроченные за годы воцерковления не доверять своим чувствам и своим мыслям. И детей, для которых, как и для учителей, христианство будет религией внушения, будут хвалить. А тех, кто будет искать соответствия да еще осмелится по простоте душевной сказать: „Король-то голый!” — будут смирать, упрекать в отсутствии благоговения и шельмовать диссидентами, протестантами, доносить на них и т. п. И это уже опыт не только дореволюционной бурсы, но и современных православных гимназий.

Поэтому в наших условиях статус религии как частного дела — это спасение. Его и надо держать. <...> Мир за двухтысячелетний период своей христианской истории так и не стал обществом личностей, пришедших в сознание истины и следующих голосу разума. <...> Реальностью нашего времени остается стандарт хотя и организованных, но по-прежнему бессознательных толп, который еще Пушкин описал в стихотворении „Свободы сеятель пустынный...”».

См. также публикацию священника Владимира Вигилянского «СМИ и православие. Информационные войны вокруг „Основ православной культуры”» — «Новый мир», 2003, № 9.

Сергей Стратановский. Стихи 2003 года. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 7.

Да, беспощадным, но не бессмысленным вовсе
 Был русский бунт,
 И какая была б безнадега,
 Если б все мужики,
 Как Савельич, любили сердечно
 Своей жизни хозяев.

Илья Фаликов. Так можно сказать? — «Знамя», 2003, № 8.

О сборнике Александра Кушнера «Кустарник» (2002).

«Как никогда прежде, в поэзию Кушнера вошла низовая русская жизнь. Улица, быт, будничность человеческой трагедии. В его словаре появился *надрыв*. <...> И как ни крути, на этом пути Некрасова никак не обойти (курсив мой. — П. К.); это что же — произвольные фаликовские стихи? Если так, то две цезуры вы уж проставьте сами). Вот и появляется этот анапест, с этой дактилической рифмой: „Жизнь бывает такой *отратительной, / что об этом умней помолчать*”».

См. также рецензию Леонида Дубшана на «Кустарник» — «Новый мир», 2003, № 6.

Яков Хелемский. Усовершенствовались вещи — повреждена людская суть. Стихи. — «Дружба народов», 2003, № 9.

Здесь — среди прочих — сердечное стихотворение памяти Семена Липкина, автора «мудрых, выстраданных строчек».

...Ты судьбу свою из года в год
 Перенес в стихи, поэт-сверхсрочник.

Заблистал и этот перевод,
Хоть нелегкий выдался подстрочник.

Кто сказал, что ты покинул нас?
Жизненный запас неиссякаем.
Слог отточен, голос не угас.
Мы тебе по-прежнему внимаем.

Незадолго до смерти Липкин решил прочесть публично две поэмы: легендарного «Техника-интенданта» и «Вячеславу, жизнь переделкинская». Загодя в писательском поселке развесили объявления о вечере в музее Окуджавы. Вечер состоялся. Было несколько десятков слушателей, среди них — два-три стихотворца.

Так кто эти — *мы*? Собратья по цеху? В любом случае *нас*, увы, мало. Стихи Липкина *по-прежнему* не прочитаны *вглубь*, это я понял и по вечерам его памяти. Все говорят — «мудрец», но почему? Долго жил и много думал? Воевал? Любил? Всех знал и всех перевел? Погружался в иные культуры? Сохранил себя? А вот читаем его последнюю книгу — и невооруженным взглядом видно, что две трети, да что! — три четверти его стихов содержат в себе молитвенный импульс и вопрошание: кто мы и кто я — перед лицом Того, кто, по слову самого поэта, «ветру назначил вес, меру определил воде»? Его мудрость имела ясные «координаты»: Бог, народ и история. Будем надеяться, что и об этом напишут понимающие и любящие поэзию Липкина люди.

Олег Хлебников. Стихи для Еремы. — «Знамя», 2003, № 8.

Так, глядишь, и соберется сборник стихов, посвященных Александру Викторовичу Еременко. На тропу/ы Бунимовича, Поздняева, Хлебникова и других портретистов любимого и загадочного московского *барда* ступят, думаю, еще не раз. Такова уникальная репутация Еременко, очень давно не публикующего своих новых текстов. Стихотворение, открывающее подборку, отлично выдержано *в традиции*: «Он живет как поэт — он не пишет стихов...»

Составитель Павел Крючков.

●

АДРЕСА: сайт «Зона»: <http://www.zona.com.ru>

●

ДАТЫ: 1 (13) декабря исполняется 130 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873 — 1924).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Декабрь

10 лет назад — в № 12 за 1993 год напечатан «Экологический роман» Сергея Залыгина.

45 лет назад — в № 12 за 1958 год напечатаны стихотворения Николая Заболоцкого «Закат» и «Не позволяй душе лениться».

75 лет назад — в № 12 за 1928 год напечатаны поэма Э. Багрицкого «*Cyprinus Carpio*» и очерк Андрея Платонова и Бориса Пильняка «Че-Че-О».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2003 ГОД



РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Анатолий Азольский. Глаша. Повесть. IV — 12.

Юрий Буйда. Кёнигсберг. Роман. VII — 14.

Анна Василевская. Книга о жизни. Публикация и предисловие Андрея Василевского. II — 65; III — 92; XII — 26.

Андрей Волос. Путевка на целину (1954). Рассказ. V — 106.

Все к лучшему. Рассказы современных словенских писателей: **Эвальд Флисар.** Агрегат. Перевод Н. Стариковой; **Милан Клеч.** Полной грудью. Перевод А. Судьиной; **Яни Вирк.** Дверь. Перевод Н. Стариковой; **Руди Шелиго.** Всё к лучшему. Перевод Ж. Перковской. Вступительное слово Михаила Бутова. IV — 88.

Василий Голованов. Танк. Повесть. V — 74.

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Рассказы. VII — 73.

Максим Гуреев. Быстрое движение глаз во время сна. Повесть. Вступительное слово Андрея Битова. III — 35.

Леонид Зорин. Из жизни Ромина. III — 13.

Елена Исаева. Первый мужчина. Театр.doc. XI — 103.

Георгий Калинин. Пробуждение. Рассказы. VIII — 66.

Владимир Маканин. Из книги «Высокая-высокая луна»: Без политики. Повесть. VIII — 12; Долгожители. Рассказ. IX — 10; Могли ли демократы написать гимн... Рассказ. X — 12; Боржоми. Рассказ. XI — 11.

Александр Мелихов. Чума. Роман. IX — 24; X — 33.

Алексей Михайлов. Реабилитация, или Письма из Испании. Вступительное слово Александра Михайлова. VIII — 78.

Дмитрий Новиков. Куйпога. Рассказ. IV — 79.

Олег Павлов. Вниз по лестнице в небеса. Рассказ. I — 121.

Марина Палей. Вода и пламень. Рассказ. VI — 69.

Виктор Панов. И там жили. Рассказы. Публикация А. В. Пановой. VI — 88.

Григорий Петров. Крестный ход. Рассказ. II — 45.

Ирина Поволоцкая. Юрьев день. Поминания. XII — 7.

Валерий Попов. Третье дыхание. Повесть. V — 14; VI — 11.

Ольга Постникова. Петь и петь! Рассказ. III — 80.

Вячеслав Пьецух. Три рассказа. IX — 88.

Дина Рубина. Несколько торопливых слов любви. Малая книга рассказов. I — 83.

Алексей Смирнов. Игры на свежем воздухе. Рассказы. VII — 88.

Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть четвёртая (1987 — 1994). XI — 33.

Марина Степнова. Рассказы. VII — 106.

Михаил Тарковский. «Отдай мое». Повесть. II — 11.

Антон Уткин. Рассказы. X — 110.

Дмитрий Шеваров. Пушкинский бульвар. Сюжеты. XII — 106.

Евгений Шкловский. Питомник. Большая книга рассказов. I — 12.

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ

Алексей Алексин. Поверх старого текста. IV — 85.

Марина Бородицкая. Герб и дата. XI — 7.

Наталья Ванханен. Одни наречья. VIII — 74.

Ирина Василькова. Предзимнее укрытие роз. VI — 7.

Мария Ватутина. Имперский код. I — 116.

Борис Викторов. Совесть и птица. II — 59.

Анна Гедымин. Легкомысленное окно. XI — 98.

Владимир Губайловский. Опустевшее детство. II — 106.

Ирина Ермакова. Легкая цель. III — 30.

Ольга Ермолаева. Непобедимый. VII — 7.

Ольга Иванова. По линии отрыва. XII — 23.

Виктория Измайлова. Дети затмения. Вступительное слово Дмитрия Быкова. III — 75.

Евгений Карасев. Негаданный привал. XII — 99.

Светлана Кекова. Пленение инеем. VII — 83.

Бахыт Кенжеев. Цикада в горсти. VI — 81.

Юрий Кобрин. Сиреневый хутор. X — 130.

Кирилл Ковальджи. Смена светотени. IX — 105.

Григорий Корин. Из осколков дней. VI — 65.

Владимир Коробов. Последняя свеча. V — 103.

Григорий Кружков. Жернова созвездий. III — 89.

Юрий Кублановский. На обратном пути. V — 68.

Инга Кузнецова. У окраины сердца. IX — 7.

Виктор Куллэ. Пчелиные числа. X — 103.

Вячеслав Куприянов. Ненадежное солнце. VIII — 62.

Александр Кушнер. Мимо жимолости и сирени. X — 26.

Инна Лиснянская. День последнего жасмина. I — 7; Без тебя. X — 7.

Григорий Марк. Одинокий пилот. II — 62.

Ольга Мартынова. Узор из дерева и стекла. II — 41.

Игорь Меламед. После многих вод... IX — 20.

Лариса Миллер. На тонкой леске. IV — 73.

Татьяна Милова. Не доверяйся штилю. IX — 83.

Александра Мочалова. На грани стекла и огня. Вступительное слово Андрея Василевского. VIII — 7.

Анатолий Найман. Фисгармония. I — 78.

Олеся Николаева. Ты имеешь то, что ты есть. III — 7.

Дмитрий Полищук. Мастер пения. X — 108.

Ирина Ратушинская. Ничья сестра. IV — 76.

Евгений Рейн. На пути караванном. II — 7.

Алексей Решетов. Поле сердца. XI — 121.

Борис Романов. Забытые пепелища. VII — 69.

Лев Смирнов. Глухоманное время. XII — 104.

Роман Солнцев. Древние рыбы. IV — 119.

Сергей Стратановский. Коробочки с пеплом. V — 119.

Елена Ушакова. При свете и впотьмах. XI — 28.

Сергей Хомутов. Летящие версты. VII — 115.

Евгений Чигрин. Образ ненастья. I — 135.

Николай Чуковский. Потаенное. Публикация Дмитрия Чуковского. Вступительное слово Татьяны Бек. VII — 102.

Олег Чухонцев. По мосткам, по белым доскам. IV — 7.

Ян Шанли. Под ногой у цапли. VIII — 12.

Елена Шварц. Невы пустые рукава. V — 7.

Валерий Шубинский. Военная тайна. XII — 110.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Алена Андреева. Колумбийские впечатления. VIII — 117.

Борис Екимов. Четвертая сила. V — 122; Оставленные хутора. IX — 108.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Игорь Дедков. Уже открыт новый счет. Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. I — 139; II — 110; III — 133; IV — 124.

Сергей Костырко. «...Не надо бояться себя». О Сергее Залыгине. XII — 114.

Юрий Сакков. Два упущенных полугодия. Об одном краткосрочном увлечении Голливуда. IX — 122.

Дмитрий Шеваров. У Астафьева. VIII — 145.

Города и годы

Рустам Рахматуллин. Средокрестия Москвы. VII — 118.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Священник Владимир Вигилянский. СМИ и православие. Информационные войны вокруг «Основ православной культуры». IX — 150.

Линор Горалик. Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом. XII — 131.

Юлия Ушакова. Атипичная религиозность в постсоветской России. IX — 133.

Татьяна Чередниченко. Теленовости. V — 152.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ.
ПОЛИТИКА

Сергей Аверинцев. Несколько мыслей о «евразийстве» Н. С. Трубецкого. Опыт беспристрастного взгляда. II — 137.

Анна Арутюнян. Стеклозавес Америки. VI — 138.

Юрий Каграманов. Exploratoribus laus. Неизвестное об исламе. I — 152.

Николай Литвинов, Анастасия Литвинова. Антигосударственный террор в Российской империи. Исторический очерк. XI — 124.

Валерий Сендеров. Солидаризм — третий путь Европы? II — 124.

Табу и антабу в культуре и нравах: Никита Елисеев. Эротиссимо; Кирилл Анкудинов. Степень разрешения; Алексей Гостев. Тринадцать тезисов о «порче нравов». V — 133.

Кирилл Якимец. Окно в Америку. VI — 128.

ОПЫТЫ

Кирилл Анкудинов. Стезей избытка. I — 167.

Ольга Новикова. Женщина с ее проектами. Питер и поэт. Из цикла «Вымыслы». VI — 149.

Александр Образцов. Ночной дозор. Из цикла «Сатана в шкафу». VIII — 132.

Владимир Холкин. «Колобок»: смерть поэта. VIII — 140.

Города и годы

Сергей Бочаров. Петербургский пейзаж: камень, вода, человек. X — 134.

Лидия Григорьева. Прекрасная чужбина. X — 152.

Лиля Пани. Аритмия пространства. X — 142.

МИР НАУКИ

Максим Шапир. Отповедь на заданную тему. К спорам по поводу текстологии «Евгения Онегина». IV — 144.

МИР ИСКУССТВА

Жанна Голенко. Гармония в пределах ноты. Новые постановки Михаила Лавровского. VII — 133.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений Ермолин. Идеалисты. Интеллигенция бессмертна! II — 156.

Пополнение набоковьяны: Светлана Чекалова. «То славя прошлое, то запросто ругая...»; Николай Мельников. Повесть о том, как Алексей Матвеевич поссорился с Владимиром Владимировичем; Сергей Костырко. Набоков по-американски. VII — 140.

Ирина Сурат. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин. III — 155; Мандельштам и Пушкин. Статья вторая. Лирические сюжеты. XI — 152.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Александр Кушнер. Заболоцкий и Пастернак. IX — 174.

А. Солженицын. Из «Литературной коллекции»: Двоеные Юрия Нагибина. IV — 164; Давид Самойлов. VI — 171; Диалогия Василия Гроссмана. VIII — 154; Леонид Леонов — «Вор». X — 165; Василий Белов. XII — 154.

КОММЕНТАРИИ

Алла Латынина. «Этническая данность, именованная Россией». Четвертая мировая. II — 150; Я играю в жизнь. IV — 157; Пора гасить костры. VI — 164; Христос и машина времени. VIII — 148; Старшая дочь короля Лира. X — 158; Андерсеновский мальчик — роль навсегда. XII — 147.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Марина Абашева. Биография свободы. Свобода биографии (Нина Горланова. Нельзя. Можно. Нельзя. Роман-монолог. Нина Горланова, Вячеслав Букур. Лидия и другие. История одной компании. Повесть). XI — 172.

Константин Азадовский. О жертве и милости (Елена Чижова. Лавра. Роман). V — 167.

Кирилл Анкудинов. Превращенный (Дмитрий Быков. Призывник. Стихотворения и поэмы). IX — 182.

Дмитрий Бак. Исповедь грантососа, или Конец Умберто (Олег Юрьев. Новый Голем, или Война стариков и детей. Роман в пяти сатирах). IV — 172; Science fiction again, или Снова нон-фикшн? (Филип Дик. Свободное радио Альбемута). IX — 186.

Павел Белицкий. Хрестоматия нового барокко (Дмитрий Полищук. Гиппогриф и сборно/изборно все предыдущие, последующие и сопутствующие химеры). V — 179.

Михаил Бутов. Вечные льды (Кристоф Рансмайр. Ужасы льдов и мрака. Роман). VII — 175.

Дмитрий Быков. Андрей Геласимов похож на писателя (Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью; Андрей Геласимов. Жажда). I — 178.

Ирина Василькова. «Так происходит жизнь...» (Ирина Ермакова. Колыбельная для Одиссея). II — 168.

Людмила Герасимова, Наталия Герасимова. Глубина свободы (Олеся Николаева. Православие и свобода). I — 190.

Владимир Губайловский. Чудесная несвобода (Станислав Лем. Библиотека XXI века). V — 183; Глубина неподвижности (Галина Гампер. Что из того, что лестница крута... Книга лирики). XII — 181.

Гасан Гусейнов. В подкладке — шелковая нить (Виталий Славутинский. Проснуться в детстве. Стихи. Воспоминания). VII — 172.

Ольга Дмитриева. Театр страстей в монархии ума (Григорий Кружков. Лекарство от фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова). XII — 185.

Леонид Дубшан. Комментарий к кустарнику (Александр Кушнер. Кустарник. Книга новых стихов). VI — 187.

Евгений Ермолин. Где ваша улыбка? (Юрий Малецкий. Физиология духа. Роман в письмах). VIII — 170.

Ольга Иванова. «Неоспоримой кровью...» (10/30. Стихи тридцатилетних; Дмитрий Воденников. Мужчины тоже могут имитировать оргазм). XI — 174.

Юрий Каграманов. Бес легкости и бес тяжести (Кристофер Лэш. Восстание элит и предательство демократии). III — 185; Артур Кёстлер в роли товарища (Артур Кёстлер. Автобиография /фрагменты книги/). IX — 188; ...А они к нам всей спиной (Апология Украины. Сборник статей). X — 180.

Ольга Канунникова. Пилигрим в утопию (Манес Шпербер. Напрасное предостережение). IX — 191.

Татьяна Касаткина. Метафизический статус: апатрид (Сиоран. Испытание существованием; Эмиль Чоран. (Emile Michel Cioran). После конца истории. Философская эссеистика). XI — 181.

Сергей Костырко. Краб, который пятится (Гюнтер Грасс. Траектория краба. Новелла). IV — 179.

Петр Красноперов. Ветер судьбы (Татьяна Бек. Узор из трещин. Стихи недавних лет). I — 182.

Максим Кронгауз. Игра в роман и вопросы языкознания (Дмитрий Быков. Орфография. Опера в трех действиях). XII — 170.

Павел Крючков. Выпрямление курсивом (Ревекка Фрумкина. Внутри истории. Эссе, статьи, мемуарные очерки). VII — 179.

Юрий Кублановский. Чижик-пыжик и повертон (Феликс Светов. Чижик-пыжик. Роман. Рассказы). VIII — 172.

Алла Латынина. Таинственность будничной жизни (Галина Корнилова. Кикимора. Рассказы и пьеса). V — 177.

Алексей Машевский. Что содержит жизненная форма? (Василий Ковалев. Форма жизни; Денис Датешидзе. ...другое время...). VIII — 174.

Ирина Машинская. Энциклопедия достоинства (Соломон Волков. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней). X — 187.

Николай Мельников. Заводной Энтони Бёрджесс (Энтони Бёрджесс. Однорукий аплодисмент. Роман; Энтони Бёрджесс. Доктор болен. Роман; Энтони Бёрджесс. М. Ф. Роман). II — 174.

Максим Монин. День открытых дверей (Т. В. Васильева. Комментарии к курсу истории античной философии). II — 180.

Елена Невзглядова. Дизезы для тонкого слуха (Иван А. Дуда. Разлинованная тетрадь. Фрагменты). XII — 178.

Елена Озобкина. Жизнь философа (Рюдигер Сафрански. Хайдеггер. Германский мастер и его время). IV — 183.

Андрей Н. Окара. Апология «минимальной» Украины (Апология Украины. Сборник статей). X — 185.

Дмитрий Полищук. Контрольные Кононова (Николай Кононов. Магический бестиарий. В трех разделах). II — 162.

Ольга Постникова. «Встречь ветра жгучего...» (Ирина Василькова. Поверх лесов и вод. Стихи разных лет; Ирина Василькова. Белым по белому; Ирина Василькова. О первородстве; Ирина Василькова. Темный аквалангист). IV — 175.

Мария Ремизова. Гармонический диссонанс (Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью; Андрей Геласимов. Жажда). I — 175; Любовь в прозрачном и пористом мире (Афанасий Мамедов. Фрау Шрам. Роман). VII — 164.

Ирина Роднянская. Оглашенная в Лавре (Елена Чижова. Лавра. Роман). V — 171.

Дарья Рудановская. Новый век. Новая литература? (Пролог. Молодая литература России. Сборник прозы, поэзии, критики, драматургии). VI — 184.

Павел Руднев. Страшное и сентиментальное (Репетиция. Пьесы уральских авторов). III — 182.

Евгения Свитнева. «Критика поэта» или «поэзия критика»? (Павел Беллицкий. Разговоры). X — 176.

Валерий Сендеров. Из той страны, которой больше нет (Павел Проценко. Цветочница Марфа. Документальная повесть). III — 174; Конец конца истории, или После либерализма (Джон Грей. Поминки по Просве-

щению. Политика и культура на закате современности). VIII — 178.

Ольга Славникова. Книга контрабанды (Андрей Немзер. Памятные даты). I — 187.

Алексей Смирнов. Дождитесь опоздавшего стрелка (Александр Тимофеевский. Опоздавший стрелок). VII — 168.

Владимир Холкин. В «кругу» и вне «круга» (Анатолий Найман. Все и каждый. Роман). X — 172.

Владимир Цивунин. Горькая дерзость Геннадия Русакова (Геннадий Русаков. Разговоры с богом. Стихи). III — 178.

Сергей Цирель. О мнимой дефектности русской природы (Андрей Паршев. Почему Россия не Америка; Андрей Паршев. Америка против России. Почему Америка наступает). VII — 182.

Дмитрий Шеваров. Неостывшие письма (Крест бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: письма из глубины России). VI — 179.

Михаил Эдельштейн. Серебряный век: женский взгляд (Сестры Герцык. Письма). VI — 193; Олонекская культура и петербургская стихия (Николай Клюев. Письма к Александру Блоку: 1907 — 1915). XI — 187; Назову себя Клинггенмайер (Дмитрий Быков. Орфография. Опера в трех действиях). XII — 175.

Книжная полка Дмитрия Бака. XII — 190.

Книжная полка Дмитрия Быкова. II — 182; V — 187; VIII — 183; XI — 190.

Книжная полка Евгения Ермолина. X — 190.

Книжная полка Павла Крючкова. I — 195; IX — 195.

Книжная полка Олега Павлова. IV — 186.

Книжная полка Ирины Роднянской. VII — 187.

Книжная полка Дмитрия Шеварова. III — 191.

Театральный дневник Григория Заславского. I — 202; III — 199; V — 193; VII — 195; IX — 202; XII — 199.

Кинообозрение Игоря Манцова. II — 188; IV — 192; VI — 196; VIII — 190; X — 196; XII — 202.

Кинообозрение Натальи Сиривли. I — 207; III — 203; V — 199; VII — 197; IX — 205; XI — 195.

—

CD-обозрение Михаила Бутова. II — 196; IV — 201; VI — 202; VIII — 194; X — 201; XII — 209.

—

WWW-обозрение Владимира Губайловского. I — 212; III — 205; V — 202; VII — 202; IX — 208; XI — 199.

WWW-обозрение Натальи Конрадовой. VIII — 200.

WWW-обозрение Сергея Костырко. II — 202; IV — 211; VI — 208; X — 207.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ольга Рычкова. Солнце русской политической экономики. II — 208.

А. С. Сергеев. Возвращенный Минск. VII — 208.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (С. Костырко). I — 217; II — 210; III — 209; IV — 217; V — 207; VI — 215; VII — 210; VIII — 207; IX — 214; X — 213; XI — 206; XII — 214.

Периодика (А. Василевский, П. Крючков). I — 220; II — 213; III — 213; IV — 220; V — 210; VI — 219; VII — 214; VIII — 210; IX — 218; X — 217; XI — 209; XII — 217.

Авторы этого года

Абашева М. (XI), Аверинцев С. (II), Азадовский К. (V), Азольский А. (IV), Алехин А. (IV), Андреева А. (VIII), Анкудинов К. (I, V, IX), Арутюнян А. (VI), Бак Д. (IV, IX, XII), Бек Т. (VII), Белицкий П. (V), Бородицкая М. (XI), Бочаров С. (X), Буйда Ю. (VII), Букур В. (VII), Бутов М. (II, IV, VI — VIII, X, XII), Быков Д. (I — III, V, VIII, XI), Ванханен Н. (VIII), Василевский А. (II — III, XII), Василевский А. (I — XII), Василькова И. (II, VI), Ватутина М. (I), Вигилянский В. (IX), Викторов Б. (II),

Вирк Я. (IV), Волос А. (V), Гедымин А. (XI), Герасимова Л. (I), Герасимова Н. (I), Голенко Ж. (VII), Голованов В. (V), Горалик Л. (XII), Горланова Н. (VII), Гостев А. (V), Григорьева Л. (X), Губайловский В. (I — III, V, VII, IX, XI, XII), Гуреев М. (III), Гусейнов Г. (VII), Дедков И. (I — IV), Дедкова Т. (I — IV), Дмитриева О. (XII), Дубшан Л. (VI), Екимов Б. (V, IX), Елисеев Н. (V), Ермакова И. (III), Ермолаева О. (VII), Ермолин Е. (II, VIII, X), Заславский Г. (I, III, V, VII, IX, XII), Зорин Л. (III), Иванова О. (XI, XII), Измайлова В. (III), Исаева Е. (XI), Каграманов Ю. (I, III, IX, X), Калинин Г. (VIII), Канунникова О. (IX), Карасев Е. (XII), Касаткина Т. (XI), Кекова С. (VII), Кенжеев Б. (VI), Клеч М. (IV), Кобрин Ю. (X), Ковальджи К. (IX), Конрадова Н. (VIII), Корин Г. (VI), Коробов В. (V), Костырко С. (I — XII), Красноперов П. (I), Кронгауз М. (XII), Кружков Г. (III), Крючков П. (I — XII), Кублановский Ю. (V, VIII), Кузнецова И. (IX), Куллэ В. (X), Куприянов В. (VIII), Кушнер А. (IX, X), Латынина А. (II, IV — VI, VIII, X, XII), Лиснянская И. (I, X), Литвинов Н. (XI), Литвинова А. (XI), Маканин В. (VIII — XI), Манцов И. (II, IV, VI, VIII, X, XII), Марк Г. (II), Мартынова О. (II), Машевский А. (VIII), Машинская И. (X), Меламед И. (IX), Мелихов А. (IX — X), Мельников Н. (II, VII), Миллер Л. (IV), Милова Т. (IX), Михайлов Александр (VIII), Михайлов Алексей (VIII), Мочнин М. (II), Мочалова А. (VIII), Найман А. (I), Невзглядова Е. (XII), Николаева О. (III), Новиков Д. (IV), Новикова О. (VI), Образцов А. (VIII), Ознобкина Е. (IV), Окара А. (X), Павлов О. (I, IV), Палей М. (VI), Панн Л. (X), Панов В. (VI), Панова А. (VI), Перковская Ж. (IV), Петров Г. (II), Поголоцкая И. (XII), Полищук Д. (II, X), Попов В. (V — VI), Постникова О. (III, IV), Пьещух В. (IX), Рагушинская И. (IV), Рахматуллин Р. (VII), Рейн Е. (II), Ремизова М. (I, VII), Решетов А. (XI), Роднянская И. (V, VII), Романов Б. (VII), Рубина Д. (I), Рудановская Д. (VI), Руднев П. (III), Рычкова О. (II), Сакков Ю. (IX), Свитнева Е. (X), Сендеров В. (II, III, VIII), Сергеев А. (VII), Сиривля Н. (I, III, V, VII, IX, XI), Славникова О. (I), Смирнов А. (VII), Смирнов Л. (XII), Солженицын А. (IV, VI, VIII, X, XI, XII), Солнцев Р. (IV), Старикова Н. (IV), Степно-

ва М. (VII), Стратановский С. (V), Су-
льина А. (IV), Сурат И. (III, XI), Тар-
ковский М. (II), Уткин А. (X), Ушакова
Е. (XI), Ушакова Ю. (IX), Флисар Э.
(IV), Холкин В. (VIII, X), Хомутов С.
(VII), Цивунин В. (III), Цирель С. (VII),
Чекалова С. (VII), Чередниченко Т. (V),
Чигрин Е. (I), Чуковский Д. (VII), Чу-
ковский Н. (VII), Чухонцев О. (IV),
Шанли Я. (VIII), Шапир М. (IV),
Шварц Е. (V), Шеваров Д. (III, VI, VIII,
XII), Шелиго Р. (IV), Шкловский Е. (I),
Шубинский В. (XII), Эдельштейн М.
(VI, XI, XII), Якимец К. (VI).



SUMMARY



This issue contains a narration by Irina Povolotskaya «Yuriev's Day» and short stories by Dmitry Shevarov «Pushkin Boulevard». Along with it the reader is offered the ending of the memoirs «Book on Life» by Anna Vasilevskaya. The poetry section is made up of the new poems by Olga Ivanova, Yevgeny Karasyov, Lev Smirnov and Valery Shubinsky.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Close and Distant: an essay by Sergey Kostyrko «No Point Being Frightened of Oneself...» published for the 90-th anniversary of Sergey Zalygin.

Time and Morals: an article by Linore Goralik «The Way Malfoys Multiply» on «fan fiction» as a genre.

Comments: «An Andersen Boy — a Role Forever», an article by Alla Latynina on the latest anthology of critical and publicist essays by Naum Korzhavin.

The Writer's Diary: Aleksander Solzhenitsyn goes on with his literary collection, this time publishing an article on the writer Vasily Belov.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,

А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,

Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,

Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,

П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,

О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.08.2003 г. Подписано к печати 29.10.2003 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 3552. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ПРИСУДИЛА ПРЕМИИ
ПО ИТОГАМ ГОДА**

МИХАИЛУ БУТОВУ —

за цикл статей «CD-обозрение Михаила
Бутова» в 2002—2003 годах;

АЛЕКСАНДРУ КУШНЕРУ —

за цикл стихотворений «Мимо жимолости
и сирени» (2003, № 10);

ВАЛЕРИЮ ПОПОВУ —

за повесть «Третье дыхание» (2003, № 5, 6);

ИРИНЕ СУРАТ —

за статьи из цикла «Мандельштам и Пуш-
кин» (2003, № 3, 11);

АНТОНУ УТКИНУ —

за рассказы «Брейгель-младший» и «При-
ближение к Тендре» (2003, № 10).